

Русская литература

№ 3

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1990

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| И. В. Немировский. Библейская тема в «Медном всаднике» | 3 |
| П. Тирген (ФРГ). Обломов как человек-обломок (к постановке проблемы «Гончаров и Шиллер») | 18 |
| О. В. Сливичья. О многозначности восприятия «Анны Карениной» | 34 |
| Н. А. Богомолов. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич | 48 |
| Е. А. Смирнова. Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа | 58 |

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

| | |
|--|-----|
| Н. А. Бердяев. Русская идея (главы IV—VII; примечания В. А. Котельникова) | 67 |
| М. А. Булгаков. Стенограмма (сценка) (публикация Я. С. Лурье) | 103 |

УЧИТЕЛЮ-СЛОВЕСНИКУ

| | |
|---|-----|
| О. В. Творогов. Рюриковичи (продолжение) | 105 |
|---|-----|

ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ

| | |
|---|-----|
| Т. С. Царькова. К изучению стихотворных надписей | 115 |
|---|-----|

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

| | |
|---|-----|
| И. С. Шаркова. Подписка Екатерины II на иностранные периодические издания в годы Великой французской революции | 130 |
| Н. Н. Петрунина. Из истории первого собрания стихотворений Пушкина | 137 |

«НАУКА»

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Два рукописных наброска В. И. Даля «Силистрия» и «Кулевчи» (вступительная заметка, публикация и комментарии Ю. П. Фесенко) | 146 |
| Письма Леонида Андреева к Льву Алексеевскому (публикация Л. А. Иезунтовой) | 151 |
| Е. Г. Эткинд. Поэзия Новалиса: «Мифологический перевод» Вячеслава Иванова | 157 |
| С. А. Батюто. Неизвестные автографы И. П. Павлова, Э. Л. Радлова, П. А. Сорокина | 165 |
| Е. Каньяр-Беккер (<i>Швейцария</i>), Р. Ю. Данилевский. Швейцарский собиратель и хранитель русских книг | 167 |
| Л. П. Лаптева. Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии | 169 |
| Н. В. Корниенко. «Заметки» Андрея Платонова (комментарий к истории невышедших книг А. Платонова 1939 года) | 179 |
| Из архива Н. Я. Берковского (публикация М. А. Кузьменко) | 192 |

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

| | |
|---|-----|
| В. Н. Баскаков. Новая библиография русской эмигрантской литературы | 200 |
| Д. М. Буланин. Указатели к русским историко-филологическим журналам | 203 |
| С. Н. Гуськов. О новом собрании сочинений В. Г. Короленко | 206 |

ХРОНИКА

| | |
|--|-----|
| М. В. Рождественская. Памяти Николая Каллиниковича Гудзия | 211 |
| Ю. Н. Ковалева. Бушминские чтения в Волгограде | 213 |
| Е. А. Пономарева. Научная конференция «Лирика Пушкина» | 215 |
| Д. А. Благоев. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака | 218 |
| А. М. Грачева. Третья научная конференция молодых специалистов «Литература и общество» | 222 |
| К. В. Чистов. Уточнение | 226 |

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
 В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора),
 А. А. ГОРЕЛОВ, Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА,
 Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ, А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО,
 В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»

В исследовательской литературе о «Медном всаднике» неоднократно указывалось на связь поэмы с Библией. В своей книге «Быль и миф Петербурга» Н. П. Анциферов, анализируя строки «Вступления» («На берегу пустынных волн Стоял Он, дум великих полн. . .»), писал: «Кто Он, начертанный с большой буквы? Не названо. Так говорят о том, чье имя не приемлется все. Пред нами дух, творящий из небытия, чудесной волей преодолено сопротивление стихий. „Да будет свет; и стал свет“. Свершилось чудо творения. Возник новый мир Петербург».¹ Точка зрения Анциферова не получила развития в литературоведении и лишь спустя полвека после своего обнародования была оспорена Р. Г. Назировым, автором содержательной статьи «Петербургская легенда и литературная традиция». Он утверждал, что привлекаемые Анциферовым «Ветхий завет и Апокалипсис представляются излишними украшениями».² По мысли Назирова, в основе «Медного всадника» лежат исторические предания, оформившиеся в «петербургскую легенду» и бытовавшие в городском фольклоре.³

Этот спор получил продолжение в 1977 году, когда А. Е. Тархов высказал предположение о зависимости пушкинской поэмы от библейской книги Иова. Исследователь основывался, прежде всего, на увиденном им сюжетном сходстве «Медного всадника» с библейским текстом. Таким образом, бунт Евгения осмысливается Тарховым как богоборчество.⁴

Оставляя пока в стороне правомерность подобного сближения, отметим только, что подход современного исследователя принципиально иной, чем у Анциферова: если для автора книги «Быль и миф Петербурга» Библия — это только творческая модель, по которой Пушкин строит мир своей повести, то для Тархова книга Иова — конкретный источник «Медного всадника».

Цель настоящей работы — приблизиться к разрешению проблемы «„Медный всадник“ и Библия», уже завоевавшей научное гражданство.

В тексте «Медного всадника» имеет место феномен, который можно определить как запрет на прямое название Петра по имени. Для номинации основателя Петербурга Пушкин использует ряд перифраз: многозначительное «Он» с прописной буквы во «Вступлении» к поэме и далее — «кумир на бронзовом коне», «кумир с простертой рукою»; тот, «кто неподвижно возвышался во мраке медной головой. . . чьей волей роковой Под морем город основался», «мощный властелин судьбы», «кумир», «горделивый истукан», «строитель чудотворный», «грозный царь» и, наконец, «Всадник Медный На звонко скачущем коне. . .».

Этот запрет установился уже на раннем этапе работы Пушкина над петербургской повестью: лишь в первом черновом варианте ее один раз Петр называется «Великий Петр» (V, 436).⁵ В дальнейшем же имя царя-преобразователя будет встречаться только в родительском падеже и обозначать принадлежность Петру: «Петра творенье», «град Петров», «сон Петра», Петроградом, «Петрополь», «площади Петровой».

Вне контекста поэмы выделенные номинации Петра не являются синонимичными: «державец полумира», «грозный царь» характеризуют Петра как историческую личность; перифразы «мощный властелин судьбы» и «строитель чудотворный» предполагают объект сверхчеловеческой природы; самая многочисленная группа номинаций — «кумир на бронзовом коне», «кумир с простертой рукою», «кумир», «горделивый истукан» относятся к памятнику Петра; сложную природу имеют местоименные номинации («Стоял Он. . .», «И думал Он. . .»).

Не будучи тождественными по смыслу, эти номинации Петра, тем не менее, коннотативно связаны, поскольку все они, в конце концов, в поэме Пушкина характеризуют Петра, выражая разные его ипостаси. Укажем, прежде всего, на смысловую зависимость перифраз, относящихся к памятнику основателя Петербурга («кумир», «истукан»), от номинаций, выражающих его сверхчеловеческую природу («мощный властелин судьбы», «строитель чудотворный»). Поэтому трудно согласиться с Л. В. Пумпянским, утверждавшим, что «напрасно. . . Николай I был смущен словом „кумир“. На державинском языке. . . это синоним статуи, памятника и ничего больше». ⁶ На это утверждение можно возразить, что определенные коннотации, сближающие значение слов «кумир», «истукан» со значением «ложный бог», «идол» имели место уже у Державина. ⁷ Подобный же смысл, как это определили составители «Словаря языка Пушкина», ⁸ получало слово «истукан» в употреблении поэта.

Тенденция к сближению разных ипостасей Петра проявляется как за счет коннотаций между их значениями, так и за счет совмещения номинаций разной природы в рамках одного поэтического высказывания, характеризующего героя поэмы: «кто неподвижно возвышался Во мраке медной головой» — статуя; «. . . того, чьей волей роковой Под морем город основался» — Петр как историческая личность.

«Оживанию» статуи соответствует слияние всех ипостасей Петра в объекте принципиально амбивалентной природы — «проснувшийся памятник». ⁹ Совмещение происходит стадияльно: сначала перед Евгением «кумир» («вокруг подножия кумира Безумец бедный обошел»), затем как бы исторический Петр («державец полумира») и, наконец, «строитель чудотворный». Само «оживание» происходит тогда, когда Евгений единственный раз в тексте поэмы прямо обращается к Петру и манифестирует его чудесную природу («строитель чудотворный»). ¹⁰

Для того, чтобы столкновение оказалось возможным, метаморфозы происходят не только с памятником, который «оживает» и опускается из своего особого пространства, характеризуемого не только приподнятостью по отношению к профанному, но и непоколебимостью даже тогда, когда внизу ветер и наводнение («В непоколебимой вышине, Над возмущенною Невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне. . .» — V, 142). Выпадает из своего обычного, социального и биологического, состояния Евгений, он «мертвеет» и становится «свету. . . чужд», «Ни то ни се, ни житель света Ни призрак мертвый. . .» (V, 146). ¹¹

Попытаемся теперь осмыслить те феномены, о которых шла речь, то есть определить природу выделенных в тексте «Медного всадника» запретов на имя Петра и на изображение его лица (см. сн. 10).

Это не просто фигура поэтической речи, при том, что перифраз — один из распространенных приемов организации текста в классицистической риторике, ¹² широко используемый одической традицией. А. Н. Соколов, считая «перифрастический стиль» характерной чертой «петриад» (эпических поэм на петровскую тему XVIII—начала XIX века), замечает, что уже для «Полтавы» Пушкина это не совсем так. ¹³ Исследователь стиля «Медного всадника»

В. Д. Левин утверждает, что перифрастический стиль, не свойственный уже «Полтаве», более связанной с одической традицией, чем «Медный всадник», в петербургской повести сменяется тенденцией «к прямому наименованию. . . без всяких попыток употребления поэтических синонимов и перифраз».¹⁴

К этому можно добавить, что при всей любви авторов «петриад» к поэтической синонимии, прямое именование Петра постоянно встречается в их произведениях,¹⁵ как и во всех других, составляющих литературный фон «Медного всадника».¹⁶

Итак, поскольку запрет на именование Петра не имеет традиции в русской литературе, он связан, видимо, с особенностями восприятия образа первого русского императора самим Пушкиным. Для того, чтобы лучше понять природу этого явления, следует обратиться к аналогии внутри пушкинского творчества: мы имеем в виду запрет на называние по имени другого исторического персонажа, который привлекал внимание Пушкина, пожалуй, не меньше, чем Петр, — Наполеона.¹⁷ В тридцати двух стихотворениях и стихотворных отрывках, посвященных изгнанному императору, его имя называется всего несколько раз. При этом оно или теряет собственное значение, т. е. перестает характеризовать единичный и уникальный объект («Мы все глядим в Наполеоны. . .» — VI, 37; «А стихотворец. . . с кем же равен он? Он Тамерлан иль сам Наполеон» — V, 84), или же употребляется в стилистически сниженной тональности: «Ты помнишь ли, как всю Европу пригнал Европа нас одних ваш Бонапарт-буян?» (III, 81). Другие случаи прямого употребления имени Наполеона носят единичный характер («Всему чужой, угас Наполеон» — III, 433).

Если табуирование имени Петра не имело традиции в русской литературе, то с именем Наполеона дело обстояло иначе. Л. Н. Толстой показал, какие трудности встали перед русской дипломатией при необходимости обращения к Наполеону после принятия последним императорского титула, пока хитроумный Билибин не придумал всех устроившее обращение «предводитель французов». Конечно, речь шла не только о именовании, но и о титуловании, но это связанные вещи, поскольку называть главу французского государства «Наполеон» означало признать его императором.

Упорно отказывались называть убийцу герцога Энгиенского по имени и русские поэты; к пушкинским антинаполеоновским инвективам из «Вольности» («ужас мира, стыд природы, Упрек. . . Богу на земле. . .») можно подобрать значительное число параллелей из поэзии 10-х годов,¹⁸ когда доминировало представление о Наполеоне как об Антихристе или Люцифере. Эти два образа в поэтической традиции, видимо, не вполне различались между собой. Так, в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества» Г. Р. Державина Наполеон одновременно «князь бездны», «дивий Гог» (противоборник Христа, — Апокалипсис, 20, 7) и «седьмглавый Люцифер». В имени Наполеона видели прямое указание на его inferнальную природу; Державин в примечании к «Гимну. . .» писал: «Видно из исчисления дерптского профессора Гецеля в письме к военному министру Барклаю-де-Толли от 22 июня 1812 года, что в числе 666 содержится имя Наполеона, как и приложенный при сем французский алфавит то доказывает».¹⁹ Не иначе как «Антихрист» и «враг человеческий» назывался Наполеон в официальных документах Священного Союза, при этом имя его не произносилось, хотя могла употребляться фамилия — Бонапарт (Бонапарте).²⁰

В творческом сознании Пушкина сближение Петра и Наполеона имело отчетливый и сознательный характер. Еще в раннем историческом труде, носящем условное название «Заметки по русской истории XVIII века» (1822), поэт писал о Петре на том идеологическом фоне, который был определен

образом Наполеона: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество может быть более, чем Наполеон» (XI, 14). В позднейшей заметке «О дворянстве» сближение Петра с Наполеоном еще более явно: «Петр I есть одновременно Робеспьер и Наполеон. (Воплощение Революции)» (оригинал по-французски. — XII, 205).

Важнейшим проявлением того, что образы Петра и Наполеона тесно связаны в пушкинском творчестве, является генетическая и ассоциативная близость эпитетов, которые поэт относил к Наполеону, с оценками, данными в «Медном всаднике» Петру. Так, прежде всего, представление об основателе Петербурга как о всаднике находит параллели в определении Наполеона как «всадника бранного» (VI, 523), отсылающего к образу апокалиптического всадника.

В пушкинской поэме Петр «ужасен. . . в окрестной мгле», подобно тому, как в лирике 10-х годов «ужасом мира» был провозглашен Наполеон. В 20-е годы Наполеон продолжает занимать Пушкина, но уже не столько как политический деятель, а как романтическая личность, блистательно и трагически спорящая с судьбой. Так появляются определения поверженного императора «муж судьбы», «муж рока».

Знаменательно, что в черновиках «Медного всадника» Петр также, причем два раза, назван «мужем судьбы» (V, 479). Лишь после значительной работы эта характеристика была заменена другой, едва ли не противоположной по смыслу — «мощный властелин судьбы». Следовательно, в оценке исторической миссии Петра Пушкин проявлял те же колебания, что и в оценке характера действий Наполеона, раздваиваясь между желанием считать поступки основателя Петербурга проявлением высшей силы («Природой здесь нам суждено. . .», «муж судьбы») и необходимостью признать, что Петр сам навязывает миру свою губительную волю («Того, чьей волей роковой. . .», «гордый властелин судьбы»). Точно так же и Наполеон, с одной стороны, «свершитель роковой безвестного веленья. . .» и «муж судьбы», «муж рока», с другой — «самовластительный Злодей».

В поэме Петр — «кумир», «идол». Интересно, что и Наполеон называется Пушкиным «Великий кумир» (II, 311); в качестве его возможного замещения может выступать статуя. Так, одно из стихотворений, получившее в конце концов заглавие «К бюсту завоевателя», первоначально в рукописи именовалось «Кумир Наполеона»; Наполеон назван «кумиром» и в «Клеветникам России». В «Евгении Онегине» фигурирует «. . . столбик с куклою чугунной Под шляпой с пасмурным челом, С руками, сжатыми крестом» (VI, 147); первая строка этого небольшого отрывка имеет многозначительный вариант: «И кукла медная Героя» (VI, 428).²¹

И Петр, и Наполеон в изображении Пушкина, парадоксально сочетают способность к быстрому молниеносному действию («Он весь как Божия гроза» — о Петре; «. . . чудный взор его, живой, неуловимый, Как боевой перун, как молния сверкал» (II, 312),²² со способностью мгновенно переходить к покою, умиранию, «окаменению», когда обоим соответствует удаленное от остального мира место на скале («И на скале изгнанником забвенным Всею чужой угас Наполеон» — III, 433).

Запрет на название имени (и на изображение лица) — важнейший признак сакрального текста,²³ прежде всего — Библии. В свете того, что писали о «Медном всаднике» Анциферов и Тархов, было бы весьма соблазнительно связать выделенные выше особенности пушкинской поэмы с Библией непосредственно. Однако без необходимой детализации такая параллель немного дает для понимания «Медного всадника», так как в Библии можно выделить

несколько типов запретов: табуируется имя Бога и любое его изображение; запрещается произносить имена кумиров, идолов, т. е. ложных богов; особенный грех — отнесение святого имени к объекту, который не обладает святостью («Народ, увлеченный красотой отделки, незадолго перед тем почитаемого как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покаясь или несчастьем или тиранству, несообщаемое имя прилагали к камням и деревьям». — Премудрость Соломона, 14, 21—22).

Несомненная общность образов, в которых Пушкин осмысляет Петра и Наполеона, более всего свидетельствует о том, что ко времени написания «Медного всадника» эти фигуры оказались своеобразно приравнены в творческом сознании поэта. Должно ли отсюда следовать, что табуирование имени Петра в петербургской повести имеет ту же природу, что и запрет на название Наполеона?

Пытаясь ответить на этот вопрос, заметим, что поэтические оценки основателя Петербурга, сближающие его с Наполеоном, содержатся не во «Вступлении», а в основной части поэмы, где Петр — «идол», «кумир», «истукан», «мощный властелин судьбы». Поэтому, подобно тому, как табуируется имя Наполеона (он ложный бог, Антихрист и кумир), здесь также вводится запрет на название Петра «истуканом» и ложным божеством. Во «Вступлении» же сильнее проявляется связь «Медного всадника» с одической традицией, здесь основатель Петербурга показан как создатель мира из небытия, отсюда — ориентация на Книгу Бытия с ее табуированием имени Творца.

Вопрос о соотносительности «Медного всадника» с Библией не может быть решен, если не учесть параллели, которую настойчиво проводит сам Пушкин, называя наводнение 1824 года «петербургским потопом» («От петербургского потопы Спаслась П<олярная> З<веда>...» — II, 386; в письмах — XIII, 123, 127). В самой поэме он избегает этого уподобления, но в черновиках «петербургской повести» царский дворец сравнивается с «ковчегом» (V, 459). Мотивируется наступление потопы «Божим гневом» («народ зрит Божий гнев и казни ждет»). Соответственно, стихии, которые во «Вступлении» представляли силы Хаоса, здесь — «Божии стихии» («С Божией стихией Царям не совладеть» — V, 141).

В Библии основной причиной, вызывающей гнев Бога, является поклонение ложным божествам, идолам и отнесение святого имени к объекту, лишенному святости («кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему» — Премудрость Соломона, 14, 17). Идолы определяются как «недостойные именованья», а поклонение им «началом и концом и причиной всякого зла» (Там же, 27).

Слова «кумир» и «истукан» в пушкинском употреблении имеют несомненную библейскую окраску. Это особенно хорошо видно по черновикам поэмы, где Евгений встает «пред священным истуканом» (V, 480) и даже «великим Истуканом» (V, 495). Библейский сюжет о поклонении «литому кумиру» (Исход, 32, 15—21) привлек внимание Пушкина незадолго до создания «Медного всадника» в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» (1832): «...ты нас обрел в пустыне под шатром, В безумстве суетного пира, Поющих буйну песнь и скачущих кругом От нас созданного кумира» (III, 286).

В литературе о «Медном всаднике» уже не раз поднимался вопрос о том, почему памятник Фальконе назван Пушкиным «медным всадником», тогда как он сделан из бронзы.²⁴ Высказывались различные предположения, и лишь недавно Е. С. Хаев указал на важнейшую, с нашей точки зрения, коннотацию между «медным всадником» и библейским «медным змием».²⁵ Однако

сказано об этом не достаточно подробно, между тем сюжет о медном змие, воздвигнутом Моисеем с тем, чтобы целить людей, ужаленных ядовитыми змеями (Числа, 21, 8) имеет много общего с сюжетом пушкинской поэмы. Прежде всего, оба рассказа — о бедствии, вызванном «Божиим гневом». Важную роль играет в них «взгляд» (в библейском тексте исцеление наступает, если укушенный взглянет на медного змия). Наконец, возможно и прямое соотнесение библейского медного змия со змеей, попираемой конем Петра.²⁶

Тема города, обреченного гибели за поклонение ложным божествам и кумирам их, пронизывает книги пророков Иезекииля, Иеремии, Наума, Захарии, Аввакума, Ездры («Я истреблю имена идолов с этой земли и не будут более упоминаемы» — Захария, 13, 2; «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою» — Аввакум, 2, 12).

Часто упоминаемое пророками наказание городу за идолопоклонство — потоп. Гибель от вод пророчит Иеремия Вавилону. Наводнение обрекает город больше, чем на гибель, оно осуждает его на забвение. Так, Иерусалиму, наказанному за отступничество огнем и мечом, будет суждено подняться, а Вавилону, обреченному водам, — нет («Устремилось на Вавилон море: он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми» — Иеремия, 51, 42).

Само основание Петербурга, сопровождавшееся дерзким обузданием моря, соотносимо с основанием Вавилона и попыткой покорить другую «божью стихию» — небо, построив знаменитую башню. В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» (1827) Пушкин отмечает, что в лице легендарного строителя вавилонской башни и основателя Вавилона Нимвроде «он (Байрон. — И. Н.) изобразил Петра Великого» (XI, 55). Речь идет о первой сцене четвертого акта драмы Байрона «Сарданапал», где ассирийскому царю является: «...какая-то мрачная, высокомерная фигура с мертвенным лицом (я не мог узнать, а между тем, я ее где-то видел, хоть и не знаю где). Черты ее лица были, как у великана; глаза, — неподвижны, но светились. Длинные кудри спускались на его широкую спину, над которой возвышался огромный колчан стрел, окрыленных огромными перьями, торчавшими меж его змееобразных волос».²⁷

Не так просто ответить на вопрос, что именно заставило Пушкина утверждать, что в «лице Нимврода» Байрон «изобразил Петра Великого». О том, что эта ассоциация отнюдь не так тривиальна, как может показаться, свидетельствует тот факт, что она не пришла в голову комментаторам Байрона.

В драме «Сарданапал» Нимврод называется «охотником» и «великим предком Династии героев» (ср. в Книге Бытия: «сильный зверолов»). По устному преданию, сопровождавшему Книгу Бытия, Нимврод обладал чудодейственной силой благодаря одеждам из звериных шкур, данным Всевышним Адаму и Еве.

В мусульманской традиции, которую Пушкин знал из Корана,²⁸ Нимврод еще в большей степени, чем в библейской, изображен надменным богоборцем, идолопоклонником.

Видимо, все это вместе взятое и заставило не столько Байрона, сколько самого Пушкина соотнести Нимврода с Петром Великим и с памятником Фальконе, где император изображен в звериной шкуре.

В «Медном всаднике» тема Вавилона присутствует только на концептуальном уровне. Складывается впечатление, что Пушкин сознательно убирает все, что может навести на сопоставление Петербурга с Вавилоном (например, вариант «дворцов и башен» дважды заменен на «дворцов и зданий» — V, 439). Однако тема «вавилонской башни» находится в поле зрения поэта в период работы над поэмой. Так, автограф «Сказки о рыбаке и рыбке», датированный 14 октября 1833 года, в то время как «Медный всадник» писался с 6 по 30 октяб-

ря, содержит следующий, не вошедший в основной текст, эпизод: «Воротился старик к старухе. . . Перед ним вавилонская башня На самой верхней на макушке Сидит его старая старуха» (III, 1087).

Все это позволяет говорить об общей ориентации «Медного всадника» на библейские тексты. Она проявляется не только в сходстве механизмов сакрализации / десакрализации, но и в наличии общих мотивов: основание города, возникновение мира, поклонение кумиру, идолу; Божий гнев, наказание водами. Так, Библия, в соответствии с высказанной Н. П. Анциферовым точкой зрения, действительно оказывается творческой моделью, по которой Пушкин строит мир своей петербургской повести. Однако мы не можем согласиться с отождествлением Петра во «Вступлении» с «кумиром», «идолом», «Медным всадником» основной части поэмы. Анциферов не учитывает сложности отношения Пушкина к Петру, что значительно понижает ценность исследования, приводит к одностороннему выводу о том, что «Медный всадник» — это «ясно выраженный. . . апофеоз Петра»;²⁹ а исправления, внесенные в текст поэмы В. А. Жуковским, объясняются нежеланием Николая I допустить чрезмерное восхваление Петра I. При этом Анциферова не смутило то обстоятельство, что эпитеты «кумир», «идол», «истукан» совсем не те, которые могут способствовать возвышению с точки зрения писателя-христианина. Не говоря уже о том, что Жуковский заменил их действительно апологетизирующими Петра — «гигант», «Русский великан».

Напомним, что помимо Анциферова зависимость «Медного всадника» от Библии определил и современный исследователь А. Е. Тархов. Для него Книга Иова — источник петербургской повести, Евгений отождествляется с Иовом, а его бунт против Медного всадника объявляется богоборчеством. Однако и А. Е. Тархов не учитывает того, что слова «идол», «истукан» и «кумир» ни в коем случае не могут быть отнесены к Богу ни в Библии, ни в христианском сознании Пушкина. Поэтому поступок Евгения следует квалифицировать как кумироборчество, а не богоборчество. Мотив, встречающийся в книгах пророков (обличение ложных божеств, осуждение тех, кто поклоняется идолам, составляет важную часть книг пророков), но не в книге Иова.

Вместе с тем, «Медный всадник» содержит одну примечательную параллель с этим библейским текстом, не выделенную Тарховым. Риторический вопрос о целесообразности мироустройства, заключающий первую часть пушкинской поэмы: «. . . иль вся наша И жизнь ничто, как сон пустой, Насмешка неба над землей?» (V, 142), — соответствует многочисленным сентенциям подобного рода, обращенным Иовом к Богу³⁰ («На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» — Иов, 3, 23; «Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет» — там же, 10, 3). Правда, и эта тема звучит не только в книге Иова, а еще и в третьей книге Ездры.

Таким образом, смысловая структура «Медного всадника» связана не только с книгой Иова, но и с другими библейскими книгами — Иезекииля, Иеремии, отчасти Даниила, Аввакума, исполненными трагических пророчеств гибели городам за идолопоклонство.

Мы не беремся точнее локализовать эту связь и считаем, что в отношении «Медного всадника» было бы неправильно говорить о конкретных библейских источниках поэмы, речь может идти лишь об ориентации на культурную модель, условно называемую эсхатологической. В этом отношении к книгам пророков примыкает Апокалипсис. Связь с ним «Медного всадника» проявляется, прежде всего, в не раз отмеченных коннотациях между памятником Петру и апокалиптическим всадником.

Ю. М. Лотман отмечал, что само положение «эксцентрического города»

(расположенного «на краю культурного пространства») приводит к тому, что «вокруг такого города будут концентрироваться эсхатологические мифы, предсказания гибели, идея обреченности и торжества стихий. . . Как правило, это потоп, погружение на дно моря».³¹ Эта точка зрения, убедительно подкрепленная существованием эсхатологической петербургской легенды, как будто бы не предполагает обязательной ориентации «Медного всадника» на Библию и Апокалипсис непосредственно. Возможна, как это и утверждает Р. Г. Назиров,³² прямая связь пушкинской поэмы с городским преданием, не опосредованная библейскими текстами.

Не умаляя значения фольклорного начала для петербургской повести, заметим, что в 1833 году, в период непосредственной работы Пушкина над «Медным всадником», Библия находится в центре его творческих интересов: в 1832 году он использует сюжет из Пятикнижия и собирается учиться по-древнееврейски, желая переводить книгу Иова; в 1835 году перекладывает стихами библейский рассказ о Юдифи. До этого времени всплеск пушкинского интереса к Библии приходится на конец ноября—декабрь 1824 года и, возможно, вызван известиями о петербургском наводнении. Постоянная просьба в письмах к брату этого периода — прислать Библию. Не получив книгу в очередной раз, Пушкин замечает: «Библия для христианина то же, что история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие Ист(ории) Кар(амзина)» (XIII, 127).

Что же касается важности городского предания для пушкинской повести, то, заметим в этой связи, что «Медный всадник» — прежде всего литературное произведение, существующее в рамках определенной литературной традиции, хотя, безусловно, не сводимое только к ней.³³ Пушкинские оценки — «кумир», «идол», «истукан» — определяют не столько самого царя-преобразователя, сколько отношение к нему, закрепленное именно литературной традицией, где как раз к 30-м годам XIX века завершилась сакрализация монархов, значительную часть которой составлял культ Петра. В фундаментальном исследовании В. М. Живова и Б. А. Успенского определены особенности и основные этапы этого процесса.³⁴ Отметим только, что еще в первой четверти XVIII века, вследствие уничтожения патриаршества, русский монарх стал фактическим главой православной церкви. Более того, целым рядом последовательных действий Петр настойчиво внушал современникам, что он есть Христос, эманация Бога на земле. Важнейшим моментом в складывании этого мифа («Петр—Христос»), радостно подхваченного и развитого русской литературой, было то, что можно назвать акцентуацией обновления, т. е. маркированием начала культурной эпохи, когда вся допетровская культура объявлялась если и существующей, то не существенной.³⁵ Правда, еще в творчестве Ломоносова, одного из главных создателей мифа о Петре в русской литературе, проявлялась определенная условность этой ситуации, выражаемая в том, что образ Петра давался в барочном обрамлении языческих божеств.³⁶ Но уже в конце XVIII века она полностью утратилась. Все отступления от сложившегося канона в изображении Петра воспринимались как святотатство вплоть до того, что нельзя было изображать его (как и любого другого русского царя) в качестве действующего лица светской драмы. Именно это послужило основной причиной запрещения драмы М. П. Погодина «Петр Великий»³⁷ в 1831 году, т. е. непосредственно перед тем, как на стол к высочайшему цензору — Николаю I — легла петербургская повесть Пушкина.

В «Медном всаднике» Николай тем более ощутил содержательные расхождения с предшествующей литературной традицией изображения Петра, ставшей не чем иным, как формой государственной идеологии, и осмысляемой Пушкиным как идолопоклонство. Неблагосклонное внимание императора в рукописи

петербургской повести привлекли слова «кумир» (выделены все случаи его употребления: «кумир на бронзовом коне», «кумир с простертой рукою», «кругом подножия кумира»); на полях сделано отчеркивание напротив строк «Во мраке медной головой, Того, чьей волей роковой Под морем город основался»; знак NB помещен против строк «пред горделивым истуканом» и «строитель чудотворный».³⁸

В сложившийся канон не укладывалось даже «Вступление», при всей своей одичности: и здесь Петр выступает не как обновитель мира, а как демиург. Таким образом, пушкинское восприятие образа Петра и во «Вступлении», и в основной части «Медного всадника» решительно отличается от концепции Петра, выражаемой официальной русской литературой, прежде всего одической. Это содержательное различие лишь подчеркивалось известным единством формальных средств. Л. В. Пумпянский, так много сделавший для выявления одических корней поэмы, выделил три формулы, восходящие к предшествующей «Медному всаднику» литературе о Петре и Петербурге: «из тьмы лесов, из топей блат», «где прежде... там», «прошло сто лет». При этом исследователь с удивлением констатировал, что все три одновременно они не встречаются ни в одном одическом тексте.³⁹ Причина тому, как нам представляется, в эсхатологической, библейской направленности пушкинской поэмы, рассказывающей не о возникновении или расцвете петербургской культуры, а о ее начале и падении.

Итак, не одическая традиция определяла пушкинское восприятие образа Петра и Петербурга в библейском ключе, однако ода, безусловно, не составляла всей петровской литературы, предшествующей поэме и обобщенной в ней. Если многочисленные «петриады» отражали прежде всего официальную точку зрения на Петра, то внутри русской культуры существовала и альтернативная позиция.⁴⁰ Правда, она находила свое выражение не в поэзии, а в оппозиционной публицистике, как например, в записках «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова и «О древней и новой России» Н. М. Карамзина.⁴¹

Вопрос о связях «Медного всадника» с русской публицистикой сложен еще и потому, что антипетровские сочинения еще не составили художественную традицию, отчасти по внеэстетическим причинам, поскольку не могли быть опубликованы в России.

Иначе складывалась ситуация в западноевропейской литературе. Мы не беремся утверждать, что здесь существовала особая антипетровская традиция,⁴² но сложное отношение к личности Петра и его государственному наследию несомненно было более распространено, чем в русской официальной литературе.⁴³ Поэтому совершенно естественно, что важнейший литературный источник «Медного всадника» создан именно на Западе. Мы имеем в виду «Отрывок» А. Мицкевича, включающий в себя семь стихотворных новелл, в том числе две, имеющие принципиальное значение для понимания пушкинской поэмы — «Олешкевич» («День накануне наводнения. 1824») и «Памятник Петру Великому».

Сопоставление «Отрывка» с «Медным всадником» производилось неоднократно.⁴⁴ Нам бы хотелось особо отметить, что польский поэт описывает петербургское наводнение в библейском ключе. Олешкевич, герой одноименной новеллы, «давно отвык от красок и кисти и только Библию и Кабалу изучает». Накануне наводнения он пророчит: «Кто доживет до утра, тот будет свидетелем великих чудес, То будет второе, но не последнее испытание: Господь потрясет ступени ассирийского трона, Господь потрясет основание Вавилона».⁴⁵ Таким образом, Мицкевич активно вводит тему «Божьего гнева» в свое произведение, которое, благодаря этому, приобретает эсхатологические черты.

Пушкин имел в своей библиотеке и внимательно прочитал издание «Отрывка», переписав в рабочую тетрадь новеллы «Памятник Петру Великому» (наполовину), «Олешкевич» и «Русским друзьям». По утверждению М. А. Цявловского, поэт взял книгу Мицкевича в поездку по Оренбургской губернии, которая закончилась приездом в Болдино и созданием «Медного всадника».⁴⁶

Поэма Мицкевича содержит в себе одну из самых решительных и развернутых негативных оценок Петра («кнудержец», построивший «себе столицу, а не город людям»). Отталкивание от русской традиции изображения первого императора и его города ощущается в «Отрывке» как в деталях, так и в общем взгляде. Достаточно сравнить описание Невы (топика русской литературы) у Мицкевича с аналогичным описанием, — например, в «Прогулке в Академию Художеств» К. Н. Батюшкова, автора, несомненно, известного польскому поэту.⁴⁷

Итак, современная Пушкину литература содержала в себе импульсы к осмыслению образов Петра и Петербурга в библейско-эсхатологическом ключе, что, конечно, ни в коей мере не снижает значения для «Медного всадника» городского предания. Его эсхатологический характер несомненен, предсказания гибели сопровождали всю историю Петербурга с момента основания города. Вопрос, следовательно, в том, носила ли эта эсхатология библейскую направленность или же, как это утверждает Р. Г. Назиров, «Ветхий завет и Апокалипсис представляются в данном случае излишними украшениями».⁴⁸

Анализ городского петербургского предания осложняется поздним характером записей, мемуарной неточностью свидетельств, что, зачастую, заставляет исследователей усомниться в том, что его отдельные слагаемые предшествуют созданию «Медного всадника», а не определены пушкинской поэмой (как, например, «сон майора Батурина»).⁴⁹ Между тем несомненно, что важнейшей частью народного предания о Петре, отраженной и петербургским фольклором, является сказание об Антихристе. Наиболее полное выражение эти представления получили в старообрядческой среде, где активно обсуждалась тема «конца света» и где в основном и сложился миф о Петре—Антихристе.⁵⁰ Исследования недавнего времени показали, что представления о Петре как об Антихристе формировались в значительной степени под влиянием настоячивых попыток самого Петра утвердиться в роли Христа.⁵¹ Дополнительные импульсы к развитию этой темы давала официальная поэзия. Так, автор рукописного сочинения «Книга о собрании различных повестей на осьмой век» следующим образом комментирует строки Ломоносова о Петре «Он Бог, он Бог твой был, Россия, Он члены взял в тебе плотския, Сошед к тебе от горних мест»:⁵² «Зри, любящий истину, и паки таки важно проповедует сошедшего от горних мест, возвещают, но и не вместо ли истинного Христа Бога нашего, во образ осьмотысячного сатаны скифского Христа, сиречь Антихриста?»⁵³

Весьма значимый в официальной литературе атрибут Петра как покорителя водных стихий, с точки зрения старообрядцев, также служил доказательством антихристовой природы царя преобразователя. «При сем имею доказательство богупротивное его (Петра. — *И. Н.*) во время воцарение и царство, — писал другой неизвестный защитник раскола. — Как он ехал по Ладовскому озеру, то оное озеро имеет ширину на четыреста поперщ. И как привидив истинный Бог и Творец всей твари, что он будет Богу и святым его противник, и воздвигнул бурный ветер, и кочал его волнами три дни и три ночи. А он яко лев лютый, расфирипися. Зрите на кого он прогневался и кто его кочал волнами. Но он того не почювствовал, кто его кочал. И приехал к берегу и выскочил, яко лев из вертепу, закричал своим гласом. . . : Подовайте полоча с кнутами наказовати озера. При сем зрите опасно, кого он наказывал. Но он наказывал не тварь, но Творца, не создание, но создателя».⁵⁴

Приведенный текст интересен тем, что, в противовес официальной литературе, обуздание стихий объявляется антихристовым действием, а сами стихии — Божьими. Заметим также, что здесь ни разу не произносится имя Петра, оно явно табуируется. Это характерно для старообрядческих текстов о Петре—Антихристе, хотя и необязательно. Вообще, смутное, нестабильное состояние стихий раскольники считали в значительной степени следствием прихода Антихриста. Такое представление было весьма распространено и попало в книгу известного историка старообрядчества из числа официальных церковных деятелей Андрея Иоанова (Журавлева): «... во Антихристово время ничего чисто уже не будет на земли; а потому ныне не токмо все люди, скоты и звери, но и самые стихии пришествием Антихриста заражены. Следовательно, нет рек, источников и кладезей, которыя бы прикосновением Антихристовых слуг не были осквернены, моря и озера кораблями и прочими Антихристовыми судами наполнены».⁵⁵ Книга протоиерея Андрея Иоанова имелась в библиотеке Пушкина.⁵⁶

В старообрядческой литературе нашло отражение и установление памятника Петру работы Фальконе. Раскольничий «Апокалипсис», сочинение начала XIX века, включает в себя изображение конной статуи с надписью из книги пророка Иезекииля: «От гласа ржания яждения коня потрясется вся земля, и придет и пожрет землю, и исполнения ея, град и обитающих в нем».⁵⁷ В рукописной книге современника Пушкина, старообрядца Василия Москвина «Разглагольствования тюменского странника» (конец 20-х годов XIX века) проводится разграничение между «небесным градом Сионом» и миром сатанинским с «великим градом Вавилоном».⁵⁸ В последнем легко угадывается Петербург.

Тема «Пушкин и литература (идеология) раскола» не только не изучена, но даже не поставлена. При этом можно говорить, что 1833 год — время определенного интереса к старообрядчеству, так как усиленные занятия историей пугачевского движения не могли не привести Пушкина к названной проблематике. В тексте самой «Истории» тема раскола присутствует неявно, но настойчиво (IX, 13, 26, 41, 44, 68, 76). И наконец, материалы к «Истории Петра» свидетельствуют, что народные представления о Петре—Антихристе были известны Пушкину: «Народ почитал Петра анти христом» (X, 4).

Все сказанное выше только подводит нас к теме «Пушкин и раскол», утверждать что-либо определенное в этом отношении можно будет только тогда, когда выяснится круг источников, которые могли быть в поле зрения поэта. Пока же мы указываем лишь на типологическое сходство «Медного всадника» с определенными старообрядческими текстами. При этом важно не только то, что старообрядческая традиция воспринимала Петра в библейско-эсхатологическом ключе, но и то, что подобно «Медному всаднику», раскольничьи писания в значительной степени отталкивались от официальной литературы и ее оценок. Это свидетельствует о существовании некоторой единой, идеологически полярной системы представлений о Петре, центр которой составляла одическая традиция, воспринимающая основателя Петербурга в евангельском, апологетическом ключе, периферию — публицистика, городские предания, рукописные сочинения старообрядцев. Здесь Петр осмыслился в образах, ориентированных на Библию и Апокалипсис, эсхатологические по своему существу.

«Медный всадник» не просто изменил это соотношение, поменяв местами центр и периферию. Соединив литературную традицию с народным преданием, фольклорным началом, городским бытом, Пушкин положил конец разнесению

полярных оценок Петра и Петербурга по различным жанрам, что, конечно, соответствовало общему движению литературы.

В дальнейшем эсхатологическая направленность целого ряда произведений о Петербурге сохранилась («Торжество смерти» В. Печерина, «Стихи о наводнении» А. Одоевского, «Эльса» В. Одоевского, «Стихи в альбом С. Карамзиной» А. Хомякова), но библейская тема редуцировалась и присутствует лишь в стихотворениях, сознательно отталкивающихся от одической традиции восприятия Петра, как, например, «Вавилон» Евгения Милькеева («Необузданный и чудный, Сотворив кумирам ложь, Город пышный, многолюдный, Ты ликуешь и цветешь! . . И творец тебе не страшен. . . Пусть потоп наводит он, Ты взойдешь на выси башен, Занесенных в небосклон»)⁵⁹.

¹ Анциферов Н. П. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924. С. 67.

² Назиров Р. Г. Петербургская легенда и литературная традиция // Традиция и новаторство. Уфа, 1975. Вып. 3. С. 123.

³ Там же. С. 123 и след.

⁴ Тархов А. Е. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. 1977. № 2. С. 62—64.

⁵ Здесь и далее римская цифра означает номер тома, арабская — страницы по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937—1949. Т. 1—16.

⁶ Пумпянский Л. В. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4—5. С. 110.

⁷ Довольно золотых кумиров,
Без чувств мои что песни чли. . .
(«Видение мурзы», 1783—1784)

Ср.:

О жалкий полубог, кто носит тщетно сан:
Пред троном тот никто, на троне истукан.

(«Эпистола И. И. Шувалову», 1777)

⁸ «Языческое божество в виде статуи, идол» (Словарь языка Пушкина. М., 1957. Т. 2. С. 434).

⁹ Ср. у Р. О. Якобсона: «Уравнивание „вечного сна“ покойного Петра и вечного покоя его бронзового двойника и одновременно противоречие между эфемерностью его останков и прочностью его статуи порождают идею жизни изображаемого существа, продолжающейся в его скульптурном образе, в памятнике» (Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 169).

¹⁰ В сцене бунта нарушается запрет не только на название Петра и прямое обращение к нему, но и на изображение его лица. Маленький герой петербургской повести видит «грозного царя» только со спины — «И обращен к нему спиною». Поэтому в ключевой сцене оказывается значимо, что Евгений обходит постамент и наводит «взоры дикие. . . на лик державца полумира», который отвечает ему взглядом на взгляд. В. Ходасевич обратил внимание на сходство ситуаций в «Медном всаднике» и в «Уединенном домике на Васильевском», где обернувшийся извозчик оказывается мертвецом и носителем inferнальных сил (Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Л., 1922. С. 84).

¹¹ «Омертвление» и выпадение Евгения из «света» мотивируется его посещением «царства мертвых» — окраины Васильевского острова, где «кругом, Как будто в поле боевом, Тела валяются. . .» (V, 144), чему предшествует переправа и встреча с перевозчиком. Нам представляется, что весь этот эпизод пронизан реминисценциями из «Ада» Данте. 1833 год — время оживления интереса Пушкина к творчеству великого флорентийца. О дантовских параллелях к «Медному всаднику» см.: Лотман Ю. М. К проблеме «Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С. 88—91; Бэлза И. Ф. Дантовские отзвуки «Медного всадника» // Дантовские чтения. М., 1982. С. 170—182. Уподобление Петербурга дантовскому аду бывало в пушкинском кругу. Так, например, Н. И. Тургенев писал брату Сергею 11.02.1818 года: «Сказывал ли тебе когда-нибудь князь Гагарин о проекте своем нарисовать Петербургский шлагбаум с надписью: «La sciate ogni speranza, voi chi entrate» (пер.: Оставьте всякую надежду, входящие сюда) // Тургенев Н. И. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 253.

¹² См.: Ломоносов М. В. Краткое руководство к риторике // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 52, 54; Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию (Там же. С. 253).

¹³ Соколов А. Е. «Полтава» Пушкина и «Петрарда» // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Вып. 4—5. С. 86.

¹⁴ Левин В. Д. О стиле «Медного всадника» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1974. Т. 33. № 3. С. 197.

¹⁵ Приведем лишь некоторые примеры: «Хвались, О Петр! Вселенной диво, Зерцало славы для властей!» (*Шихматов С.* Петр Великий. Лирическое песнопение в осьми песнях. СПб., 1810. С. 84); «Боязнь врагов гласит: се Петр!» (Там же. С. 84); «Пред воинством своим летает гневный Петр» (*Грузинцов А.* Петриада. Поэма эпическая. СПб., 1812. С. 214); «Петр в виде бури сей Вандалов поражал» (*Сладковский Р.* Петр великий. Героическая поэма. СПб., 1803. С. 42).

¹⁶ См.: *Измайлов Н. В.* Литературный фон поэмы «Медный всадник» // *Пушкин А. С.* Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 124—146.

¹⁷ См.: *Gasparov V. M.* The Apocalyptic theme in Puškins «Count Nulin» // Text and context. Essays to honor Nils Ake Nilsson. Stockholm, 1987. P. 20.

¹⁸ См.: *Грунский Н. К.* Наполеон I в русской художественной литературе // Русский филологический вестник. 1898. Т. 40. № 3—4; *Муравьева О. С.* Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «наполеоновской легенды») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 15 (в печати); *Sorokine D.* Napoléon dans la littérature russe. Paris, 1974.

¹⁹ *Державин Г. Р.* Сочинения. СПб., 1866. Т. 3. С. 151.

²⁰ См.: *Тарле Е. В.* Нашествие Наполеона на Россию // Тарле Е. В. 1812 год. М., 1959. С. 625—626.

²¹ Н. Н. Петруниной принадлежит интересное сближение приведенного здесь описания статуй Наполеона с образом Евгения в момент наводнения (*Петрунина Н. Н.* Две «петербургские повести» Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 164). Именно в этот момент Евгений тоже спорит с судьбой, поэтому черты сходства его с Наполеоном являются родовыми признаками «мужа судьбы». Потерпев поражение в этом споре Евгений, подобно Наполеону, оказывается на «пустынном острове», где и умирает. Описание «острова малого» на взморье удивительно напоминает описание о. Св. Елены, сделанное Пушкиным в стихотворении «Наполеон» (II, 216).

²² Ср.: «Я видел Сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лука, X, 18).

²³ *Зеленин Д. К.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Л., 1929. С. 193—208.

²⁴ См.: *Борев Ю. Б.* Основные эстетические категории. М., 1960. С. 325; *Еремина Л.* Почему всадник — медный // Наука и жизнь. 1978. № 2. С. 129; *Хаев Е. С.* Эпитет «медный» в поэме «Медный всадник» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 180—184.

²⁵ См.: *Хаев Е. С.* Указ. соч. С. 182.

²⁶ В начале XX века именно эта ассоциация стала, по нашему мнению, источником поэтического образа, созданного Иннокентием Анненским:

«Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол».

(«Петербург», 1910)

²⁷ *Байрон Д.* Полн. собр. соч.: В 6 т. СПб., 1894. Т. 4. С. 73. Ср.: «... a haughtily, dark, And deadly face; I couldn't recognise it Yet I had seen it, though I knew not where: The features were a Giant's. And the eye was still, yet lighted; his long locks curled down On his vast bust, whence a huge quiver rose, With shafts feathered from the eagle's wing, That peeped up bristling, through his serpent hair» (Byron; Works. London, 1901. Vol. V. P. 76).

²⁸ См.: *Фомичев С. А.* «Подражание корыну»: генезис, архитектоника и композиция цикла // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л., 1981. С. 34—36.

²⁹ *Анциферов Н. П.* Указ. соч. С. 61.

³⁰ В. В. Виноградов считает наиболее характерной чертой библейского стиля в русской литературе первой трети XIX века «цепь вопросительных предложений» (*Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941. С. 494).

³¹ *Лотман Ю. М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры Петербурга. Тарту, 1984. С. 31.

³² *Назирова Р. Г.* Указ. соч. С. 122—135.

³³ Н. И. Михайлова показала насколько важны для «Медного всадника» церковные проповеди, посвященные петербургскому наводнению и пронизанные библейской символикой (см.: *Михайлова Н. И.* К литературному фону поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» // Болдинские чтения. Горький, 1986. С. 161—165).

³⁴ *Живов В. М., Успенский Б. А.* Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 47—153.

³⁵ См. об этом: *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Миф — имя — культура // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6. С. 297.

³⁶ См.: *Живов В. М., Успенский Б. А.* Указ. соч. С. 125—126.

³⁷ «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; зыводить свое на сцену было бы почти нарушением святыни. И потому

совершенно неприлично. Не позволять печатать» (Резолюция Николая I // Русская старина. 1903. № 2. С. 315—316).

³⁸ См.: *Зенгер Т. Г.* Николай I — редактор Пушкина // Лит. наследство. 1934. Т. 16—18. С. 522—530; *Осват А. Л.* «Судьба с неведомым известьем...» // Осват А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...». М., 1985. С. 21—23.

³⁹ *Пумпянский Л. В.* Указ. соч. С. 123.

⁴⁰ См.: *Шмурло Е.* Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912. Вып. 1. С. 61—91.

⁴¹ О знакомстве Пушкина с «Записками» Шербатова см.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 576—577; об интересе поэта к «Записке» Карамзина см.: *Вацуро В. Э., Гилельсон М. И.* «Сквозь умственные плотины...». М., 1986. С. 101—102.

⁴² См.: *Алексеев М. П.* Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 217—218.

⁴³ Так, например, факт перенесения столицы из центра России на периферию империи вызвал недоумение Вольтера, де Сталь, Ансело. См.: *Вацуро В. Э.* Пушкин и проблемы бытописания // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 165.

⁴⁴ См.: *Ланда С. С. А. С.* Пушкин в печати Польши в 1949—1954 // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1956. Т. 1. С. 408—472; *Нольман М. Л.* Полемическое начало в поэме «Медный всадник» // Учен. зап. Костромск. пед. ин-та. Кострома, 1966. Вып. 13. С. 13—18; *Измайлов Н. В.* Указ. соч. С. 137—139. Мы привели работы библиографического характера.

⁴⁵ Цит. по русскому подстрочному переводу, выполненному Н. К. Гудзием для М. А. Цявловского (*Пушкин А. С.* Медный всадник. Л.: Наука, 1978. С. 141).

⁴⁶ См.: *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 185.

⁴⁷ Батюшков: «И в самом деле, время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхность величественной, первой реки в мире, и я приветствовал мысленно богиню Невы словами поэта:

Обтекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова.

(Н. М. Муравьев. «Богиня Невы»)

Великолепные здания, позлащенные угренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: „Какой город! Какая река!“» (*Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. Л.: Наука, 1978. С. 75).

Мицкевич:

Подобно замерзшему лицу мертвеца,
Которое, отогревшись в комнате перед печью,
Но набравшись тепла, а не жизни,
Вместо дыхания отдает запахом гниения,
Повеял теплый ветер. Столбы дыма,
Воздушная громада, как призрак царей,
Рухнули и упали на землю,
И по улицам реками плавал дым,
Смешанный с теплым и влажным туманом,
Снег начал таять и, прежде чем минул вечер,
Заливал мостовые стигийской болотной рекой.

(*Мицкевич А.* Олешкевич // Пушкин А. С.
Медный всадник. С. 139)

⁴⁸ *Назирова Р. Г.* Указ. соч. С. 123.

⁴⁹ *Осват А. Л.* Вокруг «Медного всадника» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1984. № 3. С. 238—247.

⁵⁰ О становлении и развитии темы «Петр—Антихрист» в русской культуре XVIII—начала XIX века см.: *Павлов А. С.* Происхождение раскольничьего учения об антихристе // Православный собеседник. 1858. Май; *Соловьев С. М.* Сказка о Петре Великом // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1860. Кн. 4. С. 2; *Есипов Г.* Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1863. С. 3—84; *Мельников П. И.* Исторические очерки поповщины. М., 1864. Ч. 1. С. 70 и след.; *Пыпин А. Н.* Петр I в народном предании // Вестник Европы. 1897. Ч. VII. С. 670—672; *Баснин П. Н.* Раскольничьи легенды о Петре Великом // Исторический вестник. 1903. Т. 92. С. 513—548; *Бороздин А. К.* Очерки русского религиозного разномыслия. СПб., 1905. С. 104—106; *Шмурло Е.* Указ. соч.; *Мельц М. Я.* Исторические песни и предания начала XVIII века // Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. Т. 1. С. 466—488; *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. С. 91—124; *Успенский Б. А.* Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 286—

292; Гурьянова Н. С. Крестьянский антимоноархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988. С. 38—60.

⁵¹ «В поведении Петра современники не могли не усматривать притязания на божественные prerogatives, и это поведение тем самым в точности соответствовало их представлению о поведении Антихриста (идушему от новозаветного текста)» (Успенский Б. А. Указ. соч. С. 289).

⁵² Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 109.

⁵³ Цит. по: Гурьянова Н. С. Крестьянский антимоноархический протест. С. 44.

⁵⁴ Там же. С. 123.

⁵⁵ Андрей Иоанов, протоиерей. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разгласиях. СПб., 1831. С. 151.

⁵⁶ См.: Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 3. В библиотеке Пушкина имеется еще одно антираскольничье сочинение: Розыск о Раскольнической Брынской Вере, о Учении их, о Делах их, и Изъявление, яко вера их неправа... М., 1824 (Там же. С. 86). Кроме того, имелась, но была утрачена книга: Беседы к глаголаемому старообрядцу. М., 1835 (Модзалевский Л. Б. Библиотека Пушкина: Новые материалы // Лит. наследство. 1934. Т. 16—18. С. 991).

⁵⁷ Раскольничий «Апокалипсис» // Чтения в Обществе по изучению истории и древностей. 1859. № 4. С. 14—15.

⁵⁸ См.: Шмурло Е. Указ. соч. С. 24.

⁵⁹ Поэты 1840—1850-х годов. Л., 1972. С. 201—202.

ОБЛОМОВ КАК ЧЕЛОВЕК-ОБЛОМОК

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ «ГОНЧАРОВ И ШИЛЛЕР»)

ЗАМЕЧАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Со времени появления романа «Обломов» в 1859 году мнения о его главном герое разделились. Начало этому было положено русской критикой, выразившей в рецензиях того же года два противоположных взгляда. В то время как А. В. Дружинин узнал в Обломове весьма симпатичного современника, который за его сердечную мягкость «стоит беспредельной любви»,¹ Добролюбов увидел обломовщину с ее отталкивающей «ленью и апатией», характерной для «лишних людей». ² Противоположные суждения подобного рода встречаются и по сей день. Одни считают Обломова «обрюзглым лентяем»,³ духовно-нравственным нулем и «мертвой душой»,⁴ инфантильным невротиком,⁵ «безвольным психопатом»⁶ или паразитом;⁷ другие же видят в нем мудреца и созерцателя, подчеркивая его «духовную силу», образ, созданный во хвалу личности, или даже святого.⁸

Кроме того, существуют попытки толковать Обломова как анархиста или нигилиста.⁹ В целом же остается впечатление, что гончаровский герой принадлежит к типу «знакомого незнакомца», который в равной степени соотносится и с мечтой об идеале, и с карикатурой на него. Все единодушно лишь в том, что Обломов представляет собой «коренной тип» русской жизни, даже «мифический символ» России вообще.¹⁰ Уже в 1885 году Е. Цабель выразил немецкую точку зрения на «Обломова» как на «характеристику нашего восточного соседа» и «совершенно необходимое произведение». ¹¹ Сам Гончаров считал, что его герой воплощает собой «элементарные свойства русского человека». ¹²

Эта сосредоточенность на «русском типе» обусловила тот факт, что вопрос о западноевропейских связях романа долгое время по-настоящему не рассматривался. В течение десятилетий не предпринималось ни одной серьезной попытки соотнести роман «Обломов» с западной литературой и философией. Критика сосредоточивалась в первую очередь на социально-исторической проблематике «лишнего человека», на противостоянии дворянства и буржуазии, а также на внутренних соотношениях романа с развитием русской литературы и творчеством Гончарова в целом. Лишь в последнее время исследователи стали больше заниматься имманентными аспектами произведения, такими, как структура повествования, образность и типизация, а также вопросы женской эмансипации (Ольга), психологической интерпретации и возможностями религиозно-библейского толкования.¹³ Сюда же относятся имагологические изучения ¹⁴ и попытки общей интерпретации.¹⁵ Особое место занимают исследования, которые исходят из философского определения скуки.¹⁶ Основа тому была заложена в 1947 году работой В. Рема «Гончаров и скука», обращающейся к западной философии и в первую очередь к Паскалю и Кьеркегору. Хотя Рем опирается исключительно на типологическое, а не генетическое сходство, его метод представляется весьма плодотворным. Он подходит к Обломову с меркой нравственно-идеалистической и приходит к выводу, что

герой в своем «ничего неделании» теряет свое «лучшее Я» и тем самым лишается «высокой человечности». По мнению Рема, Обломову «просто лень жить», следствием чего является «исчезновение настоящей духовной жизни, исчезновение души».¹⁷

Вслед за Ремом Сечкарев в объемном труде об «Обломове» исходит также из категории скуки (*boredom*) и считает неизбежной дискуссию о «философских предпосылках» романа.¹⁸ В частности, он указывает на «явные параллели» с Шопенгауэром, хотя и придерживается мнения, что прямые соответствия с ним недоказуемы.¹⁹ Позднее, вслед за Сечкаревым, аналогичную точку зрения высказал Я. Т. Баер.²⁰ Х. Роте предполагает у Гончарова «импульсы» Гете, объявляя, однако, вопрос об их силе и свойствах «совершенно открытым».²¹

В последнее время проблема литературно-философской ориентации Гончарова с учетом западноевропейских источников наиболее четко была поставлена советским исследователем В. Мельником. Мельник считает первоочередной задачей установление «философского базиса» произведений Гончарова и их «глубинных отношений» с литературно-философским наследием Западной Европы. По мнению ученого, Гончаров столь определенно ориентировался на предшественников в их поиске «смысла человеческого существования», что можно даже говорить о генетическом родстве их сочинений.²² Однако здесь полностью отсутствует конкретный анализ, что обусловлено прежней недооценкой связей Гончарова с Западной Европой. В. Мельник пытается заполнить этот пробел тем, что обращается прежде всего к отношению Гончарова к Руссо и Винкельману, а затем к Сервантесу и Шекспиру.²³ При этом исследователь справедливо замечает, что рассмотрение возможных текстуальных переключек не умалило бы творческой заслуги Гончарова.²⁴ Работу Мельника можно рассматривать как новое направление в изучении Гончарова, хотя в отдельных случаях выводы исследователя являются спорными.

ГОНЧАРОВ, «КОРИФЕИ» И ШИЛЛЕР

При определении литературно-философской основы творчества Гончарова следует учитывать характер образованности писателя. Гончаров неоднократно упоминал в письмах и автобиографических заметках о своей «охоте к чтению», знании языков и основательных занятиях не только русской, но и иностранными литературами. Он владел немецким, французским и английским языками, а также латынью. По собственным словам, писатель был в состоянии читать в оригинале «образцовые произведения» великих поэтов и философов и даже иногда переводить их для личного пользования (см.: VII, 222, 225, 246, 256; VIII, 420). «Тесное знакомство с корифеями французской, немецкой и английской литератур» в данном случае было очевидно (VII, 218). Но особенно подробными и глубокими явились занятия немецкой классикой, в то время как от чтения новейшей французской литературы писатель весьма скоро «отрезвился» (VII, 221; VIII, 421; см. также: IV, 186). В тридцатые годы Гончаров слушал в Московском университете лекции Надсждина и Шевырева по западноевропейской литературе, а также по теории литературы, искусству и философии. Известно, что в центре этих лекций находились немецкие идеалисты и классики.²⁵ Центральной фигурой и одним из «корифеев» был для Гончарова Шиллер. Он относился к авторам, которых переводил русский писатель. В автобиографической заметке, появившейся в год опубликования «Обломова», Гончаров писал о периоде своей чиновничьей службы в Петербурге (1835—1852 годы): «Все свободное от службы время посвящал литературе. <Гончаров> много переводил из Шиллера, Гете (преимущественно

сочинения); а также Винкельмана, отрывки некоторых английских романистов, а потом уничтожил» (VII, 219; здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, курсив мой. — П. Т.).

То же самое, с указанием на *Шиллера*, Гете и Винкельмана, он повторил и в своих поздних письмах.²⁶ Чтение и переводы «корифеев» стали важнейшей основой духовной биографии Гончарова и его литературного ученичества.

Имя Шиллера появляется и в гончаровских романах. В «Обыкновенной истории» юный Александр Адуев наряду со службой занимается переводами из *Шиллера* и в своей теории «изящного» ссылается на Гете и *Шиллера* (I, 86, 131). В молодые годы Обломов также занимался переводами и хотел вести жизнь «художников и поэтов». Его девизом было следующее: «Вся жизнь есть мысль и труд» (IV, 184). Что из этого получилось, нам известно. Однако весьма показательно, что Штольц во время своих увещательных бесед спрашивает Обломова, не забыл ли он Руссо, *Шиллера*, Гете, Байрона (IV, 186). Обломов отвечает как на «исповеди»: в то время он был полон грез, надежд, планов, но теперь все «непостижимым образом погасло».

Этому диалогу принадлежит решающее место в романе. Речь идет о четвертой главе его второй части, содержащей первое развернутое определение «нормы жизни». Здесь Гончаров заставляет Штольца и Обломова спорить о прежнем «идеале жизни», причем Штольц впервые произносит ключевые слова — «обломовщина» и девиз «Теперь или никогда» (IV, 183—189). Так ставится «вопрос Обломова» — способен ли Илья Ильич к действительной жизни, сможет ли он сбросить «халат» не только со своих «плеч», но и с «ума и души» (IV, 188). Этот вопрос, как указывает повествователь, для героя важнее, чем «гамлетовский».

Отсюда следует: в наиболее «программном» месте романа забвение Обломовым «корифеев» и его отказ от действительной, ориентированной на идеалы жизни ставятся в *причинную* связь. Забыв Гете и Шиллера, отложив книги и переводы, отказавшись от путешествий с посещением университетов и собраний искусства Западной Европы, Обломов, как позднее неоднократно повторяется в романе и становится его лейтмотивом, погрузился в «болото» и опустился «на дно». Поначалу это крушение не казалось неизбежным. В романе много говорится о первоначальном восхищении юноши Обломова «поэтами», о «расцветании» его сил, о надеждах на будущее и желании идти по жизни «разумною и светлой дорогой» (см.: IV, 57, 64, 186 и др.). И все-таки герой отказывается от «арены жизни» и тем самым от плодов путешествий и образования. Рим и Микеланджело, швейцарские горы, город Шиллера Йена, Лондон, Париж — все это, в отличие от Штольца, недоступно Обломову. Вместо этого он полуспит в своей второй Обломовке, где нет места Аполлону Бельведерскому, Тициану и Шиллеру.²⁷

Споры о «норме жизни» ведутся Штольцем и Обломовым с неравных позиций и с разной интенсивностью. Аргументы Штольца убедительны — провозглашенный им и действительный его образ жизни полностью соответствуют друг другу. В его дальнейшей жизни с Ольгой предусмотрена учеба, наслаждение искусством, чтение «поэтов», путешествия в Италию. Несмотря на непрерывную деятельность, в его жизни, особенно в минуты счастья, царили «гармония и тишина» (IV, 452—462). Обломовская же мечта о райской жизни опровергается уже самим Обломовым, когда он в повторяющиеся, так называемые «ясные минуты» самопрозрения осознает ничтожность своего существования и понимает, что нормой его жизни стало не «человеческое назначение» и не «рост нравственных сил», но апатия и лень (IV, 98). Тогда его терзают «жгучие упреки совести» и он плачет «холодными слезами безнадежности» (IV, 99, 480). Его характеризует не мудрое решение ничего

не делать, напротив — он обречен на безделье вследствие привычки и моральной слабости.²⁸ Шиллеровский идеал воспитания человека в нем не реализовался.

«ЧТЕНИЕ МЕЖДУ СТРОКАМИ»

Все вышесказанное доказательно свидетельствует о том, что авторский замысел романа «Обломов» не может быть понят без знания Шиллера. Гончаров несомненно считал, что читатель дополнит в своем воображении данную автором «идею» литературного произведения (VIII, 244). По его мнению, лишь тот человек поймет его романы, который способен постичь скрывающиеся за образами и описаниями «идеи», а также читать «между строками» (VIII, 102, 146 и др.). Именно в этом смысле Гончаров чувствовал себя непонятым и был огорчен, что никто так и не разделил его мыслей: «Напрасно я ждал, что кто-нибудь и кроме меня прочтет между строками, и, полюбив образы, свяжет их в одно целое и увидит, что именно говорит это целое? Но этого не было» (VIII, 102).

Вследствие сосредоточенности на актуальных вопросах русской жизни современная писателю критика не была склонна к обобщенному «эстетическому» восприятию его произведений. Рано умерший Белинский, по мнению Гончарова, напротив, обладал такой способностью, так как был знаком с Гегелем, Шиллером и Гете (VIII, 96, 102). Даже учитывая излишнюю ожесточенность стареющего Гончарова, связанную с поверхностными и зачастую нелюбезными откликами на его последний роман «Обрыв», можно все-таки увидеть за приведенными высказываниями принципиальную позицию по отношению к читателю. Гончарову нужен активный читатель — соавтор, толкователь, способный независимо от злобы дня воспринять идейную и эстетическую сущность произведений. Писатель со всей определенностью высказывается против утилитаризма, свойственного, по его словам, «нео- или ультра-реалистам», которых он упрекает в том, что они возвели в основной принцип искусства насущную злобу дня и пустое копирование действительности «как она есть» (VI, 446; VIII, 140). Истинный художник не должен, по его мнению, ограничиваться изображением хаотически-эфемерных вопросов сегодняшнего дня и «микроскопических явлений жизни». К вопросам искусства в большей степени принадлежит «стремление к идеалам», и он — Гончаров — хотел бы придерживаться здесь «знаменитых авторитетов» и «школы *старых учителей*» (VI, 449, 457; VIII, 140, 145).

Совершенно очевидно, что это признание дает широкие возможности для истолкования романов Гончарова. Он сам имеет в виду читателя, способного читать «между строками».

«СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ» И «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Если, по нашему предположению, «между строками» романа «Обломов» прежде всего прочитывается Шиллер, то следует привести здесь дальнейшие доводы. Мы попробуем сделать это в первую очередь относительно понятия и предмета «идеала». В первой половине XIX века, особенно в двадцатые—сороковые годы, «стремление к идеалу» наряду с «прекрасной душой» и «человеческим назначением» принадлежало к наиболее употребляемым выражениям русских романтиков и идеалистов. В это же время происходит действие романа «Обломов». Восприятие же идеала восходило, даже основывалось прежде всего на глубоком увлечении Шиллером. Ведь Шиллер был для

русских «поэтом идеала», «поэтом мысли» и «певцом мечты». Его оценивали как «колоссальную фигуру», «певца свободы», «пророка гуманности», чьи стихотворения вызывали «глубокое восхищение». ³⁰ Огарев признавался: «Шиллер был для меня всем — моей философией, моей гражданственностью, моей поэзией»; Боткин добавлял: «Виноват ли я в том, если мне баллады Шиллера в тысячу раз больше волновали сердце, нежели русские сказки и старинные сказания о князе Владимире?» ³¹ Веймар и Йена с их памятными местами Гете и Шиллера стали для многих русских местом регулярного паломничества, где встречались «родные души». ³² А. Герцен охарактеризовал это время родства душ в своих воспоминаниях «Былое и думы» как шиллеровский период. ³³

В той же обстановке русской шиллеровской эйфории, что до сих пор в полной мере не учитывается исследователями, существовал и Гончаров. ³⁴ В его письмах, воспоминаниях и литературных статьях есть много высказываний о необходимости идеала и об идеалистическом восприятии литературы. Еще из московских лекций Надеждина и Шевырева Гончаров узнал и полюбил, как он сам неоднократно писал, «идеалы добра, правды и красоты» (VII, 225; VIII, 422). Именно по законам «красоты» и «совершенства», в духе «разума и морали» воспитывался он сам и молодежь его времени.

Здесь следует добавить, что Гончаров сравнивает воспитание, направленное к идеалу, с воспитанием Обломова и приходит к однозначному выводу. С особой силой это проявилось в одном из писем от июня 1860 года к С. А. Никитенко о порочности обломовщины. «Обломовское воспитание», по Гончарову, не представляет собой ничего, кроме «грубости и грязи», «растления понятий и нравов», «предрассудков» и «летаргического сна» (VII, 285). Отсутствие истинного воспитания и самовоспитания исключает «исполнение долга» и «человеческое назначение». И ему, Гончарову, угрожало это «болото», но живая натура, сила воображения и «стремление к идеалу» спасли его (Там же). И тут писатель добавляет: «Если я романтик, то уже неизлечимый романтик, идеалист» (VII, 287).

При просмотре писем, статей и мемуаров Гончарова обнаруживается множество подобных мест. Так, в одном из августовских писем 1860 года он различает две формы равнодушия: изначальную или же очень быстро приобретенную «скотскую апатию» лени и возникшую лишь после долгой борьбы «усталость души» как «резигнацию» (покорность необходимости) (VII, 307). Он совершенно не сомневается, что именно в русской Обломовке рождается чуждая жизни склонность искать решение вопросов не направленными усилиями, а в мечтательных снах. Деятельность, по Гончарову, тоже форма «наслаждения» (VII, 305). «Резигнация» появляется лишь как результат длительного труда, рефлексии и нужды, после того как *вера* и *надежды* поколеблены жизненной реальностью (VII, 307). Мне представляется очевидным, что такое, как бы облагороженное понятие резигнации созвучно шиллеровскому стихотворению «Резигнация» («Отречение») и его учению о «покорности перед необходимостью». ³⁵ Заключительные строфы «Резигнации» («Отречения») подтверждают это. Там не только сказано: «А верующий — благу земных липейся», но и «Надеявшийся награжден не мало, — / Награду вера всю в себе несет». ³⁶

Надежда и вера обуславливают поиск идеала. Гончаров противится изображению жизни «как она есть»: «стремление к идеалам», по его мнению, совершенно необходимо, потому что оно принадлежит к «органическим свойствам человеческой природы» (VIII, 140, 306 и др.).

Отрицание идеалов есть отрицание искусства, целью же художника, его фантазии должно быть «усовершенствование» человека, т. е. проповедь «добра, правды и красоты» (VI, 147).

Слово «воспитание» также принадлежит к ключевым понятиям гончаровского творчества. Всякий, желающий достичь «достоинства человеческого назначения», должен быть воспитан соответствующим образом. Отсутствие воспитания или же неверное воспитание, например привычка к бездеятельности, «портят» человека. Свое понимание воспитания Гончаров определяет двусторонне: прежде всего, это «нравственное воспитание», а затем «эстетическое» (ср. VI, 430, 437, 459; VIII, 285, 352). По нашему мнению, здесь, а также в определении идеалов выявляются прямые соответствия с шиллеровским сочинением «Об эстетическом воспитании человека».

Именно в романе «Обломов» проблемам воспитания принадлежит центральная роль. Образы Обломова и Штольца демонстрируют результаты двух диаметрально противоположных «систем воспитания» (IV, 143). В обломовском сне предстает некая педагогическая идиллия, согласно которой «норма жизни» состоит в умерщвлении «вечных устремлений», так что попытки маленького Ильи Ильича вырваться из-под опеки разбиваются в прах и его силы «увядают» (IV, 124, 144). В «ужасной жизни», в мертвой тишине Обломовки человек формируется под диктатом материальности и цикличности, он заброшен и забыт (IV, 120, 126). Обломовка демонстрирует ужасающую картину упадка воспитания в провинции, где нет места шиллеровским идеалам физического, нравственного и эстетического совершенствования. Даже леньность слуги Захара связывается с его «лакейским воспитанием» (IV, 75). Ольга и, прежде всего, Штолец, напротив, получили «практическое» и «здоровое воспитание», которое включает и «вечную устремленность», и разумный поиск идеалов.³⁷ Как для Обломова, так и для Ольги, а в конце и для сына Обломова — Андрея Штольца выступает в качестве «вождя» и «воспитателя». Попытки помочь Обломову терпят крах, ибо его слабование ведет к обреченности, в то время как Ольга, обладающая большей нравственной силой, при встрече со Штольцем окончательно «довоспитывается» (IV, 413, 458). Таким образом, «идеальный Штолец» берет на себя в романе ту серьезную задачу, которую Гончаров в основе приписывал искусству: «довершать воспитание и совершенствовать человека» (VI, 455). Именно это подразумевал Шиллер под «эстетическим воспитанием человека».

Гончаров открыто провозгласил «стремление к идеалу» главным направлением своих романов. В одном из писем конца лета 1866 года он сообщал, что с самого начала его художественной целью было изображение «идеалиста в высшей степени» (VIII, 318).

Во время работы над «Обломовым», в 1857 году, он признавался: «Меня иногда пугает, что у меня нет ни одного типа, а все идеалы. . .» (VIII, 244). В 1868 году по поводу романа «Обрыв» Гончаров выразил опасение, что в новом романе не сможет подняться «на высоту своих идеалов» (VIII, 338). И наконец, в своем завещании 1879 года «Лучше поздно, чем никогда» он снова, как и во множестве ранних писем, четко характеризует Штольца и Обломова в качестве носителей идей. В то время как Обломов был для него «воплощением сна, застоя, неподвижной, мертвой жизни», Штолец виделся писателю «представителем труда, знания, энергии, словом, силы» (VIII, 113). Вместе с тем он признавал упрек в том, что фигура Штольца несколько бледна и далека от реальности. В виде некоторого пояснения писатель добавлял, что Штолец «просто идея», что из него «слишком голо выглядывает идея» (VIII, 115).

Вдумчивый, все учитывающий Гончаров несомненно отдавал себе отчет в проблематичности «идеалистической» трактовки образов. Очень возможно, что при этом неким оправданием ему служил Шиллер, который в своем сочинении «О патетическом» писал о независимости читательского восприятия нравственных характеров или деяний» в литературных произведениях от их

исторического правдоподобия. И давал этому следующее обоснование: «Удовольствие, доставляемое нам вымышленными характерами, не меньше от того, что они лишь поэтические фикции, ибо всякое эстетическое действие основано на *поэтической*, а не на исторической правде. Поэтическая же правда заключается не в том, что что-либо произошло в действительности, а в том, что оно могло произойти, то есть во внутренней возможности предмета. Таким образом, эстетическая сила должна заключаться уже в представленной возможности» (VI, 219).

Обломов, как можно заключить, открытый Гончаровым исторический тип действительной русской жизни, которому не хватает назначения человека. Этому отрицательному типу писатель противопоставил как положительный тип полунемца-полурусского Штольца, чтобы создать и для России прообраз, исполненный «человеческого назначения». Национальное происхождение Штольца указывает на немецкие литературные и философские корни. С точки зрения нравственного закона Канта и Шиллера, Обломов является героем *ante legem*, Штолец же, напротив, протагонист *sub lege*.³⁸ Обломов со своим утверждением «Имя нам легион» представляет прошлое и настоящее, в то время как возглас рассказчика: «Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» — обращен в будущее (IV, 168, 187). Для Гончарова будущее России немислимо без европейской культуры и «немецкого элемента» (VIII, 116).³⁹ А к «немецкому элементу», по его мнению, как это подтверждает и мемуарная литература,⁴⁰ принадлежит прежде всего Шиллер.

ЧЕЛОВЕК-ОБЛОМОК

В шиллеровском смысле Илье Ильичу недостает «человеческого назначения». Это обнаруживается уже в говорящем заглавии романа «Обломов». Без сомнения, это имя собственное связано общим корнем со словом «обломать», соответственно и «обломок». Возможно, здесь же присутствует и значение «облом» — неуклюжий, неотесанный человек, а также «облый» — круглый, полный.⁴¹ Таким образом, гончаровское название, согласно определению Кржижановского,⁴² можно понимать как обозначающее «книгу in restricto».⁴³ Значение слова «Обломов» предвосхищает смысл романа и противоречит тем самым современному требованию Умберто Эко, который считает, что название произведения не должно «ни затемнять, ни определять его смысла».⁴⁴

«Обломок», «обломки», — распространенный образ в русской литературе. Пушкин говорит об «обломках самовластья» («К Чаадаеву») и о «родов дряхлеющих обломках» («Моя родословная»); Тютчев также упоминает «обломки старых поколений» («Как птичка раннюю зарю...»); Герцен наполняет этот образ конкретным содержанием, изображая природные катастрофы древних времен,⁴⁵ а Бальмонт заканчивает свое стихотворение «Подводные растения» словами: «... лишь трупы и обломки кораблей».

Фамилия Обломов сигнализирует о доминанте фрагментарности и отсутствии цельности. На месте целого находятся распадающиеся остатки того, что когда-то было заложено и могло бы стать единым целым. Гончаров показывает Обломова, в первую очередь, в «археологической перспективе», в то время как «эсхатологическая перспектива»⁴⁶ возникает лишь в юноше Обломове как его потенциальная возможность и таким образом исчезает еще в предыстории. Высокие «порывы», связанные с Ольгой, лишь мимолетные вспышки, и сама Ольга в конце осознает, что она любила только «будущего Обломова» (IV, 375; ср. также: С. 254). «Руина» Обломов свидетельствует

более о потерянных возможностях, нежели о будущих, которые связаны со Штольцем и Ольгой.

Соответственно определение «обломовщина» уже грамматически получает пренебрежительную, «исключительно негативную окраску». ⁴⁷ Не случайно разрушающиеся дома в Обломовке описываются как «обломки» и «развалины», не случайно сам Обломов сравнивается с «дремлющей развалиной» (IV, 99, 127). Ольга же более всего боится, что «здание счастья» рухнет и погребет ее под своими развалинами (IV, 471). Со Штольцем, напротив, все время связываются образы полноты и глубины, «равновесия», «широкой дороги», «развития», «широкой арены всесторонней жизни», «яркой широкой картины» и т. п. (IV, 161, 164, 415, 453, 460, 466). Он обращает внимание как на физическое, так и на духовное, нравственное воспитание. Отвергая обман слепого воодушевления, он понимает простые значения «сердца и любви» (IV, 454, 166). В его жизни есть место не только «практическому» образованию, но и «эстетическому чувству» (IV, 157, 453). В жизненной норме Штольца отражается идеал «цельного человека», как он, прежде всего, описывается в шиллеровском триптихе о физическом, эстетическом и нравственном совершенствовании. В противовес Обломову — человеку-обломку здесь воплощается идеал цельности.

Именно это противостояние части и целого принадлежит к основным положениям шиллеровских писем «Об эстетическом воспитании человека». Мы хотим здесь остановиться лишь на развитой в них теории о человеке-обломке. Для Шиллера высшая «конечная цель» человека состоит в преодолении чисто физического существования, в движении к «разумному назначению» через закон нравственности (VI, 176—177, 255 и др.). В каждом индивидууме существуют задатки «идеального человека» с *цельностью характера*, в котором естественное стремление чувств гармонично сочетается с разумом (VI, 261; выделено в оригинале. — П. Т.). Если древние греки хорошо развивали эти задатки, то «неидеальная действительность» современности, по Шиллеру, выглядит совершенно иначе. Взаимное отчуждение людей, утрата адекватного восприятия действительности, «апатия» и варварство Французской революции свидетельствуют о том, что Просвещение было обречено. В письмах к принцу Ф.-Х. фон Шлезвиг-Гольштейн Августенбургскому, предваряющих трактат об эстетическом воспитании, говорится: «Просвещение, которым не без основания похваляются высшие сословия нашего времени, есть чисто *теоретическая* культура. И в целом оно демонстрирует столь мало облагораживающего влияния на образ мыслей, что более способствует тому, чтобы *признаки разложения произвести в систему* и сделать неисцелимыми. Утонченный и последовательный эпикуреизм начинает *душить всякую энергию характера*, все сильнее сжимающиеся оковы потребностей и увеличивающаяся зависимость человека от уз физического повсеместно ведут к тому, что *принципы пассивности* и страдающей покорности *считаются высочайшей жизненной мудростью*, отсюда ограниченность в мышлении, бессилие в действии». ⁴⁸

Трактат о воспитании углубляет и заостряет эту мысль: вместо нравственного закона усиливаются, особенно среди представителей цивилизованных классов, «узы физического», «расслабление и порча характера». Современные люди погубили свои задатки и превратились в «обломки» и «*захиревшие растения*» (VI, 264). По мнению Шиллера, расхлябанность и нецельность суть приметы современного характера, так как законы и нравы, разум и фантазия, труд и наслаждение, усилие и вознаграждение «оторваны» друг от друга. Потеря принципа единства определяет нецельность человека; вывод Шиллера гласит: «Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, человек сам становится *обломком*. . .» (VI, 265). ⁴⁹

Эти люди-обломки, по Шиллеру, представляют собой лишь «безжизненные части» застывшего бытия, похожего на механическое движение «часового механизма» (IV, 265). Вспомним, что таким же образом — как часовой механизм — характеризуется сонная жизнь у Агафьи, что Обломов, подобно ей, неоднократно сравнивается с машиной (IV, 134; ср. там же, 129, 132 (формула движения «взад и вперед»), 344, 380, а также 356, 377, 384, 486). Обломовка маленького Илюши и вторая Обломовка у Агафьи, согласно шиллеровским положениям, действительно представляют собой «систему разложения». Обломовка — это развалины морально-эстетического воспитания.

Каковы же глубинные причины потери цельности и вместе с нею достоинства? Шиллер убежден: это лень мысли и поступков, базирующаяся на слабости воли. Особенно нехорошо, даже достойно презрения, «*расслабление*» тех людей, которые хоть и не нуждаются в борьбе за материальный достаток, но слишком уж покорно погружаются в лень и самообман. Шиллер, по сути, описывает Обломова, когда говорит о таких людях: «Они предпочитают сумерки темных понятий, вызывающих живое чувство, — причем фантазия создает по собственному желанию *удобные образы*, — лучам истины, изгоняющим приятные *призраки их сновидений*. Они основали все здание своего благополучия именно на этих обманах, которые должны рассеяться пред враждебным светом познания. . .» (VI, 274).

Автономность и достоинство человека, по Шиллеру, заключается во «внутренней свободе» воли. Эта «царственная прерогатива» предоставляет воле «совершенно свободный выбор между обязанностью и склонностью» (VI, 258). Свобода воли является решающей инстанцией: «В человеке нет иной силы, кроме его воли, и только то, что уничтожает человека, смерть и потеря сознания, может уничтожить в нем внутреннюю свободу» (VI, 315).

Тем самым утверждается ответственность человека за воспитание и самовоспитание. В то время как Штольц и Ольга характеризуются «силой воли», Обломов располагает лишь «скудным остатком» воли, а в конце «сила и воля» исчезают у него вовсе (IV, 99, 186, 189).

Размышления Шиллера, как он сам указывает, непосредственно связаны с Кантом и, прежде всего, с его статьей «Ответ на вопрос: что есть просвещение?» 1783 года. Знаменитое кантовское определение — превосходное объяснение «обломовского вопроса» и его причин: «*Просвещение есть выход человека из несовершеннолетия, в котором он сам повинен. Несовершеннолетие* — это невозможность жить собственным разумом, без чужого руководства. Вина этого несовершеннолетия не в недостатке разума, но в недостатке решительности и мужества обойтись без чьей-либо помощи. Sapere aude! Имей мужество обходиться *собственным* разумом! — таков девиз просвещения. Лень и трусость — причины того, что большая часть людей. . . в течение всей жизни охотно пребывают в несовершеннолетию».⁵⁰

Обломов страдает, это понимает каждый, от нерешительности, а не от «отсутствия разума». Обломова упрекают (в том числе и Ольга) не только в лености, но и в малодушии (IV, 338). «Природная лень» и «трусость сердца» — вот, по мнению Шиллера, причины стремления человека к «опеке» (VI, 273—274). Из-за неудачного воспитания в Обломовке герой в течение всего романа желает найти опеку. Этого он ждет не только от Штольца и Ольги, но и от Агафьи и Тарантьева. Лень, малодушие и «расслабление» являются, по Канту и Шиллеру, причиной того, что у человека пропадает его «назначение» (Там же).

ПОЛНОТА ОБЛОМОВА

Морально-нравственное «расслабление» Обломова отражается и на его физическом состоянии. Уже в первой главе романа он описывается как обрюзглый, пухлый, бесформенный человек с неопределенными чертами лица; его тело кажется «слишком изнеженным для мужчины» (IV, 7). К этому изнеженному телу в высшей степени подходят широкий «азиатский халат» и «мягкие тапочки». Как уже говорилось, проблема Обломова состоит в том, сможет ли он скинуть халат не только со своих «плеч», но и с «души и ума» (IV, 189). Ответ нам известен. Обломов, обихожанный и оставленный в покое, окончательно погружается в чисто физическое существование — ест, пьет и спит — в доме Агафьи. Он все более полнеет, следствием чего является давно предсказанный паралич.

В исследовании Й. Раттнера 1968 года обломовская болезнь толкуется как «ожирение» (Obesitas) и убедительно объясняется с психосоматической точки зрения.⁵¹ Удивительно, но уже в размышлениях Шиллера можно обнаружить своего рода пророчество относительно судьбы Обломова. Прежде всего, для Шиллера физическое и морально-эстетическое состояния человека неразделимо связаны между собой. Человек в своем «побуждении к форме» должен выиграть «войну с материей», дабы не стать «рабом природы», а затем не превратиться в конечном итоге в жертву страха и ничтожности: «Только там место страху, где масса, грубая и бесформенная, господствует и где в неясных границах колеблются мутные очертания. . .» (VI, 339).

«Побуждением к форме» в широком смысле Шиллер считает все то, чего недостает Обломову и что отличает Штольца: мужество, деятельность и старание, стремление к образованию и укрощение материи, включая физическое воспитание. Человек, пребывающий в мире ощущений и ставящий тем самым «побуждение к форме» на задний план по сравнению с «побуждением к жизни», подчиняет себя животному принципу. «Безграничная продолжительность бытия и благоденствия только ради самого бытия и благоденствия представляют лишь идеал вождения, то есть требование, которое могло бы быть поставлено лишь животностью, стремящейся в безусловное» (VI, 335).

Выше мы уже отмечали, что у Гончарова также речь идет о «животной апатии» лени. Что касается Обломова, то он погружен в мечту об «обетованной земле, где текут реки меду и молока» и все его временные измерения восходят к безграничной продолжительности существования вообще (IV, 183, 486; 125, 135).

Еще отчетливее связь духа и материи проявляется в работе Шиллера «О грации и достоинстве». Шиллер исходит из того, что человеческое «побуждение к форме» выражается уже в телосложении. Сам человек есть «абсолютная первопричина своих состояний», потому что «он является в том виде, который свободно предуказан его чувством и волей, им самим, а не природой, согласно ее необходимости» (VI, 126).

Физиономия, мимика, жесты и телосложение являются конечным выражением формирующегося духа до такой степени, что внешний облик становится символом характера. При этом Шиллер различает «*деятельный дух*» как положительный импульс и «*бездеятельную душу*», не обладающую силой формирования. Живой и деятельный дух облагораживает тело, придает ему законченную форму и индивидуальность, в идеальном случае даже грациозность. Первое относится к Штольцу, обладающему стройным телом и выразительной физиономией.⁵² Грация же становится лейтмотивом в описаниях Ольги (IV, 195, 242, 272, 358). Согласно шиллеровскому утверждению, «грация

может быть свойственна только движению» (VI, 127), и автор часто показывает Ольгу в грациозном движении. Дальнейшая параллель с ее образом узнается там, где Шиллер с грацией связывает пение.

«Нормальным состоянием» Обломова, напротив, является лежание (IV, 8). Он толстый, потому что лежит, и он лежит, потому что у него «бездеятельная душа». По Шиллеру, уже одно это обстоятельство может привести даже изначально прекрасное тело к потере формы. Если «спокойный ритм физической жизни» определяется лишь «делом пропитания и деторождения», тело в конце концов разрушается. В итоге доходит до того, «что *масса* постепенно возобладает над *формой* и действительный инстинкт созидания сам уготовит себе могилу в *накопленном материале*» (VI, 137—138).

Обломовка — место, где пропитание, деторождение и смерть образуют ритм жизни. Этот ритм, как ход часового механизма, повторяется и в доме Агафьи. Непосредственно с образом Обломова связан и образ могилы. Обломов даже хорошо сознает, что «сам копает себе могилу» (IV, 186; см. также 76, 99, 395, 481 и др.).

К вышецитированному рассуждению о победе телесной «массы» Шиллер прибавил одно замечание, которое может служить просто классическим объяснением «полноты» Обломова: «. . . большей частью такая красота телосложения заметно грубеет в среднем возрасте от *полноты*; вместо тонких, еле намеченных очертаний кожи появляются углубления и вздутые складки, *тяжесть* исподволь влияет на форму, и восхитительная пестрая игра красивых линий на поверхности скрывается в однообразной пухлости жирового покрова. Природа отнимает то, что дала» (VI, 138).

Здесь Шиллер еще раз указывает на подчиненность духа таким же правилам. Кто упускает возможность «укрепить себя убеждениями, вкусом и знаниями», опускается сначала до духовной, а затем и физической бесформенности (VI, 138). Ожирение и апатия — опять-таки, с точки зрения Шиллера, следствие того, что человек терпит крах на всех уровнях «человеческого назначения». Лишь тот, кто достигает «эстетического состояния», может преодолеть «физическое» и достичь «морального» (VI, 138—139). У Обломова отсутствует «деятельный дух», и попытки Штольца воспитать его как в физическом, так и в нравственном отношении обречены на провал (IV, 168).

ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ

Противопоставляя «деятельный дух» «бездеятельной душе», Шиллер поясняет эту антитезу: деятельный дух, который одновременно является «моральным», дает человеку звание творца; при отсутствии же этого звания человек не вызывает «почтения», потому что «чисто органические существа достойны уважения как *создания*; человек может внушить нам почтение лишь как *создатель* (как самостоятельный творец своего состояния). Он должен не только отражать лучи чужого, хотя бы божественного разума, подобно прочим существам чувственного мира, но он должен, как солнце, светить собственным светом» (VI, 139; выделено в оригинале. — П. Т.).

Подобные понятия и образы в качестве основания для аналогичных размышлений находим и в романе «Обломов». И снова в связи с типологическим противостоянием главных героев. В четвертой части романа Штольц возражает Обломову, который оправдывает свое безделье бездарностью и тучностью: «Э, полно! Человек создан *сам устраивать себя* и даже менять свою природу, а он отрастил брюхо да и думает, что природа послала ему эту ношу!» (IV, 397).

Знаменательно, что молодой Обломов думал иначе. В те времена, когда ему были знакомы еще «высокие помыслы», планы на будущее и «стремление куда-нибудь в даль», он был способен представить себя в роли творца: «. . . он не какой-нибудь исполнитель чужой, готовой мысли; он сам *творец* и сам исполнитель своих идей» (IV, 67).

Текстуальные параллели с Шиллером очевидны: Штольц и молодой Обломов представляют себе человека в буквальном смысле «автором себя самого» и «творцом», который не только следует «чужой мысли» и «чужому рассудку». В другом месте Обломов, говоря о себе, приходит к образу полоненного света: «. . . да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне *был заперт свет*, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас» (IV, 187).

Это самосравнение непосредственно соседствует с упреком Штольца в забвении Обломовым Шиллера (IV, 186). Трагедия Обломова заключается в том, что он не пользуется своим «собственным светом», да и не может пользоваться, потому что данный ему природой «светлый принцип» (IV, 168) не становится светочем. Вследствие этого теряется свобода «духа» и «разума». «Мы зависимы лишь как создания чувственного мира; как существа разумные, мы свободны» (Шиллер, VI, 171).

По типологическому замыслу Гончарова, Ольга также обладает достоинством творца. Это нетрудно доказать. «Вулканическая работа» ее духа заставляет Штольца представить себе Ольгу как «мать-созидательницу», как «участницу нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения» (IV, 461). В то время как Обломов остается на уровне «творения», Ольга в «одном существовании» со Штольцем в творческом движении приближается к цели человеческого назначения, соответствуя тем самым, вместе со Штольцем, шиллеровскому требованию: «Живи со своим веком, но не будь его творением. . .» (VI, 278).

«ПРЕКРАСНЫЙ ХАРАКТЕР» И «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

Гончаров связан с Шиллером столь существенными соответствиями, что можно говорить о *генетическом* сходстве. Предпосылкой этому послужило, в первую очередь, доказуемое знакомство писателя с сочинениями Шиллера, которые он частично даже переводил. Тем важнее признание обоими авторами постулата воспитания. Подобно Шиллеру, Гончаров был за воспитание, основанное на идеалистических принципах, с целью «совершенствования человека». Это совершенствование должно коснуться как «физического», так и «эстетического», а в конце концов и «морального состояния» человека. Оба возводят в правило идеалы добра, правды и красоты, для обоих *искусство* является инструментом, с помощью которого можно «облагородить» характер (Гончаров, VI, 455).

Здесь взгляды Шиллера и Гончарова в корне отличаются от учения Руссо, поэтому тезис В. Мельника о Гончарове — продолжателе французского философа требует основательной проверки. Еще Шиллер критиковал Руссо за то, что он более придавал значения «физическому покою», нежели «моральному согласию», отказываясь в конце концов от искусства и «принижая» идеалы. Руссо слишком много обращал внимания на «ограниченность» и слишком мало — на «возможности» человечества (VI, 424).

Гончаров и Шиллер связывают необходимость воспитания с явлениями социального упадка, наблюдавшимися в их время. Оба видят в обществе, и

прежде всего в «цивилизованных классах», несмотря на известное благополучие человека, столь мало интереса к настоящему образованию и гуманности, столь много самообольщения, что они мешают исполнению «человеческого назначения». Если Шиллер уже после 1789 года увидел всеобщее «расслабление» и частое перерождение «нежности. . . в изнеженность» или «спокойствия в апатию» (VI, 305), то Гончаров мог заметить аналогичные явления в современной ему действительности. Потерю идеалов и автономности шиллеровским человеком-обломком можно было наблюдать именно в Обломовке, читай: в России. Чтобы противостоять «неидеалистической действительности», задачей литературы должно стать стремление вырвать человечество из «путялости». ⁵⁴ Воспитательной тенденцией творчества Гончарова объясняется и тот факт, что писатель приветствовал рецензию Добролюбова как «отличную статью» и согласился с его анализом обломовщины (VIII, 273, 275, 105). Писателя и критика объединяет нравственный подход, в то время как их политические воззрения различны.

Гончаров — это просветитель в традиции Канта и воспитатель в духе Шиллера. Он апеллирует к вере в идеал, к рассудку и свободе воли индивидуума. Подобно Шиллеру и Канту, он ищет причины порчи нравов не столько в объективных исторических обстоятельствах, сколько в субъективных слабостях человека. Просвещению противостоят и ошибки воли. ⁵⁵ Исправлять их и подавать пример должна литература, создавая «идеальные характеры», подобные Штольцу и Ольге.

Здесь проявляется *оптимистический* принцип гончаровской мысли. Гончаров согласен с Шиллером, утверждающим: «Можно сказать, что во всякой человеческой личности, по предрасположению и назначению, живет *чистый идеальный человек*. . .» (VI, 258). Вследствие этого убеждения автор-повествователь все время возвращается к «честному сердцу», «чистой душе», «чистому, светлому и *доброму* началу», лежащему в основе натуры Обломова (IV, 168, 376, 473, 496, 500 и др.). И если в герое все-таки отсутствует «человеческое назначение», то это из-за дурного сочетания ложного воспитания с отсутствием самовоспитания. «Отвратительная идиллия» Обломовки и пассивность Обломова обуславливают общим и частным образом отказ от нравственного закона.

Несмотря на все недостатки, Обломов все-таки описывается как «честное сердце» и «чистая душа»; это обстоятельство поначалу удивляет, но и его можно объяснить, исходя из одного аспекта творчества Шиллера. Ведь Шиллер четко различает «прекрасную личность» и «доброе сердце» (VI, 494). Прекрасная личность, как идеальная форма прекрасной души, по Шиллеру, есть совершенство, потому что она ставит идею долга над случайной склонностью и потом соединяет их в гармоническом синтезе. Таким образом, для прекрасной личности «все обязанности будут. . . лишь легкой игрою» (Там же). В ней заключена «воля к свободе разума», а значит, нравственное человеческое существование, потому что «человек. . . есть существо, которое хочет» (VI, 488).

Доброе сердце, напротив, следует прежде всего случайной склонности к добру, не руководствуясь при этом долгом. Поскольку просто доброму сердцу не хватает четкого понятия о долге, оно не в состоянии преодолеть препятствия и достичь идеалов: оно ожидает добра, правды и красоты как не требующих усилий даров существования. Однако тот, кто не овладеет собственными желаниями, кто не «поступает разумно, сознавая и желая» (Там же), по мнению Шиллера, не обладает моральной силой и не может достичь высоты «прекрасного характера». Как идеальный образ, Штольц приближается к этой цели. Но Шиллер словно характеризует и Обломова, когда пишет: «Добрый и прекрасным, но *слабым душам* свойственно нетерпеливо настаивать

на осуществлении своих моральных идеалов и огорчаться встречаемыми препятствиями. Такие люди ставят себя в грустную зависимость от случая, и можно всегда с уверенностью предсказать, что они уделят слишком много внимания материи в предметах морали и эстетики и не вынесут высшего испытания характера и вкуса» (VI, 491).

Обломов — воплощение доброго, но слабого сердца, застывшего в оковах совершенно бессильных желаний. Но и от «сносного персонажа» мы, по выражению Шиллера, в конце концов «отворачиваемся с отвращением» (VI, 222). Штольц же, напротив, олицетворяя единение долга и склонности, в такой степени является поэтическим воплощением моральной силы, что выдерживает «высшее испытание характера», о котором шла речь в трактате Шиллера «О возвышенном» (VI, 491).

Обобщим сказанное. В письмах, воспоминаниях, статьях и романах Гончарова, прежде всего в «Обломове», прослеживаются связи с творчеством Шиллера. Это выражается в сходных идеях, образах, в обрисовке характеров и типе мышления. Уже заглавие романа «Обломов» можно считать отражением шиллеровской образности. Подобно Шиллеру, Гончаров пользуется противопоставлением части и целого. Человек-обломок Обломов противостоит «цельному человеку» Штольцу,⁵⁶ творение противопоставляется творчеству. Даже физиономия и фенотип Обломова обозначены в сочинениях Шиллера. Если Обломов обладает «добрым сердцем», то и это обстоятельство не противоречит нравственной типологии Шиллера. Поэтому неудивительно, что именно он относится к тем «корифеям», о которых «прекрасный характер» — Штольц постоянно напоминает Обломову. Творчество Шиллера было для Гончарова не только философской основой, но и просто «школой старых учителей».

Несмотря на всю очевидность доводов, названные выше определения, соответствия и первые наблюдения нуждаются в дополнении и дальнейшем изучении. На эту тему мною уже готовится публикация, которая должна доказательно продемонстрировать, что «между строками» Гончарова прочитывается проблематика немецкой классической литературы, и прежде всего поэтических и теоретических сочинений Шиллера.⁵⁷

¹ Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983. С. 298.

² Добролюбов Н. А. Русские классики. Избранные литературно-критические статьи. М., 1970. С. 35—69.

³ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. М., 1976. Т. 3. С. 201.

⁴ Rehm W. Gontscharow und die Langeweile: Experimentum medietatis. München, 1947. S. 126. (Wiederabdruck in: ders. Gontscharow und Jacobsen oder Langeweile und Schwermut. Göttingen, 1963).

⁵ Ср.: Rattner J. Verwöhnung und Neurose. Seelisches Kranksein als Erziehungsfolge. Eine psychologische Interpretation zu Gontscharows Roman «Oblomow». Zürich; Stuttgart, 1968, passim.

⁶ Peters U. H. Wörterbuch der Psychoatrie und medizinischen Psychologie. 3 Auflage. München; Wien; Baltimor, 1984. S. 381.

⁷ Landmann M. Das Parasitäre // Denken im Schatten des Nihilismus. FS für Wilhelm Weischedel zum 70. Geburtstag, hrsg. v. A. Schwan. Darmstadt, 1975. S. 362.

⁸ Ср. также: Neuhäuser R. Nachwort // Gontscharow Iwan. München, 1980; Kasack W. // Osteuropa. 1983. № 11/12. S. 976; Louriya Y., Seiden M. I. Ivan Goncharov's Oblomov: The Anti-Faust as Christian Hero // Canadian Slavic Studies. III. 1969. S. 39—68; Das Inselbuch der Faulheit. Frankfurt a. M., 1983.

⁹ См., например: Fröhlich H. J. Oblomow // Die Zeit. 1979. 15 Juni. № 25.

¹⁰ Ср.: Добролюбов Н. А. Указ. соч. С. 41 и Rehm W. Op. cit. S. 124.

¹¹ Zabel E. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885. S. 240.

¹² Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 106. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

¹³ Ср., в частности: *Kroneberg B.* (1975); *Lohff U. M.* (1977); *Russell M.* (1978); *Maegd-Soep C. de* (1978); *Raitner J.* (1968); *Louria Y., Seiden M. I.* (1969) и *A. C. Голубов* (1977).

¹⁴ *Schulz R. K.* (1969); *Boden D.* (1982).

¹⁵ См. прежде всего: *Stilman L.* (1948); *Ehre M.* (1973); *Neumann F. W.* (1974); *Setchkarev V.* (1974); *Seeley F. F.* (1976); а также: *Rothe H.* (1979); затем ср.: *Terry G. M. Ivan Goncharov. A Bibliography.* Nottingham, 1986.

¹⁶ Ср. также: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, hrsg. v. J. Ritter und K. Grunder. Bd. 5. Darmstadt; Basel, 1980, стлб. 28—32, где речь идет о Реме и Гончарове. См. также: *Goerd W. Russische Philosophie. Zugänge und Durchblicke.* Freiburg; München, 1984, 249 ff., а также опирающееся на работу Рема исследование В. Сечкарева: *Über die Langeweile bei Puschkin // Solange Dichter leben. Puschkin-Studien.* hrsg. v. A. Luther. Krefeld, 1949. S. 129—147.

¹⁷ *Rehm* (1947). S. 126.

¹⁸ *Setchkarev* (1974). 148 ff.

¹⁹ *Ibid.* S. 151.

²⁰ *Baer J. T. Arthur Schopenhauer und die russische Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.* München, 1980. S. 7—19.

²¹ *Rolhe H. Goethes Spuren im Beginn des russischen Realismus (1845—1860) // Goethe und die Welt der Slawen*, hrsg. v. H.-B. Harder und H. Rothe. Giessen, 1981. S. 158—173, Zitat 173. Vgl. auch ders. *Oblomow // Der russische Roman.* hrsg. V. B. Zelinsky. Düsseldorf, 1979. S. 112.

²² *Мельник В. И.* Реализм И. А. Гончарова. Владивосток, 1985. Понятие «генетического» родства на С. 31.

²³ *Мельник В. И.* Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов» (К вопросу о соотношении «социального» и «нравственного» в романе) // *Русская литература.* 1982. № 3. С. 81—99.

²⁴ *Мельник В. И.* Реализм И. А. Гончарова. С. 126.

²⁵ Ср.: *Манн Ю.* Факультеты Надеждина // Надеждин Н. И. Литературная критика; Эстетика. М., 1972. С. 3—44, а также: *Udolph L. Stepan Petrovič Sevyrev. 1820—1836. Ein Beitrag zur Entstehung der Romantik in Rußland.* Köln; Wien, 1986.

²⁶ Ср.: *Setchkarev* (1974). 304 f.

²⁷ Об обломовских неуспевшихся юношеских грезах о Риме и «немецких университетах» см. IV, 184. Штольц, напротив, объездил не только всю Россию, но и Западную Европу, к тому же посетил университеты Бонна, Йены и Эрлангена.

²⁸ Ср.: *Thiergen P. Leid — oder Leitfigur? Zu Gontscharows Roman «Obломow» // Neue Zürcher Zeitung.* 1987. № 253. S. 67.

²⁹ С гончаровской критикой «микроскопизма» ср. также его утверждение, что события жизни Обломова приняли «микроскопический размер» и потеряли тем самым «человеческое назначение» (IV, 99).

³⁰ Ср.: *Thiergen P. Turgenevs Rudin und Schillers Philosophische Briefe.* Giessen, 1980. 3 ff., 11 ff., 54 ff.

³¹ *Ibid.* S. 4, 12.

³² Ср.: *Станкевич Н.* Избранное. М., 1982. С. 90, 191.

³³ *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. VIII. С. 149.

³⁴ *Kostka E. K. Schiller in Russian Literature.* Philadelphia, 1965 (обходит Гончарова; вопрос о Гончарове и Гете только ставится); *Gronicka A. V. The Russian Image of Goethe.* Bde. I—II. Philadelphia, 1968/1985 (Гончаров только упоминается). В ранней студии Ю. Веселовского «Шиллер как вдохновитель русских писателей» (*Русская мысль.* 1906. № 2. С. 1—15) Гончаров и вовсе не принимается во внимание.

³⁵ Ср. *Шиллер Ф.* О возвышенном.

³⁶ *Шиллер Ф.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1955. Т. I. С. 148 (выделено в оригинале. — П. Т.). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

³⁷ Ср. главы 1, 2 и 5 во второй части романа.

³⁸ Дословно: «пред законом» и «по закону» (лат.). В данном случае противопоставление антигероя и героя «по праву».

³⁹ В черновиках «Обломова» Штольц носил имя Карл, чем еще сильнее подчеркивался немецкий элемент. В связи с Шиллером здесь вспоминается училище *КарлсшULE.*

⁴⁰ См.: Гончаров в воспоминаниях современников. Л., 1969. С. 30, 166.

⁴¹ Ср. примечания Л. С. Гейро в кн.: *Гончаров И. А.* Обломов. Л., 1969. С. 535.

⁴² *Кржижановский С.* Поэтика заглавий. М., 1931. С. 3.

⁴³ на узкую тему (лат.).

⁴⁴ *Eco U. Nachschrift zum «Namen der Rose».* München; Wien, 1984. S. 11.

⁴⁵ «...Огромные скалы гранита дробились, засыпая своими обломками другие развалины, другие обломки» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. I. С. 13).

⁴⁶ О терминологии см.: *Dällenbach L. Hart Nibbrig Chr. L. (Hrsg.) Fragment und Totalität.* Frankfurt a. M., 1984. S. 7—17.

⁴⁷ Ср.: *Busch W. Russ-ščina als Pejorativsuffix // Commentationes linguisticae et philologicae.* Festschrift für Ernst Dickenmann. Heidelberg, 1977. S. 31—50. Zitat 35 und 37.

⁴⁸ *Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung*, hrsg. V. J. Bolten. Suhrkamp Taschenbuch. Materialien. Frankfurt a. M., 1984. S. 42. Здесь и далее, без специальных указаний, перевод мой. — *Г. Тиме*. Ср.: VI, 262.

⁴⁹ Ср. также: *Мельник В. И.* Реализм И. А. Гончарова. С. 21.

⁵⁰ *Kant I. Werke in zehn Bänden*, hrsg. V. W. Weischedel. Darmstadt, 1968, IX, 53 (выделено в оригинале. — *П. Т.*).

⁵¹ *Rattner. J.* Op. cit. 42 und 75 ff.

⁵² Ср. портреты героев во второй главе второй части романа (IV, 164). Ср. там же: С. 195, 242, 272, 358.

⁵³ Это замечание существует и в старых изданиях Шиллера: ср., например: *Schillers sämtliche Werke*, Bde. I—XII. Stuttgart; Tübingen, 1838. B. XI. S. 353.

⁵⁴ *Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung*, hrsg. V. J. Bolten. S. 42, 39, 51.

⁵⁵ *Ibid.* S. 52.

⁵⁶ О формуле «цельного человека» ср.: Шиллер, VI, 609.

⁵⁷ Статья П. Тиргена «Обломов как человек-обломок (К постановке проблемы «Гончаров и Шиллер»)» переведена с немецкого Г. А. Тиме.

О МНОГОЗНАЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

Многозначность восприятия — это органическое свойство произведений искусства. Недаром Толстой любил повторять, что известное изречение «Книги имеют свои судьбы» в таком, усеченном виде не имеет смысла. Его нужно произносить полно: «Книги имеют свои судьбы в головах читателей» («Habent sua fata libelli pro captu lectoris»).¹

Думается, однако, что степень этой многозначности неодинакова для разных произведений. У некоторых — и «Анна Каренина» в их числе — она так велика, что есть основание говорить о некоем специфическом качестве. Укажем на очевидное. Как ни многопроблемна, например, «Война и мир», как ни сложны ее герои, для всех читателей несомненно: князь Андрей, Пьер, Наташа, Кутузов — это добро, князь Василий, Элен, Наполеон — это зло. В «Анне Карениной» нет и такой ясности — об этом свидетельствуют многочисленные исследования.² Оценка главных героев и ситуаций у многих читателей противоположна прямо диаметрально, а от этого зависит и понимание всей концепции романа в целом.

Сам факт того, что толкование эпиграфа к «Анне Карениной» — это *проблема*, тоже симптоматичен. Ведь эпиграф — по своей сути и назначению — указывает на то, как нужно понимать произведение. Это заставляет предполагать, что «Анна Каренина» как бы «рассчитана» на то, что суждения о ней могут быть и должны быть весьма разнообразны. Таково ее органическое свойство. Сама художественная ткань романа провоцирует эффект многозначности.

Все, кто задумывался над этим феноменом, дают ему одно, как будто наивное, а в сущности единственно возможное и мудрое объяснение: это как жизнь. «Тот, кто изучает „Анну Каренину“, изучает самое жизнь».³ «„Анна Каренина“ — это не произведение искусства, это кусок жизни» (Метью Арнольд).⁴ Фет сказал, что «Анна Каренина» — «живорожденное произведение».⁵ «Анна Каренина», по замыслу Толстого, выражает жизнь «со всей невыразимой сложностью всего живого»⁶ и поэтому вызывает «бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений» (8, 306).

По-видимому, роман моделирует такой аспект понятия «жизнь», который — при корреляции с особенностями эстетического восприятия — дает *повышенный эффект жизнеподобия*.

Наша задача — выявить этот аспект и уяснить, что является его эстетическим эквивалентом в художественной ткани романа.

Трудность этой задачи заключается в том, что художественный мир писателя в целом (и Толстого в том числе) — это динамическое тождество. Чтобы обнаружить специфику «Анны Карениной», естественно сопоставить ее с «Войной и миром». Однако отдельные эстетические категории этих романов то тождественны, то различны, то подобны: иногда речь идет о существенных отличиях, а иногда о нюансах. Поэтому четкость противопоставления невозможна — она ведет к грубости и искажает истину.

* * *

Прежде чем перейти к непосредственному анализу, обратим внимание на одну особенность эстетического восприятия, которая, как кажется, имеет важное значение для решения поставленной задачи.

Объективное содержание произведения искусства никогда не совпадает полностью с тем, как оно живет «в голове читателя». Потому что «образ книги» в голове читателя создается его воображением (см.: 20, 432).⁷ Ключевым, на наш взгляд, является высказывание Германа Гессе: «В то время, когда наша фантазия и ассоциативная способность находятся на высоте, мы все равно ведь читаем не то, что написано на бумаге, но купаемся в потоке озарений и побуждений, изливающихся на нас из прочитанного». Может показаться, что читатель удаляется таким образом от автора, однако напротив, — по замечательной мысли Гессе, — он к нему приближается, ибо «ты потом сумеешь извлечь из Гете, Толстого и всех прочих писателей неизмеримо больше ценностей, больше сока и меда, больше утверждения жизни и тебя самого, чем когда-либо прежде. Ибо произведения Гете — это не Гете, а тома Достоевского — это не Достоевский, это лишь попытка, их отчаянная, никогда до конца не удающаяся попытка укротить многоголосие и многозначность мира, в эпицентре которого они находились».⁸

Настоящее искусство дает именно это чувство многоголосия и многозначности мира, а «укрощает» его читатель несколько иначе, чем автор, ибо любая истина, как говорил Толстой, воспринимается «по-своему, с ограничениями и изменениями» (10, 174).

Укажем на такую закономерность: с каких бы сторон ни подходили исследователи к теории художественного восприятия, из их трудов следует, что эстетическое чувство, удовлетворяя одну потребность, часто отвечает и другой, прямо ей противоположной. К искусству обращаются и для того, чтобы насытить сенсорный голод, но и для того, чтобы сбросить излишек эмоций; знают, что это вымысел, и все же воспринимают прочитанное как самую что ни на есть достоверность.⁹ Жизнь, сотворенная искусством, должна быть одновременно знакомой и незнакомой, похожей на уже известное и непохожей.¹⁰

Кроме того, читатель ищет в искусстве «свое», но жаждет приобщиться и к «несвоему».¹¹

Полюсы, между которыми существует напряжение («это подлинно» — «это вымысел»; «это знакомо» — «это незнакомо»; «это свое» — «это несвое»), обладают даже для одного и того же читателя разной степенью актуальности в зависимости и от этапа его жизни, и от момента чтения, и от многого другого. Но они, эти полюсы, постоянно присутствуют — и это создает стереоскопический эффект жизнеподобия. А беспрестанно меняющееся напряжение между ними передает то важнейшее свойство жизни, которое можно назвать ее *пульсацией*: вдохи и выдохи, притяжения и отталкивания, приливы и отливы.

На этом аспекте романа — т. е. на *пульсирующем, волнообразном характере его структуры* — будет сосредоточено наше внимание.

Структурообразующим принципом «Анны Карениной» как произведения эпического рода является то, что можно назвать принципом федеративности: каждый художественный компонент является одновременно элементом целостной системы — и обладает самоценностью, тяготеет к художественному центру, и независим от него. Все частное служит единству, но представляет и самостоятельный интерес. Иными словами, в эпическом повествовании соблюдается известное равновесие центробежных и центростремительных сил.¹²

Думается, однако, что некоторое различие между двумя толстовскими романами заключается в том, что в «Войне и мире» сильнее силы сцепления,

а в «Анне Карениной» очень заметны и силы отталкивания. Связано это, по-видимому, с трансформацией идеи «общей жизни».

В «Войне и мире» «общая жизнь» как организующая идея всей книги выступает в нескольких функциях. Это и общая для всех почва — изначальная причастность к мирозданию, это и то универсальное жизнеощущение, о котором позже скажет Тейяр де Шарден: «Мы чувствуем, что через нас проходит волна, которая образовалась не в нас самих. Она пришла к нам издалика, одновременно со светом первых звезд. Она добралась до нас, сотворив все на своем пути».¹³ Такое жизнеощущение, как будет показано, свойственно — с некоторыми оговорками — и «Анне Карениной».

Но «общая жизнь» в «Войне и мире» — это еще и небо — опорный образ всей книги. Небо — это тот идеал, к которому устремляются все духовные порывы, куда каждый несет все лучшее в себе, где осуществляется высокая человеческая общность. В «Анне Карениной» свет этого неба брезжит только перед Левиным. Между людьми существуют силы притяжения, но еще сильнее силы отталкивания. Душевные встречи возможны, духовных не происходит.

Небо в «Войне и мире» — это, кроме того, и высшая точка зрения на все происходящее, это источник того сильного и ровного поэтического света, который заливает всю книгу. В «Анне Карениной» нет единого света, льющегося с неба. Точки зрения приближены к земному опыту людей и поэтому как бы рассеяны между разными правдами.

Исследователи склоняются к тому, что авторская позиция в «Анне Карениной» более объективна, чем в «Войне и мире». Обратим еще внимание на следующее. В толстовской эпопее об отношении автора к добру и злу сигнализировала уже композиция образной системы: добро в центре повествования, зло отодвинуто на его периферию. Сама мера авторского внимания несла в себе оценочный момент. В «Анне Карениной» (главным образом в сюжетной линии Анны — а именно с ней в основном и связаны и разноречивые читательских суждений, и противостояние научных концепций) Толстой представляет своим героям известное равноправие.

Композиция крупных сюжетных узлов такова, что в них достаточно подробно изображены все вовлеченные в данное событие судьбы и представлены позиции всех участников драмы.

В неуклонном движении Анны к катастрофе было несколько кульминаций. Одна из них — признание Каренину после скачек. После этого драма вступает в другую фазу. Сцена обрывается на том, что Каренин высаживает Анну из кареты. Чтобы прервать плавное течение событий и показать, что начинается качественно иной этап, Толстой переключает повествование на сюжетную линию Левина и она длится очень долго: 18 глав (т. 1, ч. 2, гл. XXX—ч. 3, гл. XII). Затем автор вновь возвращает читателя к оборванной сцене: Каренин высаживает Анну. После этого 2 главы (XIII, XIV) посвящены состоянию Каренина, 4 главы (XV—XVIII) — смятению Анны и, наконец, 2 главы (XIX и XX) о Вронском как экспозиция его темы, объясняющая его дальнейшее поведение.

Следующий сюжетный узел: роды и болезнь Анны. Сначала чувства Каренина, вызванного в Петербург (ч. 4, гл. XVII), затем попытка самоубийства Вронского (гл. XVIII) и опять Каренин... Возвращение Анны и Вронского в Петербург. Кульминация этого сюжетного отрезка — свидание Анны с сыном. Начинается все опять с темы Каренина (т. 2, ч. 1, гл. XXI), долгое время внимание сосредоточено на его душевном состоянии. Затем две главы о Сереже (XXVI и XXVII). Потом глава о Вронском — и только после этого свидание Анны с Сережей.

Заключительный акт драмы. В последних главах все более нарастает тема Анны, а затем она становится центральной. Но как отдаленная экспозиция к завершающей все трагедии выступает сцена губернских выборов, т. е. звучит тема Вронского.

Так строятся все сильные сцены. Но известное равноправие героев не означает, что автор безучастен к тому, какую позицию займет его читатель. Читательское восприятие корректируется более тонким образом — способом изображения.

Если принять то положение, что чем ближе читатель к душе героя, тем более он погружается в его внутреннюю ситуацию и участвует в его судьбе, то степень читательского самоотождествления зависит от того, на каком радиусе от сердцевины души героя автор держит читателя.

Можно давать внешний рисунок поступков, слов, событий. Можно описывать чувство так, что мы «находимся скорее в состоянии общения с этим чувством, нежели непосредственно переживаем его».¹⁴ Можно, наконец, прямо изображать диалектику души. Тогда автор, по определению Б. А. Успенского, занимает позицию *непосредственного наблюдения*, «незримо присутствует в описываемой сцене и как бы ведет синхронный репортаж с самого поля действия»,¹⁵ и это «поле» — смятенная душа человека. Иногда эти способы изображения существуют в своем чистом виде, иногда чередуются в пределах эпизода, и, как правило, неравномерно: один «вкрапляется» в другой. Сложная «игра» этих трех планов — их пропорции, их чередование, их контекст — воздействует на читательское восприятие в нужном для Толстого направлении.

Вронский чаще всего изображается внешне. Таковы сцены, в которых он занимает центральное место, — скачки, губернские выборы — и даже те, которые являются ключевыми в любовном сюжете. Например, пребывание Вронского и Анны в Италии (начало 2-го тома) — единственное время, когда они были безмятежно счастливы. Но в изображении этих сцен преобладает внешнее описание — образа жизни, а не подробностей чувства. Лишь в единственной сцене — попытке самоубийства (т. 1, ч. 4, гл. XVIII) — Толстой прямо наводит объектив на душу Вронского, но наводит постепенно. Вначале Толстой *называет* чувства, испытанные Вронским (униженность, виновность, сожаление). Они возникли как результат душевного смятения, но это смятение только названо, а не изображено. Затем Вронский погружается в кратковременный сон, и лишь после этого читатель непосредственно ощущает ту муку, которая толкнула его к самоубийству. Но Толстой на этом долго не задерживается — вновь следует внешнее описание последующих событий.

Создавая характер Каренина, Толстой чередует внешнее описание чувства и его прямое изображение, при этом они иногда почти незаметно переходят друг в друга. Так рисуется душевное состояние Алексея Александровича, когда он, получив телеграмму о смертельной болезни жены, едет в Петербург. Внутренние монологи («Нет обмана, перед которым она бы остановилась»; «А если это правда?» — 18, 431) перемежаются регистрирующими авторскими замечаниями: «Он не мог думать», «Он не смеет желать и все-таки желает», «Он ясно понял, в одном из которых прорвалась нескрываемая ирония по поводу чиновничьей природы человеческого переживаний Каренина: «. . . как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним» (18, 431).

В главах, посвященных страданию покинутого Алексея Александровича (т. 2, ч. 1, гл. XXI—XXV), иронии нет (Каренин поднялся на большую нравственную высоту), но способ изображения несколько остраненно-аналитический: «Он не мог теперь никак примирить свое недавнее прощение, свое умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребенку с тем,

что теперь было, то есть с тем, что, как бы в награду за все это, он теперь очутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый» (19, 75) и т. д. Это состояние названо, но не изображено, чем приглушается сила его непосредственно эмоционального воздействия.

Характер Анны создается путем сложного варьирования всех трех способов изображения. Часто он близок к тому, что говорилось о Каренине. Например, в сцене, рисующей состояние Анны после ее признания мужу, внутренние монологи, иногда дискурсивные («Прав! прав! . . .» до слов «Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он. . .» — 18, 308—309), иногда прямо изображающие душевный хаос («Что я могу писать? . . . Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?!» — 18, 310), перемежаются многочисленными фразами, начинающимися словами: «Она спрашивала себя», «Она не могла решиться», «Она опять почувствовала» и т. д., — и за этим следует авторское определение чувства героини.

Ближе к концу, когда «дух борьбы» неотвратимо разрушал союз Анны и Вронского, Толстой рисует их непрекращающиеся ссоры то драматически (поступки, слова, злые реплики), то называет чувство и состояние каждого, то прямо проникает в их сознание и еще глубже — в подсознание. Ведущая фигура здесь — Анна, и ей нельзя не сочувствовать, но и позиция Вронского тоже представлена, и его нельзя не понять.

Но накануне роковой развязки, когда начинается предсмертный внутренний монолог Анны, читатель так глубоко погружается в ее страдающую смятенную душу, что, хотя он видит все: и нелогичность, и утрированность, и смешение реальности с фантомами больного воображения, — он чувствует, что не только судить — даже видеть это бесчеловечно. Можно лишь сострадать.

Так сам способ изображения свидетельствует о том, что сочувствие Толстого (а им он заражает и читателя) в большей степени принадлежит Анне, затем Каренину, а затем уже Вронскому. Но речь идет именно о степени сочувствия, а не об однозначном «да» или «нет».

* * *

В «Анне Карениной» противостояние единого и единичного, общего и индивидуального острее, чем в «Войне и мире», иногда оно напрягается до противоречия, не всегда разрешаемого в пользу общего.

Это проявляется на всех уровнях романа и прежде всего в «образе человека». Напомним, что Толстой, с одной стороны, обнажает «срезы общей жизни», с другой — наполняет свой мир неисчерпаемым богатством индивидуальностей. Одно из фундаментальных положений человековедения Толстого звучит так: «Все бесконечное разнообразие людских характеров и жизни людской, слагающейся из таких одинаких и простых основных свойств человеческой природы, происходит только от того, что различные свойства в различной степени проявляются на различных ступенях жизни. Как из 7 нот гаммы при условиях времени и силы может быть слагаемо бесконечное количество новых мелодий, так из более многочисленных, чем ноты гаммы, главных двигателей человеческих страстей при условиях времени и силы слагается бесконечное количество характеров и положений» (20, 279).

Подобно тому как сгущения звезд не обведены четкой границей и между ними простирается звездное небо, так и люди не разграничены резко; характеры — это подвижные конфигурации отдельных свойств, отличающиеся между собой лишь господствующей тенденцией.

Можно привести многочисленные примеры, говорящие о том, как много

общего у тех, кто так далек по существу. Они могут быть даже персонажами разных романов, но каждый из них — «человек Толстого».

Как ни отличны друг от друга, например, Каренин и Пьер, в определенные моменты их судьбы определяются одной жизненной закономерностью, суть которой в том, что люди отшатываются от несчастного человека и тянутся к счастливому.

То состояние, которое переживает Вронский в мгновения перед самоубийством, своим рисунком полностью совпадает с теми состояниями, которые были так характерны для Пьера и о которых он говорил «винт свинтился».

И князю Андрею, и Вронскому бывает присущ такой взгляд, что попавший под него чувствует, что его не признают человеком.

Механизм самообмана, свойственный Каренину, который знает и одновременно не знает об измене жены, является общей для всех психологической защитой. Все это можно бесконечно продолжать.

Общим для всех людей является и то, что их жизнь, поступки, мысли и чувства часто оказываются как будто во власти силы, лежащей вне их. Они, как говорил Толстой, служат «чему-то жизни» (48, 122). Эту власть чувствует каждый, это универсальное жизнеощущение. Левин говорит: «Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя овладела мной» (18, 42). Когда Анна думает: «Я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить» (18, 308), «Я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю» (18, 309), это не значит, что она пытается перед собой оправдаться; просто она понимает глубокую истину. То же и почти в тех же словах думает об Анне Долли: «В чем же она виновата? Она хочет жить. Бог вложил нам это в душу» (19, 182).

Каренин называет силу, овладевшую Анной, дьяволом: «Это был дьявол, который овладевал ее душой» (20, 202). «Это он, это дьявол говорит в ней» (20, 203). И сам он попадает под власть чуждой и страшной силы. Пытаясь спасти положение, он хочет говорить убедительно и спокойно. «Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить» (18, 157). Чем ближе к концу, тем сильнее подхватывает Анну и Вронского поток неуправляемых ссор, с которыми им уже не совладать. «Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы» (19, 282). «Но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться» (19, 283). «А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца» (19, 284). «Злой дух борьбы» говорит за них, мешает им друг друга слышать, толкает на поступки, которые совсем не хотелось совершать. «Уже тон ее голоса говорил, что это не она говорит, а злая сила, овладевшая ею, но Вронский не заметил» (20, 519). Когда его сердце дрогнуло от страдания к ней и ему хотелось ее утешить, «ноги вынесли его из комнаты прежде, чем он придумал, что сказать» (19, 330).

Толстой знает, как трудно «управлять тем не перестающим в живом человеке и не зависимым от него рядом желаний, чувств, страстей, из которых складывается вся жизнь...» (20, 572). Подчеркиваем — «не зависимым».

С каким трудом принимаются решения — и как редко этим решениям следуют! Как тщательно, с математической точностью, с чиновничьим педантизмом взвешивал Алексей Александрович возможные линии своего поведения! Но в первый раз твердо принятое решение рухнуло под напором нежданно нахлынувших христианских чувств, во второй — он отдал решение в руки Лидии

Ивановны и Ландау. Как тщетно пыталась Анна разобраться в смятении своих чувств, в столкновении разных правд и понять, что ей делать. Но ни одно ее решение не осуществилось: ее и Вронского нес поток жизни и страсти. Знаменательно, что и тема Сережи — разрывающая сердце боль: сын и любовь — возникла перед Анной уже после того, как все свершилось и она ушла от Каренина. Поистине, если верна немецкая пословица «Сильный колеблется до того, как принять решение, а слабый после того, как оно принято», герои «Анны Карениной» — слабые люди, но в том смысле, в каком было сказано об Анне: «Она не будет сильнее самой себя» (19, 310). Точнее говоря, сильнее жизни, той ее грани, которую каждый олицетворяет и велению которой следует.

Индивидуальное, по Толстому, не отрицает общего, а вырастает на его почве. Покажем это на примере. Как зарождается любовное чувство? Толстой всегда различал любовь к лицу и любовь к любви. Он показал и то, как они переходят друг в друга. Любви, по Толстому, всегда предшествует потребность в любви. Левин вымечтал себе идеальную семейную жизнь и идеальную жену, и лишь потом его душа остановилась на Кити. О душевном состоянии Анны до встречи с Вронским Толстой не говорил ничего — фокус на ее душу наводится впервые только в поезде, когда она возвращается в Петербург. Но ясно: она так создана, что Вронский или не Вронский должен был появиться.

Кити к началу романного действия влюблена во Вронского, но за секунду до того, как Левин сделал ей предложение, она не знала, что ответит ему.

Но вот избранник (избранница) появляется, чувство кристаллизуется. Для одних — свет клином сошелся, для других — нет. Левин силился разлюбить Кити — и не мог. Анна была одержима страстью к Вронскому, и любое движение в сторону от ее рокового пути было для нее невозможно. А Кити подтверждает слова, сказанные о ней Анной: «И Кити также: не Вронский, то Левин» (19, 340). Хотя в искренности ее любви сначала к одному, потом к другому сомневаться не приходится, потребность любить и быть замужем сильнее в ней, чем неотвратимость чувства к единственному. В этом проявляется разный масштаб личностей.

В черновых редакциях о встрече Анны с Левиным говорилось так: «Кити любила Вронского и Левина, и Анна испытывала склонность к той же последовательности. . . И с первой встречи с Левиным Анна почувствовала, что она могла бы заставить его полюбить себя, что он был ее и она могла бы полюбить его» (20, 506). По мере того как личность Анны становилась все более значительной, Толстой снял этот мотив. От него остался лишь легкий след — в том оттенке женского кокетства, который примешивается к сильной и внезапной человеческой симпатии, которая охватила Анну и Левина в их единственную встречу, — свидетельство того, что, как ни различны люди, контраст между ними существует на общей для всех основе, которая так или иначе прорастает в каждом.

Каково же положение человеческой индивидуальности по отношению к эстетическому целому «Анны Карениной»? Думается, она в этом романе свободнее существует, чем в «Войне и мире».

Сопоставим, к примеру, Николая Ростова и Стиву Облонского. Основанием для такого сравнения является то, что оба они, отстоя от высоких героев духовно, бывают близки им душевно; далеки от толстовского идеала человека, но по-своему привлекательны; занимают немалое место в повествовании, хотя и не входят на первом плане.

Если исходить из объективного содержания характера, то Толстому-моралисту должен быть ближе Николай Ростов. Действительно, единственное, что ему можно инкриминировать, — это дефицит личностного начала. Почти все время Толстой показывает обаяние его высокой простоты. Но под конец повествова-

ния, когда между Пьером и Николаем разверзается бездна, Толстой, принимая во всем позицию Пьера, не мог не развенчать Николая. Речь идет не о развитии характера, ибо возможности движения у Николая невелики, а о том, что «необходимость поэтическая» заставила автора показать низкую сторону его простоты. Целостная концепция книги подчинила себе логику характера.

Что касается Стивы, то все его недостатки налицо, и нечего сказать в его оправдание. Но его такт, его неиссякаемое добродушие, его заразительное жизнелюбие, его ум, недалеко ушедший от здравого смысла, но подчас очень тонкий, — все это так пленительно. Недаром и строгому Левину он приятель, и сухой Каренин не может перед ним устоять. Стива так и прошел через весь роман живым человеком со всеми своими пороками — ничуть не безобидными с точки зрения Толстого-моралиста, но и со своей прелестью, прошел, не наказанный сюжетно, не дискредитированный концептуально. На строгие нравственные требования он, как говорит в черновиках Толстой, «махнул рукой», но «зато был тем, чем его родила мать, — нежным, добрым и милым человеком» (20, 107).

Не только Левин прав — перед лицом жизни — в том, что «чувствовал себя собой и другим не хотел быть» (19, 99), но и Стива, говорящий: «Что ж делать, я так сотворен» (18, 170). Так может сказать каждый. Если Каренин виноват перед Анной, то только потому, что он такой. И Вронский потому тоже.¹⁶

Индивидуальность в «Анне Карениной» обладает особыми правами. Одно дело суд с неподвижно-абстрактных позиций, а другое — с учетом этих прав.

* * *

Как верность своей индивидуальности согласуется у человека Толстого с его «текучестью»? Проблема тождества и изменчивости личности, очень важная для Толстого, была им в основном решена уже в «Войне и мире», но в «Анне Карениной» она представлена несколько по-иному.

Прежде всего, в «Войне и мире» сама способность к движению несла в себе оценку: она была признаком значительности личности. Поэтому только персонажи первого плана — высокие герои — Пьер, князь Андрей, Наташа были наделены ею в высшей степени. Движение личности, проходя через определенные фазы, шло ввысь.

В новом романе очень резко меняются и те, кто не наделен большим потенциалом изменчивости: Каренин и Вронский. В их движении тоже громадную роль играет встреча с другим человеком. Однако есть тонкое, но существенное различие между прямым воздействием человека, прелесть и «таинственность» которого постоянно влечет и в общение с которыми вступают с полной готовностью понять и принять, — что было так свойственно героям «Войны и мира», — и тем, что можно назвать воздействием атмосферы человека, которой поддаются часто нехотя или сопротивляясь.

И Каренин, и Вронский пошли по пути, который не был предначертан их природой. Выход за свои пределы был вызван у них не столько тем, что внутренние ресурсы личности требовали своей реализации, сколько тем, что они оказались вовлеченными в судьбу Анны и в обволакивающую ее атмосферу страсти. Их подхватили потоки, созданные ее неудержимым полетом навстречу жизни, счастью и гибели.

Характеры Вронского и Каренина были достаточно полно очерчены к концу 1-го тома, можно было предвидеть и их дальнейшие поступки, вытекающие из логики этих характеров. И вдруг оба нарушают эту логику во время родильной горячки Анны. Каждый становится выше себя, попав в атмосферу вечного:

страсти, рождения, смерти. Последнее зафиксированное чувство Алексея Александровича — «некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти» (18, 432). Потом Толстой пропускает все промежуточные звенья и говорит о душевном расстройстве, которое было на самом деле «блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье» (18, 434). Это перерождение внезапно, но не неправдоподобно. Читатель чувствует, что в прежнем Алексее Александровиче лежало и это, «готовое распуститься», но лежало на такой глубине, что авторская аналитическая работа этого почти не затрагивала.

Попытка самоубийства Вронского, по известным словам Толстого, была неожиданна и для самого автора. Вронский — человек, обладающий несомненными достоинствами. Но у него отсутствует духовный потенциал, поэтому ему было предначертано натурой и судьбой жить «как все». Однако и в нем, стало быть, существовало нечто, что так внезапно реализовалось.

Возможность внезапного взлета, перехода на другой человеческий уровень — один из важнейших уроков Толстого. Но Толстой показывает и другое: каким образом и как долго человек может жить выше самого себя.

Удел Каренина отныне — это страдание, усиленное и остановкой служебной карьеры, и тем, что он стал себя чувствовать той большой собакой, которую готова загрызть вся стая. Его фигура становится трагической. Вронский, пожертвовавший своим честолюбием, вступивший вместо светского романа в коллизия страсти и смерти, — это не Вронский в сцене «стирки», строго следующий кодексу чести своего круга. Вместе с тем — показал Толстой — не может человек долго ходить на цыпочках, жить в перенапряжении возможностей своей личности. Оба они — и Вронский, и Каренин — припустились с момента своей кульминации: Каренин попал под влияние Лидии Ивановны и Ландау, а Вронский, сойдя с одного торного пути, стал искать для себя возможность другого. Но на свой прежний уровень они не вернулись.

Рисунок движения личности в «Анне Карениной» — это волна: человек выходит за свои пределы и возвращается к себе, но к себе уже не совсем прежнему.

К этому нужно добавить, что состояния и чувства людей тоже волнообразны и пульсируют под влиянием причин видимых и невидимых. Состояния духа меняются от перемены мест и от многого подобного. В пределах того, что называется одним словом (любовь, например), в разные моменты испытываются разные чувства и т. д.

* * *

Общепризнанно, что «образ человека», созданный Толстым, лишен доминанты.¹⁷ Это значит, что ни одно свойство характера не выступает настолько резко, чтобы структурно подчинить себе все остальные. То же можно сказать и о таких аспектах личности, как индивидуальное, общечеловеческое, национальное, историческое, социальное и т. д.

В «Войне и мире» это полностью относится к героям первого плана повествования. Но, чуть отступая в глубь сцены, встречаются персонажи, тяготеющие к социальной, национальной или иной определенности, вплоть до тех, кто, по выражению В. Д. Днепров, «сделан одним ударом социального штампа».¹⁸

В «Анне Карениной» бездоминантный принцип построения характера выдержан полнее и захватывает более широкий круг персонажей. Ключевой для понимания основного конфликта во многом является фигура Каренина. От того, как читатель относится к нему, во многом зависит и его восприятие

трагедии Анны. С чего же начать, говоря о Каренине? Обманутый муж? Чиновник по натуре и по профессии? Безвинно страдающий и глубоко порядочный человек? Личность, всей своей сутью противостоящая понятию «жизнь»? Читатель сам избирает то, что стоит у него на первом плане, и с высоты этого обзрывает все остальное, но не Толстой ему на это указывает. Все начала личности Каренина относятся к разным сферам бытия и сводятся в единство неповторимой индивидуальностью, но не настолько, чтобы утратить свою определенность. В душе Каренина чиновничье и индивидуальное взаимодействуют, а иногда одно подменяет собой другое, выступает в его обличье. Поскольку толстовский психологизм многомотивен, взгляды пристальнее, на что в своей душе опирался Каренин, когда у него произошел душевный переворот (у постели умирающей Анны). Заметим, что что-то мешает безоговорочному восхищению Карениным. Он в этой сцене, конечно, высок, но при этом за него как-то неловко. И Анна — безмерно виноватая — почему-то морально не побеждена.¹⁹

Каренин боится жизни, боится стихии и неразлучного с жизнью страдания. Поэтому от отшатывается от жизни к ее бумажному отражению, от стихийности к внешней упорядоченности. Это совпадает с сущностью чиновничьего жизнеощущения, а стремление сохранить видимость благополучия способствует чиновничьей карьере. Когда на него обрушилось несчастье и его охватила страшная и бесконечно длящаяся боль, основными источниками страдания оказались не непосредственная ревность, не муки самолюбия (хотя все это было в его душе), а дискомфорт, причиненный рухнувшим порядком. Поэтому, какие бы он ни перебирал варианты разрешения ситуации, его душа инстинктивно искала тот выход, при котором можно сохранить хотя бы видимость порядка. Христианский порыв дал возможность и пренебречь ревностью, и переступить через самолюбие, но обрести возжеланную упорядоченность.

Так его душа нашла путь, наиболее ей свойственный, — через унижение достичь наиболее удобного положения. Вот это и просвечивает сквозь христианский порыв, но именно просвечивает, не более того: мешает одержать полную моральную победу, но не опровергает его искренности и истинности.

* * *

Как видим, все «своды сведены» нежестко. Все единичное в «Анне Карениной» не растворяется в едином и выступает резче в своей обособленности. Все частное: мотив, ситуация, характер — лишено плавной округленности, завершенности и обнаженно проблематично.

Все это: и место человека в эстетическом целом романа, и способ его изображения, несущий авторскую оценку, более прикровенную, чем это было в «Воине и мире», и зависимость человека от тех сил, что управляют частной судьбой, и права живой индивидуальности, и волнообразный характер движения личности, и пульсирующий характер чувств — все это имеет прямое отношение к образу главной героини, а стало быть, и к сердцевине того, что в романе составляет проблему. Ибо именно она, ее судьба и поставила «проклятые вопросы»: в чем нравственный долг женщины — быть матерью или возлюбленной, что выше и чище — семья без любви или любовь без семьи, какой путь избрать, если это непримиримо, и т. д.

Думается, что одна из глубоких, коренных причин того, что суждения об Анне и ее судьбе столь многообразны, в том, что велик соблазн общих формул. Сама ситуация толкает на то, чтобы решить проблему в общем виде и судить героев согласно их ролям: неверная жена, муж, любовник.

Изначальный замысел Толстого тоже содержал в себе общую формулу: в разрушении семьи — преступление перед абсолютным нравственным законом. Осуществлению этого замысла стала противодействовать живая индивидуальность Анны.

Как Стива мог убедить строгого Левина в невинности Анны? Только одним способом — показать ее. И подобно Левину, который согласно своей морали готов был только осудить Анну, а увидев — был очарован, так и читатель не может не попасть в плен ее прелести.

Неподвижно-абстрактные моральные критерии подтачиваются живой индивидуальностью. Верно сказала Анна о Каренине (в черновом варианте): «И по моей нравственности он был дурак, а по их нравственности я была дурная женщина» (20, 672). Нет смысла гадать о том, например, как поступили бы в ситуации Анны другие героини романа — Кити, Долли или тем более Варенька — такие, как они, никогда бы в такой ситуации не оказались.

Более того, Анна не просто индивидуальность, но и личность, о чем свидетельствует ее способность к безоглядной страсти. В этом одна из причин ее гибели — и безоговорочного осуждения некоторыми читателями, ибо существование личности трудно переносится теми, кто называется толпой. Сошлемся на глубокое суждение Бердяева о том, что «обыденное мирское сознание» признает лишь три состояния пола: «подзаконную семью, аскетизм и разврат», а любовь «не вмещается ни в категорию семьи, ни в категорию аскетизма, ни в категорию разврата». «В любви есть что-то аристократическое и творческое, глубоко индивидуальное, внеродовое, не каноническое, не нормативное, она непосильна сознанию среднеродовому».²⁰

Но в романе нет не только идеализации героини, но даже ее поэтизации, если понимать под поэтизацией извлечение из жизни ее поэтического содержания, очищенного от житейской прозы. Судьба Анны — в клубке реальных жизненных отношений, сложностей и проблем, опутана многочисленными живыми связями с действительностью, настолько сросшимися с нею, что малейшее движение приносит острую боль.

Реальная жизнь — это величайшая проблема, говорит своим романом Толстой. Он обнажает каждую грань проблемы и заставляет в нее всмотреться.

Любовь или материнство? В ранних вариантах этой проблемы не было. Анна воплощала собой только любовь, материнское начало в ней не просто отсутствовало — она относилась к нему враждебно (см.: 20, 287, 476). Даже сцену с Сережей (в этом варианте Сашей) Толстой предполагал отдать Каренину (см.: 20, 372).

Хотя и в окончательной редакции тема Анны-матери занимает по объему значительно меньше места, чем тема Анны-возлюбленной, достаточно сцены с Сережей — одной из самых сильных в мировой литературе, — чтобы стало очевидно: два равноправных, но несовместимых чувства разрывают сердце героини. Драма осложнилась — и перед читателем в обнаженном виде предстала неразрешимая проблема.

Анна олицетворяет собой любовь. Это настолько бесспорно, что как будто не нуждается в анализе. Однако взгляды пристальнее, какая это любовь и как Толстой ее изображает, ибо, как говорилось, сам способ изображения несет в себе авторскую оценку.

Анна любила потому, что создана была любить. Не она избрала любовь, а любовь как могучая сила жизни избрала ее, чтобы воплотиться. В этом все оправдание Анны. Но какую роль играет личность возлюбленного? Есть ли «необходимость поэтическая» в том, что Бронский по своему уровню столь очевидно уступает высоким толстовским героям? Представим себе, что он вровень Пьеру, князю Андрею, Левину. Тогда чувство Анны было бы оправдано

вдвойне — не только тем, что исходит от нее, но и неотразимо влекущей силой ее любимого. Это двойное оправдание было бы столь могущественно, что альтернатива бы поблекла. Тем самым снята была бы проблема и осталась бы в чистом виде только высокая трагедия. Значит, был бы совсем другой роман.

Но дело не только в том, каков Вронский объективно. В этом любовном романе нет ни одной любовной сцены, равной по силе сцене свидания с Сережей, когда читатель вплотную прикасался к сердцу Анны и, как свою, чувствовал ее нежность, ее боль, ее счастье, ее муку и ощущал — так же, как она, — всю детскую прелесть этого теплого сонного мальчика. Ни разу через сердце Анны мы не любим Вронского. Толстой этим чувством не заражает, потому что никогда не освещает Вронского преобразующим светом влюбленности. Всегда мы его видим со стороны — трезво и спокойно. Так сам способ изображения заставляет вполне проникнуться материнским чувством Анны, но не ее любовным чувством.

Толстой рисует любовный сюжет во всей его протяженности: от завязки до рокового конца. Стало быть, на этом пути было все: и счастье, и страдание. Однако избирательность сцен такова, что крупным планом Толстой изображает только те эпизоды, где несчастье преобладает. Сцены счастья (Италия, Воздвиженское) представлены только своей внешней стороной. Толстой лишь говорит о том, что Анна была «непростительно счастлива», но прямо и до последних глубин изображает то, как она была несчастна.

Чувство Анны, всеобъемлющее и неотступное, лишено того материнского начала, которое делает женщину мудрее, нежнее и шире мужчины и не допускает тяжбы с любимым. Мотив «мое положение» звучит постоянно, но она и не хочет понять вполне «положение» Вронского, для него тоже весьма трудное. В той стороне его жизни, которая неизбежно остается за пределами любовного кругозора, она видит лишь угрозу любви, источник ревности, предмет упреков и попреков. Безмерно страдая, Анна винит то Каренина, то Вронского, но винить себя ей несвойственно. Если и прорывается у нее «я дурная», за этим тут же следует «но», переносящее тяжесть вины на других.

Первый толчок ко всем ссорам с Вронским всегда давала Анна. Она виновата не только перед Карениным и Сережей. Она виновата и перед Вронским и любовью. Все это говорит о том, что Толстой не принимает Анну и ее любовь безоговорочно.

Но столь же безоговорочно он ее и не осуждает: если бы сцены ссор были написаны только драматически, Анна была бы неприятна. Но аналитическое изображение неостановимых болезненных процессов, идущих в ее душе, искупает ее слова и поступки. Если добавить, что все попытки Анны управлять своей судьбой беспомощны и она бессильна перед логикой жизни и страсти, то становится несомненно: если она и виновата, то без вины.

В этом романе иное, чем в «Войне и мире» взаимодействие художественной индукции и дедукции. В эпопее творимая на глазах читателя жизнь подтверждала незыблемые, известные автору закономерности бытия. Движение жизни вписывалось в законы универсума. Над всем господствовала вечность. Та «непредвосхитимость», которой так восхищался в «Войне и мире» Пастернак, была свойственна только событийному ряду.

В «Анне Карениной» явно преобладает индукция. Внимание приковано к сегодняшнему состоянию «переворотившегося» мира. Движение жизненных потоков не согласовано между собой. Правда семьи перестала быть моральным абсолютом, правда любви абсолютом быть не может. Живой человек оказывается зажатым между жерновами разных правд. Решение проблемы с позиций высшей истины «непредвосхитимо».

Толстой однажды сказал: «Достоевский, Кропоткин, я, вы и все другие, ищущие истины, стоим на периферии круга, а истина в середине. Разными путями приближаемся мы к ней».¹

Но и сам Толстой, постигая истину, стоял на разных точках периферии круга, прокладывая к центру «просеки понимания» (выражение Ницше). Их сложное переплетение и составляет «Анну Каренину».

Томас Манн уподоблял этот роман морю: «Эпическая стихия с ее величавыми просторами, с ее привкусом свежести и жизненной силы, с вольным и размеренным дыханием ее ритма, с ее однообразием, которое никогда не наскучит, — как она сродни морю, как море сродни ей».² Этот образ обладает не только художественной выразительностью, но и научной точностью. В нем есть ощущение не только простора, но и ритмического волнообразного характера жизни. Читатель наблюдает жизнь не с той единственной авторской точки зрения, с высоты которой волны воспринимаются лишь как зыбь на поверхности недвижимого мироздания, а приближается к самому движению волн и, испытывая все их перепады, то не видит ничего за пределами своего кругозора, то поднимается так высоко, что перед ним открывается беспредельная широта вселенной, недоступная его эмпирическому опыту.

¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 222.

² В книге «Мир читает „Анну Каренину“» (одна глава которой носит характерное название «Почему так легко читать и так трудно понять роман») В. З. Горная приводит ответы наших современников на такие вопросы: «Ваше отношение к героине Толстого? Осуждаете вы или оправдываете ее?»; «Как относится Толстой к своей героине? Осуждает или оправдывает ее?»; «В чем вы видите главный смысл романа?» и т. д. (*Горная В. З.* Мир читает «Анну Каренину». М., 1979. С. 67—75). См. также: *Григорьев А. В.* Роман «Анна Каренина» за рубежом // Толстой Л. Н. Анна Каренина. М., 1970; *Краснов Г. В.* Основные вехи восприятия романа «Анна Каренина» // Литературные произведения в движении эпох / Под ред. Н. В. Осьмакова. М., 1979; *Ищук Г. Н.* 1) Проблема читателя в творческом сознании Л. Н. Толстого. Калинин, 1975; 2) Проблемы читательского восприятия «Анны Карениной» Л. Н. Толстого // Проблемы комплексного восприятия художественной литературы. Калинин, 1984; 3) Лев Толстой: Диалог с читателем. М., 1984 (гл. «Загадочный роман»); *Лоховская Е. Л.* Бесспорное и спорное в изучении романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» // Проблема метода и стиля / Под ред. Л. С. Шепелевой. Челябинск, 1976; *Рыжов В. В., Строганов М. В.* Перцептуальный аспект изучения литературы в трудах М. М. Бахтина // Проблемы научного наследия М. М. Бахтина / Под ред. С. С. Конкина. Саранск, 1986.

³ *Леонтьев К.* О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ; Силь; Веяние // Русский вестник. 1890. Кн. 5. С. 245.

⁴ Цит. по: *Steiner George.* Tolstoy or Dostoevsky. An essay in the Old Criticism. New York, 1961. P. 49.

⁵ Лит. наследство. 1939. Т. 37—38. С. 232.

⁶ *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1935. Т. 19. С. 41. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

⁷ О роли воображения см.: *Голосовкер Я. Э.* Имагинативный абсолюте // Логика мифа. М., 1987. С. 114—164.

⁸ *Гессе Герман.* Письма по кругу. М., 1987. С. 125, 126.

⁹ См.: *Асмус В. Ф.* Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968. С. 57.

¹⁰ См.: *Шабоук Сава.* Искусство — система — отражение. М., 1976. С. 10, 23—24, 212; *Моль А.* Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966. С. 246, 247.

¹¹ *Выготский Л. С.* Психология искусства. М., 1969. С. 313, 314.

¹² См. подробнее: *Сливцкая О. В.* «Война и мир» Л. Н. Толстого: Проблемы человеческого общения. Л., 1988. С. 14—16.

¹³ *Тейяр де Шарден Пьер.* Феномен человека. М., 1967. С. 179.

¹⁴ *Шабоук Сава.* Указ соч. С. 104.

¹⁵ *Успенский Б. А.* Поэтика композиции. М., 1970. С. 150.

¹⁶ Ф. Р. Leavis убедительно объясняет, почему Толстой не мог закончить роман там, где его закончил бы любой другой писатель, а именно в конце 1-го тома: Вронский бы застрелился, Анна бы умерла, а Каренин продолжал бы жить, вызывая всеобщее уважение и симпатию.

Но все получилось так, потому что Каренин был такой, Анна такая, и отношения между ними были такие. См.: *Leavis F. R.* «Anna Karenina» and other essays. London, 1967. P. 161.

¹⁷ Психологическая мотивировка поступков тоже лишена доминанты. См. анализ многомотивной реакции Левина на продажу Стивой леса Рябину: *Hardy Barbara*. The appropriate form. An essay on the novel. London, 1964. Chapter VII. P. 183—184.

¹⁸ *Днепров В. Д.* Искусство человековедения: Из художественного опыта Льва Толстого. Л., 1985. С. 27.

¹⁹ Отмечено: *Leavis F. R.* Op. cit. P. 17—19.

²⁰ *Бердяев Н. А.* Смысл творчества. Опыт оправдания человека. М., 1916. С. 199.

²¹ Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 263.

²² *Мэнн Томас.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 250—251.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ И ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Заявленная тема предполагает два аспекта рассмотрения: первый относится к плану биографическому и является предварительным для исследования плана второго — чисто творческого.

Г. В. Иванов и В. Ф. Ходасевич принадлежат к числу тех поэтов, которым неоднократно попеременно присваивался титул «лучшего поэта русской эмиграции», поэтому вполне понятно, что литературные и личные отношения нередко сталкивали их друг с другом.¹ Знакомство началось в конце 1920 или начале 1921 года после приезда Ходасевича в Петроград, а творческие контакты прекратились совсем незадолго до смерти Иванова, в 1958 году, в его предсмертной работе над текстами своих ранних стихов. Однако совершенно справедливо в центр внимания тех авторов, которые сколько-нибудь развернуто писали об отношениях этих двух поэтов, неизменно попадала их «литературная война», причины которой со слов самого Иванова, подтвержденных впоследствии и рассказом И. В. Одоевцевой, изложил Ю. Терапиано: «Не учтя того, что сотруднику „Последних новостей“, идейно враждовавших с „Возрождением“, бесполезно обращаться в издательство „Возрождение“ с предложением рукописи, Георгий Иванов попросил Ходасевича прозондировать почву — *как будто от себя и очень секретно*, не согласится ли издательство „Возрождение“ выпустить книгу его воспоминаний „Петербургские зимы“».

Ответ был дан немедленно — в очень обидной для Георгия Иванова форме. В редакцию „Последних новостей“ пришла на его имя открытка с извещением, что его предложение издать книгу не может быть принято.

Открытку, конечно, прочли в редакции „Последних новостей“, и у всех создалось впечатление, что *сам* Георгий Иванов ходил в издательство „Возрождение“ и просил издать книгу». ²

Местью Иванова за эту открытку была статья «В защиту Ходасевича». Он мастерски сыграл на том, что к концу двадцатых годов — и особенно в статьях о «Собрании стихов» 1927 года — Ходасевичу отводилась роль, как скажет потом В. Набоков, ближайшего «потомка Пушкина по тютчевской линии». ³ В рецензии на «Собрание стихов» тот же Набоков уверенно определял: «Ходасевич — огромный поэт», делая лишь ограничительную оговорку: «Но, думаю, поэт — не для всех». ⁴ З. Гиппиус в статье, посвященной выходу того же «Собрания стихов», с принципиально других позиций, чем Набоков, определяла дар Ходасевича как «страшный и благодетельный». ⁵

Именно в эту точку и ударил Иванов, когда писал: «Но можно быть первоклассным мастером и — оставаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, умения, чтобы стихи стали той поэзией, которая, хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется поэзией „Божьей милостью“. . . Перелистайте недавно вышедшее „Собрание стихов“, где собран „весь Ходасевич“ за 14 лет. Как холоден и ограничен, как скуден его внутренний мир! Какая нещедрая и непевучая „душа“ у совершеннейших этих ямбов». ⁶

К тому же в статье Иванова был утрирован еще один момент, который должен был вызвать негодование Ходасевича. В большинстве статей о поэзии Ходасевича того времени постоянно говорилось о высоком поэтическом ма-

стерстве. Однако для самого поэта такая похвала была почти оскорбительной, ибо еще в 1921 году в статье «Об Анненском» он сформулировал свое отношение к «мастерству» как абстрактному понятию, взятому в отрыве от жизненного и духовного содержания творчества: «Мне доводилось слышать немало восторженных суждений о поэзии Анненского. Но чем восторженнее были поклонники почившего поэта, тем больше говорили они о форме его поэзии, тем меньше об ее смысле. . . За его лирикой не слышат мучительной, страшной человеческой драмы. . . форма у Анненского остра, выразительна, часто изысканна. Следовательно, Анненский — мастер, „ваше превосходительство“, и все обстоит благополучно».⁷ С тем большим удовольствием Иванов, отчасти, видимо, передразнивая рецензию Набокова, писал: «С формальной точки зрения это — почти предел безошибочного мастерства. Можно только удивляться в стихах Ходасевича безошибочному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения. . .».⁸

Казалось бы, этой заметкой дело и должно было бы кончиться. Однако Иванов атаковал Ходасевича еще раз, теперь уже гораздо более язвительно. В упоминавшейся нами статье З. Гиппиус можно было прочитать: «Ходасевич весь принадлежит сегодняшнему дню. Блок — вчерашнему. Трагедия Блока — не то, что менее глубока; но при всех „несказанностях“, ее „механика“ как-то „проще“».⁹ Иванов же издевательски выстраивает совершенно другую «незыблемую скалу» ценностей, на которой Ходасевич обретает свое место: «С выходом „Счастливого домика“ Ходасевича отзывами авторитетных критиков (Брюсов и другие) сразу ставят в один ряд с такими величинами, как С. Соловьев, Б. Садовской, Эллис, Тиняков-Одинокый, ныне полузабытыми, но в свое время подававшими большие надежды».¹⁰ Заодно уж он приписывает Ходасевичу и свое собственное пристрастие к «военным стихам», а ближе к концу стремится скомпрометировать его и политически. Иначе просто невозможно расценить такой пассаж: «Более заметной становится деятельность Ходасевича только со времени большевистского переворота. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительным кругам (О. Каменевой и др.)»,¹¹ занимает пост заведующего московским отделением издательства Всемирной литературы, Госиздат издает его книги и проч.».¹² Столь же компрометирующими для сотрудника «Возрождения» были и следующие фразы: «В 1922 году В. Ходасевич уезжает в заграничную командировку и вступает в число ближайших сотрудников издаваемого Горьким журнала „Беседа“, где и появляется вскоре упоминавшаяся выше статья Белого, давшая первый толчок к должному признанию ценной и высокополезной деятельности Ходасевича».¹³ С 1925 года Ходасевич порывает с Советской Россией, расстается с Горьким и делается помощником литературного редактора „Дней“, возобновленных А. Ф. Керенским в Париже».¹⁴

В довершение всего, статья Иванова вызвала дополнительный скандал, так как была подписана именем участвовавшего в ту пору в литературном процессе поэта А. А. Кондратьева, что вызвало с его стороны решительный протест.¹⁵ Таким образом, своей цели Иванов добился.

Ю. Терапиано пишет о том, что Ходасевич предпринял против Иванова некие внелитературные акции, не перечисляя их. Но о самом главном ответе Ходасевича Иванову он промолчал. Ответ этот содержался в рецензии близкого литературного единомышленника Ходасевича В. Вейдле на книгу Иванова «Розы»: «. . . стихи, на первый взгляд, по крайней мере, отнюдь не столь розовы и слащавы, как те, что были напечатаны в „Вереске“ или „Садах“. . . Лишь постепенно замечаешь в них налет какой-то очень тонкой подделки. Сна-

ружи все как будто и очень немногословно, и неукрашено, и лирично, и серьезно, но внутри ощущается все та же прежняя, так ничем и не заполненная пустота. Хуже всего то, что пустота эта прикрывается обыкновенно чужим поэтическим имуществом. Георгий Иванов слишком бесцеремонно заимствует приемы и мотивы у других поэтов, очевидно, у тех, которых он особенно ценит»,¹⁶ и далее следует пример совпадения с Ходасевичем, о котором мы будем говорить ниже.

По воспоминаниям того же Терапиано, на вечере памяти Андрея Белого 3 февраля 1934 года Ходасевич и Иванов помирились по инициативе тогдашнего председателя «Союза молодых поэтов и писателей» Юрия Фельзена. «Лишь значительно позже, уже после прекращения войны, Ходасевич довольно кисло отозвался два раза о книгах Георгия Иванова — и оба раза его статьи нельзя было назвать „убийственными“, — они били по второстепенным целям и не были убедительными». ¹⁷ Вряд ли такая оценка верна на все сто процентов. Скажем, в рецензии на «Распад атома» — самое решительно антиэстетическое произведение Иванова — Ходасевич писал о том, что «он (Г. Иванов. — Н. Б.) не сумел избавиться от той непреодолимой красоты, которая столь характерна для его творчества и которая составляет как самую сильную, так и самую слабую сторону его поэзии». ¹⁸ Но все же «литературная война» и на самом деле закончилась почти примирением.

Однако таков лишь внешний план взаимоотношений Ходасевича и Иванова. Гораздо больший интерес, на наш взгляд, представляет их внутренняя полемика, то пропадавшая, то вырвавшаяся на поверхность. Дело в том, что Ходасевич и Иванов являются одними из наиболее ярких в русской поэзии «цитатных поэтов». Это определение В. Маркова, приложенное им к Иванову, ¹⁹ совершенно справедливо и по отношению к Ходасевичу. Вообще понятие интертекстуальности применительно к русской поэзии XX века является одним из принципиально важных и разработанных далеко не полностью. Существует довольно много тонких и точных наблюдений по практике интертекстуальности, позволяющих сделать и определенные теоретические выводы, ²⁰ однако, как нам представляется, в более пристальном анализе настоятельно нуждаются сами подходы различных поэтов, ориентированных на интертекстуальность, к принципам цитирования в художественном тексте, так как именно различным отношением авторов к проблемам интертекстуальности своих собственных произведений определяются их сближения и расхождения непосредственно в литературном процессе. К примеру, отношение Ходасевича к творчеству Пастернака, Мандельштама или Заболоцкого колебалось от сравнительно неприязненного до открыто враждебного, в то время как все они принадлежат к одному и тому же разряду «цитатных» поэтов. Ходасевич всегда осознавал себя представителем определенного литературного ряда. При этом он не воспринимал ни Пастернака, ни Заболоцкого, ни Мандельштама, ни Г. Иванова как родственных себе в каком бы то ни было отношении.

Характерно, что проблема, о которой пойдет речь далее, была поставлена уже самим Ходасевичем в рецензии на сборник стихов Иванова «Отплытие на остров Цитеру», вышедший в 1937 году. Он писал: «Характерны для Георгия Иванова заимствования у других авторов, а в особенности — самый метод заимствований. . . Георгий Иванов заимствует именно не материал. . . а стиль, манеру, почерк, как бы само лицо автора — именно то, что повторения не хочет и в повторении не нуждается. Иными словами — заимствует то, что поэтам, которым он следует, было дано самою природой и что у них самих отнюдь не было ниоткуда заимствовано. Так, для более ранних стихотворений Иванова характерен стиль и звук Кузмина, Ахматовой, Гумилева, реже — Осипа Мандельштама, Сологуба, может быть — Потемкина». ²¹ Встречаются

пьесы, в которых влияния комбинированы: стихотворение, навеянное Ахматовой, получает стих, восходящий к Мандельштаму, и т. п. В стихах эмигрантской поры эти влияния уступают мощному натиску Блока и З. Гиппиус, которые в прежние годы находились вне ивановского кругозора. В общем же у читателя создается впечатление, что он все время из одной знакомой атмосферы попадает в другую, в третью, чтобы затем вернуться в первую и т. д.»²²

Для цитатной техники Ходасевича, как нам уже приходилось говорить, характерна ориентация на осознанную тайнопись, когда очевидные коннотации стихотворения оказываются внешними и должны быть отброшены, чтобы выявились новые скрещения с текстами совершенно неожиданными.²³

Для цитатной техники Г. Иванова, напротив, гораздо характернее цитата открытая, не прячущаяся, а нередко и в какой-то степени развернуто «финальная», как бы синтезирующая в себе весь образ творческой индивидуальности того или другого поэта. Таково, например, раннее стихотворение «Беспокойно сегодня мое одиночество. . .», являющееся сколком с «Семейных портретов» Б. Садовского. Не случайно уже в рецензии на «Вереск» Ан. Свентицкий писал: «Из стихотворений Иванова все время выглядывают хорошо нам знакомые лица, и потому каким-то недоразумением кажется пометка „Г. Иванов“ там, где ожидаешь встретить заголовок: „Вереск, альманах современной поэзии, при участии А. Ахматовой, Н. Гумилева, М. Кузмина и других“». Кажется даже, что в сборник этот попали неизданные стихотворения Некрасова и еще не переведенные — Байрона. Ахматова и Кузмин преобладают».²⁴

Да и в последующие годы Иванов избегает тщательной шифровки своих подтекстов, предпочитая ей скопление заимствований из разных поэтов, но почти всегда явных и настоятельно требующих раскрытия, тогда как у Ходасевича множество подтекстов заметно лишь при тщательном сличении с далеко не самыми заметными и распространенными текстами. Таково, например, у Иванова стихотворение «Полутона рябины и малины. . .», проанализированное с этой точки зрения В. Марковым,²⁵ а также многие другие. В тех же случаях, когда Иванов цитирует тексты не слишком известные, он может включить пояснение. Таково, например, в «Посмертном дневнике» стихотворение «Побрили Кикапу в последний раз. . .», к которому сделано примечание: «Стихотворение художника Н. К. Чурляниса 1875—1911».²⁶ Эти стихи записывались под диктовку Иванова И. В. Одоевцевой, и можно потому предположить, что примечание не является интегральной частью текста «Посмертного дневника», но в любом случае очевидно, что процитированное четверостишие Иванов каким-то образом пояснял, указывая его источник.²⁷ В какой-то степени аналогичен случай со стихотворением «Все представляю в блаженном тумане я. . .», где в заключительном четверостишии:

.. Вот вылезаю, как зверь из берлоги я,
В холод Парижа, сутулый, больной. . .
«Бедные люди» — пример тавтологии,
Кем это сказано? Может быть, мной, —²⁸

уже как бы содержится намек на то, что на самом деле эта формула принадлежит не самому Иванову.²⁹

Как нам представляется, случаи пересечения цитатных полей Ходасевича и Иванова с наибольшей ясностью демонстрируют именно эту разницу в ориентации поэтов на различные типы подхода к цитации в своем творчестве.

Рассмотрим несколько примеров, которые, не претендуя на исчерпание темы, тем не менее вполне наглядно представят принципиально различающиеся методы цитирования. Первый образец — стихотворение Иванова «Деревья, паруса и облака. . .»,³⁰ в котором поначалу трудно уловить нечто более зна-

чительное, чем пышную восточную стилизацию под старую книжную гравюру (строка: «Как пленница, Зюлейка иль Зарема» неминуемо должна вызвать в памяти читателя фразу из другого стихотворения той же книги: «Галактионов / Такой Зарему нам нарисовал»). Однако этот эффект создается в основном последней строфой с ее «благоуханной роскошью гарема». Первые же две (особенно вторая) отчетливо ориентированы на поэтику Ходасевича сборников «Счастливый домик» и «Путем зерна». Прямое упоминание Орфея возводит вторую строфу к стихотворению «Века, прошедшие над миром...», а общее напряжение этих двух строф — воспроизводит всю атмосферу книги «Путем зерна».³¹ Однако эту ориентированность Иванов маскирует, окружая «опустошенную душу» роскошью красок и восточных имен. Образная система Ходасевича сохраняется, но переводится в другой регистр.

С первым примером вполне отчетливо связан второй — стихотворение Ходасевича «Ни розового сада...».³² Вряд ли можно было бы определить цитатную природу этого стихотворения, если бы не помета самого Ходасевича на экземпляре «Собрания стихов», подаренном Н. Н. Берберовой: «19 окт(ября) 1921 года) По возвр(ащении) из Москвы. Накануне получил книгу Г. Иванова „Сады“».³³ Эта запись делает совершенно ясным и «розовый сад» первой строки, и, по справедливому замечанию Дж. Малмстада и Р. Хьюза, рифму «ясно — прекрасно» (из унаследованной Ивановым от Кузмина «прекрасной ясности»), и «воистину не надо» в соотношении с ивановскими строками: «Мой милый друг, мне ничего не надо, / Вот я добрел сюда и отдохну».³⁴ Однако, как нам представляется, важнее подчеркнуть то, что все эти цитаты не находятся в такой прямой и непосредственной связи с текстом книги Иванова, чтобы без них она была лишена резона. Стихотворение Ходасевича воспринимается совершенно без всякого ущерба для своего смысла и человеком, не подозревающим, что оно каким-то образом связано с поэзией Иванова. Более того, даже выделенная комментаторами как имеющая прямое соответствие у Иванова строка Ходасевича «Воистину не надо» вторит самим своим построением многим другим строкам Ходасевича: «Довольно! Красоты не надо»; «И Революции не надо!»; «Пускай грядущего не надо»; «Душа выиграла. Ей не надо» (примеры взяты только из книги «Тяжелая лира»). Цитатность лишь отбрасывает некую тень на стихотворение Ходасевича, делает его содержание более широким, позволяет воспринять не только утверждение поэта, но и внутреннюю полемичность его настроенности, ощутить объект этой полемики.

Следующий по хронологии предмет нашего анализа — стихотворение Г. Иванова:

В глубине, на самом дне сознания,
Как на дне колодца — самом дне —
Отблеск нестерпимого сиянья
Пролетает иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него...
и понимаю,
Что глядят соседи по трамваю
Странными глазами на меня.³⁵

Именно по поводу этого стихотворения и писал В. Вейдле в цитированной ранее рецензии: «Стихотворение, начинающееся словами „В глубине на самом дне сознания“, чрезвычайно точно воспроизводит приемы Ходасевича, даже рифмы (меня, огня, трамваю, понимаю) вместе с основной мыслью заимствованы из „В заботах каждого дня...“, а эффект перерыва стихотворения —

из „Перешагни, перескочи. . .“». ³⁶ Здесь совершенно точно уловлены переклички стихотворений Иванова и Ходасевича, даже если учесть, что в перечислении повторенных Ивановым рифм Вейдле допустил ошибку (Ходасевич рифмовал: «склоня — огня» и «трамваю — понимаю»). Мало того, наблюдения критика можно и дополнить. Так, «падаю в него», безусловно, заимствовано из «Ни розового сада. . .» («Я падаю в себя»; ср. также другие «падения» в «Тяжелой лире»: «Сердце словно вдруг откуда-то / Упадает с вышины» и там же: «Легкая моя, падучая, / Милая душа моя!»; «И каждый вам неслышный шепот, / И каждый вам незримый свет / Обогащают смутный опыт / Психеи, падающей в бред»; «Закрой глаза и падай, падай, / Как навзничь, в самого себя». Все они предвещают сквозной для «Тяжелой лиры» мотив преобразования души в странницу по «родному, древнему житью»); закрывание глаз — любимый жест в стихах Ходасевича, ³⁷ несомненно, восходящий к фетовскому:

И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю,

которое — напомним — продолжается так:

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира. ³⁸

Нелишне будет отметить, что стихотворение Иванова было опубликовано в 1929 году, ³⁹ то есть как раз в промежутке между двумя рассчитанно оскорбительными для Ходасевича статьями. Именно в этот период напряженных отношений Иванов создает стихотворение, воплощающее всем своим строем, начиная от рифм и кончая смысловой структурой, полнейший образ поэзии Ходасевича.

Следующие примеры, которые хотелось бы проанализировать, относятся к гораздо более позднему времени, когда Ходасевича уже не было в живых, а Иванов постепенно подводил итоги своей жизни, вступая при этом в перекличку с теми поэтами, которых считал «своими». Прямо называются в стихах или их ближайшем контексте (эпиграфах, посвящениях) имена Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Анненского, Ахматовой, Мандельштама, Адамовича. Не требует труда узнавание подтекстов из Блока и Жуковского. Среди этих имен, всегда пользовавшихся в пантеоне Иванова полнейшим почетом, оказывается, хотя и в несколько другом качестве, имя Ходасевича. Если все предшествующие — «дорогие могилы» или имена, оваянные почти что посмертным уважением (кроме Адамовича), то Ходасевич по-прежнему остается для Иванова одним из тех активных голосов, с которыми он постоянно вступает в диалог. Вот два характерных образца:

Так, занимаясь пустяками —
Покупками или бритьем —
Своими слабыми руками
Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
Ввысь — к небожителям на пир —
Своими слабыми руками
Мы разрушаем этот мир.

Туманные проходят годы,
И попережку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

И принимаем попережку, —
 С надменностью встречая их, —
 То восхищенье, то насмешку
 От современников своих.⁴⁰

В этом стихотворении, написанном в 1955 или 1956 году, конечно, смысловой центр находится в предпоследней строфе. Но две первые строфы, помимо легко опознаваемой тютчевской цитаты, построены на реминисценциях из Ходасевича:

Не легкий труд, о Боже правый,
 Всю жизнь воссоздавать мечтой
 Твой мир, горящий звездной славой
 И первозданную красой⁴¹

и:

И я творю из ничего
 Твои моря, пустыни, горы,
 Всю славу солнца Твоего,
 Так ослепляющего взоры.
 И разрушаю вдруг шутя
 Всю эту пышную нелепость,
 Как рушит малое дитя
 Из карт построенную крепость.

(«Горит звезда, дрожит эфир...», 1921)

Второй образец — одно из самых отчаянных стихотворений Иванова (опубликовано в 1952 году):

Просил. Но никто не помог.
 Хотел помолиться. Не мог.
 Вернулся домой. Ну, пора!
 Не ждать же еще до утра.

И вспомнил несчастный дурак,
 Пошупав, крепка ли петля,
 С отчаяньем прыгая в мрак,
 Не то, чем прекрасна земля,
 А грязный московский кабак,
 Лакея засаленный фрак,
 Гармошки залиvistый вздор,
 Огарок свечи, коридор,
 На дверце два белых нуля.⁴²

Пятая строка точно указывает тот уже давно существующий образец, на который Иванов ориентируется — стихотворение Ходасевича «Окна во двор» (1924): «Несчастный дурак в колодце двора / Причитает сегодня с утра, / И лишнего нет у меня башмака, / Чтобы бросить его в дурака», — тоже одно из самых отчаянных для своего автора стихотворений, обозначающих предельную грань, за которой начинается разрушение поэзии и, следовательно, разрушение личности.⁴³ Думается, что смысл двух последних примеров и заключен в чрезвычайно актуальном для Иванова сопоставлении тех крайних границ поэзии, которые определили для себя Ходасевич и он сам. Опираясь на опыт своего предшественника, Иванов пятидесятих годов ищет возможности заглянуть дальше в ту бездну отчаяния и безнадежности, которая время от времени открывалась глазам Ходасевича и, очевидно, послужила одной из причин того, что Ходасевич прекратил писать стихи, — эта бездна казалась ему непременной. По справедливому наблюдению в уже гораздо более поздней статье В. Вейдле, Иванов «не только стал писать стихи чаще, чем прежде; он еще и стал писать их как если бы Ходасевич передал ему свое перо... Иванов дальше, чем Ходасевич, пошел по пути Ходасевича». Это свое наблю-

дение Вейдле сделал, оговорившись: «Именно тут, т. е. в поздних стихах, после „Портрета без сходства“, я больше никаких цитат не нахожу, а если б они и нашлись, они бы на цитаты не походили, по-иному были бы осмыслены».⁴⁴ Мы стремились показать, что для Иванова и в последней прижизненной книге Ходасевич присутствовал не только как одна из «дорогих теней», но и совершенно открыто, впрямую. И уже в совершенно открытой форме высказалось это в предсмертной попытке Иванова переделать свои стихи для предполагавшегося, но не осуществленного собрания стихов. Перерабатывая свое старое стихотворение «Клод Лоррен» («От сумрачного вдохновения. . .»), Иванов снабжает его эпиграфом: «Мне ангел лиру подает»,⁴⁵ и условно-картинную последнюю строфу:

И тихо, выступив из тени,
Плащом пурпуровым повит,
Гость неба встанет на колени
И сонный мир благословит,⁴⁶

заменяет такой:

И тихо выступив из тени,
Блестя крылами при луне,
Передо мной, склонив колени,
Протянет лиру ангел мне.⁴⁷

Эта лира, конечно же, — лира Ходасевича, протянутая теперь его младшему современнику, так резко при жизни с Ходасевичем полемизировавшему и так решительно его путь продолжившему.

¹ О литературных отношениях поэтов в 1916—1921 годах см. во вступительной статье Е. В. Витковского к кн.: *Иванов Г. Портрет без сходства*. М., 1990.

² *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж, 1986. С. 115. Источник этих сведений Терапиано назвал в первой публикации своей статьи (Мосты. Вып. 12. Мюнхен, 1966). Тот же рассказ автору данной статьи довелось слышать из уст И. В. Одоевцевой летом 1988 года.

³ *Сирин В.* О Ходасевиче // *Современные записки*. 1939. № LXIX. С. 262.

⁴ *Руль*. 1927. 14 дек. № 2142.

⁵ *Антон Крайний.* «Знак». О Владиславе Ходасевиче // *Возрождение*. 1927. 15 дек. № 926. Об отношениях Ходасевича и Гиппиус см.: *Гиппиус Зинаида*. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by Erika Freiberger Sheikholeslami. Ann Arbor, [1978]; Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925—1938) / Публ. Дж. Мальмстада // *Минувшее*. Исторический альманах. Вып. 3. [Париж, 1987]. С. 272—277.

⁶ *Последние новости*. 1928. 3 марта. № 2542; полностью перепечатано в указанной работе Ю. Терапиано.

⁷ *Феникс*. М., 1922. С. 122—123. Перепечатано: *Лит. обозрение*. 1988. № 8. С. 107—108; там же в нашем предисловии подробнее сказано о смысле протеста Ходасевича против «формального» подхода к поэзии Анненского и любой поэзии вообще.

⁸ *Последние новости*. 1928. 3 марта.

⁹ *Возрождение*. 1927. 15 дек. Здесь же — имплицитное сравнение Ходасевича с Тютчевым, явно не в пользу последнего: «Душа и сердце, бьющееся „на пороге“ не „двойного бытия“, а тройного, четверного, пятерного. . .»; уподобление поэзии Ходасевича творчеству Блока и Тютчева см. также в цитированной рецензии Набокова.

¹⁰ *Кондратьев А.* [Иванов Г. В.] К юбилею В. Ф. Ходасевича. Привет читателя // *Числа*. 1930. № 2—3. С. 313.

¹¹ С явным передергиванием фактов Иванов опирается здесь на очерк Ходасевича «Белый коридор» (Дни. 1925. 1, 3, 6 ноября. № 842—843; 846; перепечатан Евг. Бенем: *Наше наследие*. 1988. № 3). Этот же очерк был использован Ивановым для компрометации послеоктябрьской позиции О. Мандельштама в книге «Петербургские зимы» с характерной заменой: согласно Иванову, на прием к Дзержинскому с протестом против незаконных действий Я. Блюмкина Мандельштама водила Каменева, тогда как на самом деле — Л. М. Рейснер (см.: *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания. М., 1989. С. 96—100).

¹² Кондратьев А. Цит. соч. С. 313. Следует отметить, что единственную книгу, вышедшую в Госиздате, Ходасевич стремился отдать какому-либо частному издательству (см. его письма к жене от 12 и 18 мая, 1 июня 1922 (ЦГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49)). Книга была издана лишь благодаря одному из руководителей Госиздата Н. Н. Мещерякову (об этом пишет в своих воспоминаниях П. Н. Зайцев; за сообщение этого факта приносим глубокую благодарность М. Л. Гаспарову) и навлекла на Госиздат резкую критику (см.: *Родов С.* «Оригинальная» поэзия Госиздата // На посту. 1923. № 2. Стлб. 153—160).

¹³ Имеется в виду статья Андрея Белого «„Тяжелая лира“ и русская лирика» (Современные записки. 1923. № XV). Смысл ивановской инвективы двойной: во-первых, расчетливо путая место появления статьи, он стремится создать у читателя впечатление литературного кумовства; во-вторых, он нарочито не упоминает первую подробную восторженную статью Белого о Ходасевиче «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (Записки мечтателей. 1922. № 5).

¹⁴ Кондратьев А. Цит. соч. С. 313.

¹⁵ Кондратьев А. Письмо в редакцию // Возрождение. 1930. 23 окт. № 1961. См. также письма Кондратьева к Г. П. Струве (Струве Г. Александр Кондратьев по неизданным письмам // *Annali dell' Istituto universitario orientale. Sezione slava. Napoli, 1969. Vol. XII*; имеется также отдельный оттиск) и полемику между Г. Струве и Ю. Терапиано (*Г. Струве. Дневник читателя. I. Г. Иванов, В. Ходасевич и А. Кондратьев. Запоздалые уточнения // Русская мысль. 1969. 30 янв. № 2728; Терапиано Ю.* По поводу «Дневника читателя» // Там же. 20 февр. № 2726; *Струве Г. Судьба А. А. Кондратьева // Там же. 3 апр. № 2732*).

¹⁶ Возрождение. 1931. 12 марта. № 2109.

¹⁷ Терапиано Ю. Цит. соч. С. 120.

¹⁸ Возрождение. 1938. 28 янв. № 4116.

¹⁹ См.: *Марков В.* Русские цитатные поэты (П. А. Вяземский и Г. Иванов) // *To hopog Roman Jakobson. Vol. 2. The Hague; Paris, 1967*.

²⁰ См. известные работы К. Тарановского, Г. Левинтона, О. Ронена, Р. Тименчика, Т. Цивьян, В. Топорова, Ю. Левина, И. Смирнова и др.

²¹ Отметим, что Ходасевич платит Иванову той же монетой: на сравнение с Тиняковым и Эллисом отвечает уподоблением Потемкину.

²² Возрождение. 1937. 28 мая. № 4080; приносим сердечную благодарность Е. В. Витковскому, сообщившему нам данный текст, а также высказавшему ряд ценных замечаний.

²³ См.: *Богомолов Н. А.* Рецензия поэзии пушкинской эпохи в творчестве В. Ф. Ходасевича // Пушкинские чтения в Тарту. Тезисы докладов научной конференции. Тарту, 1987; статья, содержащая более развернутое изложение этих идей, находится в печати.

²⁴ Журнал журналов. 1916. № 35. С. 16.

²⁵ *Марков В.* Цит. соч. С. 1285—1287.

²⁶ Новый журнал. 1959. № 56. С. 140.

²⁷ Впрочем, то ли по ошибке памяти, то ли по недослышке Одоевцевой автор четверостишия оказался спутан: на самом деле он принадлежит не литовскому художнику и композитору М. К. Чурленису, вообще стихов не писавшему, а поэту Т. В. Чурилину (см.: *Чурилин Т.* Весна после смерти. М., 1915. С. 65).

²⁸ *Иванов Г.* 1943—1958. Стихи. Нью-Йорк, 1958. С. 94.

²⁹ См.: *Ландау Гр.* Эпиграфы // Числа. 1930. № 2/3. С. 116. За указание благодарим Р. Д. Тименчика.

³⁰ *Иванов Г.* Сады. Пб., 1921. С. 43.

³¹ О теме Орфея в «Счастливом домике» и «Путем зерна» см.: *Богомолов Н.* Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича // Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 32—40.

³² Далее стихи Ходасевича цитируются по кн.: *Ходасевич В.* Собрание сочинений. Под ред. Дж. Малмстада и Р. Хьюза. Том I. [Ann Arbor, 1983].

³³ *Ходасевич В.* Собрание сочинений. С. 332.

³⁴ *Иванов Г.* Сады. С. 42.

³⁵ *Иванов Г.* Розы. Париж, 1931. С. 49.

³⁶ Возрождение. 1931. 12 марта.

³⁷ В той же «Тяжелой лире» в различных вариациях: «Мудрый подойдет к окошку, / Поглядит, как бьет гроза, — / И смыкает понемножку / Пресыщенные глаза; / И закатив глаза под веки, / Движение крови затая. . .».

³⁸ *Фет А.* Вечерние огни. М., 1971. С. 14. Ср.: *Ходасевич В.* Надсон // Вопросы литературы. 1987. № 9. С. 210—212.

³⁹ Последние новости. 1929. 20 июня. № 3011.

⁴⁰ *Иванов Г.* 1943—1958. Стихи. С. 60.

⁴¹ Из стихотворения «Звезды». Следует отметить, что в «Собрании стихов» 1927 года именно это четверостишие завершало книгу.

⁴² *Иванов Г.* 1943—1958. Стихи. С. 83.

⁴³ Ср. также пятую строфу «Окон во двор»: «Небритый старик, отодвинув кровать, / Забывает старательно гвоздь, / Но сегодня сумеет ему помешать / Идущий по лестнице гость».

⁴⁴ *Континент.* 1977. № 11. С. 364—365.

⁴⁵ Неточная цитата из стихотворения Ходасевича «Баллада» (1925). В оригинале: «Мне лиру ангел подает».

⁴⁶ Иванов Г. Сады. С. 54.

⁴⁷ Терапиано Ю. Варианты // Мосты. Вып. 6. Мюнхен, 1961. С. 138. По справедливому замечанию Г. А. Левинтона, пример этот заслуживает внимания еще и как образец не могущего ошибаться поэтического мышления, когда нарушенный порядок слов в эпиграфе восстанавливается в самом тексте.

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ ГЛАЗАМИ ГОГОЛЕВЕДА *

Знакомство с поэмой Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки» состоялось у меня тогда, когда само понятие «современная художественная проза» уже готово было превратиться в нонсенс. Отсюда должно быть понятно то отрадное чувство, которое она вызвала:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край. . .

Но этому чувству не было выхода вовне, ибо, существуя в русской литературе реально, Ерофеев долгие годы в ней *как бы не существовал* (национальный феномен, описанный еще Тыняновым). Наконец живая жизнь пробилась и сквозь железобетон: писатель признан, его печатают, ставят на сцене, у него берут интервью, о нем выходят статьи. . . Счастливей конец, казалось бы, венчает дело. Но до слуха доходят то там, то тут раздающиеся возгласы: «Не могу читать», «Противно» — и в том же роде. Причем подобное приходится слышать от лиц с высшим филологическим образованием, да еще, как говорится, остепененных.

Разумеется, на все вкусы не угодишь. Кому-то может и не понравиться. Но кажется, что этого простого объяснения здесь недостаточно:стораживают некоторые нотки в голосах самих увенчивающих. Почему, например, сюжет «Петушков» излагается ими в однозначно бытовом плане (герой уснул в поезде, не вышел на своей станции и нечаянно вернулся в Москву)? Почему произведение Ерофеева упорно именуют «повестью»? Как тут не вспомнить историю полуторастолетней давности — реакцию публики на «Мертвые души». Гоголю тоже никак не могли простить «сальности», как тогда на французский лад выражались, его произведения. И так же, как и сейчас, не вникнув в суть дела, многие читатели (и критики в том числе) покатывались тогда со смеху над словом «поэма», которое писатель специально поместил в центр своей обложки да еще выделил самыми крупными буквами.

А мне не смешно (как могли бы сказать у Ерофеева петушинские революционеры, любившие при случае процитировать Антонио Сальери). Да, в поэме Ерофеева действуют одни сплошные алкаши, которые все время пьют и без конца рассуждают о выпивке. Но не для того же в самом деле трудился автор, чтобы сообщить нам секрет коктейля «Поцелуй тети Клавы». Как можно о шедевре ошеломляющей фантазии и остроумия судить по чисто внешним, тематическим признакам, словно речь идет о какой-нибудь натуралистической «чернухе»? Ведь эта вещь написана в совершенно особом ключе, подчинена своим, особым эстетическим канонам. Чтение искусства само очень большое искусство, — утверждает Федор Степун. Так давайте же читать квалифицированно.

Образ (понятие) выпивки — это, условно говоря, только материал, в котором работает художник, а чем материал грубее и невыразительнее, тем большей

* Статья отстала от событий: она находилась в производстве, когда Венедикта Ерофеева не стало. Вечная ему память.

виртуозности требует он от мастера. Ерофеев показал, что вариантов художественного использования выпивки в произведении он знает еще больше, чем его герой — способов применения одеколona «Свежесть» в различных напитках домашнего изготовления. Выпивка у него — это главное занятие всех действующих лиц поэмы. Выпивка (а также сдача посуды) — предмет теоретических дискуссий. Графики, построенные на данных выпивки, полностью вскрывают характер пьющей личности. С помощью выпивки объясняется вся история русского освободительного движения, а заодно и мировой культуры. Она же, выпивка, является центральным вопросом и движущей силой петушинской революции.

В конце концов выпивка идентифицируется с самой жизнью. «Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже? — рассуждает герой Ерофеева. — Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить».

Великолепна находка Ерофеева, сумевшего сделать выпивку и формообразующим фактором своего произведения. Речь здесь пойдет не о том, чтобы объяснить те или иные эпизоды пьяным бредом героя. Ведь в том-то и дело, что и «реальное», и так называемое «фантастическое» в образном мире поэмы равно реальны. И в этом смысле объяснение оплошности Венички тем, что он проспал свою остановку, ничуть не более убедительно, чем версия о кознях Сфинкса. Формообразующая роль выпивки заключается у Ерофеева в том, что процесс опьянения героя идет у него рука об руку с расширением того художественного пространства, в котором герой существует и действует, выходом его из узких пределов *быта* в беспредельный план *бытия*. Происходит «взрыв» в мире детерминированной реальности и переход всех его компонентов в некое иное измерение.

Здесь напрашивается сравнение с выходом ракеты из сферы земного тяготения. Читатель воспринимает этот «отрыв от Земли» почти физически: темп всех видов движения в поезде неудержимо нарастает, достигая наконец скорости вихря, грохот вагонов заглушает все звуки, свет за окнами сменяется тьмой. Одновременно поезд наполняется различными выходцами из «миров иных».

И в этом новом измерении поездка Венички в Петушки оказывается только поводом к безгранично широкой постановке вопроса о смысле и сущности человеческой жизни в объеме всей известной нам истории. Здесь и лежит разгадка так смущающего всех слова «поэма». ¹ Прибавлю, что совершенно аналогично обстоит дело и с «Мертвыми душами».

Многомерность своего художественного мира Ерофеев постулирует еще в начале произведения в следующих словах Венички: ² «Ведь в человеке не одна только физическая сторона: в нем и духовная сторона есть, и есть — больше того — есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона». А так как художественная вселенная Ерофеева строится через образ рассказчика, через его повествование, то и в ней неизбежно находят отражение все эти три его ипостаси.

Хорошим комментарием к тому, как «работает» эта триада у Ерофеева, может служить его эссе о Розанове (альманах «Зеркала». М., 1989). Там есть такой момент: герой-рассказчик засыпает с томом Розанова «в обнимку». Утром, когда духовная сторона рассказчика «проснулась, брэнная еще спала». Розанов же, который уже предстает не как книга, а как живой человек, оказывается, проснулся еще раньше. Герой (то бишь его проснувшаяся, духовная сторона) наблюдает за действиями «ретрограда», между ними завя-

зывается философский диалог, а затем Розанов, «как утренний туман, заколыхался. . . и исчез» (по-видимому, в этот момент проснулась «бренная сторона»). Таким образом, допущение, что перечисленные Веничкой «стороны» человека существуют автономно и неподконтрольны друг другу, может служить некой условной мотивировкой всех фантазмагорий в ерофеевском мире.

Нечто в принципе подобное имело место в «Страшной мести», но под пером Ерофеева отдельный, замкнутый в себе гоголевский эпизод перерос в неповторимо оригинальную художественную форму, в которой различные грани бытия то распадаются порознь, то смыкаются и накладываются друг на друга в самых неожиданных комбинациях. В рамках такой формы возможно существование ряда самостоятельных сюжетов, пересекающихся лишь в каких-то отдельных пунктах, и самым значительным из них в поэме Ерофеева является сюжет евангельский, представляющий собой своего рода «мистическую» параллель к сюжету «физическому».

Увидеть эту параллель позволяет обилие прямых и скрытых реминисценций из Евангелия, наполняющих совсем особым смыслом столь, казалось бы, далекое от него произведение Ерофеева. Задумавшись над ролью этих реминисценций, мы неожиданно для себя заметим, что сам образ забулдыги Венички, несмотря на все присущие ему черты бурлеска, в значительной степени написан «под Христа».

Вспомним, что герой поэмы неизменно деликатен и терпим в отношении к людям. У него нетрудно вызвать слезы. Он готов посочувствовать (и налить) каждому. Последняя деталь, кстати, не «выводит» его из образа — ведь первым чудом, которое сотворил Христос (по Иоанну), было превращение воды в вино, чтобы напоить пирующих. В главе «Воиново—Усад» мы узнаем, что Веничка принципиальный противник насилия. С образом Христа героя связывают и Ангелы Господни, сопровождающие его и беседующие с ним.³ Они выступают как некая реализация слов Иисуса, приведенных четвертым евангелистом: «. . . истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Подобно Христу, Веничка постоянно в своих мыслях обращается к Богу Отцу.

Использование новозаветных образов и ситуаций очень характерно для искусства XX века. Причины этого достаточно очевидны. Перед лицом страшных катастроф нашего столетия образ Христа для многих авторов оказался единственным символом человечности в «расчеловеченном» мире. Ерофеев, однако, реализует евангельскую тему не так, как другие. Если большинство писателей, будь то Пастернак или Айтматов, проявляют в обращении с текстом Писания подчеркнута благоговейную серьезность, и даже безудержно смешавший Булгаков так членит свой роман, что его евангельские эпизоды не приходят в соприкосновение с буйным карнавалом московско-сатанинских сцен, — Ерофеев без всяких обиняков включает евангельскую тему в свое вызывающе сниженное смеховое повествование. Его герой ориентирован в одно и то же время на две различные художественные стихии — мир грубой и грязной современности и сакральный мир Евангелия. Поэтому не сразу узнаешь Христа в такой, например, тираде: «Человек. . . должен найти людей и сказать им: „Вот! Я один. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!). А вы — отдайте мне себя. . .“»

Однако соотношение между двумя художественными ипостасями в образе героя (или между его «физической» и «мистической» «сторонами») подвижно, оно меняется по ходу развития сюжета. Хотя евангельские реминисценции располагаются на всем протяжении текста поэмы, от первой ее страницы до последней, в начальных главах связь между образами Венички и Христа намечена еще таким тонким пунктиром, что ее невольно пропускаешь мимо

сознания. Евангельские эпизоды поначалу упоминаются светлые — такие, например, как воскрешение дочери Иаира или Лазаря, причем роль Христа в сравнении, где эти эпизоды использованы, принадлежит не герою поэмы, а его возлюбленной. К ней же, а не к Веничке отнесены слова: «И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?», явно перекликающиеся с репликой евангельского Нафанаила: «Из Назарета может ли быть что доброе?».

Еще в духе веселой игры с Евангелием звучит в главе «43-й километр—Храпуново» Веничкина фраза: «Довольно в мутной воде рыбку ловить — пора ловить человека!». . .»

Но по мере приближения поезда к Петушкам «мистический» сюжет начинает все явственнее выступать из «физического», напоминая выход гоголевского ростовщика из своей рамы. Реминисценции теперь связаны с последними эпизодами из жизни Христа, и завершает их ряд последний крик распятого «Лама савахфани». Евангельская плоскость сюжета как в зеркальном отражении повторяет собой физическую сторону Веничкиной жизни, изложенную в *Vorgeschichte*. Комическая тональность сменяется при этом трагической.

Так, образ распятия уже встречался нам в рассказе Венички о его неудачном бригадирстве: «Распятие совершилось — ровно через тридцать дней после Вознесения». Но там эта метафора носила шуточный характер и вообще казалась проходной.

Точно так же обстоит дело и с дважды фигурирующей в тексте картиной Крамского «Неутешное горе». В начале поэмы этот образ с Евангелием никак не связывается и не вызывает никаких четких ассоциаций. В конце же, попадая в плотную среду аналогий с кончиной Христа, он уже прочитывается как метафорическое напоминание о «женах», стоявших у креста.

Четверо убийц, расправившихся с Веничкой в финале, повторяют собой тех четверых из общезития, которые выясняли с ним отношения (та же композиция: герой лежит, а они группируются вокруг него).

Середина пути также отмечена образом распятия, но сейчас этот образ уже не смеховой: «Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубокальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость».

Небольшое отступление. Помните слова Поприщина: «Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай»? А теперь перечтите ерофеевские строки. То и выйдет «Все мы вышли из его „Шинели“». Имею в виду не только гуманную идею, но и ту форму ее воплощения, которую в своем эссе о Розанове Ерофеев окрестил словом «рацеи». Вся наша большая литература XIX века отдала дань этим «рацеям» (не зря, видно, Гоголь считал одним из истоков русской художественной литературы «слово» церковных пастырей). Оказывается, эта традиция не чужда и самому Ерофееву. И тут уже готов ответ на поднимающийся в печати вопрос, почему «Москва—Петушки» «очень русская книга».

Дополнительный материал по этому вопросу дают следующие соображения. В конце поэмы ее герой пересказывает прозой известные тютчевские строки: «А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде. . .» Здесь, кстати, снова зеркальное отражение: мы помним, что Веничка ни разу не видел Кремля, а в этом месте дальше сказано, что «Он» в сторону Кремля «ни разу не взглянул». Но сейчас нас интересует другое. Складывается впечатление, что на стихотворный оригинал приведенного фрагмента спроецировано «путешествие» Венички по Европе. Во всех своих странствиях герой предельно оскорблен и унижен, с ним обращаются действительно как с рабом. Вот, например, эпизод в Сорбонне: «А ректор Сорбонны. . .

подкрался ко мне сзади да как хряснет меня по шее: „Дурак ты, — говорит, — а никакой не Логос!“, „Вон, — кричит, — вон, Ерофеев, из нашей славной Сорбонны“». Напомню, что Логос (Слово) — наименование Христа в Евангелии. Правда, сам Веничка себя Логосом не называет, но автор устраивает небольшое словесное *qui pro quo*, с помощью которого заявление ректора вписывается в контекст.

Провоцирует ассоциации с Христом и следующая фраза из того же «путешествия»: «Хочешь ты, например, остановиться в Эболи — пожалуйста, останавливайся в Эболи». Заслуживает внимания еще один момент. Веничка путешествует пешком, пешком же он отправляется и из Франции. Путь его к Ламаншу описан так: «Я пел, думал и шел — к Альбиону». Затем он сообщает, о чем думал и что пел, а далее сразу следует: «А в окрестностях Лондона. . .» Такая форма рассказа порождает представление, что и через Ламанш герой прошел пешком, *как посуху*.

Еще одно сближение двух занимающих нас образов происходит в тот момент, когда Веничка объявляет себя президентом, т. е. «личностью, стоящей над законом и пророками». Но выше закона (в данном контексте это может быть только Закон Моисея) и пророков — лишь давший Новый закон (завет). Правда, Веничка не доводит дело до неизбежного отождествления, отказываясь от своей новой роли и признаваясь, что ввязался в политику «просто за перепоею и вопреки всякой очевидности». Здесь же возникает и образ Понтия Пилата, открывающий ассоциативный ряд, связанный непосредственно с кончиной Христа.

Следующим в этом ряду выступает внезапное наступление темноты. Оно не поддается рациональному объяснению, хотя герой делает отчаянные попытки как-нибудь его найти. Здесь, конечно, другое. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по середине», — пишет евангелист Лука. Или еще: «Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана» (Булгаков). Вот какую тьму хочет вызвать в памяти читателя Ерофеев.

Остановимся, кстати, и на датах. Действие в поэме приходится на пятницу. И это далеко не случайно, как не случайно и то, что эта пятница тринадцатая (герой в тринадцатый раз едет на любовное свидание). Число 13 не просто считается несчастливым, но сам этот смысл оно приобрело в связи с тем, что 13 нисана по древнееврейскому календарю Иуда предал Христа. А четырнадцатого, в пятницу, совершилось распятие. Таким образом, мы встречаемся с Веничкой в его страстную пятницу (ср. в эссе о Розанове: «. . . у меня теперь Страстная Неделя, и на ней семь Страстных Пятниц!»).

Несколько ниже из диалога Венички с понтийским царем Митридатом мы узнаем, что действие происходит в полнолуние. Именно на полнолуние и приходится вычисляемая по лунному календарю ветхозаветная пасха, в канун которой был распят Христос. Ведь недаром именно во время каждого полнолуния терзается кошмарами Иван Николаевич Понырев (бывший поэт Иван Бездомный), которому в эти ночи являются во сне «молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом», разбойник на кресте и «жестокый пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».

Ассоциации с евангельским текстом идут непрерывной чередой. Искушение в пустыне: «Так это ты Ерофеев? — спросил Сатана. . . Ты лучше вот чего: возьми — и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься. . .» Молитва в Гефсимании. О ней напоминают страшная Веничкина тоска и дважды

засыпавший камердинер (апостол) Петр. Ярость и стыд «камердинера» после того, как герой «его раскусил», по-видимому, восходят к предсказанию Христа о том, что Петр отречется от него. Молчание Венички в предполагаемой сцене, когда герой после смерти предстанет перед «Ним», — аналог молчания Христа перед синедрионом. (В плане литературной преемственности эта сцена восходит к «Братьям Карамазовым»: Иван *возвращает билет*.) Царь Митридат, пронзающий ножом Веничкины бока, — напоминание о римских воинах, колотивших тело Иисуса.

Рассмотрим еще Веничкино описание погнавшихся за ним убийц. «Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического. . .» Слово «разбойничьи» воссоздает в сознании читателя образы разбойников, распятых вместе с Христом, но общий смысл фразы не допускает отождествления с ними убийц («скорее даже наоборот»). Слова «с налетом чего-то классического» станут понятны, если уловить в них возможность ассоциаций с Древним Римом (Христа казнили римские легионеры). В обмене репликами между Веничкой и его будущими убийцами снова всплывает образ апостола, трижды отрекшегося от Христа как раз в тот момент, когда его схватили. Потом они бьют его по лицу, как били Христа «по ланитам» воины Пилата. И наконец его пригвождают к полу, и повторяется возглас Христа: «Отец, зачем Ты оставил Меня?». Чужой подъезд, подобный тому, в котором утром начиналось действие (а может быть, и тот же), замыкает круг движения в сюжете и одновременно — символический круг жизни героя («минутное окосение души»).⁴

Что касается явной, «физической», стороны Веничкиной истории, то вряд ли она нуждается в специальном комментировании (даже если какие-нибудь реалии нашей жизни 60-х годов и неизвестны сегодняшнему читателю). По поводу связи поэмы с действительностью тех лет еще раз хочется вспомнить Гоголя. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии. . .» он утверждал, что в душе русского человека нераздельно существуют два свойства: «уменье пред чем-нибудь истинно возблагодарить» и уменье «над чем-нибудь истинно посмеяться». В «Мертвых душах» оба эти свойства выявлены с огромной мощью и взаимно уравновешены. В годы же, к которым относится создание ерофеевской поэмы, государство стремилось культивировать только первое из названных свойств. Однако чем с большей силой природу русского человека (употреблю гоголевский термин) выталкивали в дверь, тем энергичней она устремлялась в окно. Насильственно вытесняемое стремление «истинно посмеяться» обратилось в первую очередь на то, перед чем было велено благодарить. Ерофеев сделал это с непревзойденным блеском и с безоглядностью человека, для которого истина дороже не только какого-то там Платона, но и членства в ССП. Всю напыщенную ложь, буйно процветавшую в то время в обществе, писатель приговорил к высшей мере осмеяния и употребил для этого оружие, которое завещал нашей литературе Гоголь, — метко сказанное русское слово.

Гоголь утверждал, что русский язык «сам по себе уже поэт», имея в виду богатство и разнообразие лексики, заключенной в его сокровищнице и ведущей к созданию самых оригинальных стилевых комбинаций и эффектов. «Мертвые души» означили собой подлинную революцию в литературном языке, который их автор расширил едва ли не вдвое за счет языка разговорного и различных выражений, «подмеченных на улице». И здесь Ерофеев — один из его наследников. Можно указать даже ту черту, которая особенно их сближает. Это резкие перепады между «высокими» библейскими речениями и «низким» обиходным языком, часто очень далеким от литературных норм. Но, конечно, в целом языковой материал Ерофеева уже очень далек от гоголевского.

Два социо-лингвистических процесса были особенно характерны для нашего общества в то время, когда создавалась поэма «Москва — Петушки». Первый — это неслыханная инфляция слов государственного, «благоговеющего» ареала. И второй — страшное огрубение речевой практики всех слоев населения, в чем не последнюю роль сыграло долготное пребывание огромных его масс в местах отдаленных и не столь отдаленных. Язык ерофеевской поэмы отражает это необычайно ярко, но только не натуралистически. Преобразованный творческой силой художника этот беспредельно обезображенный великий русский язык обретает в поэме новую красоту, он становится «перлом создания». Если из сора могут расти прекрасные стихи, то из речевого сора, как показывает Ерофеев, в рамках определенной поэтической системы может быть создан необыкновенно выразительный, сверкающий остроумием художественный язык.

Что же это за поэтика? Прежде всего обратим внимание на основное качество ерофеевского слова. Оно в высшей степени объектно, если использовать термин М. М. Бахтина. Это слово, разумеется, несет в себе информацию, но она здесь не прямая и не простая, т. е. роль слова не сводится к простому называнию явления. Вместе с названием оно несет в себе и некую память о том контексте, из которого автор поэмы его заимствовал и в качестве представителя которого оно здесь воспринимается. И вот в этом-то качестве *чужого слова* оно становится объектом авторской игры, причем игры у Ерофеева далеко не самодовлеющей и отнюдь не деидеологизированной. Как раз напротив.

Источники, из которых автор поэмы черпает эти *чужие слова*, следующие: фонд уже упоминавшихся официальных идеологических клише, бытовые вульгаризмы разного рода, включая самые низкие, а также целая россыпь библейских речений и цитат из литературной классики. Каждый из них имеет четкое не только стилистическое, но и идеологическое лицо, и чехарда этих разнородных начал, которую создает в своем произведении Ерофеев, служит не одним лишь источником смеха, но и путем к познанию истины. Правда и ложь, столкнувшись, взаимно освещают друг друга, и одновременно эта вспышка освещает дорогу читательской мысли.

Теперь хотелось бы снова заглянуть в ерофеевское эссе о Розанове: «... все, влитое в меня с отроческих лет, плескалось внутри меня, как помои, переполняло чрево и душу и просилось вон — оставалось прибежать к самому проверенному из средств: изbleвать это все посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый завет, другим — российская поэзия. . .» Как видим, автобиографические признания автора эссе и предлагаемая здесь модель функционирования художественного языка в его поэме взаимно удостоверяют подлинность друг друга.

Посмотрим теперь, как все это выглядит непосредственно в тексте. Вот на первых страницах перед нами фигура не стоящего на ногах с похмелью Венички и его ламентации по этому поводу: «... все знают, какую тяжесть пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда». Стоп! В словах героя прозвучала известная метафора Данте (тяжелы ступени чужого крыльца). Цитата из Данте, в данной ситуации отнесенная к Веничке, конечно, смешит, но в то же время из своего XIV столетия она отбрасывает на бездомного героя-литератора и тень подлинного трагизма.

Или другой пример. Все еще не опохмелившийся Веничка провозглашает лозунг: «Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие». Любой советский читатель без труда распознает здесь пародию на нечто слишком хорошо ему знакомое. Однако эта смешная пародия вплотную граничит с вовсе не смешной мыслью, наиболее отчетливо

сформулированной у брехтовского Галилея: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

А когда бульканье разливаемой водки сравнивается с музыкой Листа и кантовская *вещь в себе* служит научным инструментом при анализе пьяной икоты, сам собой напрашивается вопрос: нужны ли были века развития человеческой цивилизации, чтобы прийти к подобным результатам?

Наконец, тот эпизод петушинской революции, во время которого цитируется Сальери. «Каждому, кто подходил, мы говорили: „Садись, товарищ, с нами — в ногах правды нет“, и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: „Но правды нет и выше“». Помимо двусмысленности, отмеченной самим повествователем, слово «выше» предлагает широчайший диапазон различных применений, каждое из которых здесь актуально — от неправильного расписания работы местных сельпо, слишком поздно открывающих торговлю спиртным, и далее — по восходящей, или, как говорит репродуктор на Курском вокзале, «далее по всем пунктам».

На объектность ерофеевского слова особенно хотелось бы обратить внимание тех, кто негодует по поводу «неприличия» поэмы и кто, по-видимому, всерьез думает, что глава «Серп и Молот — Карачарово» в первом издании была наполнена отборнейшим матом (который, как психологически точно подметил Ерофеев, они кинулись бы читать, пропустив все остальное). Эти люди не видят, что имеют дело всего лишь с остроумной игрой в духе почтенного классика английской литературы Лоуренса Стерна и что стиль Ерофеева не имеет ничего общего ни с каким натурализмом.

Посмотрите, как он рисует любовные сцены. Ведь его описание состоит почти из одних метафор. А если где-нибудь и проглянет кусочек натуры, так ведь нам показывается не натура как таковая, а лишь ее отражение в Веничкином сознании, да еще искривленное авторской иронией. Ну а против иронии, пронизывающей повествование о Веничкиных любовных восторгах, не может выстоять никакой натурализм, он тонет в ней без остатка.

Ерофеев смелее, чем кто-либо из современных писателей, заговорил на самом низком уличном жаргоне (давно уже проникшем во все слои общества), но сделал он это не потому, что чаще других ездил по маршруту Москва—Петушки, а потому, что не каждому писателю этот жаргон по плечу. Оперировать таким взрывоопасным материалом может себе позволить лишь тот, кто обладает абсолютным слухом, не допускающим его до детонации. Ерофеев таким абсолютным стилистическим слухом обладает. Но, видимо, и читателю Ерофеева необходимо развивать его в себе.

И здесь снова напрашивается параллель с Гоголем. Его первые читатели (не все, по счастью, но многие) точно так же, увидев в тексте отдельные шокирующие их слова и выражения, не сумели оценить артистически организованного целого, не поняли, что «низкую природу» «художник-создатель» возвел в ранг высокого произведения искусства, и начали кричать караул. Судьба этих криков всем известна.

* * *

Финал поэмы «Москва—Петушки» производит впечатление полной безнадежности. Однако вдумавшись в значение последнего зрительного образа, встающего перед глазами убиваемого героя. Это буква «ю», которая воссоздает в читательской памяти прелестный облик младенца, как огонек, мерцающий в мрачной атмосфере поэмы. («И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».) Эта крохотная искра света и надежды, остающаяся в мире и после гибели героя, еще раз убеждает нас в том, что «Москва—Петушки» очень русская книга, а ее автор Венедикт Ерофеев — большой русский писатель.

¹ В альманахе «Весть» (М., 1989) произведение Ерофеева получило подзаголовок «повесть», что уже вызвало недоумение Павла Кузнецова; см. Литературное приложение к газете «Русская мысль» (1990. 6 апр. № 9. С. 14). Присоединяясь к П. Кузнецову, одновременно отмечаю, что в тексте произведение по-прежнему именуется поэмой (см. с. 434).

² Для избежания путаницы автора называю по фамилии, героя — по имени.

³ Не могу принять мнения Андрея Зорина, высказанного в его рецензии на поэму Ерофеева в «Новом мире» (1989. № 5), что Ангелы нарочно послали Веничку в ресторан Курского вокзала, зная, что хереса там нет. Думаю, что херес мог бы найтись, спроси его какой-нибудь более респектабельный, на официантский взгляд, посетитель. А что касается их поведения в финале, так автор же не случайно сравнивает их еще в начале поэмы с малыми детьми. Они и глупы, как дети из последнего, страшного сравнения — не ведают, что творят. В порядочность Ангелов я верю и потому, что их ближайшим потомком мне видится морально безупречный Ангел Всенародного Похмелья из одноименной песни Бориса Гребенщикова.

⁴ Замечательно, что суггестивные приемы, которые использует Ерофеев в разработке «мистической» стороны своего сюжета, совпадают с теми, которые употребил Гоголь в «Мертвых душах», воссоздавая в своем «открытом» тексте «невидимый» библейский текст, несущий в себе грозное предупреждение погрязшей в грехах современности. Здесь невозможно на этом останавливаться — отступление вышло бы слишком громоздким. Тех же, кого это может заинтересовать, отсылаю к своей небольшой книжке «Поэма Гоголя „Мертвые души“» (Л., 1987).

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Н. А. БЕРДЯЕВ

РУССКАЯ ИДЕЯ

(ГЛАВЫ IV—VII; ПРИМЕЧАНИЯ В. А. КОТЕЛЬНИКОВА) *

Г л а в а IV

Проблема гуманизма. Гуманизм и гуманитаризм. Достоевский и диалектика гуманизма. Человечество и Богочеловечество. Христианский гуманизм Вл. Соловьева. Бухарев. Толстой. Розанов. Леонтьев. Переход атеистического гуманизма в антигуманизм. Христианский гуманизм.

1

Когда в XIX веке в России народилась философская мысль, то она стала, по преимуществу, религиозной, моральной и социальной. Это значит, что центральной темой была тема о человеке, о судьбе человека в обществе и в истории. Россией не был пережит гуманизм в западноевропейском смысле слова, у нас не было Ренессанса. Но может быть, с особенной остротой у нас был пережит кризис гуманизма и обнаружена его внутренняя диалектика. Самое слово гуманизм употреблялось у нас неверно и может вызвать удивление у французов, которые считают себя гуманистами по преимуществу. Русские всегда смешивали гуманизм с гуманитаризмом и связывали его не столько с античностью, с обращением к греко-римской культуре, сколько с религией человечества XIX века, не столько с Эразмом, сколько с Фейербахом. Но слово гуманизм все-таки связано с человеком и означает приписывание человеку особенной роли. Первоначально европейский гуманизм совсем не означал признания самодостаточности человека и обоготворения человечества, он имел истоки не только в греко-римской культуре, но и в христианстве. Я говорил уже, что Россия почти не знала радости ренессансной творческой избыточности. Русским был понятнее гуманизм христианский. Именно русскому сознанию свойственно было сомнение религиозное, моральное и социальное в оправданности творчества культуры. Это было сомнение и аскетическое и эсхатологическое. Шпенглер очень остро и хорошо характеризовал Россию, сказав, что она есть *апокалиптический бунт против античности*.** Это определяет глубокое различие между Россией и Западной Европой. Но если России не был свойствен гуманизм в западноевропейском ренессансном смысле, то ей была очень свойственна человечность, т. е. то, что иногда условно называют гуманитаризмом, и в русской мысли раскрывалась диалектика самоутверждения человека. Так как русский народ поляризованный, то с человечностью могли совмещаться и черты жестокости. Но человечность все же остается одной из характерных русских черт, она относится к русской идее на вершинах ее проявления. Лучшие русские люди в верхнем культурном слое и в народе не выносят смертной казни и жестоких наказаний, жалеют преступника. У них нет западного культа холодной справедливости. Человек для них выше принципа собственности, и это определяет русскую социальную мораль. Жалость к падшим, к униженным и оскорбленным, сострадательность — очень русские черты. Отец русской интеллигенции Радищев был необыкновенно сострадателен. Русские моральные оценки в значительной степени определялись протестом против крепостного права. Это отразилось в русской литературе. Белинский не хочет блаженства для себя, для одного из тысячи, если

* Начало публикации см. в № 2 «Русской литературы» за 1990 год.

** См. Spengler. «Der Untergang des Abendlandes», Zweiter Band.¹

братья его страдают. Н. Михайловский не хочет прав для себя, если мужики не имеют прав. Все русское народничество вышло из жалости и сострадания. Кающиеся дворяне в 70-е годы отказывались от своих привилегий и шли в народ, чтобы ему служить и с ним слиться. Русский гений богатый аристократ Л. Толстой всю жизнь мучается от своего привилегированного положения, кается, хочет от всего отказаться, опроститься, стать мужиком. Другой русский гений, Достоевский, помешан на страданиях и состраданиях, это основная тема его творчества. Русский атеизм родился из сострадания, из невозможности перенести зло мира, зло истории и цивилизации. Это был своеобразный маркионизм, пережитый в сознании XIX века. Бог — Творец этого мира — отрицается во имя справедливости и любви. Власть в этом мире злая, управление миром дурное. Нужно организовать иное управление миром, управление человеком, при котором не будет невыносимых страданий, человек человеку будет не волком, а братом. Такова первоначальная эмоциональная основа русской религиозности, такова подпочва русской социальной темы. При этом русская жизнь становится под знак острого дуализма. Бесчеловечность, жестокость, несправедливость, рабство человека были объективированы в русском государстве, в империи, были отчуждены от русского народа и превратились во внешнюю силу. В стране самодержавной монархии утверждался анархический идеал, в стране крепостного права утверждали социалистический идеал. Раненые страданиями человеческими, исходящие от жалости, проникнутые пафосом человечности не принимали империи, не хотели власти, могущества, силы. Третий Рим не должен быть могущественным государством. Но мы увидим, какой диалектический процесс привел русскую человечность к бесчеловечности.

Человечность лежала в основе всех наших социальных течений XIX века. Но они привели к коммунистической революции, которая отказалась признать человечность своим пафосом. Метафизическая диалектика гуманизма (условно сохраняю этот двойственный по своему смыслу термин) была раскрыта Достоевским. Он обозначает не русский только, но и мировой кризис гуманизма, так же как Ницше. Достоевский отказывается от идеалистического гуманизма 40-х годов, от Шиллера, от культа «высокого и прекрасного», от оптимистических представлений о человеческой природе, он переходит к «реализму действительной жизни», но к реализму не поверхностному, а глубинному, раскрывающему сокровенную глубину человеческой природы во всех ее противоречиях. К гуманизму (гуманитаризму) у него было двойственное отношение. С одной стороны, он до глубины проникнут человечностью, его сострадательность бесконечна и он понимает бунт против Бога, основанный на невозможности выносить страдания мира. В самом падшем существе он раскрывает образ человеческий, т. е. образ Божий. Последний из людей имеет абсолютное значение. Но, с другой стороны, он обличает пути гуманистического самоутверждения и раскрывает его предельные результаты, которые именует человекобожеством. Диалектика гуманизма раскрывается как судьба человека на свободе, выпавшего из миропорядка, который представлялся вечным. У Достоевского была очень высокая идея о человеке, он предстательствовал за человека, за человеческую личность, он перед Богом будет защищать человека. Его антропология есть новое слово в христианстве. Он самый страстный и крайний защитник свободы человека, какого только знает история человеческой мысли. Но он же раскрывает роковые результаты человеческого самоутверждения, безбожной, пустой свободы. Сострадательность и человечность у Достоевского превращаются в бесчеловечность и жестокость, когда человек приходит к человекобожеству, к самообожествлению. Не случайно называли его «жестоким талантом».² Достоевского все же можно назвать христианским гуманистом в сопоставлении с христианским или, вернее, лжехристианским антигуманизмом К. Леонтьева. Но он же провозглашает конец гуманистического царства. Европейский гуманизм был срединным царством, в нем не раскрывалось предельное, конечное, он не знал проблемы эсхатологической и не мучился ею. Это срединное царство хотело закрепить себя навеки. Это и было царство культуры по преимуществу. На Западе концом этого гуманистического царства было

явление Ницше, который немного читал Достоевского и на которого он оказал влияние. Явление Ницше имеет огромное значение для судьбы человека. Он хотел пережить божественное, когда Бога нет, Бог убит, пережить экстаз, когда мир так низок, пережить подъем на высоту, когда мир плоский и нет вершин. Свою, в конце концов религиозную, тему он выразил в идее сверхчеловека, в котором человек прекращает свое существование. Человек был лишь переходом, он лишь унавоживал почву для явления сверхчеловека. Происходит разрыв с христианской и гуманистической моралью. Гуманизм переходит в антигуманизм. С большей религиозной глубиной эта проблема выражена у Достоевского. Кириллов, человек высокого духа, с большой чистотой и отрешенностью, выразил последние результаты пути обезбоженного, самоутверждающегося человека. «Будет новый человек, счастливый и гордый... — говорит Кириллов, как будто в бреду. — Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. Бог есть боль страха и смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое». «Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства». «Мир закончит тот, кому имя „человекобог“». «Богочеловек?» — переспрашивает Ставрогин. «Человекобог, — отвечает Кириллов, — в этом разница». Путь человекобожества ведет, по Достоевскому, к системе Шигалева и Великого Инквизитора, т. е. к отрицанию человека, который есть образ и подобие Божье, к отрицанию свободы. Лишь путь Богочеловечества и Богочеловека ведет к утверждению человека, человеческой личности и свободы. Такова экзистенциальная диалектика Достоевского. Человечность, оторванная от Бога и Богочеловека, перерождается в бесчеловечность. Этот переход Достоевский видел на примере атеиста-революционера Нечаева, который совершенно разрывает с гуманистической моралью, с гуманитаризмом и требует жестокости. При этом нужно сказать, что Нечаев, которого автор «Бесов» неверно изображает, был настоящим аскетом и подвижником революционной идеи и в своем «катехизисе революционера» пишет как бы наставление к духовной жизни революционера, требуя от него отречения от мира. Но поставленная Достоевским проблема очень глубока. Термин «человекобожества», которым у нас злоупотребляли в XX веке, может породить недоразумение, и он с трудом переводим на иностранные языки. Это ведь христианская идея, что человек должен достигнуть обожения, но не через самоутверждение и самодовольство. Гуманизм должен быть преодолен (*Aufhebung*), но не уничтожен, в нем была правда и иногда большая правда по сравнению с неправдой исторического христианства, в нем была великая правда против бестиализма.* Но раскрывается эсхатология гуманизма как срединного царства, и это более всего раскрывается русской мыслью. На этом срединном культурном царстве нельзя остановиться, как хотели бы гуманисты Запада, оно разлагается и обнажаются предельно конечные состояния.

2

Вл. Соловьев может быть назван христианским гуманистом. Но это гуманизм совсем особенный. Полемизируя с правым христианским лагерем, Вл. Соловьев любил говорить, что гуманистический процесс истории не только есть христианский процесс, хотя бы то и не было признано, но что неверующие гуманисты лучше осуществляют христианство, чем верующие христиане, которые ничего не сделали для улучшения человеческого общества. Неверующие гуманисты новой истории пытались создавать общество более человеческое и свободное, верующие же христиане им противодействовали, защищая и охраняя общество, основанное на насилии и порабощении. Вл. Соловьев особенно выразил это в статье «Об упадке средневекового мирозерцания» и вызвал бурное негодование К. Леонтьева.³ Он тогда уже разочаровался в своей теократической утопии. Основной идеей христианства он считал идею Богочеловечества, о чем речь будет, когда буду говорить о русской религиозной философии. Это основоположная

* Макс Шелер ошибочно противопоставляет христианство и гуманизм (гуманитаризм), который связывает с *ressentiment*, см. его: «L'homme du ressentiment».¹

идея этой философии. Гуманизм (или гуманитаризм) входит составной частью в религию Богочеловечества. В личности Иисуса Христа произошло соединение божественной и человеческой природы, и явился Богочеловек. То же должно произойти в человечестве, в человеческом обществе, в истории. Осуществление Богочеловечества, богочеловеческой жизни предполагает активность человека. В прошлом христианстве не было достаточной активности человека, особенно в православии, и человек часто бывал подавлен. Освобождение человеческой активности в новой истории было необходимо для осуществления Богочеловечества. Отсюда гуманизм, который в сознании может быть не христианским и антихристианским, приобретает религиозный смысл, без него цели христианства не могли бы осуществиться. Вл. Соловьев пытается религиозно осмыслить опыт гуманизма. Это одна из главных его заслуг. Но направление его было примирительное и синтезирующее, у него нет тех трагических конфликтов и разверзающихся бездн, которые раскрываются у Достоевского. Лишь под конец жизни им овладевают пессимистические апокалиптические настроения и ожидание скорого пришествия антихриста. Мысль Вл. Соловьева входит в русскую диалектику о человеке и человечности и неотделима от нее. Его религиозная философия проникнута духом человечности, но она внешне выражена слишком холодно, в ней присущая ему личная мистика рационализирована.

Бухарев — один из наиболее интересных богословов, порожденных нашей духовной средой.⁵ Он был архимандритом и ушел из монашества. Он интегрировал человечность целостному христианству. Он требует приобщения Христа всей полнотой человеческой жизни. Всякая истинная человечность для него Христова. Он против умаления человеческой природы Христа, против всякой монофизической тенденции.⁶

Л. Толстого нельзя назвать гуманистом в западном смысле. Его религиозная философия некоторыми своими сторонами ближе к буддизму, чем к христианству. Но русская человечность ему очень свойственна. Она выразилась в его бунте против истории и против всякого насилия, в его любви к простому трудовому народу. Толстовское учение о непротавлении, толстовское отрицание насилий истории могло возникнуть лишь на русской духовной почве. Л. Толстой есть антипод Ницше, он есть русское противоположение Ницше, как и Гегелю. Значительно позже В. Розанов, когда он принадлежал еще к славянофильскому консервативному лагерю, говорит с возмущением, что человек превращен в средство исторического процесса, и спрашивает, когда же человек появится как цель.* Только в религии открывается для него значение человеческой личности. Розанов думает, что русскому народу не свойствен пафос величия истории, и в этом он видит преимущество перед народами Запада, помешанными на историческом величии. Лишь один К. Леонтьев думал иначе, чем большая часть русских, и во имя красоты восстает против человечности. Но во имя умственного богатства и многообразия народ должен иметь и свои возражения против основной своей направленности.

К. Леонтьев был ренессансным человеком, любил цветущую культуру. Красота ему была дороже человека, и во имя красоты он был согласен на какие угодно страдания и истязания людей. Он проповедовал мораль ценностей, ценностей красоты, цветущей культуры, государственного могущества в противоположность морали, основанной на верховенстве человеческой личности, на-сострадании к человеку. Не будучи жестоким человеком, он проповедовал жестокость во имя своих высших ценностей, совсем как Ницше. К. Леонтьев — первый русский эстет, он думает «не о страждущем человечестве, а о поэтическом человечестве». В отличие от большей части русских людей, он любил мощь государства. Для него нет гуманных государств, что может быть и верно, но не меняет наших оценочных суждений. Гуманистическое государство есть государство разлагающееся. Все болит у древа жизни. Принятие жизни есть принятие боли. К. Леонтьев не только не верит в возможность царства правды и справедливости на земле, но он и не хочет осуществления правды и справедливости, предполагая, что в таком царстве не будет красоты, которая всюду для него связана с величайшими неравенствами,

* См. В. Розанов: «Легенда о Великом Инквизиторе».⁷

несправедливостями, насилиями и жестокостями. Смелость и радикализм мысли К. Леонтьева в том, что он осмеливается признаться в том, в чем другие не осмеливаются признаться. Чистое добро некрасиво; чтобы была красота в жизни, необходимо и зло, необходим контраст тьмы и света. Более всего К. Леонтьев ненавидит эвдемонизм. Он восстает против идеи блага людей. Он исповедует эстетический пессимизм. Он считает либерально-эгалитарный процесс уродливым, но вместе с тем и фатальным. Он не верит в будущее своего собственного идеала. Этим он отличается от обычного типа реакционеров и консерваторов. Мир идет к уродливому упростительному смешению. Мы увидим, как натуралистическая социология переходит у него в апокалиптику и оценки эстетические совпадают у него с оценками религиозными. Братство и гуманизм он признает лишь для личного спасения души. Он проповедует трансцендентный эгоизм. В первую половину своей жизни он искал счастья в красоте, во вторую половину жизни он искал спасения от гибели.* Но он не ищет Царства Божьего, особенно не ищет Царства Божьего на земле. Ему чужда русская идея братства людей и русское искание всеобщего спасения, ему чужда русская человечность. Он обличает «розовое христианство» Достоевского и Л. Толстого. Странное обвинение Достоевского, христианство которого трагично. К. Леонтьев — одинокий мечтатель, он стоит в стороне и выражает обратный полюс тому, на котором формировалась русская идея. Но и он хотел особенных путей для России. Он отличался большой проницательностью и многое предвидел и предсказал. Тема о судьбе культуры была им очень остро поставлена. Он предвидел возможный декаданс культуры, он многое сказал раньше Ницше, Гобино,⁸ Шпенглера. У него была эсхатологическая направленность. Но следовать за Леонтьевым нельзя, его последователи делаются отвратительными.

Как я говорил уже, есть внутренняя экзистенциальная диалектика, в силу которой гуманизм переходит в антигуманизм, самоутверждение человека приводит к отрицанию человека. В России завершительным моментом этой диалектики гуманизма был коммунизм. Он также имел гуманитарные истоки, он хотел бороться за освобождение человека от рабства. Но в результате социальный коллектив, в котором человек должен был быть освобожден от эксплуатации и насилия, делается поработителем человеческой личности. Утверждается примат общества над личностью, пролетариата — вернее, идеи пролетариата — над рабочим, над конкретным человеком. Человек, освобождающийся от идолопоклонства прошлого, впадает в новое идолопоклонство. Мы видим это уже у Белинского.

Освободившаяся от власти «общего» личность подчиняется власти нового «общего» — социальности. Во имя торжества социальности можно совершить насилие над человеческими личностями, какие угодно средства дозволены для осуществления высшей цели. В нашем социалистическом движении Герцен был наиболее свободен от идолопоклонства. Как было у самого Маркса? В этом отношении очень поучительны произведения молодого Маркса, сравнительно поздно изданные.** Истоки его были гуманистические, он боролся за освобождение человека. Его восстание против капитализма основано было на том, что в капиталистическом обществе происходит отчуждение человеческой природы рабочего, обезчелочение, овеществление его. Весь моральный пафос марксизма был основан на борьбе против этого отчуждения и обезчелочения. Марксизм требовал возврата человеку-рабочему полноты его человеческой природы. В молодых произведениях Маркса намечалась возможность экзистенциальной социальной философии. Маркс расплавляет застывшие категории классической буржуазной политической экономии. Он отрицает вечные экономические законы, отрицает за хозяйством характер вешной объективной реальности. Экономика есть лишь активность людей и отношения людей. Капитализм означает лишь отношения живых людей в производстве. Активность человека может изменить отношения людей, изменить экономику, которая есть лишь историческое образование, по существу преходящее. Марксизм по своим первоначальным основам

* См. мою книгу: «Константин Леонтьев».

** Особенно интересна статья: «Philosophie und Nationalökonomie».⁹

совсем не был тем социологическим детерминизмом, который позже начали утверждать и его друзья и его враги. Маркс был еще близок к германскому идеализму, из которого он вышел. Но он изначально признал абсолютное верховенство человека, для него человек был верховной ценностью, не подчиненной ничему высшему, и потому гуманизм его подвергся экзистенциальному диалектическому процессу разложения. Замечательное учение о фетишизме товаров есть экзистенциальная социология, которая видит первичную реальность в трудовой человеческой активности, а не в объективированных вещных реальностях или quasi-реальностях. Человек принимает за внешнюю реальность, порабощающую его, то, что есть его собственный продукт, им самим произведенная объективация и отчуждение. Но по философским и религиозным основам своего мирозерцания Маркс не мог дальше пойти верным путем. Он в конце концов увидел человека как исключительный продукт общества, класса и подчинил целиком человека новому обществу, идеальному социальному коллективу, вместо того чтобы подчинить общество человеку, окончательно освободить человека от категории социального класса. Русский коммунизм сделает из этого крайние выводы и произойдет отречение от русской человечности не по целям, а по средствам. И так всегда будет, если будут утверждать человека вне Богочеловечества. Это глубже всех понял Достоевский, хотя его формулировка подлежит критике. Остается вечной истиной, что человек в том лишь случае сохраняет свою высшую ценность, свою свободу и независимость от власти природы и общества, если есть Бог и Богочеловечество. Это тема русской мысли.

3

На почве исторического православия, в котором преобладал монашески-аскетический дух, не была и не могла быть достаточно раскрыта тема о человеке. Преобладал монофизитский уклон. Святоотеческая антропология была ущербна, в ней не было соответствия истине христологической, не было того, что я назвал христологией человека в своей книге «Смысл творчества». Христианство учит об образе и подобии Божиим в человеке и о вочеловечении Бога. Антропология же исторического христианства учит о человеке почти исключительно как о грешнике, которого нужно научить спасению. У одного Св. Григория Нисского¹⁰ можно найти более высокое учение о человеке, но и у него еще не осмыслен творческий опыт человека.* Истина о человеке, о его центральной роли в мироздании, даже когда она раскрывалась вне христианства, имела христианские истоки и помимо христианства не может быть осмыслена. В русской христианской мысли XIX века — в учении о свободе Хомякова, в учении о Богочеловечестве Вл. Соловьева, во всем творчестве Достоевского, в его гениальной диалектике о свободе, в замечательной антропологии Несмелова,¹² в вере Н. Федорова в воскрешающую активность человека¹³ — приоткрывалось что-то новое о человеке. Но официальное православие, официальная церковность не хотела об этом слышать. В историческом православии христианская истина о человеке оставалась как бы в потенциальном состоянии. Это та же потенциальность, нераскрытость, которая вообще была свойственна русскому народу в прошлом. Христианский Запад истощил свои силы в разнообразной человеческой активности. В России раскрытие творческих сил человека в будущем. Эта тема поставлена еще Чаадаевым и потом повторяется постоянно в нашей умственной и духовной истории. На почве русского православия, взятого не в его официальной форме, быть может, возможно раскрытие нового учения о человеке, а значит, и об истории и обществе. Ошибочно противопоставлять христианство и гуманизм. Гуманизм христианского происхождения. Античный, греко-римский гуманизм, давно интегрированный христианству католичеством, не знал высшего достоинства и высшей свободы человека. В греческом сознании человек зависел от космических сил, греческое мирозерцание космоцентрично. В римском сознании человек целиком зависел от государства. Только христиан-

* См. интересную книгу иезуита Hans von Balthasar. «Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse».¹¹

ство антропоцентрично и в принципе своем освобождает человека от власти космоса и общества. Противопоставление Достоевским Богочеловечества и человекобожества имеет глубокий смысл. Но самая терминология может вызвать сомнение и требует критического пересмотра. Человек должен стать богом и обожиться, но он может это сделать лишь через Богочеловека и в Богочеловечестве. Богочеловечество предполагает творческую активность человека. Движение идет и от человека к Богу, а не только от Бога к человеку. И это движение от человека к Богу нужно понимать совсем не в смысле выбора, совершаемого человеком через свободу воли, как это, например, понимает традиционное католическое сознание. Это есть творческое движение, продолжающееся миротворение. Но высшее сознание о человеке проходит у нас через раздвоение, через то, что Гегель называл несчастным сознанием. Гоголь яркий пример «несчастливого сознания», но оно чувствуется и у Л. Толстого и Достоевского. Русская философия, развивавшаяся вне академических рамок, всегда была по своим темам и по своему подходу экзистенциальной. Социальная же тема была у нас лишь конкретизацией темы о человеке.

Глава V

Социальная тема. Социальная окраска русской мысли. Три периода социалистической мысли. Первоначальное влияние Сен-Симона и Фурье. Развитие русского социализма. Русское народничество и вера в особые пути России. Социализм Белинского. Индивидуалистический социализм Герцена. Обличение мещанства Запада. Чернышевский и «Что делать?». Писарев. Михайловский и «борьба за индивидуальность». Нечаев и «Катехизис революционера». Ткачев как предшественник Ленина. Искание социальной правды. Толстой, Достоевский, Соловьев, Леонтьев. Подготовка марксизма: Желябов. Плеханов.

1

В русском сознании XIX века социальная тема занимала преобладающее место. Можно даже сказать, что русская мысль XIX века в значительной своей части была окрашена социалистически. Если не брать социализм в доктринальном смысле, то можно сказать, что социализм глубоко вкоренен в русской природе. Это выразилось уже в том, что русский народ не знал римских понятий о собственности. О московской России говорили, что она не знала греха земельной собственности, единственным собственником являлся царь, не было свободы, но было больше справедливости. Это интересно для объяснения возникновения коммунизма. Славянофилы так же отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии. И все думали, что отсталость России есть ее преимущество. Русские умудрялись быть социалистами при крепостном праве и самодержавии. Русский народ самый коммюнитарный в мире народ, таковы русский быт, русские нравы. Русское гостеприимство есть черта коммюнитарности. Предшественниками русского социализма были Радищев и Пестель. У Пестеля социализм носил, конечно, аграрный характер. Первоначально у нас был социальный мистицизм, например у Печерина под влиянием Ламенэ. Основное влияние было влияние Сен-Симона и Фурье. Русские были страстными сенсимонистами и фурьеристами. Социализм этот сначала был чужд политики. М. В. Петрашевский, русский помещик, был убежденным фурьеристом и устроил у себя в деревне фаланстер, который крестьяне сожгли как новшество, противное их быту. Социализм его был мирный, не политический и идиллический. Это была вера в возможность счастливой и справедливой жизни. Кружок Петрашевского собирался для мирных, мечтательных бесед об устройстве человечества «по новому

штату» (выражение Достоевского). Петрашевский верил, что социализм по Фурье может быть осуществлен в России еще при самодержавной монархии. Замечательны слова его: «Не находя ничего достойного своей привязанности — ни из женщин, ни из мужчин, я обрек себя на служение человечеству». Кончилось все это очень печально и очень характерно для исторической власти. В 1849 году петрашевцы, как их называли, были арестованы, 21 человек были приговорены к смертной казни, в том числе Достоевский, с заменой каторгой. Из членов кружка Спешнев был наиболее революционного направления и может быть признан предшественником коммунизма.¹⁴ Он был наиболее близок к марксистским идеям и был воинствующим атеистом. Богатый помещик, аристократ, красавец, он послужил Достоевскому образцом для Ставрогина. Первые марксисты были русские. Чуть ли не самым первым последователем Маркса был русский степной помещик Сазонов, живший в Париже.¹⁵ Маркс не очень любил русских и был удивлен, что у него среди русских находятся последователи раньше, чем среди западных людей. Он не предвидел роли, которую он будет играть в России. Социализм у русских носил религиозный характер и тогда, когда был атеистическим. Устанавливают три периода русской социалистической мысли. Социализм утопический, влияние идей Сен-Симона и Фурье; социализм народнический, наиболее русский, более близкий к идеям Прудона; социализм научный, или марксистский.* Я бы прибавил к этому еще четвертый период — социализм коммунистический, который можно определить как волюнтаристический, экзальтирующий революционную волю. Первоначально в русском социализме было решительное преобладание социального над политическим. Так было не только в социализме утопическом, но и в социализме народническом в 70-е годы. Лишь в конце 70-х годов, когда образовалась партия «Народной воли», социалистическое движение становится политическим и переходит к террористической борьбе. Иногда говорили, что социальный вопрос в России носит консервативный, а не революционный характер. Это связано было главным образом с русскими традиционными формами крестьянской общины и рабочей артели. Это была идеология мелкого производителя. Социалисты-народники боялись политического либерализма, так как он ведет за собой торжество буржуазии. Герцен противник политической демократии. Одно время он даже верит в полезную роль царя и готов поддерживать монархию, если она будет защищать народ. Социалисты более всего не хотят западного пути развития для России, хотя бы то ни стало избежать капиталистической стадии.

2

Народничество есть своеобразное русское явление, как своеобразно русским явлением был русский нигилизм и русский анархизм. Оно имело многообразные проявления. Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное. Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды. Народ отличали от нации и даже противоплавали эти два понятия. Народничество не есть национализм, хотя могло принимать националистическую окраску. Для религиозного народничества народ есть некий мистический организм, более уходящий и в глубь земли и в глубь духа, чем нация, которая есть рационализированное историческое образование, связанное с государством. Народ есть конкретная общность живых людей, нация же есть более отвлеченная идея. Но и в религиозном народничестве, у славянофилов, у Достоевского и Л. Толстого, народ был по преимуществу крестьяне, трудовые классы общества. В народничестве же нерелигиозном, революционном народ отождествлялся с социальной категорией трудового класса общества и его интересы отождествлялись с интересами труда. Народность и демократичность (в социальном смысле) смешивались. Славянофилы думали, что в простом народе, в крестьянстве более сохранилась русская народность

* К. А. Пажитнов: «Развитие социалистических идей в России» и П. Сакулин: «Русская литература и социализм».¹⁶

и православная вера, характерная для русского народа, чем в классах образованных и господствующих. Для русского народничества, в отличие от национализма, характерно отрицательное отношение к государству, оно имело анархическую тенденцию, и это в славянофильстве так же, как и в народничестве левого лагеря. Государство представлялось вампиром, сосущим кровь народа, паразитом на теле народа. Народническое сознание связано с разрывом, с противоположением, с отсутствием единства. Народ не есть единое целое данной исторической национальности. Народ противопоставлялся то интеллигенции и образованным классам, то дворянству и классам господствующим. Обычно народник-интеллигент не чувствовал себя органической частью народного целого, исполняющей функцию в народной жизни. Он создавал свое положение ненормальным, не должным, даже греховным. В народе не только скрыта правда, но и скрыта тайна, которую нужно разгадать. Народничество было порождением неорганического характера русской истории петровского периода, паразитарного характера массы русского дворянства. И лучшей, сравнительно небольшой части русского дворянства делает большую честь, что в ней возникло народническое сознание. Это народническое сознание было «работой совести», было сознание греха и покаяния. Это сознание греха и покаяния достигает своей вершины в лице Л. Толстого. У славянофилов это было по-иному и связано с ложной идеализацией допетровского периода русской истории как органического. Поэтому социальная тема не была у них достаточно ясно выражена. Можно сказать, что славянофильская социальная философия заменяет церковь общиной и общину церковью. Но социальная идеология славянофилов носила народнический и антикапиталистический характер. По быту своему славянофилы оставались типичными русскими барями. Но, видя правду в простом народе, в крестьянстве, они пытались подражать народному быту. Это наивно выражалось в якобы народной русской одежде, которую они пробовали носить. По этому поводу Чаадаев острит, что К. Аксаков оделся до того по-русски, что его на улице принимали за персиянина. У кающихся дворян 70-х годов, которые шли в народ, сознание греха перед народом и покаяние шли глубже. Но во всяком случае славянофилы верили, что пути России особые, что у нас не будет развития капитализма и образования сильной буржуазии, что сохранится общинность русского народного быта в отличие от западного индивидуализма. Торжествующая на Западе буржуазность их отталкивала, хотя, может быть, с меньшей остротой, чем Герцена.

В последний период у Белинского складывалось миросозерцание, которое можно считать основой русского социализма. После него в истории нашей социалистической мысли руководящую роль будет играть публицистическая критика. За ней скрывалась наша социальная мысль от цензуры. Это имело печальные последствия для самой литературной критики, которая не стояла на высоте русской литературы. Было уже сказано, что новый девиз Белинского был: «Социальность, социальность — или смерть». Белинский любил литературу, и у него как у критика была большая чуткость. Но из сострадания к несчастным он отказал в праве думать об искусстве, о знании. Им овладела социальная утопия, страстная вера, что не будет больше богатых и бедных, не будет царей и подданных, люди будут братья и, наконец, поднимется человек во весь свой рост. Я употребляю слово «утопия» совсем не для обозначения неосуществимости, а лишь для обозначения максимального идеала. Ошибочно было бы думать, что социализм Белинского был сентиментальным, он был страстным, но не сентиментальным, и в нем звучали зловещие ноты: «Люди так глупы, что их наивно нужно вести к счастью».¹⁷ И для осуществления своего идеала Белинский не останавливается перед насилием и кровью. Белинский совсем не был экономистом, имел мало знаний, в этом он отличался от хорошо вооруженного Чернышевского. Но его можно признать, как я уже говорил, одним из предшественников русского марксистского социализма и даже коммунизма. Он менее типичный народник, чем Герцен. Белинскому принадлежат слова: «Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабаки побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян».¹⁸ Он признавал положительное значение за развитием в России буржуазии.

Но и он думал, что Россия лучше Европы разрешит социальный вопрос. Белинский интересен потому, что в нем раскрывается первоначальная моральная основа русского социализма вообще.

Гораздо более характерен для народнического социализма Герцен. Он страстно любил свободу и защищал ценность и достоинство личности. Но он верил, что русский мужик спасет мир от торжествующего мещанства, которое он видел и в западном социализме, и у рабочих Европы. Он резко критикует парламентскую демократию, и это типично для народников. В европейском мещанском мире он видит два стана: «с одной стороны мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие *мещане*, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, т. е. с одной стороны *скудость*, с другой *зависть*. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и, естественно, переходит со стороны зависти на сторону скудости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений — она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов, для достижения своих личных целей».* Тут Герцен обнаруживает большую проницательность. У Герцена были анархические тенденции, но анархизм этот был ближе к Прудону, самому родственному ему социальному мыслителю, чем к Бакунину. Поразительно, что скептический и критический Герцен искал спасения в сельской общине. В экономической отсталости России он видел ее великое преимущество для решения социального вопроса. Это мотив традиционный. Россия может не допустить развития капитализма, буржуазии и пролетариата. В русском народе есть задатки коммюнитарности, общности, возможного братства людей, которого нет уже у народов Запада. Там произошло грехопадение и изживаются его последствия. Герцен во многом сходится с славянофилами, но не имеет их религиозных основ. Наиболее трудно было Герцену соединить принцип общности, коммюнитарности с принципом личности и свободы. Герцен оставался верен своему социальному идеалу, но веры у него не было, ему был свойствен исторический пессимизм. Он имел опыт, которого не имел Белинский, и ему не свойственна была энтузиастическая вера последнего. У него была острая наблюдательность, мир же являл картины, мало благоприятные для оптимистических иллюзий. Типичный народник по своему социальному мирозозерцанию, он остался индивидуальной и оригинальной фигурой в истории русской социальной мысли. В письме к Мишле в защиту русского народа Герцен писал: «Россия никогда не сделает революцию с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими».¹⁹ Этим он хотел сказать, что в России не будет революции буржуазной, либеральной, а будет революция социальная. В этом было замечательное предвидение.

В 60-е годы меняются характер и тип русской интеллигенции, она имеет иной социальный состав. В 40-е годы интеллигенция была еще по преимуществу дворянской. В 60-е годы она делается разночинной. Приход разночинца — очень важное явление в истории русских социальных течений. В России возникает интеллигентный пролетариат, который будет ферментом революционного брожения. Большую роль будут играть интеллигенты, вышедшие из духовного сословия. Бывшие семинаристы делают нигилистами. Чернышевский и Добролюбов — сыновья священников, воспитанные в семинарии. Есть что-то таинственное в возникновении общественных движений. В 60-е годы в России открывается «общество», образуется общественное мнение. Этого еще не было в 40-е годы, когда существовали одиночки и небольшие кружки. Центральной фигурой в русской социальной мысли 60-х годов был Н. Г. Чернышевский, он был идейным вождем. Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться

* Цитата взята из «Былое и Думы».

менее достойные люди. По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек близкий к святости.* Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого. Дело Чернышевского было одной из самых отвратительных фальсификаций, совершенных русским правительством. Он был приговорен к 19-ти годам каторги. Нужно было изъять Чернышевского как человека, который мог иметь вредное влияние на молодежь. Он вынес каторгу героически, можно было бы даже сказать, что он перенес свое мученичество с христианским смирением. Он говорил: я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей. Так говорил и писал «утилитарист». Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва. В это время слишком многие православные христиане благополучно устраивали свои земные дела и дела небесные. Любовь Чернышевского к жене, с которой он был разлучен, — одно из самых изумительных проявлений любви между мужчиной и женщиной, она еще выше любви Милля к своей жене, Льюиса к Дж. Элиот.²¹ Нужно читать письма Чернышевского с каторги к своей жене, чтобы вполне оценить нравственный характер Чернышевского и почти мистический характер его любви к жене. Случай Чернышевского поражает несоответствием между довольно жалкой материалистической и утилитарной его философией и его подвижнической жизнью, высотой его характера. Тут нужно вспомнить слова Вл. Соловьева: русским нигилистам свойствен такой силлогизм — человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга. Русские революционеры, которые будут вдохновляться идеями Чернышевского, ставят интересную психологическую проблему: лучшие из русских революционеров соглашались в этой земной жизни на преследования, нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея никаких надежд на иную, потустороннюю жизнь. Очень невыгодно было сравнение для христиан того времени, которые очень дорожили благами земной жизни и рассчитывали на блага жизни небесной. Чернышевский был очень ученый человек, он знал все, знал богословие, философию Гегеля, естественные науки, историю и был специалистом по политической экономии. Но тип его культуры не был особенно высоким, он был ниже типа культуры идеалистов 40-х годов — таков был результат демократизации. Маркс начал изучать русский язык, чтобы читать экономические труды Чернышевского, — так высоко они оценивались. Чернышевскому прощали отсутствие литературного таланта. В его писаниях не было никакой внешней привлекательности, он не может сравниться с более блестящим Писаревым. Социализм Чернышевского был близок народническому социализму Герцена, он тоже хотел опираться на крестьянскую общину и на рабочую артель, так же хотел избежать капиталистического развития для России. В своей «Критике философских предубеждений против общинного землевладения» он, пользуясь терминологией гегелевской диалектики, пытался показать, что можно миновать средний капиталистический период развития, доведя его до крайнего минимума, почти до нуля. Основной его социальной идеей было противоположение национального богатства и народного благосостояния. При этом Чернышевский был за индустриальное развитие и в этом не был народником, если под народничеством понимать требование, чтобы Россия оставалась исключительно сельскохозяйственной страной и не вступала на путь развития промышленности. Но он верил, что это промышленное развитие может совершаться не западным, капиталистическим путем. Общественно-экономическим у него оставался примат распределения над производством. Чернышевский готов был даже видеть в себе что-то общее с славянофилами. Но как велико психологическое различие между Чернышевским и Герценом, несмотря на сходство в социальных идеалах! Это — различие душевного склада разночинца и барина, демократа и человека аристократической культуры. Чернышевский писал о Герцене: «Какой умница! Какой умница! И как отстал!

* См. необыкновенно интересную книгу: «Любовь у людей 60-х годов», где собраны письма Чернышевского, особенно к жене, с каторги.²⁰

Ведь он до сих пор думает, что он продолжает остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идет с страшной быстротой: месяц стоит прежнего десятка лет. Присмотреться, — у него все еще внутри московский барин сидит». ²² Тут метко выражено различие поколений, которое всегда играло такую огромную роль в России. Герцен по своей душевной структуре оставался «идеалистом» 40-х годов, несмотря на Фейербаха, на свой скептицизм. Более мягкий тип «идеалиста» 40-х годов заменяется более жестким типом «реалиста» 60-х годов. Так, впоследствии более мягкий тип народника заменяется у нас более жестким типом марксиста, более мягкий тип меньшевика более жестким типом большевика. При этом лично Чернышевский нисколько не был жестким типом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен. Но мысль его была иначе окрашена, воля иначе направлена. Интеллигенты 60-х годов, «мыслящие реалисты», не признавали игры творческих избыточных сил, не признавали всего рождающегося от избытка досуга. Их реализм был беден, сознание сужено и сосредоточено на едином главном для них, они были «иудеи», а не «эллыны». Они противились всем утонченностям, противились и утонченному скепсису, который позволял себе Герцен, противились и игре остроумия, они были догматики. У «нигилистов» 60-х годов появляется аскетическая складка, характерная для последующей революционной интеллигенции. Без этой аскетической складки невозможна была бы героическая революционная борьба. Очень усиливается нетерпимость и изоляция себя от всего остального мира. Это приведет к «катехизису революционера» Нечаева. Этот аскетический элемент был выражен в «Что делать?» Чернышевского.

«Что делать?» принадлежит к типу утопических романов. Художественных достоинств этот роман не имеет, он написан не талантливо. Социальная утопия, изложенная в сне Веры Павловны, довольно элементарная. Кооперативные швейные мастерские сейчас никого не могут испугать, не могут вызвать и энтузиазма. Но роман Чернышевского все же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было главным образом моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был оклеветан представителями правого лагеря, начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего было к лицу. В действительности мораль «Что делать?» очень высокая и уже, во всяком случае, бесконечно более высокая, чем гнусная мораль «Домостроя», позорящего русский народ. Бухарев, один из самых замечательных русских богословов, признал «Что делать?» христианский по духу книгой. ²³ Прежде всего, это книга аскетическая, в ней есть тот аскетический элемент, которым была проникнута русская революционная интеллигенция. Герой романа Рахметов спит на гвоздях, чтобы приготовить себя к перенесению пытки, он готов во всем себе отказать. Наибольшие нападения вызвала проповедь свободной любви, отрицание ревности как основанной на дурном чувстве собственности. Эти нападения исходили из правого, консервативного лагеря, который на практике наиболее придерживался гедонистической морали. Половая распущенность процветала главным образом в лагере гвардейских офицеров, праздных помещиков и важных чиновников, а не в лагере аскетически настроенной революционной интеллигенции. Мораль «Что делать?» должна быть признана очень чистой и отрешенной. Проповедь свободы любви есть проповедь искренности чувства и ценности любви как единственного оправдания отношений между мужчиной и женщиной. Прекращение любви с одной из сторон есть прекращение смысла отношений. Чернышевский восстает против всякого социального насилия над человеческими чувствами, он движется любовью к свободе, уважением к свободе и искренности чувства. Единственная любовь к женщине, которую знал Чернышевский в своей жизни, была примером идеальной любви. Тема свободы любви у Чернышевского ничего общего не имела с темой «оправдания плоти», которая у нас играла роль не у нигилистов и революционеров, а в утонченных и эстетизирующих течениях начала XX века. «Плоть» очень мало интересовала Чернышевского, она интересовала впоследствии Мережковского, его же интересовала свобода и правдивость. Повторяю, мораль романа «Что делать?» высокая, и она характерна для русского сознания. Русская мораль

в отношении к полу и любви очень отличается от морали западной. Мы всегда были в этом отношении свободнее западных людей, и мы думали, что вопрос о любви между мужчиной и женщиной есть вопрос личности и не касается общества. Если французу сказать о свободе любви, то он представляет себе прежде всего половые отношения. Русские же, менее чувственные по природе, представляют себе совсем иное — ценность чувства, не зависящего от социального закона, свободу и правдивость. Серьезную и глубокую связь между мужчиной и женщиной, основанную на подлинной любви, интеллигентные русские считают подлинным браком, хотя бы он не был освящен церковным и государственным законом. И наоборот, связь, освященную церковным законом, при отсутствии любви, при насилиях родителей и денежных расчетах, считают безнравственной, она может быть прикрытым развратом. Русские менее законники, чем западные люди, для них содержание важнее формы. Поэтому свобода любви в глубоком и чистом смысле слова есть русский догмат, догмат русской интеллигенции, он входит в русскую идею, как входит отрицание смертной казни. Тут мы не сговоримся с западноевропейскими людьми, закованными в законническую цивилизацию, особенно не сговоримся с официальными католиками, превратившими христианство в религию закона. Для нас важнее человек, для них важнее общество и цивилизация. Чернышевский имел самую жалкую философию, которой была заполнена поверхность его сознания. Но глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами. Но мышление его оставалось социальным, у него не было психологии и не было метафизической глубины человека в его антропологии. Статья «Антропологический принцип в философии», навеянная Фейербахом, была слабой и поверхностной.

Д. Писарев и журнал «Русское Слово» представляли другие течения в 60-е годы, чем Чернышевский и журнал «Современник». Если Чернышевского считали типичным социалистом, то Писарева считали индивидуалистом. Но и у Писарева были характерные русские социальные мотивы. Верховной ценностью для него была свободная человеческая личность, и он наивно связывал это с материалистической и утилитарной философией. Мы увидим, что тут было главное внутреннее противоречие русского «нигилизма». Писарев интересовался не только обществом, но и качеством человека, он хотел появления свободного человека. Таким человеком, «мыслящим реалистом», он считал только интеллигента, человека умственного труда. У него прорывается высокомерное отношение к представителям физического труда, чего нельзя встретить у Чернышевского. Но это не мешает ему отождествлять интересы личности и интересы труда, что потом будет развивать Н. Михайловский. Он требует полезного труда, проповедует идею экономии сил. Он пишет в статье «Реалисты»: «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». Выражено в крайней форме, но тут «нигилист» Писарев был ближе к Евангелию, чем «империалист», хотя бы и православный, считающий конечной целью могущество государства. Писарев заслуживает отдельного рассмотрения в связи с вопросом о русском нигилизме и русском отношении к культуре. Он интересен своим вниманием к теме о личности. Он представлял русское радикальное просвещение. Он не был народником.

3

70-е годы были у нас временем народничества по преимуществу. Интеллигенция шла в народ, чтобы уплатить ему свой долг, искупить свою вину. Первоначально это не было революционное движение. Политическая борьба за свободу отступила на второй план. Даже «Черный передел», стремившийся к переделу земли и отдаче ее крестьянам был

против политической борьбы. Народническая интеллигенция шла в народ, чтобы слиться с его жизнью, просвещать его и улучшить его экономическое положение. Революционный характер народническое движение приобретает лишь после того, как правительство начало преследования против деятельности народников, носившей культурный характер. Судьба народников 70-х годов была трагична потому, что они не только встречали преследования со стороны власти, но они не были приняты самим народом, который имел иное мирозерцание, чем интеллигенция, иные верования. Крестьяне иногда выдавали представителям власти народников-интеллигентов, которые готовы были отдать свою жизнь народу. Это привело к тому, что интеллигенция перешла к террористической борьбе. Но в период расцвета народнического движения и народнических иллюзий Н. Михайловский, властитель дум левой интеллигенции того времени, отказывается от свободы во имя социальной правды, во имя интересов народов. Он требует социальных, а не политических реформ. «Для „общечеловека“, для *сiтoуeн'a*, — писал Михайловский, — для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политики, свободы совести, слова, устного и печатного, свободы обмена мыслей и пр. И мы желаем этого, конечно, но если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для нас роль яркого ароматного цветка, — мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их!»²⁴ Это место очень характерно для психологии народников 70-х годов. При этом нужно сказать, что у Михайловского не было народопоклонства, он представитель интеллигенции и для него обязательны интересы народа, но не обязательны мнения народа, он совсем не стремился к опрошению. Он различает работу чести, свойственную трудовому народу, который должен восходить, и работу совести, которая должна быть свойственна привилегированным образованным классам — они должны искупить свою вину перед народом. Работа совести есть покаяние в социальном грехе, и она захватывает Михайловского. В 70-е годы меняется умственная атмосфера. Крайности нигилизма сглаживаются. Происходит переход от материализма к позитивизму. Прекращается исключительное господство естественных наук, Бюхнер и Молешотт²⁵ более не интересуют. На левую интеллигенцию влияют О. Конт,²⁶ Д. С. Милль, Гер. Спенсер.²⁷ Но отношение к течениям западной мысли делается более самостоятельным и критическим. В 70-е годы у нас уже был расцвет творчества Достоевского и Л. Толстого, появление Вл. Соловьева. Но левая народническая интеллигенция остается замкнутой в своем мире и имеет своих властителей дум. Наиболее интересен Н. Михайловский, человек умственно одаренный, замечательный социолог, поставивший интересные проблемы, но с очень невысокой философской культурой, знакомый главным образом с философией позитивизма. В отличие от людей 40-х годов, он почти совсем не знал немецкой идеалистической философии, которая могла бы помочь ему лучше решить беспокоившие его вопросы о «субъективном методе» в социологии и о «борьбе за индивидуальность».* У него была очень верная и очень русская мысль о соединении правды-истины и правды-справедливости, о целостном познании всем существом человека. Это всегда думали и Хомяков и Ив. Киреевский, имевшие совсем иное философское и религиозное мировоззрение, а потом Вл. Соловьев. Н. Михайловский был совершенно прав, когда он вставал против перенесения методов естественных наук в науки социальные и настаивал на том, что в социологии неизбежны оценки. В этиюдах «Герои и толпа» и «Патологическая магия» он употребляет метод психологического вживания, что нужно решительно отличать от нравственных оценок социальных явлений. В субъективном методе в социологии была неосознанная правда персонализма. Подобно Ог. Конту, Михайловский устанавливает три периода человеческой мысли, которые именует: объективно-антропоцентрический, эксцентрический и субъективно-антропоцентрический. Свое мирозерцание он называет *субъективно-антропоцентрическим* и противопоставляет его метафизическому (эксцентрическому) мирозерцанию. Экзистенциальная

* См. мою старую книгу: «Субъективизм и индивидуум в объективной философии».²⁸

философия по-иному может быть признана субъективно-антропоцентрической. Христианство антропоцентрично, оно освобождает человека от власти объектного мира и космических сил. Но в 70-е годы вся умственная жизнь стояла под знаком сиентизма и позитивизма. Тема Михайловского с трудом прорывалась через толщу позитивизма. Тема, поставленная еще Белинским и Герценом, о конфликте между человеческой личностью, индивидуумом и природным и историческим процессом приобретает своеобразный характер в социологических работах Михайловского.

Вся социологическая мысль сторонника субъективного метода определялась борьбой против натурализма в социологии, против органичной теории общества и применения дарвинизма к социальному процессу. Но он не понимает, что натурализму в социологии нужно противопоставлять духовные начала, которые он не хочет признать, и он не видит, что сам остается натуралистом в социологии. Михайловский утверждает борьбу между индивидуумом как дифференцированным организмом и обществом как дифференцированным организмом. Когда побеждает общество как организм, то индивидуум превращается в орган общества, в его функцию. Нужно стремиться к устройству общества, в котором индивидуум будет не органом и функцией, а высшей целью. Для Михайловского таким обществом представлялось социалистическое общество. Общество капиталистическое в максимальной степени превращает индивидуум в орган и функцию. Поэтому Михайловский, как Герцен, является защитником индивидуалистического социализма. Он не делает философского различия между индивидуумом и личностью и индивидуум понимает слишком биологически; целостный индивидуум у него носит совершенно биологический характер. Он хочет максимального физиологического разделения труда и враждебное общественному разделению труда. При общественном разделении труда, при органическом типе общества индивидуум лишь «палец от ноги общественного организма». Он резко критикует дарвинизм в социологии, и критика его бывает очень удачной. С позитивизмом Михайловского трудно примирить его верную идею, что пути природы и пути человека противоположны. Он враг «естественного хода вещей», он требует активного вмешательства человека в изменение «естественного хода». Он обнаружил очень большую пронизательность, когда обличал реакционный характер натурализма в социологии и восставал против применения дарвиновской идеи борьбы за существование к жизни общества. Немецкий расизм этого натурализм в социологии. Михайловский защищает русскую идею, обличая ложь этого натурализма. Ту же идею я по-иному философски формулирую. Есть два понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство. Михайловский имеет в виду это различие, но выражает его очень несовершенно, в биологических категориях. Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, между Л. Толстым и Ницше.

Михайловский делает важное различие между типами и ступенями развития. Он думает, что в России есть высокий тип развития, но на низкой ступени развития. Высокая ступень развития европейских капиталистических обществ связана с низким типом развития. Эту же идею по-иному выражали славянофилы, это была и идея Герцена. Михайловский был общественник и мыслил общественно, как и вся левая русская интеллигенция. Но иногда он производит впечатление врага общества, он видит в обществе, в совершенном обществе, врага личности. «Личность, — говорит он, — никогда не должна быть принесена в жертву; она свята и неприкосновенна».²⁹ Народничество Михайловского выражалось в том, что он утверждал совпадение интересов личности и народа, личности и труда. Но это не помешало ему видеть возможность трагического конфликта личности и народных масс, он как бы предвидел конфликт, который случится в разгар русской революции. «У меня на столе стоит бюст Белинского,

который мне очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, я не покорюсь и людям деревни; я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки». Значит, может быть долг борьбы личности против общества-организма, но и против народа. Михайловский повсюду проводит идею борьбы за индивидуальность. «Человеческая личность представляет собою одну из ступеней индивидуальности». Он субъективно выбирает ее как верховенствующую.³⁰

Защитником личности, сторонником индивидуалистического социализма был также П. Л. Лавров. Это был человек обширной учености, много учение Михайловского, но менее талантливый, он писал очень скучно. Вначале профессор Артиллерийской академии, он провел значительную часть жизни в эмиграции и был идейным руководителем революционного движения семидесятых годов. Про него остряли, что он начинает обоснование революционного социализма космогонически, с движения туманных масс. Наиболее известен он своей книгой «Исторические письма», напечатанной под псевдонимом Миртова. Лавров утверждал антропологизм в философии и основным двигателем исторического процесса признавал критически мыслящие личности. Он проповедует обязанность личности развиваться. Но нравственные достоинства личности у него осуществляются в группе, в партии. Персонализм Лаврова ограничен. Для него, в сущности, человека как отдельной личности не существует, он образуется обществом. У Лаврова есть уже элементы марксизма. Но он, как и все социальсты-народники, противник либеральной борьбы за конституцию и хочет опереться на общину и артель. Социализм, связанный с позитивной философией, не дает возможности обосновать ценность и независимость личности. По-настоящему проблема личности поставлена Достоевским. Народничество Лаврова выражалось главным образом в том, что он признает вину интеллигенции перед народом и требует уплаты долга народу. Но в 70-е годы были формы народничества, которые требовали от интеллигенции полного отречения от культурных ценностей не только во имя блага народа, но и во имя мнений народа, эти формы народничества не защищали личности. Иногда народничество принимало религиозную и мистическую окраску. В 70-е годы существовали религиозные братства, и они тоже представляли одну из форм народничества. Народ жил под «властью земли», и оторванная от земли интеллигенция готова была подчиниться этой власти.

Интеллигенция разочаровалась в революционности крестьянства. В народе были еще сильны старые верования в религиозную освященность самодержавной монархии, он был более враждебен помещикам и чиновникам, чем царю. И народ плохо принимал просвещение, которое ему предлагала интеллигенция, чуждая религиозным верованиям народа. Все это наносило удар народничеству и объясняет переход к политической борьбе и террору. В конце концов разочарование в крестьянстве привело к возникновению русского марксизма. Но в России были более крайние революционеры и по поставленным целям, и, в особенности, по средствам и методам борьбы, чем преобладающие течения народнического социализма. Таковы Нечаев и Ткачев. Нечаев был изувер и фанатик, но натура героическая. Он проповедовал обман и грабеж как средства социального переворота и беспощадный террор. Это был настолько сильный человек, что во время своего пребывания в Алексеевском равелине он спропагандировал стражу тюрьмы и через нее передавал директивы революционному движению. Он был одержим одной идеей и во имя этой идеи требовал жертвы всем. Его «Катехизис революции» есть своеобразно-аскетическая книга, как бы наставление к духовной жизни революционера. И предъявляемые им требования суровее требований сирийской аскезы. Революционер не должен иметь ни интересов, ни дел, ни личных чувств и связей, ничего своего, даже имени. Все должно быть поглощено единственным, исключительным интересом, единственной мыслью, единственной страстью — революцией. Все, что служит революции, морально, революция есть единственный критерий добра и зла. Нужно пожертвовать множественным во имя единого. Но это и есть принцип аскезы.

При этом живая человеческая личность оказывается раздавленной, от нее отнимается все богатство содержания жизни во имя божества — революции. Нечаев требовал железной дисциплины и крайней централизации кружков, и в этом он предшественник большевизма. Революционная тактика Нечаева, допускавшая самые аморальные средства, оттолкнула большую часть русских революционеров народнического направления, она испугала даже Бакунина, об анархизме которого речь будет в другой главе. Наибольший идеологический интерес как теоретик революции представлял П. Ткачев, которого нужно признать предшественником Ленина.* Ткачев был противник Лаврова и Бакунина, он был очень враждебен всякой анархической тенденции, столь свойственной социалистам-народникам. Он был единственный из старых революционеров, который хотел власти и думал о способах ее приобретения. Он государственный, сторонник диктатуры власти, враг демократии и анархизма. Революция для него есть насилие меньшинства над большинством. Господство большинства есть эволюция, а не революция. Революции не делают цивилизованные люди. Нельзя допустить превращения государства в конституционное и буржуазное. По Ткачеву, тоже при всем его отличии от народничества, Россия должна избежать буржуазно-капиталистического периода развития. Он против пропаганды и подготовки революции, на чем особенно настаивал Лавров. Революционер должен всегда считать народ готовым к революции. Русский народ социалист по инстинкту. Отсутствие настоящей буржуазии есть преимущество России для социальной революции, — мотив традиционно-народнический. Интересно, что Ткачев считал абсурдом разрушение государства. Он якобинец. Анархист хочет революции через народ, якобинец же через государство. Ткачев, подобно большевикам, проповедует захват власти революционным меньшинством и использование государственного аппарата для своих целей. Он сторонник сильной организации. Ткачев один из первых говорил в России о Марксе. Он пишет в 1875 году письмо к Энгельсу, в котором говорит, что пути русской революции особые и что к России не применимы принципы марксизма. Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее «меньшевиками», чем «большевиками». В этом отношении интересно письмо Маркса к Н. Михайловскому.³² Ткачев более предшественник большевизма, чем Маркс и Энгельс. Он интересен как теоретик русской революции и как предшественник большевизма. Мысли его острые. Но культурный уровень его очень невысок. Он был также литературным критиком, очень плохим, признал «Войну и мир» бездарным и вредным произведением. Это свидетельствует о существовании пропасти между движением революционным и движением культурным.

4

Теперь переходим в другой климат, в котором расцветал русский гений. Социально-революционная тема, когда ей отдавались целиком, подавляла сознание, вызывала конфликт с творческим богатством мысли, с цветением культуры. На русской социально-революционной мысли лежала печать своеобразного аскетизма. Подобно тому, как христианские аскеты прошлого думали, что нужно прежде всего бороться с личным грехом, русские революционеры думали, что нужно прежде всего бороться с социальным грехом. Все остальное приложится потом. Но были люди, которым было свойственно сильное чувство греха, которым не была чужда русская социальная тема и которые обнаружили гениальное творчество. Таковы прежде всего Л. Толстой, Достоевский и Вл. Соловьев. Великие русские писатели, столь противоположные по своему типу, представители религиозного народничества, оба верили в правду простого трудового народа. Русский гений, в отличие от западноевропейского, поднявшись на вершину, бросается вниз и хочет слиться с землей и народом, он не хочет быть привилегированной расой, ему чужда идея сверхчеловека. Достаточно сравнить Л. Толстого с Ницше. И Толстой и Достоевский по основам своего мирозерцания враждебны революционной

* См. П. Н. Ткачев: «Избранные сочинения». Четыре тома. Москва. 1933 г.³¹

интеллигенции, а Достоевский был к ней даже несправедлив, и его обличения напоминали памфлет. Но оба стремились к социальной правде, лучше сказать, что оба стремились к Царству Божьему, в которое входит и социальная правда. Для них тема социальная приобретала характер темы религиозной. Л. Толстой с небывалым радикализмом восстает против неправды и лжи истории, цивилизации, основ государства и общества. Он обличает историческое христианство, историческую церковь в приспособлении заветов Христа к закону этого мира, в замене Царства Божьего царством кесаря, в измене закону Бога. У него было потрясающее чувство вины, вины не только личной, но и того класса, к которому он принадлежал. Древний аристократ по рождению, настоящий грандсеньор, он не может вынести своего привилегированного положения и всю жизнь с ним борется. Такого отречения от своего аристократизма, от своего богатства и, в конце концов, от своей славы Запад не знал. Толстой совсем не был последователен, он не умел осуществить своей веры в жизни и сделал это лишь в конце жизни своим гениальным уходом. Его давила и притягивала вниз семья. Он был человек страстей, в нем была сильная стихия земли, инстинктами своими он был привязан к той самой земной жизни, от неправды которой он так страдал. Он совсем не был человеком вегетарианского темперамента. Он весь был в борьбе противоположных начал. Он был человек гордый, склонный к гневу, это был пацифист с воинствующим инстинктом, любил охоту, был картежник, проигравший в карты миллион, проповедник непротivления — он естественно склонен был к противлению и ничему и никому не мог покориться, его соблазняли женщины и он написал «Крейсерову сонату». Когда в его отсутствие у него в деревне однажды сделали обыск, явление не редкое в России, он пришел в такое бешенство, что потребовал от правительства извинения перед ним, просил, чтобы его тетя, близкая ко двору, говорила об этом с Александром III и грозил навсегда покинуть Россию. И он же, когда арестовывали и ссылали толстовцев, требовал, чтобы и его арестовали и сослали. Ему приходилось преодолевать в себе тяжесть земли, свою теллурическую природу, и он проповедывал духовную религию, близкую к буддизму. В этом интерес Л. Толстого и его единственной судьбы. Он искал правды и смысла жизни в простом народе и в труде. Чтобы слиться с народом и его верой, он одно время принуждал себя считать православным, соблюдал все предписания православной церкви, но не в силах был смириться, взбунтовался и начал проповедовать свою веру, свое христианство, свое Евангелие. Он требовал возврата от цивилизации к природе, которая для него была божественна. Наиболее радикально он отрицал земельную собственность и видел в ней источник всех зол. Этим он отрицал свою собственную помещичью природу. Из западной социальной мысли некоторое влияние на него имели Прудон и Генри Джордж.³³ Наиболее чужд ему был марксизм. Об отношении Л. Толстого к Руссо я еще буду говорить в связи с учением о непротivлении злу насилием и его анархизмом. Толстовство, которое ниже самого Толстого, интересно главным образом своей критикой, а не положительным учением. Толстой был великий правдолюбец. В необыкновенно правдивой русской литературе XIX века он был самым правдивым писателем. В русскую идею Л. Толстой входит как очень важный элемент, без которого нельзя мыслить русского призвания. Если отрицание социального неравенства, обличение неправды господствующих классов есть очень существенный русский мотив, то у Толстого он доходит до предельного религиозного выражения.

Достоевский наиболее выражает все противоречия русской природы и страстную напряженность русской проблематики. Он в молодости принадлежал к кружку Петрашевского и за это претерпел каторгу. Он пережил духовное потрясение и, по обычной терминологии, из революционера стал реакционером и обличал неправду революционного мирозерцания, атеистического социализма. Но вопрос о нем безмерно сложнее. В Достоевском осталось много революционного, он революционер духа. «Легенда о Великом Инквизиторе» одно из самых революционных, можно даже сказать, анархических произведений мировой литературы. К русской социальной теме он не стал равнодушен, у него была своя социальная утопия, утопия теократическая, в которой церковь

поглощает целиком государство и осуществляет царство свободы и любви. Его можно было бы назвать православным социалистом. Он противник буржуазного мира, капиталистического строя и пр. Он верит, что в русском народе правда, и исповедует религиозное народничество. Теократия, в которой уже не будет государственного насилия, с Востока, из России придет. Интересно, что Достоевский сделался врагом революции и революционеров из любви к свободе, он увидел в духе революционного социализма отрицание свободы и личности. В революции свобода перерождается в рабство. Если верно то, что он говорит о революционерах-социалистах по отношению к Нечаеву и Ткачеву, то совершенно неверно по отношению к Герцену или Михайловскому. Он предвидит русский коммунизм и противопоставляет ему христианское решение социальной темы. Он не принимает искушения превращения камней в хлеб, не принимает решения проблемы хлеба через отречение от свободы духа. Антихристово начало для него есть отречение от свободы духа. Он видит это одинаково в авторитарном христианстве и в авторитарном социализме. Он не хочет всемирного соединения посредством насилия. Его ужаснула перспектива превращения человеческого общества в муравейник. «Горы сравнять — хорошая мысль». Это Шигалев и Петр Верховенский. Это принудительная организация человеческого счастья. «Выходя из безграничной свободы, говорит Шигалев, я заключаю безграничным деспотизмом». Никаких демократических свобод не будет. В профетической «Легенде о Великом Инквизиторе» есть гениальное прозрение не только об авторитарном католичестве, но и об авторитарном коммунизме и фашизме, о всех тоталитарных режимах. И это верно относительно исторических теократий прошлого. «Легенда о Великом Инквизиторе» и многие места в «Бесах» могут быть истолкованы главным образом как направленные против католичества и революционного социализма. Но в действительности тема шире и глубже. Это есть тема о царстве кесаря, об отвержении искушения царством мира сего. Все царства мира сего, все царства кесаря, старые монархические царства и новые социалистические и фашистские царства, основаны на принуждении и на отрицании свободы духа. Достоевский, в сущности, религиозный анархист, и в этом он очень русский. Вопрос о социализме, русский вопрос об устройстве человечества по новому штату есть религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии. Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. «Русские мальчики», атеисты, социалисты и анархисты, — явление русского духа. Это очень глубоко понимал Достоевский. И тем более странно, что он иногда так несправедливо, почти озлобленно писал об этих русских мальчиках, особенно в «Бесах». Он многое очень глубоко понял и прозрел, увидел духовную подпочву явлений, которые на поверхности представлялись лишь социальными. Но временами он срывался, в «Дневнике писателя» он высказывал очень банальные консервативные политические взгляды. Многие в «Дневнике писателя» совсем не соответствуют духовной глубине его романов. Достоевского очень волновала утопия земного рая. Сон Версилова и еще более гениальный сон смешного человека посвящены этой теме. Возможны три решения вопроса о мировой гармонии, о рае, об окончательном торжестве добра: 1) гармония, рай, жизнь в добре без свободы избрания, без мировой трагедии, без страданий, но и без творческого труда; 2) гармония, рай, жизнь в добре на вершине земной истории, купленная ценой неисчислимых страданий и слез всех обреченных на смерть человеческих поколений, превращенных в средство для грядущих счастливых; 3) гармония, рай, жизнь в добре, к которым придет человек через свободу и страдание в плане, в который войдут все когда-либо жившие и страдавшие, т. е. в Царстве Божьем. Достоевский отвергает первые два решения вопроса о мировой гармонии и рае и приемлет только третье решение. Диалектика Ив. Карамазова сложна и не всегда легко понять, на чьей стороне сам Достоевский. Думаю, что он наполовину был на стороне Ив. Карамазова. У Достоевского было сложное отношение к злу, которое многим может казаться соблазном. С одной стороны, зло есть зло, должно быть обличено и должно сгореть. Но с другой стороны, зло есть духовный опыт человека, путь человека. В своем пути человек может быть обогащен опытом зла. Но нужно это как следует понять. Обогащает

не самое зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла. Человек, который скажет: отдамся злу для обогащения, никогда не обогащается, он погибает. Но зло есть испытание свободы человека. В истории, в социальной жизни мы видим то же самое. Есть как бы закон диалектического развития, согласно которому дурное, злое в известный период не уничтожается, а преодолевается (*Aufhebung*) и в преодоление входит все положительное предшествующего периода. Достоевский наводит на эти мысли. Он раскрывает метафизическую глубину русской темы о социальной правде. Для него она связана с русским мессианизмом. Русский народ, — как народ-богоносец, — должен лучше Запада решить социальный вопрос. Но этот народ подстерегают и великие соблазны.

Вл. Соловьев, который принадлежит главным образом теме о русской философии, совсем не был чужд теме социальной. Его всю жизнь беспокоил вопрос о возможности христианского общества, и он обличал ложь общества, которое лжеименно называло себя христианским. В его первичную интуицию духовного всеединства мира входит и осуществление социальной правды, создание совершенного общества. У Вл. Соловьева есть своя утопия, которую он называет свободной теократией. Он верил, что Царство Божье осуществляется и на земле и искал этого осуществления. Лишь под конец жизни он разочаровался в теократии и возможности Царства Божьего на земле. Его теократия была настоящей религиозной утопией, построенной очень рационалистически по тройственной схеме царя, первосвященника и пророка. Наиболее интересно, что он утверждает профетическое начало в христианстве и профетическую функцию. В этом он наиболее русский. Он говорил, что для того, чтобы победить неправду социализма, нужно признать правду социализма и осуществить ее. Но Вл. Соловьев не был народником и, в отличие от других представителей русской мысли, он признает положительную миссию государства, требуя только, чтобы государство было подчинено христианским началам. Мечтой его было преображение всего космоса. Социальная проблема была ему подчинена. Его большой заслугой было обличение неправды национализма, когда в 80-е годы он у нас принял зоологические формы. Вл. Соловьев был представитель русского универсализма, и в более очищенной форме, чем близкий ему Достоевский. Очень русским и христианским был его протест против смертной казни, вследствие которого ему пришлось покинуть профессуру в университете. Но роль Вл. Соловьева в истории русских социальных идей и течений остается второстепенной. Он входит в русскую идею другими сторонами своего творчества — как самый замечательный представитель русской религиозной философии XIX века. Мы увидим, что личность Вл. Соловьева очень сложна и даже загадочна. Он, во всяком случае, всегда стремился к осуществлению христианской правды не только в жизни личной, но и в жизни общественной и резко восставал против дуализма, который признавал евангельскую мораль для личности, для общества же допускал мораль звероподобную. В этом от него очень отличался К. Леонтьев, который как раз утверждал в крайней форме такой моральный дуализм. Он совсем не хотел осуществления христианской, евангельской правды в обществе. У него решительно преобладали оценки эстетические над оценками моральными. Со свойственным ему радикализмом мысли и искренностью он признается, что осуществление христианской правды в жизни общества привело бы к уродству, и он, в сущности, не хочет этого осуществления. Свобода и равенство порождают мещанство. В действительности ненавистный ему «либерально-эгалитарный прогресс» более соответствует христианской морали, чем могущество государства, аристократия и монархия, не останавливающиеся перед жестокостями, которые защищал К. Леонтьев. Вся мысль его есть эстетическая реакция против русского народничества, русского освободительного движения, русского искания социальной правды, русского искания Царства Божьего. Он государственный и аристократ. Но прежде всего и более всего он романтик, и он совсем не подходил к реакционерам и консерваторам, как они выражались в практической жизни. Ненависть К. Леонтьева к мещанству и буржуазности была ненавистью романтика. Эмпирические реакционеры и консерваторы были мещане и буржуа. Под конец жизни, разочаровавшись в возможности в России органической

цветущей культуры, отчасти под влиянием Вл. Соловьева, К. Леонтьев даже проектировал что-то вроде монархического социализма и стоял за социальные реформы и за решение рабочего вопроса не столько из любви к справедливости и желания осуществить правду, сколько из желания сохранить хоть что-нибудь из красоты прошлого. К. Леонтьев — один из самых замечательных у нас людей, в нем подкупает смелость, искренность и радикализм мысли, его религиозная судьба волнует. Но он стоит в стороне. Гораздо более центральной и характерной для русской идеи, для русского стремления к осуществлению социальной правды является фигура Н. Федорова, но он принадлежит более к началу XX века, чем к XIX веку. У него социальная тема играла большую роль, и есть даже родство с коммунизмом-коллективизмом, идеология труда, регуляция природы, проективность. Такие свойства первый раз встречаются с религиозной мыслью.

Убийство Александра II партией «Народной воли» проводит резкую грань в наших социальных течениях. 80-е годы были эпохой политической реакции и лжерусского стиля Александра III, в эти годы возник национализм, которого раньше не было, не было и у славянофилов. Старый народнический социализм идет на убыль. Партия «Народной воли» была последним сильным проявлением старых революционных течений. Желябов был главным ее выразителем. Фигура героическая. Очень интересны слова, сказанные им на процессе 1 марта: «Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого учения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетенных и слабых и, если нужно, то за них пострадать — такова моя вера».* В 80-е годы подготавливается русский марксистский социализм. В 1883 году основывается за границей группа «Освобождения труда» с Г. В. Плехановым во главе, главным теоретиком русского марксизма. Это открывает новую эру в русских социалистических течениях. Это вместе с тем будет серьезным кризисом сознания русской интеллигенции. Тип марксиста, как я уже говорил, будет более жестким, чем тип народника, менее эмоциональным. Но на почве марксизма у нас возникнет среди левой интеллигенции течение более высокой и сложной культуры, подготовившее русский идеализм начала XX века. Об этом речь впереди. Подводя итоги русской мысли XIX века на социальную тему, русским исканиям социальной правды, можно сказать, что в России вынашивалась идея братства людей и народов. Это русская идея. Но поскольку эта идея утверждалась в отрыве от христианства, которое было ее истоком, в нее входил яд и это сказалось на двойственности коммунизма, на переплетении в нем правды и лжи. Эта двойственность была уже у Белинского. У Нечаева и Ткачева началось преобладание отрицательного над положительным. Духовные же течения делались более равнодушными к социальной теме. Так, раздвоение, раскол все усиливались в России.

Глава VI

Оправдание культуры. Различение культуры и цивилизации. Культура конца. Русский нигилизм: Добролюбов, Писарев. Аскетические, эсхатологические и моралистические элементы в нигилизме. Культ естественных наук. Противоречие между принципом личности и материализмом. Противоположение совершенной культуры и совершенной жизни. Л. Толстой. Опрошение Толстого и Руссо. К. Леонтьев и его отношение к культуре.

1

Теме оправдания культуры принадлежало в русском сознании большее место, чем в сознании западном. Люди Запада редко сомневались в оправданности культуры. Они почитали себя наследниками средиземноморской греко-римской культуры и были

* См. А. Воронский: «Желябов». 1934 г.³⁴

уверены в священности ее традиций. Вместе с тем эта культура представлялась им универсальной и единственной, весь же остальной мир варварским. Это было особенно остро у французов. Правда, Ж.-Ж. Руссо усомнился в благе цивилизации (это слово французы предпочитают слову культура). Но то было явление исключительное, почти скандальное и вопрос ставился иначе, чем у русских. Мы увидим разницу с Л. Толстым. У русских нет культурупоклонства, так свойственного западным людям. Достоевский сказал: все мы нигилисты. Я бы сказал: мы, русские, апокалиптики или нигилисты. Мы апокалиптики или нигилисты потому, что устремлены к концу и плохо понимаем ступенчатый исторического процесса, враждебны чистой форме. Это и имел в виду Шпенглер, когда сказал, что Россия есть апокалиптический бунт против античности, т. е. против совершенной формы, совершенной культуры.* Но совершенно ошибочно мнение о. Г. Флоровского, что русский нигилизм был антиисторическим утопизмом.** Нигилизм принадлежит русской исторической судьбе, как принадлежит и революция. Нельзя признавать историческим лишь то, что нравится консервативным вкусам. Бунт есть также историческое явление, один из путей осуществления исторической судьбы. Русский не может осуществлять своей исторической судьбы без бунта, таков уж этот народ. Нигилизм типически русское явление, и он родился на духовной почве православия, в нем есть переживание сильного элемента православной аскезы. Православие, и особенно русское православие, не имеет своего оправдания культуры, в нем был нигилистический элемент в отношении ко всему, что творит человек в этом мире. Католичество усвоило себе античный гуманизм. В православии сильнее всего была выражена эсхатологическая сторона христианства. И в русском нигилизме можно различать аскетические и эсхатологические элементы. Русский народ есть народ конца, а не середины исторического процесса. Гуманистическая же культура принадлежит середине исторического процесса. Русская литература XIX века, которая в общем словоупотреблении была самым большим проявлением русской культуры, не была культурой в западном классическом смысле слова, и она всегда переходила за пределы культуры. Великие русские писатели чувствовали конфликт между совершенной культурой и совершенной жизнью, и они стремились к совершенной, преображенной жизни. Они сознавали, хотя и не всегда удачно выражали это, что русская идея не есть идея культуры. Гоголь, Толстой, Достоевский в этом отношении очень показательны. Я говорил уже, что русская литература не была ренессансной, что она была проникнута болью о страданиях человека и народа и что русский гений хотел припасть к земле, к народной стихии. Но русским свойственно и обскурантское отрицание культуры, этот обскурантский элемент есть и в официальном православии. Русские, когда они делаются ультраправославными, легко впадают в обскурантизм. Но мнения о культуре людей некультурных или очень низкого уровня культуры не интересны, не ставят никакой проблемы. Интересно, когда проблему оправдания культуры ставят самые большие русские люди, которые творили русскую культуру, или ставит интеллигенция, умственно воспитанная на западном научном просвещении. Именно во вторую половину XIX века пробужденное русское сознание ставит вопрос о цене культуры так, как он, например, поставлен Лавровым (Миртовым) в «Исторических письмах», и даже прямо о грехе культуры. Русский нигилизм был нравственной рефлексией над культурой, созданной привилегированным слоем и для него лишь предназначенной. Нигилисты не были культурными скептиками, они были верующими людьми. Это было движение верующей юности. Когда нигилисты протестовали против морали, то они делали это во имя добра. Они избличали ложь идеальных начал, но делали это во имя любви к неприкрашенной правде. Они восставали против условной лжи цивилизации. Так и Достоевский, враг нигилистов, восставал против «высокого и прекрасного», порвал с «Шиллерами», с идеалистами 40-х годов. Разоблачение возвышенной лжи — один из существенных русских мотивов. Русская литература и мысль носила в значительной степени обличительный характер. Ненависть к условной жизни цивилизации привела к исканию

* См. О. Spengler. «Der Untergang des Abendlandes». Zweiter Band.

** См. о. Г. Флоровский: «Пути русского богословия».

правды в народной жизни. Отсюда опрощение, снятие с себя условных культурных оболочек, желание добраться до подлинного, правдивого ядра жизни. Это наиболее обнаруживается у Л. Толстого. В «природе» больше истины и правды, больше божественного, чем в «культуре». Нужно отметить, что русские задолго до Шпенглера делали различие между «культурой» и «цивилизацией» и они обличали «цивилизацию», даже когда оставались сторонниками «культуры». Это различие по существу, хотя и в другой терминологии, было у славянофилов, у Герцена, у К. Леонтьева и мн. др. Может быть, тут было влияние немецкого романтизма. Могут сказать, что русским легче было сомневаться в культуре и восставать против нее, потому что они менее были проникнуты традициями греко-римской культуры и от меньших богатств приходилось отказываться. Этот аргумент, связанный с тем, что в русском сознании и мысли XIX века было меньше связанности с тяжестью истории и традиции, ничего не доказывает. Именно это и привело к большей свободе русской мысли. Нельзя, впрочем, сказать, что в России не было никакой связи с Грецией, она существовала через греческую патристику, хотя и была прервана. Любопытно, что классическое образование в той форме, в какой его насаждал министр народного просвещения гр. Д. Толстой, носило явно реакционный характер, в то время как на Западе оно носило прогрессивный характер и поддерживало гуманистическую традицию. Естественным же наукам придавалось у нас освободительное значение.

2

Русский нигилизм есть радикальная форма русского просветительства. Это диалектический момент в развитии русской души и русского сознания. Русский нигилизм имеет мало общего с тем, что иногда называют нигилизмом на Западе. Нигилистом называют Ницше. Нигилистами можно назвать таких людей, как Морис Баррес.³⁵ Но такой нигилизм может быть связан с утонченностью и совсем не принадлежит эпохе просвещения. В русском нигилизме нет ничего утонченного, и он как раз подвергает сомнению всякую утонченную культуру и требует, чтобы она себя оправдала. Добролюбов, Чернышевский, Писарев — русские просветители. Они мало походили на западных просветителей, на Вольтера или Дидро, которые не объявляли бунта против мировой цивилизации и сами были порождением этой цивилизации. Очень интересен для понимания духовных истоков нигилизма дневник Добролюбова. Мальчик Добролюбов был очень аскетически настроен, формация его души была православно-христианская. Он видел грех даже в самых незначительных удовлетворениях своих желаний, например, если он съедал слишком много варенья. В нем было что-то суровое. Он теряет веру после смерти горячо любимой матери, его возмущает духовно низменный характер жизни православно-духовенства, из которого он вышел, он не может примирить веры в Бога и Промысел Божий с существованием зла и несправедливых страданий. Атеизм Добролюбова, как и вообще русский атеизм, родствен маркионизму по своим первоисточникам, но выражен в эпоху отрицательного просветительства.* У русских нигилистов было большое правдолюбие, отвращение к лжи и ко всяким прикрасам, ко всякой возвышенной риторике. Необыкновенно правдолюбив был Чернышевский. Мы видели это уже по его отношению к любви, требованию искренности и свободы чувств. Главой русского нигилизма считают Писарева, и его личность представлялась многим похожей на тургеневского Базарова. В действительности не было ничего подобного. Прежде всего, в отличие от Чернышевского, Добролюбова и др. нигилистов 60-х годов, он не был разночинец, он происходил из родового дворянства, он типичное дворянское дитя, маленький сынок.** Его воспитывали так, чтобы получился jeune homme correct et bien élevé.³⁸ Он был очень послушный ребенок, часто плакал. Искренность и правдивость его были так велики, что его называли «хрустальной коробочкой». Этот нигилист,

* См. мою книгу: «Психология русского нигилизма и атеизма».³⁶

** См. Е. Соловьев: «Писарев».³⁷

разрушитель эстетики, стал очень благовоспитанным молодым человеком, хорошо говорившим по-французски, безукоризненно элегантным, эстетом по своим вкусам. В нем было что-то мягкое, не было моральной суровости Добролюбова. Ничего похожего на Базарова за исключением увлечения естественными науками. Писарев хотел оголенной правды, правдивости прежде всего, ненавидел фразы и прикрашивания, не любил энтузиазма. Он принадлежит к реалистически настроенной эпохе 60-х годов, когда происходила борьба против поколения идеалистов 40-х годов, когда требовали полезного дела и не любили мечтательности. В другую эпоху он был бы иным и по-иному боролся бы за личность. Бурная реакция Писарева, природного эстета, против Пушкина, против эстетики была борьбой против поколения «идеалистов», против роскоши, которую позволяли себе привилегированные кучки культурных людей. Действительность выше искусства. Это тезис Чернышевского. Но действительность понимается тут иначе, чем понималась Белинским и Бакуниным в гегелианский период. Понятие «действительности» носит не консервативный, а революционный характер. Как типичный просветитель, Писарев думал, что просвещающий ум есть главное орудие изменения действительности. Он борется прежде всего за личность, за индивидуум, он ставит личную нравственную проблему. Характерно, что в ранней юности Писарев участвовал в христиански-аскетическом «Обществе мыслящих людей». Эта аскетическая закваска осталась в русском нигилизме. В 40-е годы был выработан идеал гармонически развитой личности. Идеал «мыслящего реалиста» 60-х годов, который проповедовал Писарев, был сужением идеала личности, умалением объема и глубины личности. С этим связано основное противоречие нигилизма в его борьбе за эмансипацию личности. Но закал личности сказался в способности нигилистов к жертве, в отказе этих утилитаристов и материалистов от всякого жизненного благополучия. Проповедь эгоизма у Писарева менее всего означала проповедь эгоизма, она означала протест против подавления индивидуума общим, была неосознанным и плохо философски обоснованным персонализмом. Писарев хочет бороться за индивидуальность, за право личности и тут у него есть что-то свое, оригинальное. Но философия его совсем не своя и не оригинальная. К социальной теме он не равнодушен, но она отступает на второй план по сравнению с борьбой за личность, за умственную эмансипацию. Но все это происходило в атмосфере умственного просветительства 60-х годов, т. е. под диктатурой естественных наук.

У нигилистов было подозрительное отношение к высокой культуре, но был культ науки, т. е. естественных наук, от которых ждали решения всех вопросов. Сами нигилисты не сделали никаких научных открытий. Они популяризировали естественнонаучную философию, т. е. в то время материалистическую философию.

Это было философски столь упадочное и жалкое время, когда считали серьезным аргументом против существования души тот факт, что при анатомировании трупов души не нашли. С большим основанием можно было бы сказать, что если бы нашли душу, то это был бы аргумент в пользу материализма. В вульгарном, философски полуграмотном материализме Бюхнера и Молешотта находили опору для освобождения человека и народа, в то время как освободить может лишь дух, материя же может лишь поработать. В области наук естественных в России были замечательные, первоклассные ученые, например Менделеев, но они не имеют отношения к нигилистам. Прохождение через идеологическое отношение к естественным наукам было моментом в судьбе интеллигенции, искавшей правду. И это связано было с тем, что наука духовная была превращена в орудие порабощения человека и народа. Такова человеческая судьба. Помешательство на естественных науках отчасти объяснялось научной отсталостью России, несмотря на существование отдельных замечательных ученых. В русском воинствующем рационализме и, особенно, материализме чувствовалась провинциальная отсталость и низкий уровень культуры. Историк умственного развития России Шапов, близкий идеям Писарева, считал идеалистическую философию и эстетику аристократическими и признавал демократическими естественные науки.* Такова была и мысль

* А. Шапов: «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа».

Писарева. Шапов думал, что русский народ — реалист, а не идеалист и имеет приращенную склонность к естествознанию и технике, к наукам, имеющим практически полезные результаты. Он только забыл моральный по преимуществу склад русского мышления и религиозное беспокойство русского народа, склонного постоянно ставить проблемы религиозного характера. Курьез в печальной истории русского просвещения, что министр народного просвещения кн. Ширинский-Шихматов, упразднивший в 50-е годы преподавание философии, рекламировал естественные науки, которые представлялись ему политически нейтральными, философские же науки представлялись источником вольномыслия. В 60-е годы положение меняется и источником вольномыслия признаются естественные науки, философия же источником реакции. Но и в том и в другом случае наука и философия не рассматривались по существу, а лишь как орудия. То же нужно сказать и относительно морали. Нигилизм обвиняли в отрицании морали, в аморализме. В действительности в русском аморализме, как уже было сказано, есть сильный моральный пафос, пафос негодования против царящего в мире зла и неправды, пафос, устремленный к лучшей жизни, в которой будет больше правды: в нигилизме сказался русский максимализм. В максимализме этом был неосознанный, выраженный в жалкой философии русский эсхатологизм, устремленность к концу, к конечному состоянию. Нигилистическое оголение, снятие обманчивых покровов есть принятие мира, лежащего во зле. Это принятие злого мира было в православном аскетизме и эсхатологизме, в русском расколе. Не нужно придавать слишком большого значения мыслительным формулировкам в сознании, все определяется на большей глубине. Но русский нигилизм грешил основным противоречием, которое особенно явственно видно у Писарева.

Писарев боролся за освобождение личности. Он проповедовал свободу личности и ее право на полноту жизни, он требовал, чтобы личность возвысилась над социальной средой, над традициями прошлого. Но откуда личность возьмет силы для такой борьбы? Писарев и нигилисты были материалистами, в морали они были утилитаристами. То же нужно сказать и о Чернышевском. Можно понять утверждение материализма и утилитаризма как орудий отрицания предрассудков прошлого и традиционных мировоззрений, которыми пользовались для порабощения личности. Этим только и можно объяснить увлечение такими примитивными и не выдерживающими никакой философской критики теориями. Но положительно, могут ли дать эти теории что-нибудь для защиты личности от порабощения природной и социальной средой, для достижения полноты жизни? Материализм есть крайняя форма детерминизма, определяемости человеческой личности внешней средой, он не видит внутри человеческой личности никакого начала, которое она могла бы противопоставить действию окружающей среды извне. Таким началом может быть лишь духовное начало, внутренняя опора свободы человека, начало, невыводимое извне, из природы и общества. Утилитарное обоснование морали, которое соблазнило нигилистов, совсем не благоприятно свободе личности и совсем не оправдывает стремления к полноте жизни, к возрастанию жизни в ширину и глубину. Польза есть принцип приспособления для охраны жизни и достижения благополучия. Но охрана жизни и благополучия может противоречить свободе и достоинству личности. Утилитаризм антиперсоналистичен. Утилитарист Д. С. Милль принужден был сказать, что лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей. И русские нигилисты менее всего хотели походить на довольных свиней. Лучше был принцип развития, который признавали нигилисты, личность реализуется в процессе развития, но развитие понималось в духе натуралистической эволюционной теории. Борец за личность Писарев отрицал творческую полноту личности, полноту ее духовной и даже душевной жизни, отрицал право на творчество в философии, в искусстве, в высшей духовной культуре. Он утверждал крайне суженное, обедненное сознание человека. Человек оказался обреченным исключительно на естественные науки, даже вместо романов предлагалось писать популярные статьи по естествознанию. Это означало обеднение личности и подавление ее свободы. Такова была обратная сторона русской борьбы за освобо-

ждение и за социальную правду. Результаты сказались на русской революции, на совершенных ею гонениях на дух. Но несправедливо было бы возлагать тут ответственность исключительно на нигилистов и на тех, которые за ними стояли. Также несправедливо возлагать ответственность за европейское безбожие и отпадение от христианства исключительно на французскую просветительную философию XVIII века. Тяжкая вина лежала и на историческом христианстве, в частности на православии. Воинствующее безбожие есть расплата за рабы идеи о Боге, за приспособление исторического христианства к господствующим силам. Атеизм может быть экзистенциальным диалектическим моментом в очищении идеи Бога, отрицание духа может быть очищением духа от служебной роли для господствующих интересов мира. Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь, и она играет не малую роль в истории. Нигилисты были людьми, соблазнившимися историческим христианством и исторической духовностью. Их философское мирозерцание было ложным по своим основам, но они были правдолюбивые люди. Нигилизм есть характерно русское явление.

3

В 70-е годы тема о культуре ставилась иначе, чем в нигилизме 60-х годов. Это была прежде всего тема о долге слоя, воспользовавшегося культурой, интеллигенции перед народом. Культура привилегированного слоя стала возможной благодаря поту и крови, пролитых трудовым народом. Этот долг должен быть уплачен. На такой постановке темы особенно настаивал в 70-е годы П. Лавров. Но вражды к культуре по существу у него не было. Гораздо более интересен и радикален Лев Толстой. Он — гениальный выразитель религиозно обоснованного нигилизма в отношении к культуре. В нем сознание вины относительно народа и покаяние достигли предельного выражения. Обыкновенно принято резко противопоставлять Л. Толстого-художника и Л. Толстого-мыслителя и проповедника и очень преувеличивать резкость происшедшего в нем поворота. Но основные толстовские мотивы и идеи можно уже найти в ранней повести «Казачи», в «Войне и мире» и «Анне Карениной». Там уже утверждалась правда первичной народной жизни и ложь цивилизации, ложь, на которой покоится жизнь нашего общества. Прелесть, обаяние толстовского художественного творчества связаны с тем, что он изображает двойную жизнь: с одной стороны, жизнь его героев в обществе с его условностями, в цивилизации с ее обязательной ложью, с другой стороны, то, что думают его герои, когда они не стоят перед обществом, когда они поставлены перед тайной бытия, перед Богом и природой. Это есть различие между князем Андреем в петербургском салоне Анны Павловны и кн. Андреем перед звездным небом, когда он лежит на поле раненый. Повсюду и всегда Толстой изображает правду жизни, близкую к природе, правду труда, глубину рождения и смерти по сравнению с лживостью и неподлинностью так называемой «исторической» жизни в цивилизации. Правда для него в природно-бессознательном, ложь в цивилизованно-сознательном. Мы увидим, что тут было противоречие у Толстого, ибо религию свою он хотел основать на разуме. Левин все время восстает против неправды жизни цивилизованного общества и уходит к деревне, к природе, к народу и труду. Не раз указывали на близость толстовских идей к Ж.-Ж. Руссо. Толстой любил Руссо, но не следует преувеличивать влияние на него Руссо. Толстой глубже и радикальнее. У него было русское сознание своей вины, которой у Руссо не было. Он менее всего считал свою природу доброй. У него была натура полная страстей и любви к жизни, вместе с тем была склонность к аскетизму и всегда оставалось что-то от православия. Руссо не знал такого напряженного искания смысла жизни и такого мучительного сознания своей греховности и виновности, такого искания совершенства жизни. Руссо требовал возврата от парижских салонов XVIII века к природе. Но у него не было толстовской и очень русской любви к простоте, требования очищения. Огромная разница еще в том, что, в то время как Руссо не остается в правде природной жизни и требует социального контракта, после которого создается

очень деспотическое государство, отрицающее свободу совести, Толстой не хочет никакого социального контракта и хочет остаться в правде божественной природы, что и есть исполнение закона Бога. Но и Руссо, и Толстой смешивают падшую природу, в которой царит беспощадная борьба за существование, эгоизм, насилие и жестокость, с преображенной природой, с природой нуменальной или райской. Оба стремятся к райской жизни. Оба критикуют прогресс и видят в нем движение, обратное движению к раю, к Царству Божьему. Интересно сравнить мучения Иова с мучениями Л. Толстого, который был близок к самоубийству. Крик Иова есть крик страдальца, у которого все отнято в жизни, который стал несчастнейшим из людей. Крик Л. Толстого есть крик страдальца, который поставлен в благоприятное положение, у которого есть все, но который не может вынести своего привилегированного положения. Люди стремятся к славе, к богатству, к знатности, к семейному счастью, видят во всем этом благо жизни. Толстой все это имеет и стремится от всего этого отказаться, хочет опроститься и слиться с трудовым народом. В мучениях над этой темой он был очень русский. Он хочет конечного, предельного, совершенного состояния. Религиозная драма самого Л. Толстого была бесконечно глубже его религиозно-философских идей. Вл. Соловьев, который не любил Толстого, сказал, что его религиозная философия есть лишь феноменология его великого духа. Толстой был менее всего националистом, но он видел великую правду в русском народе. Он верил, что «начнется переворот не где-нибудь, а именно в России, потому что нигде, как в русском народе, не удержалось в такой силе и чистоте христианское мировоззрение».³⁹ «Русский народ всегда иначе относился к власти, чем европейские народы, — он всегда смотрел на власть не как на благо, а как на зло. . .⁴⁰ Разрешить земельный вопрос упразднением земельной собственности и указать другим народам путь разумной, свободной и счастливой жизни — вне промышленного, фабричного, капиталистического насилия и рабства — вот историческое призвание русского народа».⁴¹ И Толстой, и Достоевский по-разному, но оба отрицают европейский мир, цивилизованный и буржуазный, и они — предшественники революции. Но революция их не признала, как и они бы ее не признали. Толстой, быть может, наиболее близок к православию в сознании неоправданности творчества человека и греха творчества. Но это есть и наибольшая опасность толстовства. Он прошел через отрицание своего собственного великого творчества, но в этом мы менее всего можем следовать за ним. Он стремился не к совершенству формы, а к жизненной мудрости. Он почитал Конфуция, Будду, Соломона, Сократа, к мудрецам причислял и Иисуса Христа, но мудрецы не были для него культурой, а были учителями жизни, и сам он хотел быть учителем жизни. Мудрость он соединял с простотой, культура же сложна. И, поистине, все великое просто. Такой продукт усложненной культуры, как Пруст, соединял в себе утонченность с простотой. Поэтому его и можно назвать гениальным писателем, единственным гениальным писателем Франции.

Полярно противоположным полюсом толстовства и народничества является отношение к культуре К. Леонтьева. В нем русский дворянский слой как бы защищает свое право на привилегированную роль, не хочет покаяния в социальном грехе. И паразитично, что в то время, как нехристиане, и во всяком случае неправославные христиане, каялись и мучились, православные христиане не хотят каяться. Это интересно для исторической судьбы христианства. К. Леонтьев, принявший тайный постриг в монашество, не сомневается в оправданности цветущей культуры, хотя бы купленной ценой великих страданий, страшных неравенств и несправедливостей. Он говорит, что все страдания народа оправданы, если благодаря им сделалось возможным появление Пушкина. Сам Пушкин был в этом менее уверен, если вспомнить его стихотворение «Деревня». К. Леонтьеву чужда русская болезнь совести, примат морального критерия. Эстетический критерий был для него универсальным, и он совпадал с биологическим критерием. Он был предшественником современных течений, утверждающих волю к могуществу как пафос жизни. Он одно время верил, что Россия может явить совершенно оригинальную культуру и стать в главе человечества. Красота и цветение культуры были

для него связаны с разнообразием и неравенством. Уравнительный процесс губит культуру и влечет к уродству. При всей ложности его моральных установок ему удалось что-то существенное открыть в роковом процессе понижения и упадка культур. У К. Леонтьева было большое бесстрашие мысли, и он решился высказать то, что другие скрывают и прикрывают. Он один решается признаться, что он не хочет правды и справедливости в социальной жизни, потому что она означает гибель красоты жизни. Он до последней крайности обострил противоречие исторического христианства, конфликт евангельских заветов с языческим отношением к жизни в мире, к жизни обществ. Он выходил из затруднения тем, что устанавливал крайний дуализм морали личной и морали общественной, монашескую аскезу для одной сферы и силу и красоту для другой сферы. Но русская идея не есть идея цветущей культуры и могущественного царства, русская идея есть эсхатологическая идея Царства Божьего. Это не есть гуманистическая идея в европейском смысле слова. Но русский народ подстерегают опасности, с одной стороны, обскурантского отрицания культуры вместо эсхатологической критики ее, а с другой стороны, механической, коллективистической цивилизации. Только культура конца может преодолеть обе опасности. Наиболее близок к этому был Н. Федоров, который тоже обличал ложь культуры и хотел полного изменения мира, достижения родства и братства не только социального, но и космического.

Глава VII

Тема о власти. Анархизм. Русское отношение к власти. Русская вольница. Раскол. Сektантство. Отношение интеллигенции к власти: у либералов, у славянофилов. Анархизм. Бакунин. Страсть к разрушению есть творческая страсть. Кропоткин. Религиозный анархизм Л. Толстого. Учение о непротивлении. Анархия и анархизм. Анархический элемент у Достоевского. Легенда о Великом Инквизиторе.

1

Анархизм есть главным образом создание русских. Интересно, что анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русского дворянства. Таков главный и самый крайний анархист Бакунин, таков князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л. Толстой. Тема о власти и об оправданности государства — очень русская тема. У русских особенное отношение к власти. К. Леонтьев был прав, когда говорил, что русская государственность с сильной властью была создана благодаря татарскому и немецкому элементу. По его мнению, русский народ, и вообще славянство, ничего, кроме анархии, создать не могли бы. Это суждение преувеличено, у русского народа есть бóльшая способность к организации, чем обыкновенно думают, способность к колонизации была, во всяком случае, бóльшая, чем у немцев, которым мешает воля к могуществу и склонность к насилию. Но верно, что русские не любят государства и не склонны считать его своим, они или бунтуют против государства или покорно несут его гнет. Зло и грех всякой власти русские чувствуют сильнее, чем западные люди. Но может поражать противоречие между русской анархичностью и любовью к вольности и русской покорностью государству, согласием народа служить образованию огромной империи. Я говорил уже, что славянофильская концепция русской истории не объясняет образования огромной империи. Возрастание государственного могущества, высасывающего все соки из народа, имело обратной стороной русскую вольницу, уход из государства, физический или духовный. Русский раскол — основное явление русской истории. На почве раскола образовались анархические течения. То же было в русском сектантстве. Уход из государства оправдывался тем, что в нем не было правды, торжествовал не Христос, а антихрист. Государство, царство кесаря, противоположно Царству Божьему, Царству Христову.

Христиане не имеют здесь своего града, они взыскают града грядущего. Это очень русская идея. Но через русскую историю проходит дуализм, раскол. Официально государственное православие все время религиозно обосновывает и укрепляет самодержавную монархию и государственную мощь. Лишь славянофилы пытались соединить идею самодержавного монарха с идеей русского принципиального анархизма. Но эта попытка не удалась, у их детей и внуков победила монархическая государственность против анархической правды. Русская интеллигенция с конца XVIII века, с Радищева, задыхалась в самодержавной государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь XIX век интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный, безвластный идеал, создает крайние формы анархической идеологии. Даже революционно-социалистическое направление, которое не было анархическим, не представляло себе после торжества революции взятия власти в свои руки и организации нового государства. Единственное исключение представлял Ткачев. Всегда было противоположение: «мы» — интеллигенция, общество, народ, освободительное движение, и «они» — государство, империя, власть. Такого резкого противоположения не знала Зап. Европа. Русская литература XIX века терпеть не могла империи, в ней силен был обличительный элемент. Русская литература, как и русская культура вообще, соответствовала огромности России, она могла возникнуть лишь в огромной стране, с необъятными горизонтами, но она не связывала это с империей, с государственной властью. Была необъятная русская земля, была огромная, могущественная стихия русского народа. Но огромное государство, империя, представлялось изменой земле и народу, искажением русской идеи. Своеобразный анархический элемент можно открыть во всех социальных течениях русского XIX века, и религиозных, и антирелигиозных, у великих русских писателей, в самом складе русского характера, совсем не устроительном. Обратной стороной русского странничества, всегда в сущности анархического, русской любви к вольности является русское мещанство, которое сказалось в нашем купеческом, чиновничьем и мещанском быте. Это все та же поляризованность русской души. У народа анархического по основной своей устремленности было государство с чудовищно развитой и всевластной бюрократией, окружавшей самодержавного царя и отделявшей его от народа. Такова особенность русской судьбы. Характерно, что в России никогда не было либеральной идеологии, которая бы вдохновляла и имела влияние. Деятели 60-х годов, которые производили реформы, могут быть названы либералами, но это не было связано с определенной идеологией, с целым мирозерцанием. Меня сейчас интересует не история России XIX века, а история русской мысли XIX века, в которой отразилась русская идея. Русский пафос свободы был скорее связан с принципиальным анархизмом, чем с либерализмом. Единственным философом либерализма можно было бы назвать Б. Чичерина,⁴² да и он скорее был либеральным консерватором или консервативным либералом, чем чистым либералом. Сильный ум, но ум по преимуществу распорядительный, как про него сказал Вл. Соловьев, правый гегелианец, сухой рационалист, он имел мало влияния. Он был ненавистником социализма, который соответствовал русским исканиям правды. Это был редкий в России государственник, очень отличный в этом и от славянофилов и от левых западников. Для него государство есть ценность высшая, чем человеческая личность. Его можно было бы назвать правым западником. Он принимает империю, но хочет, чтобы она была культурной и впитала в себя либеральные правовые элементы. По Чичерину можно изучать дух, противоположный русской идее, как она выразилась в преобладающих течениях русской мысли XIX века.

2

Было уже сказано, что в славянофильской идеологии был сильный анархический элемент. Славянофилы не любили государства и власти, они видели зло во всякой власти. Очень русской была у них та идея, что складу души русского народа чужд культ

власти и славы, которая достигается государственным могуществом. Из славянофилов наиболее анархистом был К. Аксаков. «Государство, как принцип, — зло»,⁴³ «государство по своей идее — ложь»,⁴⁴ писал он. В другом месте он пишет: «Православное дело и совершаться должно нравственным путем, без помощи внешней, принудительной силы. Вполне достойный путь один для человека — путь свободного убеждения; тот путь, который открыл нам Божественный Спаситель и которым шли Его Апостолы».⁴⁵ Для него «Запад — торжество внешнего закона».⁴⁶ В основании государства русского: добровольность, свобода и мир. В исторической действительности ничего подобного не было, это была романтически-утопичная прикраса. Но реально тут то, что К. Аксаков хотел добровольности, свободы и мира. Хомяков говорит, что Запад не понимает несовместимости государства и христианства. Он, в сущности, не признавал возможности существования христианского государства. И вместе с тем славянофилы были сторонниками самодержавной монархии. Как согласовать это? Монархизм славянофилов по своему обоснованию и по своему внутреннему пафосу был анархический, происходил от отвращения к власти. В понимании источников власти Хомяков был демократом, сторонником суверенитета народа.* Изначально полнота власти принадлежит народу, но народ власти не любит, от власти отказывается, избирает царя и поручает ему нести бремя власти. Хомяков очень дорожит тем, что царь избирается народом. У него, как и вообще у славянофилов, совсем не было религиозного обоснования самодержавной монархии, не было мистики самодержавия. Царь царствует не в силу божественного права, а в силу народного избрания, изъявления воли народа. Славянофильское обоснование монархии очень своеобразно. Самодержавная монархия, основанная на народном избрании и народном доверии, есть минимум государства, минимум власти, так, по крайней мере, должно быть. Идея царя не государственная, а народная. Она ничего общего не должна иметь с империализмом, и славянофилы резко противопоставляют свое самодержавие западному абсолютизму. Государственная власть есть зло и грязь. Власть принадлежит народу, но народ отказывается от власти и возлагает полноту власти на царя. Лучше, чтобы один человек был запачкан властью, чем весь народ. Власть не право, а тягота, бремя. Никто не имеет права властвовать, но есть один человек, который обязан нести тяжелое бремя власти. Юридических гарантий не нужно, они увлекли бы народ в атмосферу властвования, в политику, всегда злую. Народу нужна лишь свобода духа, свобода думы, совести, слова. Славянофилы решительно противопоставляют земство, общество государству. Славянофилы были уверены, что русский народ не любит власти и государствования и не хочет этим заниматься, хочет остаться в свободе духа. В действительности русское самодержавие, особенно самодержавие Николая I, было абсолютизмом и империализмом, которых славянофилы не хотели, было чудовищным развитием всемогущей бюрократии, которую славянофилы терпеть не могли. Своей анархической идеологией монархии, которая была лишь утопией, славянофилы прикрывали свое свободолюбие и свои симпатии к идеалу безвластия. В противоположность славянофилам, Герцен ничего не прикрывал, не пытался согласовать несогласимое. У него анархическая, безгосударственная тенденция явственна. К. Леонтьев в своем отношении к государству — антипод славянофилов. Он признает, что у русского народа есть склонность к анархии, но считает это великим злом. Он говорит, что русская государственность есть создание византийских начал и элемента татарского и немецкого. Он тоже совершенно не разделяет патриархально-семейственной идеологии славянофилов и думает, что в России государство сильнее семьи. К. Леонтьев гораздо вернее понимал действительность, чем славянофилы, имел более острый взгляд, но славянофилы безмерно выше и правее его по своим нравственным оценкам и по своему идеалу. Но обратимся к настоящему русскому анархизму.

* См. мою книгу «А. С. Хомяков».

3

Бакунин от гегелевского идеализма переходит к философии действия, к революционному анархизму в наиболее крайних формах. Он — характерное русское явление, русский барин, объявивший бунт. Мировую известность он приобрел главным образом на Западе. Во время революционного восстания в Дрездене он предлагает выставить впереди борцов-революционеров Мадонну Рафаэля, в уверенности, что войска не решатся в нее стрелять. Анархизм Бакунина есть также славяно-русский мессианизм. В нем был сильный славянофильский элемент. Свет для него придет с Востока. Из России пойдет мировой пожар, который охватит мир. Что-то от Бакунина войдет в коммунистическую революцию, несмотря на вражду его к марксизму. Бакунин думал, что славяне сами никогда государства не создали бы, государство создают только завоевательные народы. Славяне жили братствами и общинами. Он очень не любил немцев, и его главная книга носит заглавие: «Кнута-германская империя». Одно время в Париже он был близок с Марксом, но потом резко с ним расходится и ведет борьбу из-за I Интернационала, в которой победил Маркс. Для Бакунина Маркс был государственным, пангерманистом и якобинцем. А он очень не любил якобинцев. Анархисты хотят революции через народ, якобинцы — через государство. Как и все русские анархисты, он — противник демократии. Он совершенно отрицательно относился ко всеобщему избирательному праву. По его мнению, правительственный деспотизм наиболее силен, когда опирается на мнимое представительство народа. Он также очень враждебно относился к тому, чтобы допустить управление жизни наукой и учеными. Социализм марксистский есть социализм ученый. Этому Бакунин противопоставляет свой революционный дионисизм. Он делает жуткое предсказание: если какой-нибудь народ попытается осуществить в своей стране марксизм, то это будет самая страшная тирания, какую только видел мир. В противоположность марксизму он утверждает свою веру в стихийность народа, и прежде всего русского народа. Народ не нужно готовить к революции путем пропаганды, его нужно только взбунтовать. Своими духовными предшественниками он признавал Стеньку Разина и Пугачева. Бакунину принадлежат знаменательные слова: *страсть к разрушению есть творческая страсть*.⁴⁷ Нужно зажечь мировой пожар, нужно разрушить старый мир. На пепелище старого мира, на его развалинах возникает сам собой новый, лучший мир. Анархизм Бакунина не индивидуалистический, как у Макса Штирнера,⁴⁸ а коллективистический. Но коллективизм, или коммунизм, не будет делом организации, он возникает из свободы, которая наступит после разрушения старого мира. Сам собой возникает вольный братский союз производительных ассоциаций. Анархизм Бакунина есть крайняя форма народничества. Подобно славянофилам он верит в правду, скрытую в народной стихии. Но он хочет взбунтовать самые низшие слои трудового народа и готов присоединить к ним элементы разбойничьи, преступные. Он прежде всего верит в стихию, а не в сознание. У Бакунина есть своеобразная антропология. Человек стал человеком через срывание плодов с древа познания добра и зла. Есть три признака человеческого развития: 1) человеческая животность, 2) мысль, 3) бунт. Бунт есть естественный признак поднявшегося человека. Бунту придается почти мистическое значение. Бакунин был также воинствующим атеистом, он изложил это в книжке «Бог и государство».⁴⁹ Для него государство опирается главным образом на идею Бога. Идея Бога — отречение от человеческого разума, от справедливости и свободы. «Если Бог есть, человек — раб».⁵⁰ Бог мстителен, все религии жестоки. В воинствующем безбожии Бакунин идет дальше коммунистов. «Одна лишь социальная революция, — говорит он, — будет обладать силой закрыть в одно и то же время и все кабаки и все церкви».⁵¹ Он совсем не способен ставить вопрос о Боге по существу, отрешаясь от тех социальных влияний, которые исказили человеческую идею о Боге.

* См. А. Harnack — «Marcion: Das Evangelium vom Fremden Gott». Гарнак утверждает, что у русских есть склонность к маркионизму.⁵²

Он видел и знал только искажения. Для него идея Бога очень напоминала злого Бога — творца мира Маркиона.* Искреннее безбожие всегда видит лишь такого Бога. И в этом виноваты не только безбожники, но еще более те, которые пользовались верой в Бога для низших и корыстных земных целей, для поддержания злых форм государства. Бакунин был интересной, почти фантастической русской фигурой. И при всей ложности основ его мирозерцания, он часто приближается к подлинной русской идее. Главная слабость его мировоззрения — в отсутствии сколько-нибудь продуманной идеи личности. Он объявляет бунт против государства и всякой власти, но это бунт не во имя человеческой личности. Личность остается подчиненной коллективу, и она тонет в народной стихии. Герцен стоял выше по своему чувству человеческой личности. Анархизм Бакунина противоречив в том отношении, что он не отрицает последовательно насилия и власти над человеком. Анархическая революция совершается путем кровавого насилия, и она предполагает, хотя и неорганизованную, власть взбунтовавшегося народа над личностью. Анархизм Кропоткина был несколько иного типа. Он менее крайний, более идиллический, он обосновывается натуралистически и предполагает очень оптимистический взгляд на природу и на человека. Кропоткин верит в естественную склонность к кооперации. Метафизическое чувство зла отсутствовало у анархистов. Анархический элемент был во всем русском народничестве. Но в русском революционном движении анархисты, в собственном смысле, играли второстепенную роль. Анархизм нужно оценивать иначе, как русское отвержение соблазна царства этого мира. В этом сходятся К. Аксаков и Бакунин. Но в сознании это принимало формы, не выдерживающие критики и часто нелепые.

4

Религиозный анархизм Льва Толстого есть самая последовательная и радикальная форма анархизма, т. е. отрицание начала власти и насилия. Совершенно ошибочно считать более радикальным тот анархизм, который требует насилия для своего осуществления, как, например, анархизм Бакунина. Также ошибочно считать наиболее революционным то направление, которое проливает наибольшее количество крови. Настоящая революционность требует духовного изменения первооснов жизни. Принято считать Л. Толстого рационалистом. Это неверно не только относительно Толстого как художника, но и как мыслителя. Очень легко раскрыть в толстовской религиозной философии наивное поклонение разумному. Он смешивает разум-мудрость, разум божественный, с разумом просветителей, с разумом Вольтера, с рассудком. Но именно Толстой потребовал безумия в жизни, именно он не хотел допустить никакого компромисса между Богом и миром, именно он предложил рискнуть всем. Толстой требовал абсолютного сходства средств с целями, в то время как историческая жизнь основана на абсолютном несходстве средств с целями. Вл. Соловьев, при всем своем мистицизме, строил очень разумные, рассудительные, безопасные планы теократического устройства человеческой жизни, с государями, с войной, с собственностью, со всем, что мир признает благом. Очень легко критиковать толстовское учение о непротивлении злу насилием, легко показать, что при этом восторжествует зло и злые. Но обыкновенно не понимают самой глубины поставленной проблемы. Толстой противопоставляет закон мира и закон Бога. Он предлагает рискнуть миром для исполнения закона Бога. Христиане обычно строят и организуют свою практическую жизнь на всякий случай так, чтобы это было выгодно и целесообразно и дела шли хорошо независимо от того, есть ли Бог или нет Бога. Нет почти никакой разницы в практической жизни, личной и общественной, между человеком, верующим в Бога и не верующим в Бога. Никто, за исключением отдельных святых или чудаков, даже не пробует строить свою жизнь на евангельских началах, и все практически уверены, что это привело бы к гибели жизни, и личной, и общественной, хотя это не мешает им теоретически признавать абсолютное значение за евангельскими началами, но значение внежизненное по своей абсолютности. Есть Бог или нет Бога, а дела мира устраиваются по закону мира, а не по закону

Бога. Вот с этим Л. Толстой не мог примириться, и это делает ему великую честь, хотя бы его религиозная философия была слабой и его учение практически неосуществимым. Смысл толстовского непротivления насилиям был более глубоким, чем обычно думают. Если человек перестанет противиться злу насилием, т. е. перестанет следовать закону этого мира, то будет непосредственное вмешательство Бога, то вступит в свои права божественная природа. Добро побеждает лишь при условии действия самого Божества. Толстовское учение есть форма квиетизма, перенесенного на общественную и историческую жизнь. При всей значительности толстовской темы, ошибка была в том, что Толстой как будто не интересовался теми, над кем совершается насилие и кого нужно защитить от насилия. Он прав, что насилием нельзя побороть зла и нельзя осуществить добра, но он не признает, что насилию нужно положить внешнюю границу. Есть насилие порабащующее, как есть насилие освобождающее. Моральный максимализм Толстого не видит, что добро принуждено действовать в темной, злой мировой среде и потому действие его не прямолинейное. Но он видит, что добро заражается злом в борьбе и начинает пользоваться злыми средствами. Он хотел до конца принять в сердце нагорную проповедь. Случай с Толстым наводит на очень важную мысль, что истина опасна и не дает гарантий и что вся общественная жизнь людей основана на полезной лжи. Есть прагматизм лжи. Это очень русская тема, чуждая более социализированным народам западной цивилизации. Очень ошибочно отождествлять анархизм с анархией. Анархизм противоположен не порядку, ладу, гармонии, а власти, насилию, царству кесаря. Анархия есть хаос и дисгармония, т. е. уродство. Анархизм есть идеал свободной, изнутри определяемой гармонии и лада, т. е. победа Царства Божьего над царством кесаря. За насильническим, деспотическим государством обычно скрыта внутренняя анархия и дисгармония. Принципиально духовно обоснованный анархизм соединим с признанием функционального значения государства, с необходимостью государственных функций, но не соединим с верховенством государства, с его абсолютизацией, с его посягательством на духовную свободу человека, с его волей к могуществу. Толстой справедливо считал, что преступление было условием жизни государства, как она слагалась в истории. Он был потрясен смертной казнью, как и Достоевский, как и Тургенев, как и Вл. Соловьев, как и все лучшие русские люди. Западные люди не потрясены, и казнь не вызывает в них сомнения, они даже видят в ней порождение социального инстинкта. Мы же, слава Богу, не были так социализированы. У русских было даже сомнение в справедливости наказаний вообще. Достоевский защищал наказание только потому, что видел в самом преступнике потребность наказания для ослабления муки совести, а не по причинам социальной полезности. Толстой отрицал совсем суд и наказание, основываясь на Евангелии.

Внешне консервативные политические взгляды, высказанные Достоевским в «Дневнике писателя», мешали разглядеть его существенный анархизм. Монархизм Достоевского принадлежит к столь же анархическому типу, как и монархизм славянофилов. Теократическая утопия, раскрывающаяся в «Братьях Карамазовых», совершенно внесударственная, она должна преодолеть государство, в ней государство должно окончательно уступить место Церкви, в Церкви должно раскрыться царство, Царство Божье, а не царство кесаря. Это есть апокалиптическое ожидание. Теократия Достоевского противоположна «буржуазной» цивилизации, противоположна всякому государству, в ней обличается неправда внешнего закона (очень русский мотив, который был даже у К. Леонтьева), в нее входит русский христианский анархизм и русский христианский социализм (Достоевский прямо говорит о православном социализме). Государство заменяется Церковью и исчезает. «От востока земля сия воссияет»,⁵³ — говорит отец Паисий. «Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков». Настроенность явно эсхатологическая. Но настоящее религиозное и метафизическое обоснование анархизма дано в «Легенде о Великом Инквизиторе». Анархический характер легенды не был достаточно замечен, она ввела многих в заблуждение, например Победоносцева, которому она очень понравилась. Очевидно, сбилось с толку католическое обличье легенды. В действительности

«Легенда о Великом Инквизиторе» наносит страшные удары всякому авторитету и всякой власти, она бьет по царству кесаря не только в католичестве, но и в православии и во всякой религии, так же как в коммунизме и социализме. Религиозный анархизм у Достоевского носит особый характер и имеет иное обоснование, чем у Л. Толстого, и идет в большую глубину, для него проблема свободы духа имеет центральное значение, которого она не имеет у Л. Толстого. Но Толстой более свободен от внешнего налета традиционных идей, в нем меньше смешанности. Очень оригинально у Достоевского, что свобода для него не право человека, а обязанность, долг; свобода не легкость, а тяжесть. Я формулировал эту тему так, что не человек требует от Бога свободы, а Бог требует от человека свободы и в этой свободе видит достоинство богоподобия человека. Поэтому Великий Инквизитор упрекает Христа в том, что Он поступал как бы не любя человека, возложив на него бремя свободы. Сам Великий Инквизитор хочет дать миллиону миллионов людей счастье слабосильных младенцев, сняв с них непосильное бремя свободы, лишив их свободы духа.* Вся легенда построена на принятии или отвержении трех искушений Христа в пустыне. Великий Инквизитор принимает все три искушения, их принимает католичество, как принимает всякая авторитарная религия, всякий империализм и атеистический социализм и коммунизм. Религиозный анархизм обосновывается на отвержении Христом искушения царством мира сего. Для Достоевского принудительное устройство царства земного есть римская идея, которую наследует и атеистический социализм. Он противопоставляет римской идее, основанной на принуждении, русскую идею, основанную на свободе духа, он обличает ложные теократии во имя истинной свободной теократии (выражение Вл. Соловьева). Ложная теократия и ее обратное безбожное подобие и есть то, что сейчас называют тоталитарным строем, тоталитарным государством. Отрицание свободы духа для Достоевского есть соблазн антихриста. Авторитарность есть антихристово начало. Это есть самое крайнее отвержение авторитета и принуждения, какое знает история христианства, и Достоевский выходит тут за пределы исторического православия и исторического христианства вообще, переходит к эсхатологическому христианству, к христианству Духа, раскрывает профетическую сторону христианства. Компромиссное, оппортунистическое, приспособляющееся отношение к государству, к царству кесаря в историческом христианстве обычно оправдывалось тем, что сказано воздавать кесарево кесарю, а Божье Богу. Но принципиальное отношение к царству кесаря в Евангелии определяется отвержением искушения царством этого мира. Кесарь совсем не есть нейтральное лицо, это — князь этого мира, т. е. начало, обратное Христу, антихристово. В истории христианства постоянно воздавалось Божье кесарю, это совершалось всякий раз, когда в духовной жизни утверждался принцип авторитета и власти, когда совершалось принуждение и насилие. Достоевский как будто сам недостаточно понимал анархические выводы из легенды. Таково было дерзновение русской мысли XIX века. Уже в конце века и в начале нового века странный мыслитель Н. Федоров, русский из русских, тоже будет обосновывать своеобразный анархизм, враждебный государству, соединенный, как и у славянофилов, с патриархальной монархией, которая не есть государство, и раскроет самую грандиозную и самую радикальную утопию, какую знает история человеческой мысли. Но в нем мысль окончательно переходит в эсхатологическую сферу, чему будет посвящена отдельная глава. Анархизм в русских формах остается темой русского сознания и русских исканий.

* См. мою книгу «Мирозерцание Достоевского», в основу которой положено истолкование «Легенды о Великом Инквизиторе».

Примечания

¹ Бердяев ссылается на издание: *Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. Zweiter Band. München, [1923].* В третьей главе II тома Шпенглер утверждал, что России свойственна «истинно апокалиптическая ненависть», направленная против Европы и «против античной культуры в целом» (*Spengler O. Der Untergang des Abendlandes. München, 1972. Bd. 2. S. 790*).

² Определение, данное Н. К. Михайловским; так называется и большая статья критика о Достоевском. Впервые о «жестокости таланта» как главенствующей черте писателя Михайловский сказал во II главе «Записок современника».

³ «Об упадке средневекового мирозерцания» — реферат, прочитанный В. С. Соловьевым на заседании Московского психологического общества 19 октября 1891 года; впервые был опубликован в 1892 году. Реферат вызвал ожесточенную полемику вначале в Обществе, а затем и на страницах печати. К. Н. Леонтьеву, в то время жившему в Сергиевом Посаде, содержание реферата было передано во всех подробностях вскоре после заседания. Свое негодование, принявшее самые резкие формы, он высказал в письмах к А. А. Александрову 23 и 31 октября 1891 года, где не шутя предлагал «изгнать Соловьева из пределов Империи» (*Александров А. А. I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 125, 127*).

⁴ Шелер Макс (1874—1928) — немецкий философ, представитель феноменологии и философской антропологии. Бердяев ссылается на французский перевод его работы: *Scheler M. L'homme du ressentiment. Traduction P. J. de Menasse. Paris, 1933.*

⁵ Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве архимандрит Феодор) (1824—1871) — богослов, духовный писатель, публицист, автор многочисленных статей, составивших книги «О православии в отношении к современности» (1860), «О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской» (1865). В. В. Зеньковский с именем Бухарева связывал «самую глубокую и творческую постановку вопроса о „православной культуре“» (*Зеньковский В. В. История русской философии. Париж, 1948. Т. 1. С. 321*).

⁶ Монофизитство — христологическая ересь, основанная константинопольским архимандритом Евтихием и осужденная Церковью на Халкидонском соборе (451 год). Сущность ее состоит в утверждении, что Христос, будучи рожден из двух природ, не пребывает в них обеих, что человеческая природа, воспринятая Христом, остается принадлежностью Его божества, утрачивая собственную действительность.

⁷ См.: *Розанов В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением двух этюдов о Гоголе. 3-е изд. СПб., 1906. С. 49—50.

⁸ Гобино Жозеф Артур де (1816—1882) —

французский социолог, писатель, один из основоположников антропологической школы в социологии.

⁹ Бердяев имеет в виду «Экономическо-философские рукописи 1844 года».

¹⁰ Григорий Нисский (ок. 335—ок. 394) — один из Отцов и учителей восточной церкви, епископ Ниссы, богослов и философ, принадлежавший к каппадокийскому кружку. Бердяев характеризует антропологию Григория Нисского по его сочинениям «Об устройении человека», «О душе и воскресении, или Макриния».

¹¹ Бальтазар Ханс-Урс фон (родился в 1905 году в Швейцарии) — католический теолог. Бердяев ссылается на издание: *Balthasar H. von. Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse. Paris, 1942.*

¹² Несмелов Виктор Иванович (1863—1920, по другим данным — 1937) — богослов, духовный писатель, философ, профессор Казанской духовной академии. Говоря о его антропологии, Бердяев имеет в виду прежде всего книгу Несмелова «Наука о человеке» (Т. 1: Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. 2-е изд. Казань, 1905; Т. 2: Метафизика жизни и христианское откровение. 2-е изд. Казань, 1906).

¹³ Федоров Николай Федорович (1828—1903) — религиозный мыслитель; в его программе «гуманистического активизма» (Г. Флоровский) главную роль играет воля к воскрешению отцов, ведущая к преодолению смерти и всеобщему спасению.

¹⁴ Спешнев Николай Александрович (1821—1882) — один из первых русских представителей утопического коммунизма; за границей встречался с Марксом, изучал историю и формы деятельности тайных обществ; в кружке петрашевцев был инициатором перехода к революционному действию, целью которого было восстание и установление республики.

¹⁵ Сазонов Николай Иванович (1815—1862) — участник кружка Герцена—Огарева, впоследствии эмигрант; публицист. Он действительно тяготел к Марксу (что видно из его писем к «дорогому учителю» в 1849—50 годах), переводил на французский язык «Манифест» и предлагал его автору совместно издавать журнал.

¹⁶ См.: *Пажитнов К. А.* Развитие социалистических идей в России. Харьков, 1913. Т. 1; *Сакулин П. Н.* Русская литература и социализм. [М.], 1922. Ч. 1.

¹⁷ Цитата из письма Белинского к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года.

¹⁸ Цитата из письма Белинского к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года.

¹⁹ Цитируется написанное 22 сентября 1851 года письмо А. И. Герцена к французскому историку и публицисту Ж. Мишле, известное под заглавием «Le peuple Russe et le socialisme» («Русский народ и социализм»).

²⁰ См.: *Богданович Т. А.* Любовь у людей шестидесятых годов. Л., 1929.

²¹ Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский мыслитель, экономист. В его жизни огромную роль сыграла любовь к миссис Тэйлор, на которой он смог жениться только после двадцатилетнего знакомства. Тэйлор оказала немалое влияние на его творчество, особенно там, где идеи Милля получают социалистическую окраску. Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский писатель. Английская романистка Дж. Элиот (настоящее имя — Мэри-Анна Эванс) была его подругой жизни.

²² Это суждение Чернышевского о Герцене фигурировало в рассказе Г. Е. Благосветлова, переданном московским литератором Павловым, на что ссылается В. П. Батурицкий в своей книге «А. И. Герцен, его друзья и знакомые. Материалы для истории общественного движения в России» (СПб., 1904. Т. 1. С. 103).

²³ См.: *Бухарев А.* О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской: Собрание разных статей. М., 1865. С. 452—497.

²⁴ Неточная цитата из «Литературных и журнальных заметок» (Отечественные записки. 1873. № 2. С. 340, вторая пагинация).

²⁵ Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824—1899) — немецкий врач, естествоиспытатель, философ вульгарно-материалистического направления. Молешотт Якоб (1822—1893) — немецкий физиолог и философ, один из родоначальников вульгарного материализма.

²⁶ Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, один из основоположников философского позитивизма.

²⁷ Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ, представитель позитивизма.

²⁸ См.: *Бердяев Н.* Субъективизм и индивидуализм в общественной философии: Критический этюд о Н. К. Михайловском / С предисловием Петра Струве. СПб., 1901.

²⁹ Эта мысль высказана Михайловским в работе «Письма о правде и неправде».

³⁰ Цитата из работы Михайловского «Патологическая магия».

³¹ См.: *Ткачев П. Н.* Избр. соч.: В 6 т. М., 1932—1937.

³² Речь идет о письме К. Маркса в редакцию «Отечественных записок», написанном после того, как в этом журнале (1877, № 10) появилась статья Н. К. Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского». Маркс возражал против той трактовки «Капитала», которую давал в своей статье Михайловский. Письмо осталось неотправленным и позже публиковалось в ряде изданий (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 116—121).

³³ Джордж Генри (1839—1897) — американский экономист, публицист; выступал за выведение земли из частной собственности и установление единого земельного налога.

³⁴ См.: *Воронский А. К.* Желябов. М., 1934.

³⁵ Баррес Морис (1862—1923) — французский романист, журналист, политический деятель. Его романы «Sous l'oeil des Barbares», «Un homme libre», «Le jardin de Bérénice» составляли своего рода трилогию, главенствующим мотивом которой был эстетический культ собственного «я».

³⁶ См.: *Berdiaev N.* Problème du communisme. Vérité e mensonge du communisme. Psychologie du nihilisme et l'athéisme russes. «La ligne générale» de la philosophie soviétique. Paris, [1933].

³⁷ См.: *Соловьев Е. Д. И.* Писарев. [4-е изд.] Берлин; Пг.; М., 1922.

³⁸ Приличный и благовоспитанный молодой человек (фр.).

³⁹ Бердяев соединяет, частично видоизменив, фразы из X и VI глав статьи Л. Н. Толстого «Конец века».

⁴⁰ Бердяев неточно цитирует слова Толстого из VI главы его статьи «Конец века».

⁴¹ Бердяев неточно цитирует статью Л. Н. Толстого «Великий грех».

⁴² Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — философ-гегельянец, теоретик государства и права, историк, публицист.

⁴³ Выражение из статьи К. С. Аксакова «Несколько слов о русской истории, возбужденные „Историей“ г. Соловьева (По поводу I тома)».

⁴⁴ Неточная цитата из статьи К. С. Аксакова «По поводу VII тома „Истории России“ г. Соловьева». Эту мысль К. С. Аксаков развивал в черновых записях к статье, приведенных издателем в примечаниях (см.: *Аксаков К. С.* Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 250).

⁴⁵ Неточная цитата из статьи К. С. Аксакова «Об основных началах русской истории». У Аксакова: «Нравственное дело должно и совершаться нравственным путем. . .».

⁴⁶ Неточная цитата из статьи «Несколько слов о русской истории. . .». У Аксакова: «Запад — жертва внешнего закона».

⁴⁷ Слова из работы М. А. Бакунина «Реакция в Германии (очерк француза)».

⁴⁸ Штирнер Макс (псевдоним; настоящее имя — Каспар Шмидт) (1806—1856) — немецкий философ-младогегельянец, автор знаменитой книги «Единственный и его достояние».

⁴⁹ См.: *Бакунин М.* Бог и государство. Пг., 1918.

⁵⁰ Эту мысль Бакунин в различной форме неоднократно повторяет в названной выше книге (см.: *Бакунин М.* Там же. С. 17, 19, 21).

⁵¹ Неточная цитата из упомянутой книги Бакунина.

⁵² См.: *Harnack A.* Marcion: Das Evangelium vom Fremden Gott. Leipzig, 1924. S. 225—232.

⁵³ У Достоевского: «От Востока звезда сия воссияет».

М. А. БУЛГАКОВ

СТЕНОГРАММА (СЦЕНКА)

(ПУБЛИКАЦИЯ Я. С. ЛУРЬЕ)

В фонде Булгакова Пушкинского Дома (Институт русской литературы АН СССР) сохранился небольшой текст на одном листке, написанный карандашом рукой автора (Ф. 369. Ед. хр. 565). Поступил он в Пушкинский Дом в 1978 году от второй жены Булгакова Л. Е. Белозерской (1895?—1987).

Перед нами своеобразное произведение, жанр которого нелегко определить. Построен он как запись («стенограмма») телефонного разговора М. А. Булгакова с неизвестным человеком, позвонившим Л. Е. Белозерской в ее отсутствие и говорившим с Булгаковым. Но стиль этого диалога такой «булгаковский», настолько напоминает разговоры персонажей его пьес, что законно возникает предположение, что текст все-таки не застенографирован, не воспроизведен буквально, а в какой-то степени сочинен или, по крайней мере, переработан драматургом.

В результате создается образ, очень определенный и узнаваемый, бывшего гвардейского офицера, ставшего служащим при манеже, привычно пьяного и еще более пьянеющего при вторичном телефонном звонке, однако сохраняющего дворянско-офицерский гонор и преувеличенное чувство достоинства. В Константине Аполлоновиче, как он себя представляет (произнести фамилию уже не хватает сил), ощущаются черты прежних персонажей булгаковских пьес — де Бризара из «Бега», отчасти, может быть, даже Мышлаевского, — но в новом качестве: бывший офицер опустился, спился, найдя себе не очень почетное, но все же более или менее респектабельное занятие.

Сюжет «Стенограммы» связан с одним из двух излюбленных занятий Л. Е. Белозерской в 1928—1932 годах — увлечением верховой ездой; другим было вождение автомобиля. Над мечтой жены — завести собственную машину — Булгаков, доходы которого в те годы отнюдь не соответствовали таким стремлениям, посмеивался: «Дорогая кошечка, на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковер и автомобиль — 30 рублей» (Ф. 369. Ед. хр. 567). Об обоих этих увлечениях Л. Е. Белозерская писала в книге «О, мед воспоминаний» (Апп Арбог, 1977), где приводила и текст публикуемой сценки, но в «Страницы жизни», подготовленные ею в 1983 году для книги воспоминаний о Булгакове (Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 192—236, ср. С. 503—504), она все эти материалы не включила.

Как ни миниатюрна сценка «Стенограмма», она дополняет наши представления о творчестве Булгакова-драматурга.

СТЕНОГРАММА

Звонок.

Я. Я слушаю вас.

Г о л о с. Любовь Евгениевна?

Я. Нет. Ее нет, к сожалению.

Г о л о с. Как нет?.. Умница-женщина. Я всегда, когда что-то не так... (*икает*) ей говорю...

Я. Кто говорит?

Г о л о с. Она в манеж ушла?

Я. Нет, она ушла за покупками.

Г о л о с (*строго*). Чего?

Я. Кто говорит?

Г о л о с. Это супруг?

Я. Да. Скажите, пожалуйста, с кем я говорю?

Г о л о с. Кстин Аплонич (*икает*) Крам... (*икает*).

Я. Вы позвоните ей в 5 часов, она будет к обеду.

Г о л о с (*с досадой*). Я... не могу я обедать... не в том дело! Мерси.

Очень приятно... Надеюсь, вы придете?..

Я. Мерси.

Г о л о с. В гости... Я вас приму. В среду? Э? (*часто икает*). Не надо ей ездить! Не надо.

Вы меня понимаете?

Я. Гм...

Г о л о с (*зловеще*). Вы меня понимаете? Не надо ей ездить в манеже! В выходной день, я понимаю, мы ей дадим лошаадь... А так не надо! Я гвардейский бывший офицер и говорю — не надо — нехорошо. Сегодня едет, завтра поскачет. Не надо. (*Таинственно*)

Вы меня понимаете?

Я. Гм...

Г о л о с (*сурово*). Ваше мнение?

Я. Я ничего не имею против того, чтобы она ездила.

Г о л о с. Всё?

Я. Всё.

Г о л о с. Гм... (*икает*). Автомобиль? Молодец. Она в манеж ушла?

Я. Нет, в город.

Г о л о с (*раздраженно*). В какой город?!

Я. Позвоните ей позже.

Г о л о с. Очень приятно. В гости, с Любовь Евгениевной? Э?.. Она в манеж ушла?

Я (*раздраженно*). Нет...

Г о л о с. Это ее переутомляет! Ей нельзя ездить... (*бурно икает*) Ну...

Я. До свидания... (*вешаю трубку*).

(Пауза — три минуты)

Звонок.

Я. Я слушаю вас.

Г о л о с (*слабо, хрипло, замирая*). Попроси... Лю... Вовгеньину.

Я. Она ушла.

Г о л о с. В манеж?..

Я. Нет, в город.

Г о л о с. Гм... Ох... Извинит... что пабскакоил (*угасает*).

(Вешаю трубку.)

РЮРИКОВИЧИ

В первой статье (см. № 2) речь шла о наиболее известных исторических деятелях из династии Рюриковичей от ее легендарного основателя до Александра Невского. Обратимся теперь к наследникам Александра и его братьев.

Годы монголо-татарского нашествия остались позади, но мир еще не пришел на истрадавшуюся Русскую землю. По подсчетам историка В. В. Каргалова, за последнюю четверть XIII века татары совершили не менее пятнадцати значительных походов на Русь. Были разорены Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Москва, Коломна, Тверь, Рязань и другие города, причем некоторые из них по два, по три и даже по четыре раза.¹ Трагизм положения усугублялся тем, что сыновья Александра — себялюбивые, коварные, жестокие, у которых жажда занять великокняжеский стол была сильнее чувства национальной ответственности, — в своих междоусобных распрях нередко сами прибегали к татарской помощи. Их борьба за великокняжеский стол оборачивалась для народа тяжелейшими бедствиями: снова гибли и попадали в полон люди, снова выгорали дотла города, вытапывались и зарастали бурьяном пашни. Много зла принесло центральным районам Руси многолетнее соперничество Москвы и Твери, приводившее к непрестанным вооруженным конфликтам. О таком конфликте и горевал писец Домид, перефразируя «Слово о полку Игореве»: «При сих князьях (Михаиле Тверском и Данииле Московском. — О. Т.) сеяшется и ростяше усобицами, гн্যাше жизнь наша, в князех которы, и вечи скоротишася человеком».²

Итак, обратимся к биографиям князей, живших во второй половине XIII века. Их имена плохо известны широкому читателю: этот смутный период обычно опускается в исторических обзорах.

Таблица 7



ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1250?—1294). Сын Александра Невского. Мальчиком был оставлен отцом княжить в Новгороде, но после его смерти был изгнан горожанами, сетовавшими, что князь «еще мал». Затем Дмитрий княжил в Переяславле, а в 1276 году, после смерти дяди своего Василия Ярославича, стал великим князем владимирским, одновременно являясь и князем новгородским. В 1281 году ярлык на великое княжение получил в Орде младший брат Дмитрия — Андрей. Он явился

на Русь с татарской ратью и в союзе с примкнувшими к нему русскими князьями опустошил земли возле Владимира, Юрьева, Твери, Торжка, Ростова. Был взят и Переяславль. Дмитрий бежал в Новгород, хотел было удержаться в Копорье, но новгородцы вынудили его уйти «за море», откуда он, впрочем, вскоре вернулся в Переяславль. В 1283 году братья помирились, но Андрей опять пришел с татарской ратью, и Дмитрий снова был вынужден бежать, на этот раз к хану Ногаю. Андрей еще не раз нападал на брата, остававшегося, однако, до самой смерти великим князем. Так, в 1293 году Андрей привел татарские полки, которыми командовал брат хана Тохты Дудень. Были снова разорены Владимир, Москва, Дмитров, Волоколамск, Переяславль и другие города. Дмитрий бежал в Псков, а оттуда в Тверь; при этом Андрей перехватил по дороге обоз брата. В конце концов противники примирились; Дмитрий собрался, отказавшись от великого княжения, вернуться в свой Переяславль, но по пути туда умер.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1263—1304). Княжил в Городце на Волге (выше по течению от Нижнего Новгорода). Как уже говорилось, он воевал с братом, добиваясь великокняжеского стола. После смерти Дмитрия Андрей женился на Василисе, дочери Дмитрия Борисовича Ростовского, и отправился с ней в Орду — сообщить о смерти брата и получить ярлык на великое княжение. В 1296 году на съезде князей Андрей поссорился с братом Даниилом Московским и с тверским князем Михаилом Ярославичем. Князья уже сошлись на поле подле Юрьева, но до битвы дело все же не дошло. В 1304 году Андрей умер в Городце.

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1261—1303). Младший из сыновей Александра Невского. Дмитрий Александрович, став великим князем, выделил Московское княжество Даниилу — первому московскому князю. В распрях между братьями Дмитрием и Андреем Даниил обычно принимал сторону последнего. Но в 1301 году он выступил против Андрея на стороне Ивана Дмитриевича Переяславского. Вероятно поэтому Иван, умирая, завещал Даниилу Переяславль. Это стало первым приращением Московского княжества.

ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (1281—1325). Сын Даниила Александровича. В 1304 году он, отправившись в Орду, безуспешно добивался ярлыка на великое княжение. Ярлык достался тверскому князю Михаилу Ярославичу, а Юрию пришлось отражать под стенами Москвы нападения тверичей (одна из таких «ратей» и упомянута в приписке Домида). В 1315 году Юрий удостоился милости хана Узбека и женился на его сестре Кончаке, получившей при крещении имя Агафья. В 1318 году он вернулся на Русь с татарским полководцем Кавгадыем. В битве у села Бортенева (под Тверью) Юрий потерпел поражение от тверского князя Михаила, в плен к тверичам попала и Агафья. В Твери она умерла; ходили слухи, что княгиню отравили. В том же году Юрий вместе с Михаилом Тверским отправился в Орду. Михаил был обвинен в недоборе подати и по приговору ханского суда казнен. Ярлык на великое княжение получил Юрий. Источники говорят о случившемся противоречиво: не исключена возможность, что Юрий в какой-то степени способствовал расправе над своим соперником. Он вернулся из Орды с сыном Михаила Константином и во Владимире примирился с другим сыном убитого — Александром. Тем не менее соперничество московского князя с тверскими продолжалось и привело к трагическому исходу: в 1325 году сын Михаила Тверского Дмитрий «без царева слова» (т. е. без разрешения хана) убил в Орде Юрия. Хан казнил Дмитрия, но ярлык все же передал его брату Александру.³

ИВАН ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА (?—1340). Младший сын Даниила Александровича. Он был женат дважды. От первой жены Елены имел четырех сыновей: Семена, Даниила, Ивана и Андрея — и четырех дочерей, от второго брака (с Ульяной) у него была дочь.

Первое упоминание о Иване Даниловиче относится к 1304 году, когда он выступил на стороне своего брата Юрия в борьбе с Михаилом Тверским. В 1320 году Иван отправляется в Орду, вероятно для переговоров о выплате «выхода». Он возвращается

с татарскими отрядами и помогает им в сборе дани. В 1322 году Иван снова в Орде, откуда приходит с татарским послом Ахмылом, подвергшим разорению русские земли. Третий раз Иван приходит с ордынцами в 1327 году, на этот раз в Тверь, где вспыхнуло восстание против татарского воеводы Чол-хана (см. об этом ниже). С 1328 года Калита становится великим князем владимирским. По словам летописца, с этого времени «бысть... тишина велика по всей Русской земле на 40 лет, престаша татарове воевати Рускую землю».⁴

Мы знаем, однако, ценой какого унижения и какими щедрыми «выходами» была куплена эта «тишина». Калита расширяет свой удел: в зависимость от Москвы попали Ростов, Галич, Белоозеро, Углич. В 1340 году Иван умирает. «Это был сын своего времени... — писал о нем Л. В. Черепнин, — правитель жестокий, хитрый, лицемерный, но умный, упорный и целеустремленный».⁵ Прозвище его происходит от слова «калита» — денежный мешок, и было дано ему, вероятно, за скопидомство, хотя некоторые источники, явно идеализирующие князя, утверждают, что Иван якобы носил на поясе мешок с деньгами, из которого одаривал нищих.⁶

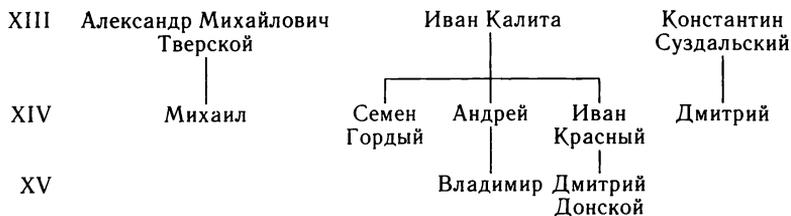
Как уже говорилось, соперниками московских князей были князья тверские, о которых необходимо сказать несколько слов.

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ (1271—1318). Сын первого тверского князя Ярослава Ярославича, двоюродный брат Александра Невского. Вся жизнь его прошла в сражениях — то с литовцами, то с владимирскими и московскими князьями. В 1304 году Михаил добывает ярлык на великое княжение и остается великим князем владимирским до своей гибели в Орде в 1318 году.⁷

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1301—1339). Сын Михаила Ярославича. Первоначально его уделом были города Холм и Микулин (оба к юго-западу от Твери). В 1325 году, когда в Орде был казнен его брат Дмитрий, Александр получил ярлык на великое княжение. Два года спустя в Тверь прибыл татарский военачальник Чол-хан (в русских былинах он именуется Щелканом). Чол-хан «воздвиже гонение великое на христиане насилством и граблением». Тогда в Твери вспыхнуло восстание: татары были перебиты, а сам Чол-хан погиб при пожаре княжеского дворца.⁸ Хан отправил в Тверь карательную экспедицию во главе с Иваном Калитой. Город был взят и сожжен, Александр бежал в Псков, а затем, когда псковичей силой принудили отказаться от защиты князя, в Литву. В 1339 году Александр приехал в Орду, но был там убит вместе с сыном. Возможно, свою роль в этом сыграл и Иван Калита.

Таблица 8

ПОТОМКИ ИВАНА КАЛИТЫ



В XIV веке русские князья все решительнее противодействуют засилью Орды, ограничивают ее стремление безнаказанно разорять русские земли. При Дмитрие Донском Русь бросает уже открытый вызов Орде, разгромив татар сначала на Воже, а затем на Куликовом поле. Но на западных границах Руси набирает силу грозный соперник — Великое княжество литовское. Литовские князья Ольгерд (1345—1377) и Ягайло (1377—1392) расширяют свои владения за счет древних русских земель, активно вмешиваются в междукняжеские и русско-ордынские отношения.

СИМЕОН ИВАНОВИЧ ГОРДЫЙ (1316—1353). Сын Ивана Калиты; наследовал ему на великом княжении. Был женат трижды: на литовской княжне Анастасии Гедиминовне, затем на смоленской княжне Евпраксии Федоровне и на княжне Марии — дочери Александра Михайловича Тверского. По отцовскому завещанию Симеон получил 26 городов и сел, в числе которых были Можайск и Коломна, а также треть Москвы. При Симеоне осложняются отношения с Литвой. Ольгерд даже обращался к хану, испрашивая помощь в борьбе с Симеоном, но тот отказал, не желая разорять своего вассала и данника. В 1352—1357 годах на Руси буйствовала чума, от которой в марте 1353 года умирает митрополит Феогност, дети Симеона Иван и Симеон, а затем и сам великий князь.⁹

ИВАН ИВАНОВИЧ КРАСНЫЙ (1326—1359). Третий сын Ивана Калиты. Он был женат дважды, от второго брака с Александрой (известной только по имени) имел двух сыновей — Дмитрия и Ивана — и дочь. Ярлык на великое княжение он получил в Орде в 1354 году. Его соперником был суздальский князь Константин Васильевич, за которого перед ханом ходатайствовали и новгородцы. Но предпочтение было отдано Ивану, и, быть может, потому, что он отличался миролюбивым характером. Недолгое княжение Ивана не отмечено знаменательными событиями. Умер «кроткий, и тихий, и милостивый» Иван Иванович в 1359 году.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДОНСКОЙ (1350—1389). Сын Ивана Ивановича. После смерти Ивана хан передал великое княжение суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Дмитрий Иванович остался лишь московским князем. Однако его окружение не оставляло надежд на получение их господином великокняжеского стола. И хотя в 1363 году ярлык был снова передан суздальскому князю, ему дали усидеть во Владимире всего 12 дней: московское войско разорило окрестности города, а самого князя изгнало. Дмитрий Суздальский заключил со своим младшим родичем мир и уступил ему великое княжение. Когда же в 1365 году сын Дмитрия Константиновича Василий привез отцу ярлык на великое княжение, то тот добровольно уступил его Дмитрию Ивановичу, в союзе с которым был заинтересован, так как воевал со своим младшим братом Борисом.

В 1366 году суздальский князь отдал в жены Дмитрию Ивановичу свою дочь Евдокию. Верным союзником и помощником великого князя становится с начала 60-х годов его двоюродный брат Владимир Андреевич, княживший в Серпухове и Боровске. В 1366 году братья осуществляют строительство каменного кремля в Москве. А тверские князья все еще не оставляют надежд на возвращение себе великокняжеского достоинства. В 1371 году тверской князь Михаил Александрович (1333—1399) получил вожденный ярлык, но Дмитрий Иванович разослал по всем городам своих представителей, приводя людей к присяге, чтобы они «не давались» Михаилу. Дмитрий и Владимир Андреевич стали с полками возле Переяславля, преграждая Михаилу путь во Владимир. Дмитрий заявил татарскому послу Сарыхоже: «К ярлыку не еду (т. е. Михаилу не подчинюсь. — О. Т.), а в землю на княжение на великое не пуцаю, а тебе послу — путь чист».¹⁰ Щедро одарив Сарыхожу в Москве, Дмитрий отправился в Орду за ярлыком. Ярлык он получил, но хан потребовал уплаты огромной дани («выхода»). Продолжалась война с Тверью. По словам летописца, Дмитрий учинил «всю Тферьскую область пусты и огнем пожег, а люди — мужа, и жены, и младенца — в вся страны развели в полон». Михаил вынужден был прислать «послы своя с покорением», и Дмитрий Иванович, «не хотя видети разорения граду, не хотя видети кровопролития христианьскаго и взя мир с князем с великим с Михаилом».¹¹ В 1375 году тверской князь пообещал, что не станет больше домогаться великого княжения.

Не ослабевала угроза и со стороны Орды. В 1377 году объединенные рати суздальцев и москвичей по своей беспечности потерпели поражение от татар на р. Пьяне: полагая, что татары далеко, воины и воеводы пьянствовали, ходили полураздетые (стояла июльская жара) и без оружия. («Поистине — за Пьяною пьяни!» — не удержался от каламбура летописец). Нападение врага застало их врасплох: татары «внезапу

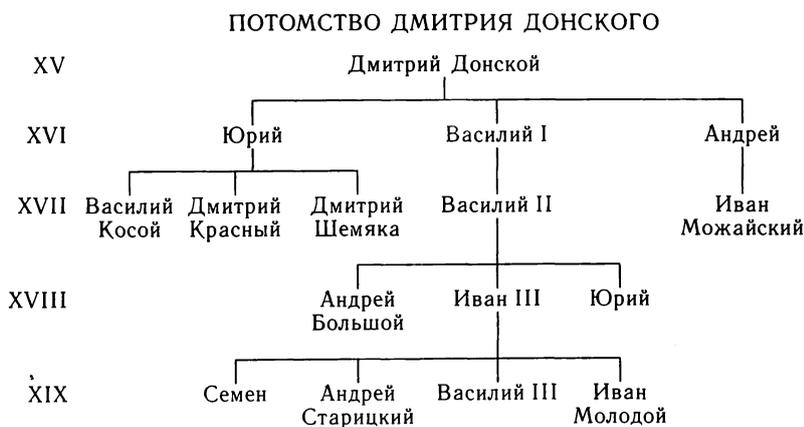
из невесте удариша на нашу рать в тыл, бьюще и колюще и секуще без вести». ¹² В 1378 году в битве на реке Воже был взят реванш — одержана первая победа над татарами. ¹³

Безусловно самым выдающимся деянием Дмитрия явилась победа над Мамаем в 1380 году. Великому князю удалось собрать огромное войско, объединив силы большинства русских княжеств; он сам и его соратники (прежде всего Владимир Андреевич Серпуховско-Боровский) храбро сражались и умело руководили ходом битвы. Татары были разгромлены. Несмотря на понесенные в битве большие потери, значение победы было огромным: впервые татары были разбиты в сражении такого масштаба, а всеильный Мамай бежал с поля боя. Куликовской битве посвящена не только пространная летописная повесть, но и два собственно литературных произведения — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». ¹⁴ Хотя ордынское иго просуществовало еще сто лет, отношения Руси и Орды изменились, и в своем завещании Дмитрий мог с основанием выразить надежду, что дети его не станут платить «выхода» в Орду.

Это настроение не поколебали, видимо, и последующие события: в 1382 году новый предводитель Орды хан Тохтамыш напал на Москву. Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич не смогли отстоять столицу; она была взята татарами и сожжена. Помимо Москвы были разорены и другие города. После ухода татар Дмитрий вернулся в Москву и увидел, что «град взят и пленен, и огнем пожжен, и святые церкви разорены, а людей побитых трупиа мертвых без числа лежаще. И о сем сжалиси зело». ¹⁵

Последующие годы княжения Дмитрия были небогаты событиями: продолжалось соперничество с Тверью, тревожили друг друга набегами Москва и Рязань. В 1386 году Дмитрий Иванович разгневался на новгородцев: они не платили пошлин, а отряды новгородских разбойников (ушкуйников) грабили купцов на Волге и Каме. Дмитрий подступил к Новгороду, но, получив огромный выкуп, вернулся восвояси. Умер великий князь в возрасте 39 лет. Его смерть вдохновила неведомого нам автора на создание блестящего литературного памятника — «Слова о житьи и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича царя русского», в котором рядом с пышной похвалой князю соседствует проникновенный «плач» вдовы Евдокии, с которой князь прожил в согласии 22 года. ¹⁶ После Дмитрия осталось шесть сыновей и четыре дочери.

Таблица 9



ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1371—1425). Старший сын Дмитрия Донского. В 1383 году он был послан отцом в Орду домогаться для него ярлыка на великое княжение, на который претендовал также тверской князь Михаил Александрович (ум. в 1399 году). Ярлык достался Дмитрию, но Василий хан оставил у себя до уплаты огром-

ного московского долга, достигавшего 8000 руб. серебром. Лишь в 1386 году Василию удалось бежать из Орды через Молдавию и Литву.

По завещанию отца Василий наследовал ему на великом княжении. После недолгого размирия он возобновил тесные отношения с верным союзником отца, своим дядей Владимиром Андреевичем Серпуховским. В 1391 году Василий женится на Софье, дочери Витовта, ставшего с 1385 года великим князем литовским. В 1392 году Василий снова побывал в Орде, добившись права на наследственное владение Нижегородским княжеством.

В 1395 году Русь едва не подверглась новым тяжким испытаниям: к ее границам двинулись орды Тимура (Тамерлана). Тимур разгромил хана Тохтамыша, вторгся в пределы Рязанской земли, захватил Елец. Василий, оставив Владимира Андреевича Серпуховского оборонять Москву, вышел навстречу Тимуру к Оке. Однако Тимур неожиданно повернул назад. Василий возвратился в Москву. Это событие оставило глубокий след в душе современников: неожиданное избавление от Тимура объясняли заступничеством иконы Владимирской Божьей матери.¹⁷

Княжение Василия протекало в сложной обстановке. Ухудшились отношения с великим князем литовским Витовтом: в 1404 году он захватил и отторг от Руси Смоленск. Не прекращались споры с новгородцами, на права и вольности которых посягал великий князь. В 1410 году на Русь напал татарский полководец Едигей. Он разбил свой лагерь в Коломенском, в непосредственной близости от Москвы. Татарские отряды разорили Переяславль, Юрьев, Ростов, Серпухов, Нижний Новгород. Василий с женой и детьми поспешил уехать в Кострому, а Москву остался оборонять Владимир Андреевич. Было решено сжечь городской посад: в огне металась и кричали люди, исчезали в пламени «чудные храмы» — «величество и красота граду». Неожиданно Едигей, обещавший зимовать под Москвой, «нача мястися, ни единого дня не може промедлити» и предложил мир. Причиной его ухода была начавшаяся в Орде «замятня», но не знавшие об этом москвичи дали татарам большой выкуп.¹⁸ В 1425 году Василий умер.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЕМНЫЙ (1415—1462). Василий II — одна из самых трагических фигур русской истории. Василий Дмитриевич, словно бы предчувствуя беды, ожидающие его сына, поручил десятилетнего наследника опеке матери и своего тестя Витовта. У княжича не замедлили появиться серьезные соперники — его дяди, Юрий и Константин, а также наследники Владимира Андреевича Серпуховского.

Тревожные симптомы проявились сразу же после смерти Василия Дмитриевича: его брат Юрий не приехал в Москву на похороны, а стал собирать войско в своем Галиче. Бояре великого князя поспешили принять ответные меры и двинули полки к Костроме. Юрий бежал в Нижний Новгород, откуда впоследствии вернулся в Галич и предложил мир. В Галич отправился на переговоры митрополит Фотий. Юрий дал обещание не домогаться великокняжеского стола силой, а положиться на решение хана. И вот в 1432 году Василий вместе с боярином Иваном Дмитриевичем Всеволожским отправился в Орду. Туда же прибыл и Юрий. Ему покровительствовал один из ордынских князей Тегиня. Василию помогло дипломатическое мастерство Всеволожского, сумевшего восстановить других ордынских князей против Тегини и его фаворита Юрия. Льстивая речь Всеволожского растрогала хана, и он не только передал ярлык Василию, но даже приказал Юрию, в знак покорности, повести коня, на котором восседал великий князь. Однако семнадцатилетний Василий не захотел бесчесть дядю.

В феврале 1433 года произошел эпизод, обостривший вражду князей-соперников. Василий вступил в брак с Марией Ярославной, внучкой Владимира Андреевича Серпуховского. На свадебном пиру мать Василия Софья Витовтовна сорвала драгоценный пояс с княжича Василия — сына Юрия Дмитриевича. Пояс этот принадлежал некогда Дмитрию Донскому: он получил его в приданое за Евдокией. Впоследствии пояс был украден и подменен, а затем оказался в семье Юрия. Оскорбленный княжич Василий и его брат Дмитрий Шемяка поспешно покинули Москву.

Едва ли этот случай был единственной причиной распри: быстрота, с какой Юрий

Дмитриевич собрал войско и двинулся на Москву, говорит о том, что к войне готовились. В апреле на берегах Клязьмы произошла битва. Дружина Василия была невелика, «а от москвич не бысть никоеяже помощи, мнози бо от них пиани бяху, а и з собою мед везяху, что пити еше».¹⁹ Василий потерпел поражение, бежал и был схвачен в Костроме. Юрий отослал его в Коломну, которую пожаловал свергнутому великому князю в удел. Сам же Юрий вступил в Москву. Но московские князья, бояре и дворяне потянулись из Москвы в Коломну, к Василию. Почувствовав шаткость своего положения, Юрий вынужден был примириться с племянником и покинуть Москву. Но на следующий год Юрий вновь разгромил Василия в бою, вновь занял Москву. На этот раз в плену оказались мать и жена Василия. Положение великого князя вновь стало критическим. Но внезапно Юрий умер. Василий вернулся в Москву и примирился со своими двоюродными братьями — сыновьями Юрия Дмитриевича. Один из них — Василий Юрьевич — вскоре нарушил клятву, выступил против Василия, был разбит, попал в плен, был отослан в Москву и там ослеплен. С той поры он получил прозвище Косой.

В 1445 году Василий Васильевич отправился на помощь Нижнему Новгороду, который осадили татарские царевицы Махмутек и Якуб. Прибыв в Суздаль, великий князь стал пировать в лагере («ужинал у себя со всею братьею и з бояры, и пища долго ноши»)²⁰. Наутро, когда Василий намеревался еще немного «опочинуть», ему сообщили о приближении татар. Войско великого князя было невелико, ибо Шемяка обещанных полков не прислал, но тем не менее сначала русские стали одолевать, затем ход битвы переменялся, и татары одержали победу. Князь попал в плен. Татарские воеводы отослали в Москву снятый с Василия нательный крест, чтобы убедить в пленении князя его мать и жену. Это случилось 7 июля. А 14 июля в страшном пожаре «выгоре» вся Москва, «яко ни единому древеси на граде остатися, но и церкви каменныя распадашася, и стены градныя каменныя падоша в мнозех местех».²¹ Город оказался беззащитным перед возможным нападением татар; началась паника. Великие княгини поспешили уехать в Ростов.

Дмитрий Шемяка, узнав о пленении великого князя, послал дьяка Федора Дубенского, наказав ему убедить татар ни в коем случае не освобождать Василия. Но великому князю удалось получить свободу, посулив за себя огромный «окуп» (200 тысяч руб. серебром). Он прибыл в Переяславль, а оттуда с женой, матерью и боярами вернулся в Москву.

Но Шемяка не оставлял надежд расправиться с Василием. И вскоре ему представился удобный случай. Великий князь с небольшой свитой поехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Шемяка тут же овладел Москвой и пленил великих княгинь. К Василию примчался гонец Бунко со страшной вестью. Василий не поверил ему, велел прогнать прочь, но все же решил принять меры предосторожности и выслал дозор к Радонежу. Однако союзник Шемяки князь Иван Можайский (сын князя Андрея Дмитриевича, двоюродный брат Василия) перехитрил воинов великого князя: он спрятал ратников в возах с сеном, они беспрепятственно доехали до дозорных, а поравнявшись с ними, воины выскочили из саней и напали на стражей Василия. Все они оказались в плену. Когда Василию донесли о приближении врагов, он бросился на конный двор, но готового коня не оказалось. Князь укрылся в одном из монастырских храмов, но, услышав крики Ивана Можайского: «Где есть князь великий?», сам вышел на порог церкви с иконой в руках и напомнил о крестном целовании с Шемякой. Иван Можайский пообещал князю: «Аще ти възшоцем коего лиха, буди то над нами лихо», и отошел в сторону, а один из приближенных его, Никита, взяв Василия за плечо, провозгласил: «Поиман еси великим князем Дмитрием Юрьевичем». На голых санях Василий был отвезен в Москву и там ослеплен (отсюда и прозвание князя — Василий Темный).²² Великий князь с женой были сосланы в Углич, а Софья Витовтовна — в Чухлому. Его сыновей Шемяка обманом вызвал из Муррома и также отправил в Углич в заточение.

Некоторое время спустя Шемяка вынужден был освободить Василия и передать ему в удел Вологду. Но опальный князь пробыл там недолго: побывав в Белоозере и заручив-

шись, вероятно, духовной и финансовой поддержкой в тамошних монастырях, Василий отправился в Тверь, где скрепил свой союз с тверским князем Борисом Александровичем браком сына своего Ивана с дочерью Бориса Марией. Объединенные силы Василия и его сторонников двинулись к Москве, и в феврале 1447 года великий князь возвратился в свою столицу.

В последние годы княжения Василий существенно укрепил свою власть. В 1456 году был арестован князь Серпуховско-Боровский Василий Ярославич, а его удел ликвидирован. Михаил Александрович Верейский полностью зависел от великого князя. В 1456 году в результате победоносного похода войск Василия на Новгород был заключен договор, по которому существенно урезались права Новгородской республики.

Добавим несколько слов о противниках Василия Темного. Дядя Василия Юрий Дмитриевич (1374—1434) по завещанию Дмитрия Донского получил в удел Звенигород, Рузу, Суходол и Галич. После смерти своего брата Василия Дмитриевича он вступил в борьбу с племянником, о чем уже рассказывалось выше. В этой феодальной войне принимали самое активное участие сыновья Юрия — Василий Косой (?—1448) и Дмитрий Шемяка (1420—1453). Последний, после возвращения Василия II в 1447 году в Москву, не успокоился и продолжал бороться с великим князем. Но в 1452 году, спасаясь от московской рати, он вынужден был бежать в Новгород, где вскоре и умер. Полагали, что мятежный князь был отравлен: приехавший из Москвы дьяк Степан Бородатый будто бы подговорил боярина Шемяки, а тот — княжеского повара, и Дмитрию подали на стол пропитанную ядом курицу.

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (1440—1505). Старший сын Василия Темного. По завещанию отца Ивану достался самый большой по территории и значимости удел; его братья (Андрей Большой, Андрей Меньшой, Юрий и Борис) беспрекословно ему подчинялись.

Иван продолжил политику Василия по консолидации Русского государства. Первым шагом на этом пути было подчинение Новгорода, где существовала сильная анти-московская партия, возглавлявшаяся вдовой посадника Марфой Борецкой и ее сыновьями. Она ориентировалась на политическую поддержку Литвы, и это дало повод подозревать новгородцев в желании перейти в католичество. Поэтому Иван III двинул в 1471 году на Новгород свою рать, как скажет московский летописец, «не яко на христиан, но яко на язычник и на отступник православья». Московское войско шло по Новгородской земле, «плenuюще и жгуще и люди в плен ведуше».²³ Решающая битва произошла на Шелони (к западу от озера Ильмень): профессиональная московская рать без труда одержала полную победу над новгородскими полками, состоявшими из ремесленников, многие из которых, как подчеркивает летописец, отродясь не сидели на боевом коне. По условиям мира, заключенного в селении Коростыни, самостоятельность Новгорода была значительно урезана, а в 1478 году феодальная республика была присоединена к Москве.

В 1467 году Иван овдовел и в 1473 году женился на Софье (Зое) Палеолог — дочери деспота Морей и племяннице последнего византийского императора. Этот брак укрепил международный престиж московского государя, а Русь могла теперь рассматривать себя как «третий Рим» — преемницу Византийской империи.

Безусловно крупнейшим событием правления Ивана III было крушение ордынского ига. Могущественный государь могучей страны мог позволить себе пренебрегать традицией. Как подчеркивает Ю. Г. Алексеев, он «был первым из русских великих князей, который никогда — ни до, ни после вокняжения — не приезжал к хану. Он был также первым, кто сел на великое княжение без прямой санкции ханской власти».²⁴ Отказался Иван поехать по вызову хана в Орду и в 1476 году. Желая добиться прежней покорности, ордынский хан Ахмат летом 1480 года, лично возглавив огромное войско, двинулся на Русь. Иван III вышел навстречу ему к Коломне. Татары не решились пробиваться к Москве кратчайшим путем, и Ахмат, совершив обходной маневр, к сентябрю сосредоточил свою армию на южном берегу Угры. Княжич Иван Иванович и брат великого князя

Андрей Васильевич Меньшой сорвали попытки ордынцев форсировать Угру, и оба войска надолго замерли на ее берегах. Переговоры с Ахматом зашли в тупик: Иван III отказался выполнить ханские требования. После долгого «стояния» ордынцы ушли восвояси. В те дни русские люди ликовали лишь по поводу избавления от очередного вражеского нашествия. Но произошло нечто гораздо большее: в этот год Русь навсегда избавилась от ордынского ига.²⁵

В 1485 году потеряла независимость Тверь, и Иван III стал именоваться «великим князем всея Руси».

Последние годы его жизни были омрачены тяжелыми внутрисемейными конфликтами. В 1490 году умер сын Ивана от первого брака Иван Молодой. При дворе образовались две противоборствующие группировки: одна поддерживала Дмитрия, малолетнего сына Ивана Ивановича, и его вдову Елену Стефановну, дочь молдавского господаря, другая — Софью Фоминичну и ее старшего сына Василия. В декабре 1497 года Иван разгневался на Софью и на Василия, княжич был посажен «за приставы на его же дворе», а в феврале 1498 года был торжественно коронован Дмитрий Иванович. Но помимо титула он не получил фактически никаких прав, а год спустя Иван III вернул свою милость жене и Василию. В 1502 году он «положил опалу» на Дмитрия, а сноху свою Елену Стефановну заточил в темницу, где она и умерла. 27 октября 1505 года на 66-м году жизни скончался и сам великий князь. Он был, как писал известный советский историк А. А. Зимин, «одним из выдающихся государственных деятелей феодальной России. Обладая незаурядным умом и широтой политических представлений, он сумел понять насущную необходимость объединения русских земель в единую державу. . . На смену Великому княжеству московскому пришло государство всея Руси. Покончено было с зависимостью от когда-то грозной Орды. Россия из заурядного феодального княжества выросла в мощную державу, с существованием которой должны были считаться не только ближайшие соседи, но и крупнейшие страны Европы и Ближнего Востока».²⁶

Окончание следует

¹ Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси: Феодальная Русь и кочевники. М., 1968. С. 171.

² Эта приписка читается на л. 180 Апостола (рукопись ГИМ. Синодальное собр. № 722). Комментарий к ней см.: Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984. С. 137—138.

³ Времени Юрия Даниловича Московского посвятил свой роман «Великий стол» Д. М. Балашов.

⁴ Никоновская летопись // ПСРЛ. М., 1965. Т. 10. С. 196.

⁵ Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках. М., 1960. С. 513.

⁶ Волоколамский патерик / Семинарий по древнерусской литературе Московских высших женских курсов. М., [Б. г.]. С. 17.

⁷ В связи с занятием Михаилом великокняжеского стола в 1305 году был составлен летописный свод. Переписанный в 1377 году Лаврентием, он известен нам как Лаврентьевская летопись.

⁸ Летописная «Повесть о Шевкале» издана в кн.: ПЛДР: XIV—середина XV века. М., 1981. С. 62—65.

⁹ Этому князю посвящен роман Д. Балашова «Симеон Гордый».

¹⁰ Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 11. С. 15.

¹¹ Рогожский летописец // Там же. Т. 15. Вып. 1. С. 112.

¹² Повесть о побоище на реке Пьяне // ПЛДР: XIV—середина XV века. С. 90.

¹³ Повесть о битве на реке Воже // Там же. С. 92—95.

¹⁴ Оба памятника издавались неоднократно. См., например, указанный выше том ПЛДР. а также кн.: Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подг. Л. А. Дмитриев и О. П. Лихачева. Л., 1982. (Серия «Литературные памятники»).

¹⁵ Повесть о нашествии Тохтамыша // ПЛДР: XIV—середина XV века. С. 204.

¹⁶ Издание «Слова о житии. . .» см.: Там же. С. 208—229.

¹⁷ Повесть о Темир-Аксаке // Там же. С. 230—243.

¹⁸ См.: Там же. С. 244—255.

¹⁹ Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 12. С. 18.

²⁰ Там же. С. 64.

²¹ Там же. С. 65.

²² Повесть об ослеплении Василия II // ПЛДР: XIV—середина XV века. С. 504—521.

²³ ПЛДР: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 386, 388. Московскую и новгородскую версии рассказа об этом событии см. в этом же томе ПЛДР (С. 376—409).

²⁴ Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. С. 81.

²⁵ Помимо летописной «Повести о стоянии на Угре» (ПЛДР: Вторая половина XV века. С. 514—521) этому событию посвящен и другой литературный памятник — «Послание на Угру Вассиана Рыло», изданный там же (С. 522—537).

²⁶ Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий: Очерки социально-политической истории. М., 1982. С. 243.

ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Т. С. ЦАРЬКОВА

К ИЗУЧЕНИЮ СТИХОТВОРНЫХ НАДПИСЕЙ

Продолжая разговор о современном фольклоре, начатый в статье Т. А. Новичковой «Два мира — земной и космический — в современных народных легендах» (Русская литература. 1990. № 1), мы можем, опираясь на большой накопленный материал, утверждать, что словесное искусство, художественная речь шире наших традиционных представлений о литературе и фольклоре.

Фольклористами (В. Я. Проппом, П. Н. Богатыревым, В. Г. Базановым, Б. Н. Путиловым, О. Б. Алексеевой и др.) высказывалась мысль о «постепенном складывании на границах фольклора и литературы» искусства «нового качества и новой эстетики». ¹ С этой точки зрения рассматривались такие жанры и формы, как жестокий мещанский романс, песни рабочих, крестьянское политическое красноречие. Однако эта пограничная и в то же время обособленная область, на наш взгляд, может быть значительно расширена. Существуют целые пласты художественных текстов, обладающих в большей или меньшей мере фольклорными и литературными чертами, но отличающихся от фольклора прежде всего тем, что это — письменные формы (иногда эти тексты — подписаны, чаще — анонимные), а от литературы — способами бытования и распространения. Писано, но не в книге и не в рукописи. А где? На заборе, на утвари, на оружии, на памятнике надмогильном или другого характера монументе, под портретом или гравюрой, в альбоме или частном письме, на бытовом плакате, митинговом транспаранте или подаренной книге. Надписи без установки на тиражирование, что не исключает повторяемости, иногда — несомненной утилитарностью, следовательно, и особенностями восприятия. Хорошо знакомые строки, например:

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной
(К. Батюшков «Мой гений»)

или

Как мало пройдено дорог,
Как много сделано ошибок.
(С. Есенин «Мне грустно
на тебя смотреть...»)

или «Человек — это звучит гордо!» (М. Горький «На дне»), выбитые на могильном камне как эпитафии, переосмысливаются под воздействием реальной обстановки, включают нас в иную систему ассоциаций, отличную от той, что возникает при чтении литературных произведений.

Очерченная область словесного творчества в общекультурном контексте сопоставима с примитивом в изобразительном искусстве, так как включает сферу самодеятельного, непрофессионального стихотворчества. Это сопоставление поддерживается самими объектами исследования — зачастую произведениями синкретического искусства (памятники, расписная утварь, плакаты и т. п.). ²

Взяв за основу классификации способ бытования таких текстов — письменный, но не рукописно-книжный, можно выстроить жанрово-типологический ряд с направленностью от фольклора (настенные надписи-речения улицы) до образцов, тяготеющих

к высоким жанрам литературы, ориентирующихся на них, аналогичных им иногда до тождества: стихотворные надписи под портретами, дарительные — на книгах, экспромты, эпитафии. По сути эти последние формы можно объединить емким определением: «стихи на случай». Как правило, они уже авторские и, появившись впервые в своей «внелитературной», не книжной форме, в дальнейшем занимают законное место в особых разделах собраний сочинений. Провести эту грань: «большая литература» — «несобственно литературная форма» — всегда особенно трудно. Так, например, возникает вопрос: чем текст песни самодетельной отличается от песни профессиональной, альбомное стихотворение — от классического стихотворения, вписанного в альбом? (Кто из больших поэтов XIX—начала XX века в альбомы не писал?!). Одно дело: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня» и другое — «Вчерашний день, часу в шестом. . .» Некрасова, известное нам тоже только из дамского альбома.³ Необходимы ограничения. При таком подходе исследователя прежде всего должна интересовать низовая струя самодетельного творчества и яркие, определяющие черты ее поэтики.

Попытаемся выяснить: способ бытования, положенный в основу классификации, — какой отпечаток он накладывает на форму? Какие формообразующие черты он предопределяет?

Чтобы дать ответы на эти вопросы, необходим анализ большого, разножанрового материала. В начале исследования априори можно лишь отметить некоторые особенности поэтики внелитературно функционирующих поэтических текстов. Для них характерны: во-первых, переходность, взаимопроникновение, смежность, заменяемость жанровых форм. Пример такой смежности — эпитафия и надпись под портретом. Это мог быть один текст. Так, в ознаменование побед в русско-шведской войне 1788—1790 годов (морские сражения при Эланде, Ревеле и Выборге), по приказанию Екатерины II, скульптором Ф. И. Шубиным был изваян бюст адмирала В. Я. Чичагова, для которого императрица сочинила надпись:

С тройною силою шли Шведы на него;
Узнав, он рек: «Господь защитник мой,
Они нас не проглотят».
Отразил, пленил и победу получил.⁴

Спустя два десятилетия эти строки с незначительными разночтениями появились на могильном памятнике адмирала на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Еще одна похожая история бытования и переходности форм. На Смоленском кладбище в Ленинграде справа от входа в церковь возвышается огромный гранитный памятник, с трех сторон исписанный стихами. Табличка с именем давно утрачена. Как удалось установить, поэтический текст — юбилейное приветствие В. Бенедиктова по случаю пятидесятилетия министра А. М. Княжевича. Министр прожил без малого восемьдесят. Выбитое на камне стихотворное поздравление со временем обрело не только принципиально новое материальное воспроизведение, но и новое эпитафийное звучание, чего не было в авторском замысле. Эпитафия вообще чрезвычайно поливалентный жанр. Пример обратной связи. На памятнике актрисе В. Н. Асенковой начертаны стихи:

Все было в ней: душа, талант и красота
И скрылось все от нас, как светлая мечта.⁵

В 1908 году в журнале «Старые годы» сообщалось о выставке в Панаевском театре, где демонстрировался «Характерный силуэт „Могила Асенковой“» и в качестве подписи под рисунком приводилось это двустихие без указания на его эпитафийность.⁶ Другой пример. Стихотворение П. А. Вяземского «К картинке» (1838), вписанное в альбом графини Бобринской как подпись под рисунком Кияя, позднее было взято Райтом и воспроизведено на его гравюре «Ножка Тальони».⁷ Такой переход из частного альбома в тиражированную гравюру все же естествен по родственности видов изобразительного искусства.

КАК НОСИТЬ ОЧКИ

Получив рецепт на очки,
Заказать их в оптике должен ты.

На проверку к доктору надо сходить
И лишь после этого можно носить.

Очки бывают нужны для лечения
Или постоянного ношения,

Для чтения, письма, кино, телевидения,
Для облегчения зрения и лучшего видения.

Когда очки снимаешь — в футляре храни,
На стол их стеклами вверх клади.

Иначе стекла мутными станут
И очки помогать перестанут.¹⁵ (И т. д.)

В таком же примерно роде составлена анонимная «Азбука здоровья»:

Аппетит всегда отличный,
Если день идет ритмично.

Безволие, неряшливость и лень
К заболеванию первая ступень.

Вини себя за вид болезненный и хмурый
Не занимаешься ты, видно, физкультурой!

Гуляй на воздухе,
Не ешь перед сном,
Летом спи с открытым окном! (И т. д., весь алфавит)¹⁶

Что это — поэзия? Современное продолжение «Записок старого аптекаря» Николая Заболоцкого? «Конечно, нет, — ответит любой школьник. — И это вовсе не смешно». Так почему же тогда даже для рассказа детям о том, как надо носить очки, и предупреждения взрослым не ломать деревья и не сорить безвестными неискусственными авторами интуитивно избирается стихотворная форма? Объяснять все плохим, эстетически невоспитанным вкусом некоторых чудаковатых людей, сводить к кичу, было бы упрощением, тем более недопустимым, что традиция внелитературных стихотворных форм и у нас, в России, и еще ранее, в Европе, живет веками.

И здесь мы переходим к третьей, весьма существенной особенности поэтики этих незамысловатых стихотворных текстов — фактуре стиха. Стихотворная форма речи, более изощренная, сложнее организованная по сравнению с деловой, научной, разговорной, т. е. нехудожественными формами, избирается потому, что она выигрывает в восприятии и запоминании. Даже лишенные эпитетов и метафор («Как носить очки») стихотворные строки ритмом, рифмой, неизбежной инверсией всегда создают некий эмоциональный тон, отличный от обыденного. Краткая, формульная, афористичная мысль в «ритмической упаковке», раз произнесенная или прочтенная, цепко, иногда до навязчивости, удерживается памятью. Давно уже не пишут в письмах: «Жду ответа, как соловей лета», «Лети с приветом, вернись с ответом», «Целую вас несчетно раз», «Как ни крутись, как ни вертись, а с почтальоном расплатись» (доплатные письма) — теперь это, вероятно, ушло и из детского эпистолярного обихода, но из памяти, из разговорного языка взрослых и детей не ушло до сих пор. Такова особенность и сила стиха.

Однако природа стиха несомненно литературных надписей особая. В них гораздо чаще, чем в литературном стихе, встречается метрический перебой. Даже в период абсолютного господства в литературной поэзии силлабо-тоники, упорядоченной рифмовки (XIX век) стих надписей в заметной своей части — неканоничный, неправильный, перебойный. Несомненно, что природа метрических (и шире — ритмических) перебоев в этом самодеятельном стихе иная, чем в стихе литературном. В литературном стихе

перебой заметен, должен остановить внимание, он семантически значим. В надписях, как правило, малых по объему (2—8 строк), значимо каждое слово, семантический курсив здесь не нужен. Но у пишущего (возьмем на себя смелость совершить экскурс в психологию творчества), обладающего, так же как и мы, чувством ритма и слышащего этот перебой, есть ощущение единственно необходимых слов, продиктованных реальной ситуацией, от которых он не может отказаться ради гладкости стиха. Вот фрагмент весьма распространенной в XIX веке реальной эпитафии:

А что же будет в жизни сей?
Ведь двое маленьких детей,
Ей всем обязанные в мире,
Творца напрасно станут умолять:
«Ах, Боже добрый! вороти нам мать...»¹⁷
(1870)

Четырехстопный ямб сменяется пятистопным, что не создает перебоя, а лишь усиливает экспрессию выражения. Но вот вариант этой эпитафии (эпитафия — жанр летучий, повторения и варианты, совпадающие и сильно различающиеся по времени написания, типичны, особенно на одном кладбище):

... Как мне трудно в жизни сей:
Ведь четверо маленьких детей.
Напрасно они умоляют Творца:
«Боже! Возврати нам отца...»¹⁸
(1873)

Реальность, факт вторгаются в поэтику, как ни в каком другом художественном жанре, влияют на нее не опосредованно, сближают с поэтикой документальных жанров. Другой пример, с оттенком курьезности. В 1828 году Пушкин написал «Эпитафию младенцу» на смерть первенца М. Н. и С. Г. Волконских. Она была выбита на камне на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры:

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

В 1883 году этот текст появляется на надгробье виленского интенданта, скончавшегося на шестьдесят втором году жизни. Вероятно, его родителей тоже уже не было в живых, поэтому последняя строка, вопреки размеру, ритму и рифме, приобретает редакцию:

Благословляет жену и молит за нее.¹⁹

Количественный анализ метрики даст большой процент текстов, близких по строю к лубочному стиху. Это характерно для плаката, рекламы и для непрофессионального стихотворного творчества вообще. Достаточно вспомнить стихи художника П. А. Федотова:

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не просим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.
Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.²⁰

Или вот стихотворная приписка на обороте автопортрета П. Колендуса, о личности которого известно только то, что было ему в ту пору (1844 год) двадцать четыре года: «В таких летах я был мил и ндравом любезен, а для девушек полезен».²¹

Таким образом, тщательное исследование фактуры стиха тоже создаст общий фон для определения поэтики этих малых стихотворных форм. Неправильный, перебойный стих не всегда свидетельство неумелости, невозможности справиться с поэтическим заданием. Он порою входит в условия задания, становится чертой родовой принадлежности, отвечает особенностям функционирования текста. Выбор: упорядоченный или неупорядоченный стих — в этой переходной сфере интуитивно в той или иной степени определялся для автора большей ориентированностью на фольклор или литературу, притяжением к тому или иному полюсу.

Из большой коллекции стихотворных надписей, продемонстрировать которую не представляется возможным, для иллюстрации современного состояния объекта исследования вычленим только один раздел: реальная стихотворная эпитафия XX века.²²

Реальная эпитафия (устойчивый термин), т. е. та, что действительно встречается на кладбищах, в отличие от эпитафии литературной, которая заведомо создается для страниц печатных изданий, и, как правило, близка лирическим стихам типа «На смерть...», «Памяти...», «У гроба...» и т. п. В исследовательской работе, конечно, трудно провести четкую грань между этими двумя ликами жанра, но в данной статье нас будет занимать только конкретный вопрос — какие типы стихотворных текстов помещают на памятниках?

Прежде всего необходимо отметить хронологическое усиление анонимности. И XIX век редко обозначал авторство в этом жанре, но подразумевалось, что текст скорее всего принадлежит лицу из узкого круга близких покойному. Так, современники знали, что за криптонимом А. К. . ., выбитым на памятнике Президенту Академии Художеств А. Н. Оленину, скрывается Анна Петровна Керн, а неподписная, чрезвычайно популярная эпитафия-моностих: «Покойся, милый прах, до радостного утра» — написана Н. М. Карамзиным. Эпитафия XX века обращается к другой аудитории, несравнимо более широкой, и поэтому авторство, если оно не обозначено, заведомо утрачено даже для современников. Исключая, конечно, имена авторов текстов, ставших классическими образцами этого жанра в XX веке. Мы имеем в виду стихи А. В. Луначарского, написанные для мавзолея революционеров на Марсовом поле: «Не жертвы — герои лежат под этой могилой...», реквием О. Ф. Берггольц «Здесь лежат ленинградцы...» или строки М. А. Дудина «Вам, беззаветным защитникам нашим...», выбитые на Пискаревском мемориальном кладбище.

Более скромная, низовая кладбищенская поэзия всегда ориентировалась на высокую классическую, разнообразно использовала ее. Упомянутая выше прямая цитация на памятниках имеет широкое распространение. Цитируют стихи Державина, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Шевченко, Некрасова, Никитина, Тютчева, Надсона, Блока и многих других поэтов. Иногда ограничиваются одной или двумя широко известными строками:

Как хороши, как свежи были розы
(Ваганьковское кладбище, 1904)

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
(Многократно в XX веке)

Еще скончался честный человек
(Калининград, 1980)

Тише... О жизни покончен вопрос,
Больше не нужно ни песен, ни слез...
(Широко распространена)

Воспроизводилась и полностью строфа, например, первые шесть строк «Вечернего звона» в переводе И. И. Козлова (Волково кладбище, 1916) или четверостишие В. С. Шефнера:

Былое становится близким
На снимках твоих, где война
Без ретуши и без подчистки
Бесхитростно отражена.²³

(Волково кладбище, 1978;
здесь и далее местонахождение ленинградских кладбищ специально не оговаривается)

или вполне законченная значительная часть произведения, например, 21 строка из лирического стихотворения малоизвестного поэта Германа Лазариса такой тональности:

Держа в руках немые иммортели,
С венком из красных роз на черных волосах,
Она придет и станет у постели.
В ее внимательных и ласковых глазах
Прочту я то, о чем мне столько лгали,
Прочту я все без боли и печали,
И будет в сердце радость, а не страх. (И т. д.)

(Смоленское кладбище, 1917)

(В этом пространным постсимволистском стихотворении речь идет о приходе смерти.)

Но, пожалуй, самый впечатляющий случай объемного, довольно точного цитирования стихотворного произведения довелось видеть не на монументальном памятнике, а на простой жестяной пластинке, укрепленной рядом с деревянной солдатской колонкой со звездой. Текст на колонке:

Уткин Леонид Георгиевич
гвардии капитан
Погиб смертью храбрых под г. Нарва 1944 г. 3 ноября

Надпись на жестянке, выполненная черной масляной краской:

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты, —
Ученый иль пастух —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя и для меня
Он сделал все, что мог —
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег!²⁴

(Смоленское евангелическое кладбище)

К точному цитированию можно отнести и условно называемые «автоцитаты», т. е. поэтические строки, воспроизводимые на памятниках поэтам. Традиция эта давняя, в XIX веке такие «автоцитаты» встречаем на надгробных памятниках Гнедичу, Баратынскому, Некрасову, Надсону, Апухтину и др. поэтам. Ситуация, когда выбор текста наследниками или потомками интересен, ответствен и общественно значим. Приведем лишь несколько надписей XX века.

У И. Северянина:

«Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!»²⁵
(Таллинн. Русское кладбище, 1941)

У О. Берггольц:

Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не героизовала, а жила.²⁶
(Волково кладбище, 1975)

У Н. Рубцова:

Россия, Русь! храни себя, храни!²⁷
(Вологда, памятник установлен
в 1988 году)

У Н. Брауна:

Нет, где-то есть страна такая,
Среди безвестных нам широт,
Где в вечном хоре, не смолкая,
Наш голос плачет и поет...²⁸
(Комарово, 1975)

Поэт мог быть не признан, просто человек писал стихи, и, вероятно, это главное из того, что осталось памятным для близких после его кончины. И тогда тоже появлялись на памятнике авторские строки. Частый случай. Вот стихи двадцатидвухлетней девушки:

Облака на небе серым покрывалом,
Кажется, заплачут в горести немой;
Луч последний солнца догорел устало
И расстался с тихой, вянущей землей.
С. Жиберкус.
(Охтинское кладбище, 1945)

Своеобразное цитирование — на памятниках композиторам. Словесная цитата дается вместе с нотной записью. Еще в XIX веке у М. И. Глинки: «Славь-ся, славься, Свята-я-Русь!», у М. П. Мусоргского: «Да ве-да-ют по-том-ки пра-во-слав-ных зем-ли род-ной ми-нув-шую судьбу!», в XX веке у А. С. Аренского: «Как доро-жу я пре-крас-ным мгновень-ем. Му-зыкой вдруг на-пол-няется слух» (Тихвинское кладбище, 1906), у Н. И. Компанейского: «Дер-зай-те, Люди-е бо-жи-и!» (Никольское кладбище, 1910). Выбор музыкальных фраз и здесь совершенно очевиден, они ключевые для творчества этих музыкантов.

Если при прямом цитировании наше внимание останавливает именно выбор цитат, говорящий о тенденциях, пристрастиях, вкусах эпохи, то когда мы имеем дело с искажением классического поэтического текста, каждый вариант заставляет искать индивидуальные объяснения, как правило, вытекающие из биографических сведений, представленных на том же памятнике. Наипростейшие явления из этой области — элементарные ошибки памяти:

Пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
А равнодушная природа
Красою вечною сиять.²⁹
(Италия, Сан-Ремо, 1905)

или необходимая замена рода, что не может не привести к утрате таких стиховых констант, как, например, рифма:

Не рыдай так безумно над ней:
Хорошо умереть молодой!

Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на ней.³⁰
(Преображенское кладбище, 1909)

Иногда у составителя эпитафии возникает желание «подправить» любимого поэта, сделать его стих «благозвучнее»:

У счастливого недруги гибнут,
А у несчастного друг умирает.³¹
(Крым, 1906)

Пример усеченного цитирования — намеренный пропуск строк, функционально не работающих на основную идею эпитафии:

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.³²
(Никольское кладбище, 1912)

І мене в сім'ї великій
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.³³
(Львов, Яновское кладбище,
1970-е годы)

Еще один принцип цитирования — создание поэтического варианта, версии, далеко отстоящей от оригинала, который едва угадывается знатоками поэзии:

В ее очах горел веселья пламень,
И счастье долгое судьба сулила ей.
Погибло все. . . пред нами грустный камень,
И не слышать ее чарующих речей.³⁴
(Калининград, 1970-е годы)

На этом пути сильной зависимости от большой поэзии могут возникать и довольно далекие от конкретного оригинала (оригиналов) образцы творчества. Эксплуатирующие давно отошедшие поэтические штампы, эклектичные, хотя и весьма «культурные» по форме, они, несмотря на трагизм тематики, скорее всего напоминают по сути своей альбомные стихи:

Жизнь прекрасная грубо разрушена,
Чистое, легкое пламя потушено.
Холодно. . . пусто. . . Затерянность жуткая. . .
Как же могла ты, ты, нежная, чуткая,
Так беспощадно уйти! . . .
Падают слезы в сознании бессилия,
Сломана милая, чистая лилия.
Горе не прощено, горе не меряно,
Но дорогое навеки утеряно.
(Минск, 1957)

Наиболее интересно для литературоведа вкрапление широко известных литературных строк в самодеятельную эпитафию. Здесь все решает чувство меры, умение, грань между литературной игрой и курьезом:

Под камнем этим педагог.
Он в жизни прост был, без затей;
Глагол, наречие, предлог —
Вот чем он жег умы людей.

Прохожий, стой! Не убегай!
Кто б ни был ты, не важен пол,
Остановись и prospрягай
Какой-нибудь глагол.

Н. В. Шеманский.

(Ташкент, Старое православное
кладбище, 1959)

Нет тебя, а жизнь идет, как прежде,
Светит солнце и цветут цветы,
Но обидно, Мишенька, обидно,
Что не видишь этого и ты.

С нами обошелся ты сурово.

Нет тебя, а нам тут слезы лей.

В нашей жизни умереть не ново.

Сделать жизнь — значительно трудней.

(Махачкала, 1977)

Эпитафия — явление нечастое на православных кладбищах. Христианская догматика, как известно, трактует посюстороннюю жизнь лишь как ступень к жизни вечной, а потому особое осмысление содеянного человеком здесь, на земле, — суета и гордыня перед высшим судом. Отсюда — неразвитость эпитафийной традиции в нашем мемориале. Но, как ни странно, эпитафия, этот заимствованный нами из античности через западную культуру жанр, тускнея и затухая со второй трети XIX века, не умирал ни в одном десятилетии. Тонкой струйкой, незамысловатым двустушием пробивается простая народная эпитафия к посетителю или случайному прохожему на кладбище. Выше мы рассматривали эпитафии, так или иначе акцентирующие свою связь с большой литературой. Но в связи с темой современного фольклора интересен именно самодеятельный стих, который сам себя не осознает ни фольклорным, ни литературным, хотя порой пользуется поэтическими клише. Даже самое простое чувство, лаконичная сентенция ищут проявиться на могильном камне в стихотворном размере, рифме, высоком строе и ладе речи:

Опять весна, опять цветы,
Все это — ты, все это — ты.³⁵

(Псков, Дмитриевское кладбище,
начало XX века)

Из России ты далекой
Полечиться забрела,
Чуть живой и одинокой,
И костыми здесь полегла.³⁶

(Италия, Сан-Ремо,
1905)

Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной.

(Смоленское кладбище,
1911)

Твой век такой кометой яркой прожит,
Что заслонить твой образ смерть не сможет.

(Кинovieевское кладбище, 1959)

Спишь ты вечным сном, наш родной,
Мы всегда с тобой.

(Кинovieевское кладбище, 1965)

И ты ушла под вечную плиту,
Оставив нам покой, любовь и доброту.

(Кинovieевское кладбище, 1968)

Твою улыбку не забыть,
Она нам помогала жить.

(Кинovieвское кладбище,
1970)

На целый мир,
На целый свет
Тебя родней,
Желанней нет.

(Кинovieвское кладбище,
1975)

Яркий пример народного стихотворного творчества и народной этики эта наивно-открытая по простоте мысли и выражения сыновняя эпитафия:

Вот здесь лежит в сырой земле
Старушка моя мать,
Которую Дарьюшкой было звать...
Всем в городе она была знакома,
У многих господ и купцов служила,
Стряпала, нянчила и детей качала.
Так вот не забудьте старых друзей —
Когда будете проходить мимо меня,
Старушку Дарьюшку помяните
И вечную память ей скажите...
И затем жди меня,
Сына твоего Михаила Кузьмича.³⁷

Наслышанная об изысках в стихотворстве вдова псковского купца помещает на памятнике мужу надпись с претензией (неудавшейся) на акrostих:

Мое ты имя помяни,
А не молча стой у могилы,
К творцу слезой воспламяни,
Сильна огъять твои, смерть, силы.
И бог помилует меня,
Молитва праведных сильна.
А в час последний воздаянья
Помилует творец небесный.
Из книг судеб изгладив воздаянья,
Мир лучший даст известный.
Я жил, любил молиться
Не за себя, а за друзей и за родных.
И в лучший мир вселиться,
А бог помилует меня и их.
Усердное мое желанье —
Слов первых сделай сочетанье.³⁸

(Псков, Дмитриевское кладбище,
конец XIX—начало XX века)

Казалось бы, во время Гражданской войны не до эпитафийных стихов, но псковский краевед, сделавший эти записи, доносит до нас особый взгляд на кровавую борьбу, который не отразился в профессиональной поэзии того времени, хотя она соединила множество самых разнообразных интонаций. Эта интонация — материнское причитание над могилой сына. И появляется новый мотив, который ни в какое другое историческое время в эпитафиях не звучит, мотив мести:

Спишь, мой сын, в земле спокойно
Из-за друзей своих...
И погиб от рук злодеев,
Что послушал их.
Милый Шура, ты невинен...

Спишь ты вечным сном.
 С юных лет уж ты в могиле
 Гибнешь мертвецом.
 Над твоей могилой черной
 Слышен вьюги вой,
 Но в тебя стрелял коварно
 Он по племю свой.
 Боже милый, ты над нами
 Распусти покров,
 Чтобы не было пред нами
 Злых своих врагов.
 Поминать тебя я стану,
 Встав пред образом.
 Разлучили нас с тобою,
 Но встретимся мы там.³⁹

(Кладбище при церкви Петра
 и Павла в погосте Средино,
 1917—1920 годы)

Спи, страдалец, невинно застреленный.
 Господь тебя упокой. . .
 Невинно убитый, невинно растерзанный,
 Злодейской подлой рукой.
 Покинул ты нас, жену и ребенка,
 Заставил нас вечно страдать, —
 Застрелен, зарезан, как режут теленка,
 Невинно — всяк может сказать.
 Накажет господь злодейскую руку.
 Кто жизнь твою прекратил,
 И заплатит ему за страшную муку
 Тем же, что он совершил.⁴⁰

(Псков, 1917—1920 годы)

Говорит другая сторона:

Здесь лежат моряки — погребенные
 Под холодной и мерзлой землей,
 В схватке жаркой врагами сраженные
 За великий народ трудовой.
 За народ и за волю святую
 Сердце львиное рвалось вперед,
 Радость, счастье и жизнь дорогую
 Все оставили в радостный год.
 Пусть огненное солнце ласкает
 Крест и землю родных моряков,
 Пусть народ вспоминает
 Красной Балтики храбрых орлов. . .⁴¹

(1919)

Это творчество матроса, скрывшегося под инициалами Э. А.

Во второй половине XX века, точнее, с конца 1960-х годов, четко обозначается еще одна тематико-стилевая характеристика эпитафий — ее обусловленность современной поэтикой. В эпитафии, особенно обращенной к молодым, рано и трагически ушедшим из жизни, начинает звучать и тема музыки, и собственно песенная интонация:

А где мне взять такую силу,
 Чтобы не плакать над тобой,
 К твоей безвременной могиле
 Склоняю голову, родной.

(Широко распространена)

Аркаша,
 Живым тебя во сне лишь мы увидим.
 Гитаре не звучать в руках твоих.

Голос звонкий больше не услышим,
Лишь в памяти остался ты живым.

(Еврейское кладбище, 1967)

Ты красива была,
Ты, как роза, цвела,
Так зачем ты
Так рано ушла?
(Киневеевское кладбище,
1977)

«Опустела без тебя земля. . .»

(Астрахань, 1970-е годы)

Скорбит разрушенный орган,
Печально в небо смотрят трубы,
Но листья шепчут, словно губы:
Не гибнет музыка от ран,
Ее не спрятать под плитой. . .
Ты в нас, родной, как наша кровь,
И смерть не властна над тобой,
Пока на свеге есть любовь.

(Львов, Лычаковское кладбище,
1968)

Светлой гитары безмолвствуют струны,
Песня твоя перестала звучать,
И над могилой твоей, вечно юной,
В скорбных слезах наклоняется мать.

(Киневеевское кладбище, 1979)

Эта новая черта поэтики объясняется, безусловно, влиянием массовой культуры.

Хочу подчеркнуть: для всех жанров и всех времен — и в самой дальней ретроспективе и в перспективе — понятие «самодетельный стих» не синоним дурного, нескладного стиха, вообще не оценочное понятие. В изучении реальной эпитафии есть психологический аспект. Ведь в надгробной надписи для многих людей всего лишь однажды и то после их смерти подводится итог жизни. Делается это живыми и для живых. Момент смерти близкого человека — всегда потрясение, которое обостряет ощущение хрупкости и недолговечности человеческого существования. Появляется потребность осмысления жизни, подчиняясь которой не философ и не поэт начинают философствовать и мыслить стихами. Эта потребность ищет выражения. Стремление зафиксировать память о высоком и трагическом моменте и ушедшем человеке реализуется часто в эпитафии. Жанр отличается повышенной эмоциональностью, экспрессия, в какой-то степени связанная с неровным, перебойным стихом. Конечно, многое в художественном воплощении определяется культурным уровнем, тактом и начитанностью авторов. Непрофессиональными стихотворцами созданы эпитафии высокого гражданского звучания, под стать классическим образцам:

Я смерти не боюсь. Назначенное время,
Что было мне отмеряно судьбою,
Я отдала Науке. . .

(Волковское лютеранское кладбище,
1941)

Он был воистину врачом.
Судьба печалится о нем.
И пусть не тронет никогда
Его судьбы и жизни дело,
Осуществленное умело,
Забвенья горькая вода.

Родные

(Львов, Яновское кладбище,
1981)

И в заключение еще об одном аспекте — собирательском. Работа эта чрезвычайно трудна. Если эпитафии XVIII—XIX веков выборочно попадали в некрополи, то эпитафии XX века не собраны, их можно скопировать только непосредственно с памятника. Памятники же — гранит, металл, тем более мрамор — не стали долговечными хранителями памяти, они гибнут. «Тверд камень сей, но временем сотрется. . .» — писал супруг в память о супруге в 1824 году (Волковское православное кладбище).⁴² Где теперь этот камень? Не защищенные от стихий и человека не то что памятники, целые кладбища XVIII—XX веков бесследно стерты с земли. Поэтому, преодолев естественное смущение от вторжения в «города мертвых» и уяснив для себя, что эпитафия выбита на камне или отлита в металле, т. е. «опубликована» для многократного прочтения и в этом отношении не более интимна, чем стихотворение с посвящением, следует собирать сохранившиеся тексты, изучать и определять их значение для непредсказуемо-самобытного развития современной народной художественно-словесной культуры.

¹ Путилов Б. Н. Современные проблемы исторической поэтики фольклора в свете историко-типологической теории // Фольклор как поэтическая система. М., 1977. С. 17. См. также: Пропп В. Я. Специфика фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 24; Богатырев П. Н. Фольклор как особая форма творчества // Вопросы теории народного искусства. М., 1977. С. 381; Базанов В. Г. Народные толки и крестьянское политическое красноречие // Русские революционные демократы и народознание. Л., 1974. С. 142—175. Алексеева О. Б. Устная поэзия русских рабочих. Дореволюционный период. Л., 1971. С. 115—116.

² Одна из первых попыток определения «зоны» изучения примитива в изобразительном и театральном искусстве была предпринята в интересном экспериментальном сборнике «Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени» (М., 1983). Проблемы литературных форм «третьей культуры» в нем не рассматривались.

³ При жизни поэта стихотворение не было опубликовано. Публиковалось по единственному автографу — записи Некрасова в альбом О. А. Козловой.

⁴ В такой редакции надпись приводится в издании: Державин Г. Р. Сочинения. Т. IX. СПб., 1883. С. 269. По свидетельству современников, Чичагов произнес перед самым сражением в ревельском рейде: «Бог защитник мой! Не проглотят они нас» (Там же. Т. III. С. 351). В такой редакции эти слова воспроизведены на могильном памятнике.

⁵ Первоначальное место захоронения — Смоленское кладбище, позднее прах перенесен в Некрополь мастеров искусств — Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры. Текст эпитафии перекликается с более ранней эпитафией А. Е. Измайлова, написанной на смерть С. Д. Пономаревой:

Все скрыто здесь: и ум, и красота,
Любезность, дарованья,
Вкус тонкий, острота,
Приятные и редкие познанья
И непритворная, прямая доброта.

(Измайлов А. Е. Полное собрание сочинений. Т. I. М., 1890. С. 386).

⁶ Старые годы. 1908. № 4. С. 211.

⁷ Этот факт приводится в ст.: Соловьев Н. О портретах Тальони // Русский библиофил. 1911. № 8. С. 16.

⁸ Надпись на самодельном плакате в заповеднике на озере Рица, 1986 год.

⁹ Надпись на самодельном плакате перед входом на рынок, г. Дербент, 1986 год.

¹⁰ Надпись приводится в кн.: Пантелеев Л. Приоткрытая дверь. Л., 1980. С. 262.

¹¹ Из выкриков разносчиков на масляничных гуляниях в Петербурге, какой товар рекламируется, из контекста не ясно (Русский инвалид. 1843. 13 февр. № 34. С. 133).

¹² Шуточная реклама в телевизионной передаче «КВН» 22 ноября 1986 года.

¹³ Там же.

¹⁴ Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 307.

¹⁵ Детская поликлиника № 12 на Загородном проспекте в Ленинграде, 1987. (Сообщено Л. В. Зубовой).

¹⁶ Стоматологическая поликлиника Василеостровского района Ленинграда, 1988 год.

¹⁷ Иосиф, епископ. Виленский православный некрополь. Вильна, 1892. С. 312.

¹⁸ Там же. С. 284.

¹⁹ Там же. С. 21.

²⁰ Федотов П. А. Рацея (Объяснение картины «Сватовство майора»). 1849. Цит. по кн.: Легенда о счастье. Проза и стихи русских художников. М., 1987. С. 57.

- ²¹ Ярославские портреты XVIII—XIX вв. Каталог выставки. Ярославль, 1980. С. 16.
- ²² Статья Т. С. Царьковой и С. И. Николаева об эпитафиях XVIII—XIX веков принята к печати в сб. «Петербургские некрополи», выпуск которого в издательстве «Книга» запланирован на 1990 год.
- ²³ Цитата из стихотворения В. Шефнера «Фронтовому фотографу» (1978).
- ²⁴ Неточная цитата из стихотворения М. В. Исаковского «Навеки запомни».
- ²⁵ Цитата из стихотворения «Классические розы» (1925).
- ²⁶ Цитата из поэмы «Февральский дневник» (1942).
- ²⁷ Цитата из стихотворения Н. Рубцова «Видение на холме» (1962).
- ²⁸ Цитата из стихотворения Н. Брауна «Не может быть, чтоб звуки песен...» (1969).
- ²⁹ Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829) (*Чернопятов В. И.* Русский некрополь за границей. М., 1908. Вып. 1. С. 47).
- ³⁰ Цитата из стихотворения Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...» (1868), навеянного смертью Д. И. Писарева. Другой вариант эпитафии — неточной цитаты из того же стихотворения:

Тяжело умирать...
Хорошо умереть молодой:
На ней пошлость и тени
Не успела положить своей.

(Франция, Ментона,
1884. Цит. по: *Чернопятов В. И.*
Указ. соч. С. 46).

- ³¹ *Чернопятов В. И.* Некрополь Крымского полуострова. М., 1910. С. 203. Ср. у Некрасова в том же стихотворении:

«У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...»

- ³² Цитата из стихотворения Баратынского «На смерть Гете» (1832), после второго стиха пропуск:

И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.

- ³³ Цитата из стихотворения Т. Г. Шевченко «Зиповіт» (1845), после первого стиха пропуск:

В сем'ї вольній, новій

- ³⁴ Парафраз последней строфы стихотворения И. П. Мятлева «Розы» (1843):

В ее очах — веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она? .. В погосте белый камень
На камне — роз моих завянувший венки!

- ³⁵ *Платонов Н. И.* Поэзия псковских кладбищ. В кн.: Познай свой край. Сб. Псковского Общества Краеведения. Псков, 1929. Вып. IV. С. 68.

- ³⁶ *Чернопятов В. И.* Русский некрополь за границей. Вып. 1. С. 63.

- ³⁷ *Платонов Н. И.* Указ. соч. С. 65.

- ³⁸ Там же. С. 69.

- ³⁹ Там же. С. 70—71.

- ⁴⁰ Там же. С. 71.

- ⁴¹ Там же. С. 70.

- ⁴² Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 1. С. 84.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. С. Шаркова

ПОДПИСКА ЕКАТЕРИНЫ II НА ИНОСТРАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Почти в любой работе, так или иначе затрагивающей тему «Русское общество и Великая французская революция 1789 года», приводится следующий отрывок из воспоминаний «мечтателя отжившего XVIII века», издателя «Русского вестника» С. Н. Глинка, относящийся к первым годам революции во Франции: «Граф Ангальт (начальник Шляхетного корпуса. — *И. Ш.*) не говорил нам ни о каких отдаленных причинах перелома европейского мира, но, чтобы ознакомить нас с тогдашними обстоятельствами, учредил в нашем зале новый стол со всеми повременными заграничными известиями. В корпусе, а не по выходе из него, узнал я о всех лицах, действовавших тогда на европейском театре. . . Помню, что во всех тогдашних наших срочных изданиях особенно вооружались против корней ябеды и заразы роскоши и мод, истощавших быт сельский, а о политической буре европейской (курсив мой. — *И. Ш.*) в них не было и помину, она как будто и не существовала для России».¹ Возможно, С. Н. Глинка слишком категоричен в последнем своем заявлении,² но он прав в том, что основную информацию о революции во Франции русский образованный читатель мог получить из иностранной периодической печати.

Какие издания поступали в Российскую империю, можно судить по каталогам дворянских библиотек, по упоминаниям в переписке или воспоминаниям людей XVIII века, по немногочисленным экземплярам газет и журналов того времени, хранящимся в библиотеках.³

Особую ценность имеют документы об иностранной подписке Екатерины II, хранящиеся в ЦГИА в материалах Кабинета (Ф. 468). Это «изустные повеления» императрицы об оплате из Кабинета счетов, представленных Санкт-Петербургским почт-директором Августом Ганом «за выписанные для ее величества иностранные газеты и журналы» за 1789—1796 годы: таковых счетов пять⁴ на общую сумму 2856 рублей 50 копеек.⁵ Все документы сопровождаются «Реестрами» выписанных газет, журналов и календарей для Екатерины II за каждый год, которые приведены ниже.

1. Реестр выписанным из Кенигсберга и из Мемеля для ея императорского величества на сей 1789 год газетам

| Число экзем- пляров | А имянно | Рублей | Копеек |
|---------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Журналь Энциклопедик | 20 | |
| 1 | Сент Жямес Кроникль | 36 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 36 | |
| 2 | Курие дю ба рян | 30 | |
| 1 | Газет Амстердамских | 15 | |
| 1 | Газет де Винь | 17 | |
| 3 | Газет Гамбургских | 30 | |
| 1 | Газет Берлинских от Фосса | 8 | |
| 1 | Газет Штетинских на белой бумаге | 8 | |
| 1 | Газет Алтонайских | 10 | |
| 1 | Газет Ерлангских | 8 | |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала | 10 | |

| | | |
|---|--|----------|
| 1 | Газет Кологнских | 15 |
| 1 | Шауплац дер велт с сентября м(есяца) | 5 |
| 1 | Политиш Штатен Цейтунг с сен- тября | 5 |
| 1 | Бритиш Нахрихтен Итого | 7 260 |

Контролер Франц Бель.⁶

2. Реестр выписанным из Кенигсберга и Мемеля для ея императорского величества на сей 1790 год иностранным газетам и журналам

| Число экзем- пляров | А имянно | Рублей | Копеек |
|---------------------------|--|--------|--------|
| 1 | Журналь Енциклопедик | 30 | |
| 2 | Жямес Кроникль | 56 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 56 | |
| 2 | Курие дю ба рян | 46 | |
| 1 | Газет де Кологнь | 23 | |
| 1 | Газеты Амстердамские | 23 | |
| 1 | Патриот франсез | 45 | |
| 3 | Газет Гамбургских | 39 | |
| 1 | Газеты Берлинские | 13 | |
| 1 | Газеты Штетинские | 16 | |
| 1 | Газеты Ерлангские | 13 | |
| 1 | Алтонайской Меркуриус | 16 | |
| 1 | Алгемайн политиш штетен-цейтунг | 20 | |
| 1 | Шауплац дер велт по апрель месяц | 4 | |
| 1 | Курие де Молдави | 16 | |
| 1 | Гамбургский политишес журнал | 16 | |
| 1 | Газеты Венские | 35 | |
| 1 | Анналь Патриотик де ла Франс по ап- рель месяц | 10 | |
| 1 | Газеты Лейденские | 23 | |
| 1 | Газеты Министеральные | 18 | |
| 1 | Клубс литерер по июль месяц | 20 | |
| | Итого | 538 | |

Сентября 28 дня 1790 года

Август Ган
Секретарь Франц Бель.⁷

3. Реестр выписанным из Кенигсберга и Мемеля для ея императорского величества на сей 1791 год иностранным газетам и журналам

| Число экзем- пляров | А имянно | Рубли | Копейки |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|---------|
| 1 | Журналь Енциклопедик | 28 | |
| 2 | Те Жямес Кроникль | 56 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 56 | |
| 2 | Курие дю ба рян по 21-му рублю | 42 | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| 1 | Газет Лейденских | 21 |
| 1 | Газет Амстердамских | 20 |
| 1 | Газет Кологнских | 21 |
| 3 | Газет Гамбургских по 12 рублей | 36 |
| 1 | Газет Берлинских от Фосса | 12 |
| 1 | Газет Штетинских | 12 |
| 1 | Газет Ерлангских | 12 |
| 1 | Газет Алтонайской Меркуриус | 12 |
| 1 | Газет Политиш Штаатен Цейтунг по июль | 10 |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала | 14 |
| 1 | Газет Венских | 33 |
| 1 | Министериаал Цейтунг по июль | 7 |
| 1 | Гамбургский Монате шриффт | 14 |
| | Итого | 406 |

Август Ган
Контролер Франц Бель.⁸

4. Щет выписанным из Кюнигсберга и Мемеля для ея императорскаго величества иностранным газетам и журналам в 1792 году

| Число экзем- пляров | А имянно | Рублей | Копеек |
|---------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Журналь Энциклопедик | 28 | |
| 1 | Те Жямес Кроникль | 56 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 56 | |
| 1 | Курие дю ба рян | 22 | |
| 1 | Газет Лейденских | 22 | |
| 1 | Газет Кологнских | 22 | |
| 1 | Газет Амстердамских | 21 | |
| 2 | Газет Гамбургских | 26 | |
| 1 | Газет Берлинских | 13 | |
| 1 | Газет Штетинских | 13 | |
| 1 | Газет Ерлангских | 13 | |
| 1 | Алтонауер Меркуриус | 13 | |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала | 14 | |
| 1 | Газет Венских | 33 | |
| | Итого | 352 | |

Контролер Франц Бель.⁹

5. Реестр выписанным из иностранных почтамтов для ея императорскаго величества иностранным газетам и журналам на сей 1793 год

| Число экзем- пляров | А имянно | Рублей | Копеек |
|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 1 | Журналь Энциклопедик | 28 | |
| 2 | Ст. Жямес Кроникль | 56 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 56 | |
| 1 | Курие дю ба рян | 21 | |
| 1 | Газет Лейденских | 21 | |
| 1 | Газет Кологнских | 21 | |
| 1 | Газет Амстердамских | 21 | |

| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| 1 | Газет Гамбургских на белой бумаге | 36 |
| 1 | Газет Берлинских | 14 |
| 1 | Газет Штетинских | 14 |
| 1 | Газет Ерлангских | 14 |
| 1 | Алтонайской Меркуриус | 14 |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала | 14 |
| 1 | Газет Венских | 38 |
| 1 | Газет де Франс Насиональ | 60 |
| | Итого | 428 |

Контролер Франц Бель.¹⁰

6. Реестр выписанным из Кюнигсберга и Мемеля для ея императорскаго величества иностранным газетам и журналам в нынешнем 1794 году

| Число экзем- пляров | А имянно | Рубли | Копейки |
|---------------------------|--|-------|---------|
| 1 | Ст. Жямес Кроникль | 58 | |
| 2 | Те Лондон Кроникль | 58 | |
| 1 | Курие дю ба рян | 21 | |
| 1 | Газет Лейденских | 21 | |
| 1 | Газет Кологнских | 21 | |
| 1 | Газет Амстердамских | 21 | |
| 2 | Газет Гамбургских на белой бумаге | 36 | |
| 1 | Газет Берлинских | 14 | |
| 1 | Газет Штетинских | 14 | |
| 1 | Алтонауский Меркуриус | 14 | |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала Календарей | 16 | |
| 2 | Готаишских в шелковом переплете | 5 | |
| 2 | Геттингшских | 4 | |
| 2 | Берлинских исторических | 6 | 50 |
| 2 | Берлинских генеалогических | 6 | 50 |
| | Итого | 316 | |

Октября 13 дня 1794 года.¹¹

Контролер Франц Бель

7. Реестр выписанным из иностранных почтамтов для ея императорскаго величества газетам и журналам на нынешний 1795 год

| Число экзем- пляров | А имянно | Рубли | Копейки |
|---------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| 1 | Ст. Жямес Кроникль | 73 | |
| 2 | Те Лондон Кроникль | 73 | |
| 1 | Курие дю ба рян | 21 | |
| 1 | Газет Лейденских по июль месяц | 10 | 50 |
| 2 | Гамбургских газет на белой бумаге | 36 | |
| 1 | Газет Берлинских | 14 | |
| 1 | Газет Штетинских | 14 | |
| 1 | Алтонаускаго Меркуриуса | 14 | |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала | 16 | |
| | Итого | 271 | 50 |

Ноября 2 дня 1795 года.¹²

Контролер Франц Бель

8. Реестр выписанным из иностранных почтамтов для ея императорского величества газетам и журналам и календарям на сей 1796 год

| Число экзем- пляров | А имянно | Рубли | Копейки |
|---------------------------|--|----------------------|---------|
| 1 | Ст. Жямес Кроникль | 73 | |
| 1 | Те Лондон Кроникль | 73 | |
| 1 | Курие дю ба рян | 21 | |
| 2 | Газет Гамбургских на белой бумаге | 36 | |
| 1 | Газет Берлинских от Фосса | 14 | |
| 1 | Газет Штетинских | 14 | |
| 1 | Алтонауский Меркуриус | 14 | |
| 1 | Гамбургскаго политическаго журнала Календарей | 16 | |
| 3 | Берлинских исторических | 7 | 50 |
| 1 | Берлинской к проведению времени для до- бронравия | 5 | |
| 1 | Берлинской генеалогической | 2 | 50 |
| 1 | Карманная книжка от Бекера | 4 | |
| 2 | Альманахи Готаиских | 2 | 50 |
| 2 | То ж Гюттингских | 2 | 50 |
| | Итого | 285 | |
| | | Контролер Франц Бель | |

Октября 16 дня 1796 года.¹³

Таков большой и разнообразный репертуар иностранной прессы, выписывавшейся Екатериной II. В нем преобладают франкоязычные немецкие, голландские и австрийские газеты («*Courier du Bas-Rhin*», «*Gazette de Cologne*», «*Gazette de Hamburg*», возможно, «*Gazette Française de Berlin*», «*Gazette d'Amsterdam*», «*Gazette de Vienne*» и т. д.), а также немецкие издания (например, «*Politisches Journal nebst Anzeiger von gelehrten und andern Sachen*» (Hamburg), «*Altonaischer Mercurius*» и др.), но следует отметить и постоянную подписку русской императрицы на две английские газеты: «*St. James's Chronicle*» и «*The London Chronicle or universal evening Post*», первая из которых давала информацию о парламентских дебатах.¹⁴

Из французских периодических изданий в подписке Екатерины II присутствуют всего четыре издания, что объясняется, по-видимому, не столько начавшейся революцией, сколько ее личными вкусами. Заслуживает быть отмеченным ее внимание к «Энциклопедическому журналу» («*Journal Encyclopédique*»), издававшемуся с 1756 года Пьером Руссо, а после его смерти в 1785 году до 1793 года (времени закрытия) — его родственником Ш.-А. Вейсенбрухом в Бельгии (сначала в Льеже, а затем в Бульоне).¹⁵ В нем пропагандировались идеи Просвещения, и он был близок к «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, что следует не только из названия, но и из списка сотрудников, в числе которых были Вольтер, Карра, Нэжеоны, Шамфор.¹⁶ Журнал приветствовал начало революции во Франции, рассказав своим читателям и о взятии Бастилии, и о «ночи 4 августа», когда было принято решение об отмене феодальных привилегий, «этом великолепном представлении, достойном остаться в веках и послужить образцом для всех народов».¹⁷

Особенно следует подчеркнуть наличие в перечне иностранной периодики, выписанной Екатериной II, газеты «Французский патриот» («*Patriote français*»), издававшейся видным французским журналистом, членом Якобинского клуба, жирондистом Ж.-П. Бриссо де Варвилем.¹⁸ Эта ежедневная газета, выходившая на 4 страницах in quarto, перво-

начально ограничивалась лишь отчетами о заседаниях Национального собрания и их комментированием, но с марта 1790 года (т. е. во время подписки на нее Екатерины II) она увеличила свой объем, начав печатать статьи, очерки, заметки, письма, авторами которых были известнейшие в то время политические деятели Кондорсе, Грегуар, Лантен, Петтион и др.¹⁹ Трудно сказать, чем привлекло русскую императрицу это издание, ведь отчеты о дебатах в Национальном собрании печатала почти вся получавшаяся ею иностранная пресса.

По-видимому, возросший интерес к европейским (в особенности к французским) событиям проявился и в увеличении подписки на иностранную периодику: 21 издание в 1790 году против 16 в 1789-м (см. реестры 1 и 2). Иностранная пресса давала Екатерине II дополнительную информацию о французской революции. Все перечисленные издания изобиловали сообщениями о взятии Бастилии, о дальнейших событиях, о распространении революции на соседние страны,²⁰ о заседаниях Национального собрания, его решениях, официальных документах,²¹ видных деятелях революции и т. д. Она давала ей также возможность определить отношение к французским событиям общественного мнения как в самой Франции, так и за ее пределами — в Англии, Голландии, германских государствах, Австрийской империи.

Подтверждением того, что Екатерина II внимательно читала газеты, служит известная история о запрещении перепечатки в «Московских ведомостях» свидетельств из «Берлинской газеты № 130 от Фосса», в которой «между разными анекдотами до жизни покойной королевы французской касающимися напечатаны многие непристойности». Типографии Московского университета, в которой печатались «Ведомости», было приказано, чтобы в них не были внесены подобные анекдоты, а если «паче чаяния оныя уже вышли», генерал-губернатору Москвы А. А. Прозоровскому следовало принять меры «к их оставлению».²² С целью успокоить Прозоровского И. И. Мелиссино 12 ноября того же года сообщал ему, что «в „Московских ведомостях“ никогда ничего из Берлинских Газет не печатается, а вносятся артикулы из одних только Гамбургских ведомостей, да и то такие, которые уже в Петербургских газетах напечатаны».²³ Нужно отметить также, что распоряжение Екатерины II вызвало конфискацию 130 номера «Берлинской газеты» на московском почтамте, остальные же доставленные на почтамт иностранные газеты («лейденские и de divers endroits»)²⁴ были выданы, ибо, как писал А. А. Прозоровскому 14 ноября 1793 года московский почт-директор И. Б. Пестель, «удержанием наводится только более сомнения».²⁵ Может быть поэтому впоследствии, чтобы «не наводить сомнения» и не вызывать ненужных толков, в «Московских ведомостях» печатались примечания такого рода: «Последние три (четыре, пять и т. д. — *И. Ш.*) Почки иностранных Газет не получены здесь в Москве».²⁶

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что публикуемые документы об иностранной подписке Екатерины II в 1789—1796 годах, во-первых, помогут будущим исследователям выяснить соотношение известий о французской революции, печатавшихся в Петербурге, Москве и провинции, с иностранной прессой, поступающей в Российскую империю. Во-вторых, если до сих пор иностранная пресса интересовала историков в основном с точки зрения отражения в ней русских событий (например, пугачевского восстания),²⁷ то теперь, зная репертуар иностранной периодики, получавшейся в России, можно определить степень информированности русского общества об одном из величайших событий в истории — Великой французской революции. И в-третьих, публикуемые «Реестры» с указанием цены дают возможность судить не только о постоянном интересе к тем или иным изданиям и регулярности подписки на них, но также и об изменении условий их выписки, что важно для истории международной книготорговли и международного книгообмена.

Газеты и журналы являются наиболее массовым средством информации и культурного обмена между странами. Если рассматривать вопрос шире, то можно утверждать, что документы об иностранной подписке Екатерины II могут служить источником и для изучения русско-западноевропейских культурных связей.

¹ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895. С. 76—77.

² См., например: Брикнер А. «С.-Петербургские ведомости» во время французской революции // Древняя и новая Россия. 1876. Год второй. Т. 1. С. 71—87, 158—173; Кирпичников А. «Московские ведомости» в 1789 году и начало французской революции // Исторический вестник. 1882. Т. 9. С. 449—470; Каганова А. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и современная ей русская пресса // Вопросы истории. 1947. № 7. С. 87—94 и др. работы.

³ См.: Каталог газет на иностранных языках в фондах ГПБ: 1631—1916. Вып. 1—2. Л., 1967; Газеты на иностранных языках в фондах Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Ч. 1—IV. М., 1985.

⁴ За 1789—1791 годы один счет, представленный в сентябре 1792 года.

⁵ ЦГИА. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. № 4026—4028, 4030—4031. Сумма по ценам того времени условно значительная, но следует отметить, что почти такая же сумма — 2571 рубль — была выплачена «санкт-петербургским почтамтом за выписанные для их императорских высочеств (Павла Петровича и Марии Федоровны. — И. Ш.) иностранные газеты и журналы королевско-прусскому мемельскому почтамту» только за два года — 1790 и 1791-й (Там же. № 4028. Л. 371; к сожалению, перечень выписанных изданий отсутствует).

⁶ ЦГИА. Ф. 468. Оп. 1. Ч. 2. № 4026. Л. 369.

⁷ Там же. Л. 370—370, об.

⁸ Там же. Л. 368.

⁹ Там же. Л. 432.

¹⁰ Там же. № 4027. Л. 602.

¹¹ Там же. № 4028. Л. 580.

¹² Там же. № 4030. Л. 341.

¹³ Там же. № 4031. Л. 778.

¹⁴ Alexander A. The History of British Journalism. London, 1859. Vol. 1. P. 196.

¹⁵ Charlier G., Mortier R. Le Journal Encyclopédique (1756—1793). Bruxelles, 1952; Histoire générale de la presse française. T. 1: Des origines à 1814. Paris, 1969. P. 171, 273, 275—279 etc.

¹⁶ Charlier G., Mortier R. Op. cit. P. 8.

¹⁷ Ibid. P. 38. Журнал выписывала не только Екатерина II. Он находился также и в библиотеке С. Р. Воронцова. См.: Берков П. Н., Малейн А. И., Тонкова Р. М. Издания времени Великой французской революции в собрании Одесской Центральной научной библиотеки // Изв. АН СССР. Отд. обществ. наук. 1935. № 6. С. 604.

¹⁸ Карп С. Я. Общественно-политические идеи и деятельность Бриссо в годы Великой французской революции. Автореф. канд. дис. М., 1987.

¹⁹ Кунов Г. Французская пресса в первые годы Великой революции / Пер. с нем. Пгр., 1919. С. 42; Histoire générale de la presse française. T. 1. P. 424—427 etc.

²⁰ В этой связи интересна напечатанная на узкой полоске бумаги вклейка к номеру газеты «Courier du Bas-Rhin» от 21 августа 1789 года: «В настоящий момент нас уверяют, что в Льеже и в стране происходит революция, почти похожая на ту, что происходит во Франции, но без пролития крови. Если эта новость подтвердится, мы сообщим детали в следующих номерах» (Courier du Bas-Rhin. 1789. P. 625-a).

²¹ В августовских номерах «Courier du Bas-Rhin» печатался проект «Декларации прав человека и гражданина». Интересно отметить, что имеющийся в ГПБ экземпляр этой газеты за 1789 год принадлежал М. М. Щербатову.

²² Письмо Д. П. Трошинского А. А. Прозоровскому от 3 ноября 1793 года // ЦГАОР г. Москвы. Ф. 16. Оп. 3. № 4. Л. 1. Подобные распоряжения были сделаны и другим изданиям. См.: Каганова А. Указ. соч. С. 88.

²³ ЦГАОР г. Москвы. Ф. 16. Оп. 3. № 4. Л. 3.

²⁴ По-видимому, имеется в виду лейденская газета «Nouvelles extraordinaires de divers endroits». Годовой комплект за 1790 год, выписанный А. М. Голицыным, хранится в ЦГАДА.

²⁵ ЦГАОР г. Москвы. Ф. 16. Оп. 3. № 4. Л. 12, 9.

²⁶ Московские ведомости. 1794. № 62 и след.

²⁷ См.: Корнилович О. Е. Общественное мнение Западной Европы о Пугачевском бунте // Анналы. III. Пгр., 1923. С. 149—176; Мавродин В. В. Крестьянская война в России в 1773—1775 гг. Восстание Пугачева. Л., 1961. Т. 1. С. 261—268; Шаркова И. С. «La Gazette de France» о Крестьянской войне в России под предводительством Е. И. Пугачева // Крестьянские войны в России XVII—XVIII веков: Проблемы, поиски, решения. М., 1974. С. 380—389; Hoffmann P., Schützler H. Der Pugačowaufstand in Zeitgenössischen deutschen Berichten // Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas. 1962. Bd. 6. S. 341—365; Alexander J. T. Western Views of the Pugachow Rebellion // The Slavonic and East European Review. 1970. Vol. XLVIII. № 113. P. 520—536.

Н. Н. Петрунина

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА

1

Первое всестороннее исследование вопроса о формировании у юноши Пушкина мысли об отдельном издании своих стихотворений было предпринято М. А. Цявловским в 1935—1936 годах. Работа эта назначалась для большого академического собрания сочинений поэта, где ею предполагалось открыть примечания к тому лицейской лирики. В связи с вынужденным изменением плана издания первый его том, как известно, вышел без комментария. Обширные примечания к лицейской лирике были к этому времени набраны, и труд Цявловского, поныне полностью не напечатанный, сохранился в виде типографских гранок и — отчасти — верстки, которые со временем попали в Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).¹

В своем исследовании Цявловский исходил из сохранившихся в архиве поэта разрозненных источников, между которыми он пытался установить связь. Это была, во-первых, так называемая Лицейская тетрадь — первая рабочая тетрадь Пушкина,² которую открывает сборник его лицейских стихотворений, переписанный частью самим поэтом, частью лицевыми пушкинского выпуска; во-вторых, построенная по жанровому принципу программа издания стихотворений, набросанная Пушкиным на рукописи «Пирующих студентов» (ПД 17). Кроме того, Цявловский привлек ряд косвенных свидетельств, исходящих от современников Пушкина. К ним мы вернемся ниже.

Выводы, к которым пришел Цявловский, таковы: «В сентябре—октябре 1816 года (Пушкин) пишет послание „К Жуковскому“ («Благослови, поэт! . .»), которое должно было открывать собою сборник стихотворений. Рождественские каникулы, с 24 декабря 1816 г. по 1 января 1817 г. Пушкин пробыл в Петербурге, куда на праздник приехал (из Дерпта) и Жуковский. . . Во время, надо полагать, частых свиданий с Жуковским, с которым Пушкин не виделся с марта 1816 г., он рассказывал ему о плане издать сборник своих стихотворений и обещал доставить их Жуковскому. Последний в большом письме из Дерпта к Дашкову, излагая свой план издания периодического сборника „Аониды“ и перечисляя намеряемых сотрудников, называет среди них и Пушкина, о котором пишет: „Он обещал мне доставить свои рукописи. Твое дело послать к нему за ними и их ко мне переслать. Не замедли“. . . Письмо Жуковского не датировано; судя по содержанию, написано оно в 1817 году и, вероятно, в феврале»³ — пишет далее Цявловский и заключает: «Собранием стихотворений, которое Пушкин обещал доставить Жуковскому, и является тетрадь № 2364 ЛБ (ныне ПД 829). План же

сборника набросан Пушкиным на рукописи стихотворения „Пирующие студенты“. . . Список составлен в начале января 1817 г., так как только к этому времени могли быть написаны пятнадцать элегий, в число которых входит элегия „Опять я ваш, о юные друзья. . .“, написанная Пушкиным, вероятно, вскоре по приезде из Петербурга (1 января 1817 г.). Кроме этой элегии, ни одно из стихотворений 1817 года в список не вошло».⁴

Тем самым Цявловский устанавливает целую систему связей: между пушкинским посланием 1816 года «К Жуковскому» и замыслом сборника стихотворений; между программой издания, сохранившейся на рукописи «Пирующих студентов», и перепиской стихов Пушкина в Лицейскую тетрадь. («Происхождение тетради, — утверждает он, — связано с замыслом Пушкина издать отдельной книгой собрание своих стихотворений».⁵) Одновременно исследователь отождествляет обещанные Пушкиным Жуковскому для сборника «Аониды» стихи с теми же «Стихотворениями Александра Пушкина», открывающими Лицейскую тетрадь. К этому следует добавить априорную убежденность Цявловского в том, что программа издания предшествовала составлению рукописного сборника стихотворений в Лицейской тетради.

Все эти конструктивные положения Цявловского были позднее приняты Б. В. Томашевским.⁶ Между тем каждое из них гипотетично, что побуждает вернуться к исходным фактам. Факты же таковы.

Первые прямые свидетельства о затеваемом Пушкиным издании своих стихотворений относятся к декабрю 1818 года. Это следующие одно за другим письма — С. А. Соболевского к А. Н. Соимонову от 19 декабря с сообщением о распространении подписных билетов на сборник стихотворений Пушкина⁷ и А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 24 декабря, где сказано: «Пушкин печатает свои сочинения».⁸

Бесспорно связана с мыслями об издании программа, набросанная на рукописи «Пирующих студентов» (ПД 17). Автограф не датирован.⁹ Единственный путь к определению времени, когда программа была составлена, — изучение ее состава, хронологии упомянутых в ней произведений. Дело это непростое, однозначные решения, как мы вскоре убедимся, здесь недостижимы.

В отличие от программы рукописный сборник «Стихотворения Александра Пушкина» поддается датированию. Со всей доступной и на сегодняшний день точностью время переписки стихов в Лицейскую тетрадь определил Цявловский. «Страницы тетради заполнялись подряд, — писал он, подразумевая лл. 1—41, заня-

тые лицейскими стихотворениями. — Когда были заполнены первые двадцать пять листов, в точности неизвестно, но... тетрадь была заведена во всяком случае не раньше возвращения Пушкина из Петербурга в лицей 1 января 1817 г. Этот год выставлен и на заглавном листе тетради. Судя по тому, что на л. 26 об. под стихотворением „Усы“ помечено: „писано 8-го Марта 1817 года“, первые двадцать шесть листов заполнены в январе—8 марта 1817 г. На л. 31, под стихотворением „Моему Аристарху“ помечено: „10 марта 1817 (переписано)“. Таким образом лл. 27—29 об., занятые стихотворениями „Безверие“ и „Элегия“ («Опять я ваш...»), заполнились 8—10 марта Л. 38 об. занят стихотворением „Товарищам“, написанным едва ли ранее мая. Следовательно тетрадь заполнялась до последних дней пребывания Пушкина в Лицее.¹⁰

Находящиеся в той же Лицейской тетради (л. 45) наброски виньеток для предполагавшегося издания датируются предположительно, по соседству с записью двух стихов 1-й песни «Руслана и Людмилы», «концом 1817 или началом 1818 года».¹¹ Особенно полагаться на эту датировку, однако, не стоит. Рисунки появились на л. 45 раньше, чем корректирующие записи 74-го и 163-го стихов 1-й песни поэмы, которая и сама по себе трудно поддается датированию. Нам представляется наиболее вероятным, что систематическая, упорядочивающая работа Пушкина над первыми двумя песнями «Руслана и Людмилы» велась на протяжении 1818 года, а возможно, еще и в начале 1819 года, вплоть до февральской болезни поэта.

И, наконец, вопрос о связи между замыслом издания и посланием Пушкина «К Жуковскому» («Благослови, поэт!...»), о времени, когда старший поэт был посвящен в издательские планы младшего, и о формах, в которых выражалась поддержка Жуковского. В понимании Цявловского, именно здесь крылся ключ к обстоятельствам, при которых у Пушкина зародился и формировался план издания. Тщательно изучив источники и текстовые реалии и заключив, что послание «К Жуковскому» написано в сентябре-октябре 1816 года, М. А. Цявловский делает следующий вывод: «Первая мысль о самостоятельном сборнике стихов возникла, следовательно, у поэта в сентябре-октябре 1816 г. Иначе нельзя объяснить, почему Пушкин, уже четыре года занимавшийся сочинением стихов и печатавший их в течение двух лет (1814—1815), просит теперь у Жуковского „благословения“. „Благословения“ просит он, конечно, не на писание стихов, а на печатание их отдельной книгой. „В трудный путь“ пускается поэт, издавая первый сборник своих стихотворений».¹² Далее исследователь последовательно, шаг за шагом раскрывает проблемный характер и программное назначение послания «К Жуковскому».

Соглашаясь с такой, во многом неоспоримой интерпретацией пушкинского текста, позволим себе заметить, что она не может служить достаточным основанием для вывода, согласно ко-

торому послание назначено было открывать собою печатное собрание стихотворений Пушкина, а тем более для заключений о том, когда возникла у поэта мысль о самостоятельном сборнике стихов. Ведь, относя замысел издания к осени 1816 года, мы не можем и сейчас опереться на другие — прямые или косвенные — свидетельства. Можно, правда, по-разному толковать причину, по которой в программе ПД 17 на первое место выдвинулось послание «К Александру» («На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.»): это могло, в частности, диктоваться соображениями этикета. А непосредственно за посланием «К Александру» в программе, как бы подтверждающая гипотезу Цявловского, следуют два послания к Жуковскому. Напомним, однако, что время составления программы остается неизвестным и, свидетельствуя о месте, которое отводилось посланию «К Жуковскому» в замышлявшемся издании, она не может служить доводом в пользу предположения, будто стихи «Благослови, поэт!...» уже в момент их создания рассматривались как программное введение к сборнику.

И все же необходимо ответить на вопрос, что другое, если не мысль о будущем издании отдельной книжкой своих стихов, могло побудить Пушкина в сентябре-октябре 1816 года написать еще одно, уже третье по счету послание к Жуковскому, причем такое, программность которого не вызывает сомнения.

Обосновывая свою гипотезу, М. А. Цявловский исходит прежде всего из 28 начальных и 8 заключительных стихов послания, состоящего из 122 строк. Именно они, по мнению ученого, «определенно говорят о том, что (стихотворение) предназначалось открывать собою сборник стихотворений Пушкина».¹³ Думается, что толчком к созданию послания послужили иные мотивы, ближе характеризующие внутреннюю жизнь Пушкина-поэта. Предлагаемая альтернативу гипотезе Цявловского, мы основываемся на таком понимании послания «К Жуковскому», для которого равно существен весь его текст, включая центральную, полемическую часть.

Тема пушкинского послания — тема жизненного предназначения, творческого призвания, самоопределения в сложной борьбе литературных сил. Писать и печатать стихи — одно, другое — «Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел» (I, 194). Для лицезов первого выпуска настало время размышлений о будущем, близилась пора выбора жизненного пути. В стихах Пушкина, писанных весной 1817 года, тема эта неизменно окрашена шуткой. В послании «К Жуковскому» иная тональность: «Нет, нет! решил я — без страха в трудный путь» (I, 194). Отважно вступая на путь поэтического служения, Пушкин взывает к «возвышенной душе» Жуковского: «Благослови, поэт!...»; ободренный вниманием Карамзина, Дмитриева, Державина, избирает их своими проводниками в мире поэзии; с позиций Арзамаса обрушивает приговор на боевые дружины Беседы. Именно как знак определившейся литературной ориента-

ции следует понимать подпись «Арзамасец» под единственным известным автографом послания — подпись, привлекавшую внимание более всего в процессе датирования стихотворения.¹⁴

Думается, что программный характер послания 1816 года к Жуковскому стал причиной, по которой в списке стихов для замышлявшегося издания послание заняло одно из первых мест. Мало вероятно, чтобы семнадцатилетний поэт обращал стихи к Жуковскому, изначально связывая их высокую программность с нуждами будущего сборника стихов.

Недоумение вызывает и трактовка М. А. Цявловским письма Жуковского к Дашкову (февраль (?) 1817 года) с просьбой послать к Пушкину за обещанными рукописями. Письмо не дает ни малейшего повода связывать рукописи, о которых идет речь, с собственно пушкинским проектом издания сборника стихотворений. Более того, контекст письма со всей определенностью свидетельствует о том, что Пушкин обещал Жуковскому стихи для задуманного им, Жуковским, периодического сборника «Аониды».

Что же касается Лицейской тетради, то она безусловно была в руках Жуковского, и, быть может, не однажды: Т. Г. Цявловская, тщательно изучив рукопись «Стихотворений Александра Пушкина», выявила в ней ряд разнохарактерных помет и записей Жуковского.¹⁵ Однако утверждение о том, будто в конце 1816 года Пушкин при встречах с Жуковским вел с ним разговоры о планах издания своих стихов отдельной книжкой, решительно ничем не подтверждено.

Возвращаясь к целостной картине развития пушкинского замысла издания, каковой предстает она в гипотетической реконструкции Цявловского, остается заключить, что в разной мере вероятное (но неизвестно, бывшее ли в действительности) объединяется в этой картине вокруг единственного неоспоримого свидетельства — автографа с наброском программы издания. В своем дальнейшем анализе мы будем исходить из того, что изначальная связь между Лицейской тетрадью с открывающим ее сборником стихотворений Пушкина и отраженным в программе ПД 17 замыслом поэта выпустить свои стихи отдельной книжкой также остается пока гипотезой. И гипотеза эта нуждается в проверке и подтверждении.

2

Как показывают пушкинская этикетка на переплете и заглавный лист Лицейской тетради, она была заведена специально для переписки стихотворений. Кроме Пушкина, рукою которого переписано шесть стихотворений, в работе, по наблюдениям Т. Г. Цявловской, приняли участие двадцать два его товарища по Лицею. Всего в тетрадь вписано сорок стихотворений.

Об обстоятельствах, сопутствовавших созданию рукописного сборника стихотворений Пушкина и предопределивших коллективный харак-

тер этой работы, сведений не сохранилось. Лишь в свете наблюдения М. А. Цявловского, подчеркнувшего, что в тетрадь «были списаны только стихотворения, не появлявшиеся в печати»,¹⁶ выявилась возможность объяснить смысл пометы «№ 2», выставленной Пушкиным на заглавном листе одновременно с титулом «Стихотворения Александра Пушкина. 1817». По-видимому, под «№ 1» мыслились произведения напечатанные. Однако полностью нельзя исключить и другой возможности: могло быть, что в составе тетради сохранился не первый приступ поэта к своду своих лицейских стихотворений, что ему предшествовала другая рукопись, которая не упразднилась перепиской стихов в специально для этого заведенную тетрадь.

В работе, остающейся на сегодняшний день в интересующем нас отношении итоговой, Б. В. Томашевский писал: «(Пушкин) набросал план издания. С этого начинается подготовка к изданию стихотворений... В начале 1817 г. ... в особую тетрадь... переписано 40 стихотворений без особого порядка».¹⁷ Бросается в глаза явное противоречие: подготовка к изданию начинается с размышлений о плане сборника, а между тем в Лицейскую тетрадь стихи переписываются «без особого порядка». К тому же, добавим, отбираются они по внешнему признаку: в тетрадь попадают одни неопубликованные тексты. Иной системы отбора уловить здесь невозможно. Сопоставление рукописного сборника с программой ПД 17 делает это особенно очевидным.

Для удобства приведем текст программы¹⁸ полностью:

1. Часть

1¹⁹

Послания

к Александру
к Жуковскому

к Батюшкову
к Галичу

Дельвигу [+]²⁰
Дельвигу
Сестре +
Бонапарте +
к Юдину
Пушину

Ломоносову
Трубецкому
Лицинию
Кюхельбекеру
Аристарху
Оправданная лень —
Друзьям
Шишкову
Актрисе
[Завещанье]

Лирические

Наполеон на Эльбе
Воспоминания в Ц. С.
[Кр] Оранскому Принцу

Певец —
Слеза —
Истина
Усы
Мечтатель
Ринальдо²¹
и все пески
Пирующие студенты

XV Элегий²²
Эпиграммы надписи
Картины
Леда —

В программе стихотворения сгруппированы по жанровому признаку. Открывают ее послания. Из двадцати одного включенного в этот раздел текста в тетрадь вписано пять; шестой — «Послание Лиде», впоследствии помеченное в тетради словами «не надо», в программу не вошел. Из названных в разделе «Лирические»²³ в тетрадь не попало ни одно стихотворение. Это само по себе заслуживает внимания, поскольку речь идет о существенных произведениях, таких как «Наполеон на Эльбе», «Воспоминания в Царском Селе» и «Принцу Оранскому». Заметим, что в отличие от первых двух стихотворений «Принцу Оранскому» оставалось ко времени переписки непечатанным. Непосредственно за «лирическими» в программе следует перечень стихов, которые, по убедительному толкованию Томашевского, были связаны в сознании автора некой формальной общностью. Так или иначе, но стихи эти, исключая известного «Мечтателя» и не дошедшего до нас «Ринальдо», вошли в Лицейскую тетрадь, но, подобно посланиям, рассеяны среди стихотворений других жанровых форм. Так же обстоит дело с элегиями, эпиграммами и надписями. Последнее, при более определенных жанровых признаках, особенно примечательно.

Думается, что уже это беглое сопоставление дает достаточное основание предположить, что практическое составление сборника Лицейской тетради, во всяком случае в основной своей части, предшествовало размышлениям Пушкина о построении книжки, о системе группировки стихотворений, которые нашли выражение в программе. Другими словами, надо учитывать возможность того, что рукописный сборник не был изначально связан с пушкинским планом издания и лишь с возникновением этого замысла стал необходимым подспорьем в его реализации.

Когда это произошло? Единственным источником, способным пролить свет на этот вопрос, как видим, остается программа на рукописи «Пирующих студентов». «Трудно определить точный принцип отбора вошедших в список стихотворений... Это, в частности, затрудняет точное отождествление всех названных в списке стихотворений с известными нам текстами лицейской лирики Пушкина, а следовательно, и не дает возможности точно датировать список»,²⁴ — констатировал Томашевский, подчеркивая связь между раскрытием состава программы и установлением времени, когда она возникла.

История датирования списка такова.

При первой публикации текста И. А. Шляпкин, полагавший, что он имеет дело со «списком стихотворений, приготовленных для какого-то предполагавшегося, по-видимому, издания» неизвестных годов, счел, что за названиями «Жуковскому», «Дельвигу», «Друзьям» следует видеть стихотворения 1817 года. «Друзьям» он отождествлял при этом со стихотворением «Товарищам» («Промчались годы заточенья»)²⁵. Л. Н. Майков, никак не мотивируя своего решения, отнес программу к 1815 году,²⁶ а

П. О. Морозов, также без аргументации, — к 1816 году.²⁷ Неясны и мотивы, которыми руководствовался Ю. Г. Оксман, сужая датировку списка до осени 1816 года.²⁸

Таким образом, когда Цявловский приступил к изучению Лицейской тетради, оказалось, что программа ПД-17 во времени настолько сближена с первым известным нам рукописным сборником стихов Пушкина, что было естественно предположить, будто сборник создавался на начальной стадии развития замысла издания. Предположение перешло в уверенность, и с тех пор границы датировки программы оказались жестко закреплены отрезком времени, непосредственно предшествующим январю — маю 1817 года, когда велась переписка стихов в Лицейскую тетрадь. Следовало бы датировать программу, основываясь на времени создания произведений, в ней поименованных. Вместо этого уже много лет принято идти от гипотетической датировки программы к столь же гипотетической расшифровке отдельных ее пунктов:

На деле это выглядит так: М. А. Цявловский датировал программу декабрем 1816-го — первыми числами января 1817 года. Соответственно из двух вошедших в нее посланий к Дельвигу одно, по мнению ученого, — стихотворение 1815 года «К Дельвигу» («Послушай, муз невинных...»), другое — «до нас не дошедшее или, что вероятнее, лишь предполагавшееся».²⁹ Б. В. Томашевский тоже исходит из того, что программа предшествовала составлению сборника. Однако достаточно было исследователю, исходя из состава списка, расширить границы его возможной датировки, чтобы на место второго поименованного в нем послания к Дельвигу естественно встало стихотворение «К Дельвигу» («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою»), «первая редакция которого была написана, вероятно, в конце 1816 г., вторая — не позже апреля 1817 г.»³⁰

Если же отвлечься от гипотезы, относящей составление программы ко времени до переписки стихотворений в Лицейскую тетрадь, то одни из составляющих ее названий поддаются простому и естественному отождествлению, в других же случаях станет ясно, что однозначное раскрытие пунктов программы на сегодняшний день невозможно, что допустимы разные, альтернативные решения.

Б. В. Томашевский счел произвольным (и, думается, с достаточным основанием) отождествление названного в списке послания Кюхельбекеру со стихотворением «К другу стихотворцу»³¹ и заметил в свою очередь: «... вряд ли это „В последний раз, в сени уединенья“, так как прощальные лицейские стихи в список не вошли».³² Однако, кроме послания Кюхельбекеру, в программе названы два послания Пушкину, и безоговорочно утверждать, что под ними разумеются стихотворения 1815 года «Любезный именинник» и «Воспоминание. К Пушкину» («Помнишь ли, мой брат по чаше»), нельзя. При характерной для времени и для собственно пушкинского восприятия зыбкости границы между жанровыми формами одним из двух пос-

ланий к Пушкину вполне может оказаться «В альбом Пушкину» («Взгляни когда-нибудь на тайный сей листок»), принадлежащее к числу прощальных лицейских стихов. Менее вероятно, хотя полностью нельзя исключить и этого, что названное в списке послание «Друзьям» — это не «Мое завещание. Друзьям», а (как думал когда-то И. А. Шляпкин) стихотворение «Товарищам» («Промчались годы заточенья»). При всей зыбкости такого допущения оно могло бы оказаться объяснением того обстоятельства, что всего двумя строчками ниже послания «Друзьям» в программе записано (как считается, повторно, по ошибке) и зачеркнуто: «Завещанье».

Тем самым, при отсутствии прямых свидетельств, исходя из одного лишь состава списка, твердо обосновать вывод, будто прощальные лицейские стихи, писанные в конце мая—начале июня 1817 года, в него не вошли, невозможно. Как невозможно, впрочем, доказать и обратное — что в программе ПД 17 среди других упомянуты и стихи прощального цикла.

3

Дополнительные вопросы возникают в связи с двумя вошедшими в программу издания посланиями к Жуковскому. Одно из них — это несомненно стихотворение 1816 года «К Жуковскому» («Благослови, поэт!..»). О втором М. А. Цявловский писал: «Стихотворение, до нас не дошедшее. Возможно, что оно не было написано».³³ Мысль о том, что одно из лицейских посланий Пушкина к Жуковскому утрачено, получила документальное подтверждение: обнаружено письмо Жуковского к Вяземскому от 19 сентября 1815 года, где он сообщал: «...я слелал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным... Он написал ко мне послание, которое отдал из рук в руки — прекрасное! Это лучшее его произведение!»³⁴ Тем не менее, зная, что программа включает не все известные нам послания лицейских лет, уверенно отождествлять два поименованных в ней послания к Жуковскому со стихотворениями 1815 и 1816 годов нельзя. Ведь есть еще одно послание к Жуковскому — «Когда к мечтательному миру», первая редакция которого была известна адресату 17 апреля 1818 года.³⁵

Назвав в связи с программой стихотворение 1818 года, мы подошли к серьезному аргументу, на котором основываются сторонники датировки ее гранью 1816—1817 годов. «Кроме этой элегии («Опять я ваш, о юные друзья» — Н. П.) ни одно из стихотворений 1817 г. в список не вошло», — писал М. А. Цявловский.³⁶ Б. В. Томашевский, особо выделив послания, написанные в начале 1817 года, — «Блажен, кто с юных лет увидел пред собою» и то же «Опять я ваш, о юные друзья», подчеркивал: «В основном список содержит стихотворения 1815 и 1816 гг. Из стихотворений 1814 г. упомянуто около семи».³⁷

Однако, как мы видели, не всегда можно уверенно отождествить вошедшие в список названия с известными произведениями Пушкина: ряд пунктов списка допускает альтернативные толкования. Тем более трудно обойти альтернативные возможности, говоря о том, к какому году относится то или иное из поименованных в списке стихотворений. Дополнительные трудности возникают оттого, что в перечне, который по жанровому признаку разбит на четыре рубрики, названы лишь произведения, принадлежащие к жанрам «Послания», «Лирические», а также — частично — к тому, что обозначено в программе словами «и все пьески». В двух последних случаях Пушкин ограничился общим указанием на разделы будущей книжки: «XV Элегий» и «Эпиграммы Надписи». Реконструировать конкретное содержание, скрытое за этими общими жанровыми обозначениями, Цявловскому, а за ним и Томашевскому удалось лишь для раздела «XV Элегий». «Это цикл произведений, писанных почти полностью в 1816 г., — писал Томашевский. — Пушкин не перечисляет названий, считая все элегии за единый цикл (это подчеркнуто тем, что число выражено не арабской, а римской цифрой). Опыт циклизации элегий лицейского периода мы имеем в „Никитенковской тетради“, составленной, очевидно, в дни, близкие к окончанию Лицея. В эту тетрадь вошло девять элегий в таком порядке: 1) „Опять я ваш, о юные друзья“, 2) „Осеннее утро“, 3) „К сну“ („Знакомец милый и старинный“), 4) „Любовь одна — веселье жизни хладной“, 5) „Месяц“, 6) „Счастлив, кто в страсти сам себе“, 7) „Разлука“ („Когда пробил последний счастью час“), 8) „Друзьям“ („К чему, веселые друзья“), 9) „Слово милой“. С достаточной степенью уверенности можно думать, что остальные шесть элегий были: „Я думал, что любовь погасла навсегда“, „Я видел смерть; она в молчаньи села“, „Пробуждение“, „Желание“, „Окно“, „Наездники“.³⁸ Такой список исчерпывает все элегии лицейского периода».³⁹

Вместе с перечнем посланий рубрика «XV Элегий» стала основой, на которой строится датировка программы издания. Это заставляет остановиться на составе рубрики подробнее.

Прежде всего, приведенный Томашевским список не исчерпывает элегий лицейского периода. Подтверждение тому не только расхождение Томашевского с Цявловским по поводу заполнения последнего места в цитированном списке элегий: самая возможность таких альтернативных решений показывает, что к началу 1817 года Пушкиным было написано более пятнадцати элегий. Достаточно обратиться к тетради Всеволожского, на которую ссылается Томашевский, чтобы убедиться в этом.

В тетради Всеволожского раздел «Элегии» по случайному (?) совпадению включает именно пятнадцать стихотворений. Лишь два из них — «Выздоровление» и «Мечтателю» — относятся к 1818 году, остальные написаны в Лицее. Из лицейских элегий тетради Всеволожского четыре не входят ни в список Цявловского, ни

в список Томашевского. Это «Гроб Анакреона», «К ней», «К Лиле», «Безверие». О «Безверии» известно лишь, что между 8-м и 10 марта 1817 года оно было переписано в Лицейскую тетрадь; «Гроб Анакреона» и «К ней» писаны в 1815 году; «К Лиле» — предположительно в 1816 году. Очевидно, что и в тетрадь Всеволожского и в более раннюю тетрадь Никитенко элегии вошли не полностью, а избирательно. Критерии отбора в обоих случаях не ясны, хотя бросается в глаза, что в тетради Никитенко представлены лишь элегии 1816-го — начала 1817 года, тетрадь же Всеволожского включает и более ранние, и более поздние образцы этого жанра.

Думается, что, не зная ни принципов отбора стихотворений, вошедших в программу издания, ни времени составления программы, восстанавливать содержание ее «закрытых» рубрик, основываясь на составе аналогичных отделов тетради Всеволожского или тетради Никитенко, можно лишь с большой осторожностью.

Что касается тетради Никитенко, то следует учесть еще одно обстоятельство. Хотя вошедшие в этот сборник послания не собраны, рассеяны среди произведений других жанров, нельзя не заметить, что по количеству их значительно меньше, нежели в программе ПД 17, причем в тетрадь Никитенко вошли такие стихотворения, как «Князю А. М. Горчакову» («Пускай, не знаясь с Аполлоном») и «К молодой вдове», которые в программе издания не упомянуты. Это еще более колеблет уверенность, будто элегии, сгруппированные в тетради Никитенко, мыслились Пушкиным как неременная часть раздела «XV Элегий» в задуманном им сборнике стихотворений.

4

Реконструируя состав «закрытых» рубрик программы издания, необходимо учитывать, что Пушкин вступил в литературу в пору размывания, взаимопроникновения жанровых канонов. Чистых, классически выдержанных жанров поэт не знает с первых творческих опытов. К интересующему нас здесь конкретному случаю это имеет непосредственное отношение.

Избрав жанровые признаки основной построения сборника, Пушкин нередко сам колеблется в определении жанра своих стихов. В тетради Никитенко стихотворения «К ней» («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку») и «Наездники», отнесенные в тетради Всеволожского к разделу «Элегии», есть, но вне сгруппированных в цикл девяти элегий. В этом можно видеть колебания в определении жанровой принадлежности стихотворений. Однако едва ли не более вероятно иное, то что связанные римской нумерацией элегии Пушкин, как и полагал Томашевский, действительно мыслил как некое единство, к которому стихи «К ней» и «Наездники» не принадлежали. Но вот другой случай: в тетради Всеволожского в раздел «Элегии» включены «Гроб Анакреона» и «Лиле» («Лила,

Лила! я страдаю»); когда же наконец, в 1826 году, вышли в свет «Стихотворения Александра Пушкина», «Гроб Анакреона» оказался среди «Разных стихотворений», а «Лиле» вошло в раздел «Эпиграммы и надписи».

Легкость, с которой Пушкин впоследствии перемещал стихи из одной жанровой рубрики в другую, особенно затрудняет сейчас уверенное решение вопроса о том, каким мыслит Пушкин в момент составления программы реальное наполнение раздела элегий. Тем более трудно на основе таких, неизбежно гипотетических заключений датировать программу издания.

Последнее положение М. А. Цявловского, которого необходимо здесь коснуться, состоит в том, что ко времени переписки стихотворений в Лицейскую тетрадь программа уже претерпела некоторые изменения. «По сравнению со всеми последующими планами первого сборника стихотворений, — писал исследователь, — этот план включал самое большое число стихотворений. В дальнейшем Пушкин все строже и строже производил отбор того, что должно было входить в сборник. Об этом свидетельствует прежде всего состав (Лицейской) тетради».⁴⁰ Думается, что для подобного заключения нет оснований.

Ведь именно М. А. Цявловский обратил внимание на то, что в Лицейскую тетрадь были переписаны только стихотворения, оставшиеся к моменту переписки неопубликованными. Программа же издания исходила из объема всего написанного Пушкиным. Уже это заставляет подходить к сопоставлению сборника и списка их точки зрения их полноты с большой осторожностью. Но этого мало. Мы уже говорили, что в Лицейской тетради на заглавном листе «Стихотворений Александра Пушкина» выставлено: «№ 2». Не зная состава «№ 1», на существование которого указывает эта помета, строить какие-либо выводы на материале сопоставления тетради и программы невозможно. И еще одно. Две из четырех жанровых рубрик программы Пушкин лишь назвал, третья («и все пьески») раскрыта далеко не полностью. Единственный раздел программы, состав которого раскрыт Пушкиным, — «Послания». И именно жанр послания представлен в сборнике Лицейской тетради случайными образцами, усмотреть в этом результат какого бы то ни было отбора невозможно.

Как видим, материал для сопоставления рукописного сборника и программы издания практически отсутствует. Разница между ними — и очень существенная — бросается в глаза: намеченная в программе жанровая структура задуманного сборника не получила никакого отражения в Лицейской тетради, куда стихи переписаны безо всякого порядка, и последовательно осуществлялась Пушкиным начиная с тетради Всеволожского: мы находим ее и в тетради Капниста, и, наконец, в «Стихотворениях», изданных в 1826 году.

По-видимому, напрашивается вывод, что в силу особенностей программы ее состав не дает оснований для ее датирования. Исходя из содер-

жания программы, можно говорить лишь о том, что ко времени ее составления переписка стихотворений в Лицейскую тетрадь была (во всяком случае, в основной своей части) уже позади.

Мысленно всматриваясь в дни и недели, предшествовавшие выпуску из Лицея, наполненные для лицестов предвкушением близкой свободы и омраченные близким расставанием со «святым братством», выпускными экзаменами, заботой об экипировке, обменом прощальными стихами, трудно не подумать, как мало возможностей оставляло все это для внутренней сосредоточенности Пушкина. Вряд ли мысль об издании своих стихов возникла у него в канун прощания с Царским Селом, в Петербурге — сразу по выходе из Лицея или даже в Михайловском, куда поэт уехал около 9 июля и где он оставался до двадцатых чисел августа 1817 года. По возвращении же в Петербург Пушкин встречается с К. Н. Батюшковым, приехавшим в столицу в ожидании выхода собрания своих стихотворений — второго тома «Опытов». Если справедливо предположение, что именно в эти дни Жуковский вернул Пушкину Лицейскую тетрадь со своими пометами,⁴¹ складывается ситуация, как нельзя более благоприятная для возникновения у Пушкина мысли об издании собственных стихов.

Второй том «Опытов» вышел в свет в первых числах октября. Книжка была построена по жанровому принципу: «Элегии». — «Послания». — «Смесь» (с подрубкой «Эпиграммы, надписи и прочее»). Возникает предположение, что именно знакомство Пушкина со сборником Батюшкова стимулировало его мысль о подготовке собственной книжки, построенной по аналогичному принципу, и что программа ПД 17 была шагом на пути к осуществлению этого намерения.

Разумеется, жанровая структура поэтического сборника не была в 1817 году новинкой ни в русской, ни — тем более — во французской литературе. Еще в 1815—1816 годах вышли в свет два томика «Стихотворений» Жуковского. Однако жанровая структура этого издания сформирована в значительной мере индивидуальным обликом поэзии Жуковского с характерными для него жанровыми формами (Ч. I: «Лирические стихотворения». — «Послания». — «Романсы и песни»; ч. II: «Смесь». — «Баллады»). Батюшков ближе к традиционной рубрикации. Примечательно, что в конце 1817-го — начале 1818 года в Москве замышлялся сборник стихов Д. Давыдова,⁴² который строился по жанровому принципу и, подобно батюшковским «Опытам», должен был открываться элегиями. Издание Давыдова готовил Жуковский. При подготовке «Стихотворений» Пушкина 1826 года рукою Жуковского же на обороте первого листа тетради Всеволожского воспроизведена жанровая формула, положенная в 1817 году в основу сборника Батюшкова.⁴³ Видимо, все же на русской почве «Опыты» Батюшкова стали на какое-то время структурным эталоном поэтического сборника.

Однако нам сейчас важно подчеркнуть и другое. Сопоставление Лицейской тетради с характерным для нее беспорядочным расположением текстов и программы ПД 17 позволяет предположить, что до известного времени мысль о группировке стихов по жанровому принципу по тем или другим причинам не связывалась для Пушкина с его собственным творчеством.

Предложенное решение вопроса отнюдь не представляется нам единственно возможным. На наш взгляд, при отсутствии достаточных оснований для датирования программы издания сведения, которыми мы ныне располагаем, позволяют лишь уверенно отвести утверждение, будто готовиться к выпуску книжки своих стихов Пушкин начал осенью 1816 года (последнее «К Жуковскому»), а состав ее и построение были ясны молодому поэту в начале января 1817 года.

Чем же, если не подготовкой к изданию, вызвано было составление «Стихотворений Александра Пушкина» — рукописного сборника, ради которого была заведена Лицейская тетрадь?

В последние месяцы перед выпуском товарищи Пушкина сообща собирали стихи лицейских поэтов в рукописные сборники, подводя итоги лицейской вольной словесности.⁴⁴ «Стихотворения Александра Пушкина» в Лицейской тетради могли быть поначалу самостоятельной частью этой общей работы. Известное обстоятельство, что в переписке пушкинских стихов приняли участие почти все лицеисты первого выпуска, получило бы в этом случае естественное объяснение. Некоторые из дошедших до нас в оригинале лицейских рукописных сборников переписывались сообща. Таков «Альбом кн. А. М. Горчакова». На сохранившихся листах «Лицейской антологии, собранной трудами пресловутого *ийший*», т. е. А. Д. Илличевского, стихи переписаны рукою их авторов; в «Тетради Матюшкина» есть записи рукою Илличевского. Что в переписке «Стихотворений Александра Пушкина» приняло участие такое множество лицестов, могло быть в этом случае данью признания первому поэту Лицея.

В Лицейскую тетрадь были переписаны только те стихотворения, которые не появлялись в печати. И снова это ведет нас к делению, принятому в лицейских рукописных сборниках. По признаку опубликованное — неопубликованное стихи группировались в таких сборниках, как «Тетрадь Матюшкина» и «Тетрадь Никитенко»; из двух тетрадок, в одной из которых были собраны стихи, не появлявшиеся в печати, в другой — напечатанные, состоял более поздний и ныне утраченный «Сборник Яковлева — Корфа».⁴⁵

Чаще всего в рукописные сборники без всякого порядка списывались стихи разных авторов. Тем более составители не принимали во внимание ни жанр, ни другие формальные или содержательные признаки. Но наряду с такими сборниками, где (как и в Лицейской тетради) отсутствует какая бы то ни было группировка текстов, в Лицее существовали другие. Состав-

ленный и переписанный Пушкиным в 1814 году сборник «Жертва Мому, или Лицейская антология» включал одни эпиграммы, причем только такие, адресатов которых был Кюхельбекер. «Лицейская антология, собранная трудами пресловутого *ийший*» в конце 1816 года, — это сборник эпиграмм, надписей и стихотворений других малых жанров. Об итоговом рукописном сборнике лицейстов М. А. Цявловский писал: «„Собрание лицейских стихотворений“, представляющее собою собрание стихотворений малых жанров, преимущественно эпиграмм, является, как значится на заглавном листе, „третьей“ частью сборника, первые две части которого должны заключать в себе произведения, более значительные и по размерам и по содержанию. Одной из этих частей... может быть тетрадь Никитенко».⁴⁶ Стоит, впрочем, подчеркнуть, что и в том случае, если «Собрание лицейских стихотворений» и «Тетрадь Никитенко» были частями единого целого, говорить о сознательном делении стихотворений по жанровому принципу не приходится. В «Собрание лицейских стихотворений» вошли и «национальные песни» «страны» Лицея, и пародийные стихи разного рода из «Лицейского мудреца», и пародия Дельвига на стихотворение Кощанского. Что же касается стихотворений малых жанров в собственном смысле слова, то они были приобщены к «Собранию» в составе уже готовых и известных в Лицее ранее сборников «Жертва Мому» и «Лицейская антология, собранная... *ийший*». Внутреннее единство этой, 3-й части «Собрания лицейских стихотворений» складывается не на основе общности (или родственной близости) жанра, а благодаря объединяющей все пять разделов сборника смеховой стихии.

Иначе выглядит составленная в июне—начале июля 1817 года, примерно тогда же, что и 3-я часть «Собрания лицейских стихотворений», «Тетрадь Никитенко». В массе своей стихи переписаны сюда без всякого порядка, и на этом общем фоне особенно привлекают внимание элементы (возможно, еще случайной) группировки по жанровому принципу. Так, вслед за пушкинским отрывком «Бова», открывающим сборник, здесь идут послания: «Красавице, которая нюхала табак», «К Наталье», «К молодой актрисе», «Князю А. М. Горчакову»

(«Пускай, не знаясь с Аполлоном»). Но наиболее примечателен «опыт циклизации элегий лицейского периода», как назвал Б. В. Томашевский⁴⁷ группу из девяти стихотворений этого жанра, объединенных общим заголовком («Элегии») и римской нумерацией.

Существенно, что в Лицейскую тетрадь вошли восемь из этих девяти элегий, но там, в отличие от «Тетради Никитенко», они рассеяны среди стихотворений других жанров. Можно думать, что к лету 1817 года у Пушкина начал формироваться жанровый подход к построению свода своих стихотворений, и, быть может, осмысление результатов собрания их в Лицейской тетради сыграло при этом побудительную роль. Однако законченное выражение группировка стихотворений по жанрам получила лишь в программе издания, набросанной на рукописи «Пирующих студентов». Это подсказывает еще один довод в пользу отнесения программы ко времени после окончания Лицея.

За последним из лицейских «Стихотворений Александра Пушкина» на оставшуюся свободной часть л. 42 со временем была вписана рукою самого Пушкина беловая стихотворения «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду». Автограф оставляет впечатление, что при откровенной невозможности провести этот текст через цензуру Пушкин переписывал его в тетрадь как часть рукописного сборника стихотворений: в практически чистой еще большей тетради «К Огаревой» писано вплотную к замыкающему элегию «Я видел смерть» росчерку-концовке; манера письма (почерк, расстояние между строками) соразмерена с местом, оставшимся до конца страницы, так, как если бы следующая страница тетради была уже занята. Связь между стихами «К Огаревой» и «Стихотворениями» Лицейской тетради подчеркнута еще и тем, что при одном из последующих просмотров вошедших в сборник текстов Пушкин расставил кресты у названий ряда стихов⁴⁸ и в том числе — у названия «К Огаревой», что осталось до сих пор незамеченным. Между тем это показывает, что в момент переделки текста «К Огаревой» «Стихотворения Александра Пушкина» мыслились автором именно как свод ненапечатанных его стихов, не воспринимались им как рукопись будущей книги.

¹ Хранится под шифром: ПД. Ф. 244. Оп. 27. № 54. Далее ссылки на эту работу даются в сокращении: *Цявловский*. Примечания. Извлечения из труда Цявловского в виде самостоятельных статей включены в его посмертный сборник «Статьи о Пушкине» (М., 1962), на который мы по мере возможности опираемся ниже. Однако в ходе перекомпоновки, неизбежных при подготовке к печати отдельных частей большого труда, перестройка коснулась некоторых существенных для нас частей, что побуждает в ряде случаев возвращаться к подлинным авторским формулировкам и их последовательности, сохранившимся в гранках.

² Хранится в Пушкинском Доме под шифром: ПД. Ф. 244. Оп. 1. № 829. Далее ссылки на материалы первой описи пушкинского фонда приводятся в тексте, сокращенно, с указанием номера единицы хранения.

³ См.: Русский архив. 1868. № 4—5. Стлб. 838—843 (прим. Цявловского).

⁴ *Цявловский*. Примечания. С. 36—37. См. также комментарии Цявловского к программе ПД 17 в кн.: Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 226—228.

⁵ *Цявловский*. Примечания. С. 36.

⁶ См.: *Томашевский* Б. Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 114—115.

- ⁷ Лит. наследство. 1934. Т. 16—18. С. 727.
- ⁸ Остафьевский архив кн. Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 179.
- ⁹ Писано на бумаге с водяным знаком «МОФЕБ 1815», которой Пушкин пользовался в 1815—1817 годах (см.: Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме: Научное описание / Сост.: Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 9 и 315). Автограф «Пирующих студентов» — белой, дает текст второй редакции, тот самый, который переписан Пушиным в Лицейскую тетрадь. М. А. Цявловский считал весьма вероятным, что копия Пушина восходит именно к автографу ПД 17 (см.: *Цявловский*. Примечания: к стихотворению «Пирующие студенты»). Однако утверждать этого нельзя: текст «Пирующих студентов» писан очень небрежным почерком, ряд слов недописан, что неминуемо сказало бы на качестве переписки. К этому времени Пушин мог знать стихотворение на память и лишь проверять себя, справляясь с автографом, что имело особое значение, поскольку переписывался (и безошибочно!) текст второй, обновленной редакции. Если Цявловский все же прав и Пушин списывал «Пирующих студентов» с автографа ПД 17, то это открывает путь к датированию последнего, определяя крайнюю позднюю из возможных дат его возникновения: в Лицейской тетради копии «Пирующих студентов» предшествует список стихотворения «Товарищам» («Промчались годы заточенья»), которое принято датировать маем — первыми числами июня 1817 года. В противном случае остается признать, что оснований для датировки автографа стихотворения нет: подобная его автокопия могла быть сделана в любой момент, пока текст не подвергся в очередной раз исправлениям, уже в составе Лицейской тетради. Из характера рукописей «Пирующих студентов» и программы издания можно заключить, что программа набрасывалась, по-видимому, тогда, когда на предшествующих листах ПД 17 уже был текст стихотворения. Обе записи сделаны коричневыми (идентичными или очень похожими) чернилами, но, в отличие от стихотворения, большая часть программы писана аккуратным почерком, который лишь под конец переходит в небрежный и сближается с почерком, которым писаны «Пирующие студенты». Как знак того, что рукописи стихотворения и программы близки по времени, можно истолковать одинаковую форму росчерка-концовки, употребленную Пушиным в обоих случаях.
- ¹⁰ *Цявловский*. Примечания. С. 42. Ссылки внутри цитаты переведены с красной, жандармской на принятую в настоящей заметке современную архивную нумерацию листов.
- ¹¹ См.: *Эфрос А.* Рисунки поэта. М., 1933. С. 17, 182, 184.
- ¹² *Цявловский М. А.* Послание «К Жуковскому» // *Цявловский М. А.* Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 109.
- ¹³ Там же. С. 107.
- ¹⁴ Там же. С. 105—107.
- ¹⁵ См.: *Цявловский*. Примечания. С. 45.
- ¹⁶ Там же. С. 42.
- ¹⁷ *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 115.
- ¹⁸ Печатается по кн.: *Рукою Пушкина*. С. 225—226, с уточнениями по рукописи.
- ¹⁹ Так у М. А. Цявловского. На наш взгляд, в автографе скорее не «I», а случайный штрих.
- ²⁰ Так у М. А. Цявловского. Скорее это зачеркнутый минус.
- ²¹ Так у М. А. Цявловского, в автографе явно читается «Ринальда», что исследователю, вероятно, счел опиской Пушкина.
- ²² Запись «XV Элегий» явилась в результате неоднократного исправления. Первоначально была написана точно бы буква „М“, т. е. „Мелочи“, — предполагал М. А. Цявловский (см.: *Цявловский*. Примечания. С. 37). Нам ход работы представляется иным. Поставив ниже рубрики «Пирующие студенты» знак концовки — две горизонтальные черточки, что могло означать границу между двумя частями (томами) издания (ср. упоминаемый в письме С. А. Соболевского к А. Н. Соимонову от 19 декабря 1818 года «сборник стихотворений Пушкина. . . два тома in 12°» (Сборник статей в честь Д. Ф. Кобеко. СПб., 1913. С. 193. Курсив мой. — *Н. П.*)), Пушкин ниже написал: «II. Элегин». Римская цифра «II» означала, что раздел элегий будет открывать вторую книжку сборника. Потом цифра «II» была исправлена на «IV», что означало номер жанровой рубрики («Послания» — «Лирические» — «. . . и все пьески» — «Элегии»). И, наконец, «IV» было переделано в «XV» с одновременным исправлением «Элегин» на «Элегий». Теперь цифра стала означать число элегий, входящих в цикл.
- ²³ «Лирическое стихотворение» «в питниках того времени значило почти то же, что ода, хотя и с несколько более свободным пониманием внешней формы. . . Позднее Пушкин подобные стихотворения условно называл „капитальными“» (*Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 117).
- ²⁴ *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 115.
- ²⁵ См.: Описание Пушкинского музея императорского Александровского Лицея / Сост.: С. М. Аснаш и А. Н. Яхонтов. СПб., 1899. С. 439—441.
- ²⁶ Соч. Пушкина. СПб.: Изд. имп. Академии наук, 1900. Т. 1. С. 62-й пагинации. Скорее всего Майков исходил из того, что программа писана на бумаге 1815 года.
- ²⁷ Соч. и письма А. С. Пушкина. СПб., 1903. Т. 1. С. 5.
- ²⁸ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1931 (Приложение к журналу «Красная нива»). Т. 5. С. 510.
- ²⁹ *Рукою Пушкина*. С. 227.
- ³⁰ *Пушкин*. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 478.
- ³¹ Отождествление сделано Ю. Г. Оксманом (в издании «Красной нивы» — Т. 5. С. 510) и принято М. А. Цявловским.
- ³² *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1. С. 116.
- ³³ *Рукою Пушкина*. С. 227.
- ³⁴ Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 33.
- ³⁵ Русский архив. 1896. № 10. С. 205—208.

³⁶ Цявловский. Примечания. С. 37.

³⁷ Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1. С. 115.

³⁸ Цявловский (см.: Рукою Пушкина. С. 228) полагал, что последнее место в списке занимало стихотворение «Наслаждение». «Однако более вероятным можно считать, что в данный цикл Пушкин вводил стихотворение „Наездники“, введенное им в цикл элегий в тетради Всеволожского 1819 г.», — считал Томашевский.

³⁹ Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1. С. 118.

⁴⁰ Цявловский. Примечания. С. 39.

⁴¹ См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951. С. 133.

⁴² Вацуро В. Э. Денис Давыдов — поэт // Давыдов Д. Стихотворения. Л., 1984. С. 27.

⁴³ Тетрадь Всеволожского / Публикация

Б. Томашевского. Комментарии Б. Томашевского и М. Цявловского // Летописи гос. литературного музея. М., 1936. Кн. I: Пушкин. С. 72—73.

⁴⁴ Обзорение рукописных сборников — лицейских или восходящих к утраченным лицейским — см.: Цявловский. Примечания. С. 12—35. Перечень сборников с краткой их характеристикой дан в кн.: Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. I. С. 429—430.

⁴⁵ См.: Цявловский. Примечания. С. 23, 26—27, 34.

⁴⁶ Там же. С. 33—34.

⁴⁷ Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1. С. 118.

⁴⁸ См.: Цявловский. Примечания. С. 48—49.

ДВА РУКОПИСНЫХ НАБРОСКА В. И. ДАЛЯ «СИЛИСТРИЯ» И «КУЛЕВЧИ»

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА, ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ
Ю. П. ФЕСЕНКО)

В. И. Даль (Казак Луганский) принимал участие в русско-турецкой кампании 1829 года на Балканах в качестве врача. Боевые действия, начатые 1 мая, завершились 2 сентября подписанием Адрианопольского мирного договора.¹ С 21 мая Даль, по прибытии к осажденной Силистрии, как сказано в его формулярном списке, состоял ординатором в подвижном госпитале Главной Квартиры, а с 9 августа — в военновременном госпитале в Адрианополе; за усердную службу в 1829 году награжден орденом Св. Анны 3-й степени и установленной на Георгиевской ленте серебряной медалью.²

Без преувеличения именно врач был центральной фигурой в русской армии, на которую обрушились различные эпидемии (в том числе и чума), безжалостно выкашивавшие личный состав. Медицинского персонала и лечебных средств из-за преступной халатности вышестоящего начальства катастрофически не хватало. От болезней погибало гораздо больше людей, чем от столкновения с противником.³ Впрочем, это не мешало главнокомандующему Дибичу довольно-таки бодро оценивать материальное и санитарное состояние в армии.⁴ В рассказе «Мнимоумершие» Даль писал о положении в Адрианопольском госпитале: «Сперва принялась душить нас перемежающая лихорадка, за нею по пятам понеслись подручники её, — изнурительные болезни и водянки; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла; фельдшеров не стало вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не было буквально ни одного; аптекарь один на весь госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больных досыта горячим да подать им вволю воды напиться, то мы бы перекрестились».⁵

Во время перехода через Балканы Даль «крепко захворал».⁶ Хотя кризис вскоре миновал, однако и в Адрианополе он еще не вполне оправился от болезни, о чем не без юмора сообщал в письме к Е. А. Мойер 21 октября 1829 года; «А я выдумал как болеть; бывало и в ведро, и в ненастье, и в жар, и в холод все тот же человек, и бодрость к трудам, и охота — а теперь — покачиваюсь, как неверный, на мусульманском ковре с боку на бок, отлеживаюсь да отнеживаюсь да жду переправы через земли и моря на родные озера».⁷

Даль понимал бедственное положение рядовых воинов и поэтому легко ладил с ними, обогащая, по свидетельству Мельникова-Печерского, «областные словами и местными оборотами речи» запасы для своего Словаря (Т. I. С. XX). Сочувственное расположение Даля к народу было взаимным. Когда, например, пропал вьючный верблюд с далевскими записками, «казаки подхватили где-то верблюда. . . и через неделю привели его в Андрианополь» (Т. 10. С. 247).

Впоследствии Даль неоднократно возвращался к событиям на Балканах. Именно здесь он стал свидетелем беззаветного мужества и полного бесправия русского солдата, столкнулся со сложными проблемами взаимоотношений между различными национальностями, возвысился до истинного гуманизма в своих размышлениях о войне и мире. Наиболее полно это выразилось в исполненной искренней любви к болгарскому народу повести «Болгарка» (Московский наблюдатель. 1837. № 7). Употребляя популярную в то время формулу, Даль пишет: «это отрывок из дневника, и более ничего» (Т. 7. С. 109). Разумеется, «Болгарка» является полноценным художественным произ-

ведением. Очевидно и то, что в основе повести лежат дневниковые записи.

Дневники Даля до нас не дошли, но хранящиеся в Рукописном Отделе ИРЛИ (Ф. 27. Ед. хр. 506) наброски «Силистрия» и «Кулевчи» безусловно занимают промежуточное положение между дневниковой записью и ее окончательной художественной отделкой в «Болгарке». Упоминание об этих набросках уже встречалось в печати.⁸ Они помещены в тетради, состоящей из 12 листов. «Силистрия» является писарской копией с обильной авторской правкой, «Кулевчи» — автограф Даля.

Оба фрагмента не только расширяют наше представление о творческой истории «Болгарки», но имеют и самостоятельное значение. Тем более что многие конкретные детали в окончательном тексте опущены. Из «Силистрии» выпало, например, колоритное описание старика-украинца, а из «Кулевчи» — следующее рассуждение: «Реляций о деле сем я не читал и по сие время, толки весьма различны — но я заключаю из того, что видел и слышал, что первоначальная потеря наша была не случайная, но умысленная; крайнее средство, чтобы выманить турок и принудить драться». Конечно же, Даль, находясь при Главной Квартире, не мог не знать об официальной трактовке одного из ключевых сражений кампании 1829 года. В этом убеждает и акцент на «запланированности» потери авангарда русских войск. В опубликованных реляциях говорилось прежде всего о том, что к большому числу жертв привело «неограниченное мужество наших полков и желание сблизиться с неприятелем»,¹⁰ а также «несоразмерность сил и чрезвычайная стремительность неприятельского нападения».¹¹

Убрав открытое несогласие с официальной версией, Даль отнюдь не снизил критического пафоса, а, наоборот, усилил его за счет разнообразных параллелей и переключек с «Путешествием в Арзрум» Пушкина.¹² В результате осуждение распоряжений Дибича укрупняется и перерастает по сути в критику всей внешней политики царской России. Завершая же разговор о Кулевчинском сражении, сошлемся на воспоминания современника, который резко обвинял Дибича в неоправданности жертв и непродуктивности боевой операции.¹³

Публикация набросков позволяет открыть еще одну страницу русско-болгарских отношений. Это вполне соответствует усиливающемуся интересу к жизни и творчеству Даля. Так, в Пернике (НРБ) в мае 1988 года состоялась далевская конференция, куда были приглашены советские исследователи, а в ноябре 1988 года представительная делегация из Болгарии участвовала в работе четвертых Далевских чтений в Ворошиловграде.

СИЛИСТРИЯ¹⁴

Мы прибыли довольно поздно в Калараш;¹⁵ облака обещали дождь — и мы переночевали в длинном подземном магазине. — Здесь, в ти-

хом подземельи, отдаленный гул и грохот орудий под крепостью перекатывался совершенно подобно грому, и я изъявил товарищу опасение, чтобы в эту ночь не взяли, к несчастью нашему, Силистрию и мы бы не опоздали, не приехали на святую по блины! Почтовая станция была завалена и загромождена проезжими и походными. Ни приступу, ни отбою. Подорожную нашу окурили; солдат, проворчав: «Руками класть не велят», — принял ее левою голою рукою, сунул в предлинные клещи, за которые держался правую, кинул на решетку ящика, под которым *во время оно* курился марганец, и подал ее нам тою же неуклюжею машиною. С трудом наконец отправились мы утром — кто не курьер, не фельдгегер, тому здесь нет чести; по казенной надобности всякой. На дунайской переправе то же; подводки, фургоны, полупурки можно было смело считать не десятками, а сотнями — может быть тысячами; толпа по берегу, шум, крики, возня. — Лошади — повозки — пушки — кибитки — конница — пехота — берег, на расстоянии нескольких верст, укрыт был пестрою ярмаркою — офицеры по целым дюжинам бегают взад и вперед, кричат и суетятся — а толку допроситься не у кого. На вопросы: где почтовой барказ, или судно? отвечали: здесь нет почтовых; или: это все почтовые! Я с товарищем втерлись кое-как в один из барказов, едва успев побросать в него чемоданы свои. На руле стоял старик, урядник черноморского пешего войска. . . «Так, теперечки, — говорил он малороссийским наречием своим, — и у день и у ночь ездим, не пивши не евши, бо нема хлеба, нема часу, нема кого слушать; кто ударит-с, того и веземо! У меня два сына було на службе; одного — гарный був хлопец! — убили пид Анапою;¹⁶ другой, тут гдесь був, та щось не чуть ничего — мабуть и його немае! Треба служить богу да цареви; и я уже служу 27 лет!»

Нас привезли и бросили на берег, то есть ссадили на пустопорожнюю землю; строения или избушки не было никакой. Мы обмылись, с дороги, в Дунае, оделись в мундиры и узнали, что лошадей нам не будет. Несколько троек стояло здесь для фельдгегерей, и только. И так мы с негодованием и удивлением сели на чемоданы свои и спрашивали друг друга — заметьте, мы оба ученые — *quid — rogo?*¹⁷ Просидев таким образом на имуществе своем, доколе нам захотелось есть, узнали при этом случае, что и черствого сухаря достать было негде. Мы бы охотно пошли пеши в Главную Квартиру, но вещей было покинуть и поверить некому. Кавалерийских и других лошадей получить было невозможно — а дело уже подходило к обеду и мелкий дождь накрапал. . . приятное положение! Наконец нашлись казаки, это всюду промышляющее племя, которые посадили нас и поклажу нашу на коней, и отправили до места назначения под Силистрию, в Главную Квартиру. Дорогою солнце вышло из-за тучи, обсушило и утешило нас. — И подлинно, я еду на зовыв отечества, служить жизнью — о безделицах не буду помышлять и изнемогать пред ними! —

Гром орудий от времени до времени раздавался, и я хотел бы скакать или по крайней мере ехать рысью, чтобы скорее удовлетворить своему нетерпению и любопытству. — Я могу живо вообразить лагерь наш — Лагерь Главной Квартиры Русских под Силистриею! — Там дух воинственный владеет всем и всюду — нет речи, нет разговоров кроме о планах, проектах, о новостях военных, — кроме толков и пересудов о бомбардировках, блокадах, осадных работах, вылазках, приступах; здесь и там стоят небольшие толпы офицеров, осматривают происходящее, толкуют, сравнивают, — в руках подозрительные трубы, карты, планы — войска в строю — начальники разрезжают, распоряжаются, адъютанты их скачут с приказаниями. . . и каждый из этих пушечных выстрелов навлекает на себя особенное их внимание. Но вот и лагерь! вот давно желанная цель нашего пути! опять пошел дождь. Мы отдали лошадей казакам и пошли искать генерал-штаб-доктора. Красивые продолговатые палатки с зелеными и красными змейками стояли чинно в длинных рядах — одна за одной, одна у другой — конца нет! На вопросы наши: «Где стоит генерал-штаб-доктор?» — учтиво и рассеянно нам отвечали: «Здесь где-то!» Между тем дождь шел, и мы прохаживались в мундирах с нашивками, спотыкались через шпаги, держались за шляпы руками. Интендантские и комиссариатские чиновники ныряли из-под подола одной палатки под другую — бегали с докладными бумагами и проклинали грязь. Впрочем, все было чинно, тихо и спокойно, об осаде никто, казалось, не заботился; никто, при сильно возобновляющейся пальбе, даже и не оглядывался.

К вечеру отвели нам солдатскую палатку, куда двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть. К вечеру же нам еще сильнее захотелось есть, ибо весь день ничего не было во рту, и товарищ мой пошел к одному из оседлых здесь собратов наших, сказав: «Если он не умеет предложить хлеба-соли, так я умею спросить». Замечу мимоходом, что положение нашего брата, как я опытом это узнал, в полку, где есть товарищи, есть свои, несравненно лучше, нежели в Главной Квартире, где каждый стоит один как перст, и нет между людьми, часто на короткое только время сталкивающимися, ничем взаимно не связанными, той искренности и доброго товарищества — всякой сам себе ближе; нет пристанища, нет приюта.

На другое утро услышал я, что здесь есть базар, и поспешил, голодный, туда. Как изумился я, как досадовал, что проголодал почти сутки, имея подле боку все, чего душа ни пожелает! Здесь большие маркитантские наметы стояли в длинных рядах и образовали целые улицы; под ними ели, пили, продавали на фунт и на аршин — здесь нашивки и эполеты у комиссионеров Битнера и Лихачева, там сельди голландские и коврижки вяземские — расчетливые евреи привезли целые фуры форменных фуражек; другие торгуют выпушками и подтяжками — портные, сапожники и — даже часовой мастер! Казаки водят лошадей, носят седла,

плети, недоуздки, треножки, пута — турецкие сабли, ятаганы, ножи и платья!

Между тем пальба продолжалась день и ночь, то реже, то чаще. Иногда ночью ружейный сильный огонь вдруг грохотом рассыпался — при тихой погоде даже слышны были голоса, крик — но это все шло своим чередом и никто о прошедшем или происходящем не говорил ни слова; и хотя батареи наши стояли только за горою, но я, любопытствуя узнать то или другое, к удивлению моему, всегда получал в ответ равнодушное: «не знаю — бог знает» или «так, ничего» — а изредка таинственные двусмысленные отзывы, важный вид, и только. «Пойдем» — сказал я товарищу своему, — пойдем и взглянем сами на все, что делается, посмотрим, как осаждают крепость — я вижу, что я имел ложное понятие об этом деле».

Спустившись под гору и поднявшись раза два и прошед караульные, оседланные и замундштученные эскадроны, стоявшие закрыто за пригорком, вышли мы неприметно на покинутую, прошлогодною,¹⁸ батарею нашу, которая доселе скрывалась от взоров наших крепость. Она вдруг открылась на весьма близком расстоянии; перед и под нами лежал город и крепость как на плане, на ладони. Улицы и перекрестки, небольшие площадки, сады, мечети, домики с плоскими черепичными кровельками и окнами в двор или в сад — все это было раскинуто чисто и ясно перед нами. Дым от времени до времени показывался на противоположащем острове — на канонирских лодках, или из осадного орудия подле и над нами — глаза следили по направлению его, и густое облако пыли подымалось вслед за сим тут и там в городе. Улицы все совершенно пусты; крепость едва-едва отвечает через десятый выстрел. Из каких-нибудь двадцати каланчей стояли ныне только три, прочие были сбиты. Город в двух концах дымился. Это все, друзья мои, что можно было увидеть; посторонний наблюдатель при осаде, как и в чистом поле в сражении, никогда не может дать отчет, сколько-нибудь верный, о происходящем, сообразить целого — он видит постороннее и случайное, главного и важнейшего не замечает; большую часть того, что видел, не понимает; взоры и чувства его часто обманываются, всегда разлекаются не существенным и посторонним — словом, он глядит, как мы подчас на фигляра, который показывает нам то, что хочет, и рассказы наши о том, что мы видели, всегда бывают не сообразны с делом, с природою и истиною. Два солдата, сидевшие неподалеку от нас в траншее, предостерегли нас не стоять долго на одном и том же столь открытом месте. «На днях, — говорили они, — здесь полковнику одного егерского полка оторвало ядром руку». Но, будучи уверены, что ружейная пуля до нас достать не могла, и что, конечно, по одному или двум в отдалении стоящим людям не будут стрелять из крепостных орудий, спокойно остались мы на месте. Но в ту же минуту увидел я поднявшееся после первого рикошета и летящее прямо на нас ядро, увидел перед собою — черную луну. Я успел указать на него,

закричать «летит — летит» — и бросился с вала в ров. Здесь мы встретились с товарищем. Граната, ударив неподалеку в землю, не лопнула, но с треском выстрела из нее вышибло трубку. После такового приключения вылез я изо рва, отряхнулся, поглядывая на бастион, откуда нам выслали гостинцев, едва не обжегся, ухватив неостывшую еще гранату, плюнул и пошел по траншеям и с оглядкой восвоился; а когда мы, пришед на место, стали рассказывать о славном подвиге нашем, то мне посоветовали на первый случай помолчать; ибо нам, медицинским чиновникам, знака отличия военного ордена не дают, а сажают за неуместную и безвременную храбрость под арест.

Слух разнесся в лагере, что скоро уходим; никто не знал куда. У меня не было еще ни денщика, ни лошади, и я пошел промышлять на левый фланг, к казакам. Длинные пики в пирамидах и чистое поле, без палаток, отличают биваки их от лагерей наших.

«Есть, да ледашие, — сказал один из них, заклепывая деревянным колышком саблю в рукоятки, — для вас не годятся: спины все посбиты; приходите завтра, к полудню, так будут».

— Отколе же будут? — спросил я.

— Да наши станичники подстергли косяк, так выпросились на ночь отбить; к рассвету, надо быть, воротятся. Там есть-таки годящиеся, и жеребчики, сказывали, есть. А купите вот, ваше благородие, когда угодно, у меня пистоля есть одна хорошая.

— Покажи — а где ты достал его?

— В партию ходили, так отбили наемни.

— Расскажи мне, как это было?

— Известно как; скололи его собачью веру да и обобрали. Он расселся, подобрав мотню на коне как на креслах, заголив рукава по самые плеча, взял ятаган в зубы, в руки по пистолти, закричал, наскочил, зря, как без головы, выпустил по патрону, да и поворотил было назад. А я с товарищем, с Сергеевым, подметили его, когда только с места трогался, да и обскакали с боку. «Береги, брат Копылов! — кричит Сергеев, — береги горячего — на уход пошел! езжай вправо, да сделай ему пример пикой, а я ударю с боку!» Он на меня-то, леший, загляделся, а тот зади набег; уйти уж ему и некуда; мы его так и подняли под бока с Сергеевым.

— Где же другой пистолет? — спросил я.

«Не парные были, — отвечал Копылов, — а другой почище еще был этого, так тот есаул приказал себе принести».

Я любопытствовал узнать, на чем основывается такое приказание есаула, всегда ли исполняется и как думают о нем другие?

«Известно, — отвечал он, — когда какая пожива есть, так надо делиться с начальством! без этого нельзя: в обиду не дадут товарищи, да и сами начальники не захотят обидеть; а что следует, то подай».

КУЛЕВЧИ

24-го мая снялась главная квартира из-под Силистрии. Стройные ряды палаток в несколько часов исчезли, пехота и конница потянулась через дол и холм — обозы, подвижные госпитали пролегли пестрою строкою по извилистой дороге, и многолюдный переносный город оставил только несколько разбросанной соломы на месте своего существования. . . Корпус генерала Красовского оставался под Силистриею — это я как-то услышал вскользь — ибо, будучи уже почти четвертые сутки на ходу, не знали мы еще куда и зачем идем. Хвост подвигался медленно, между тем как голова была уже на месте. Наконец прислан был за нами нарочный: инструменты, бинты и корпию просили не забыть. Мы настигли наконец вагенбург¹⁹ наш, выстроенный и оставленный под прикрытием на обширной равнине. Отселе велено было нам поспешать еще более, чтобы до сумерек настичь Главную Квартиру, ибо места были не безопасны. Мы прошли на рысях, на новоотстроенных линейках своих, несколько верст, по свежим следам опустошения. Цветущие луга, жнива, на коих конница делала привал, пустые жилища, пламенем объятые села — избы горели по обе стороны дороги, жар был местами там велик, что едва можно было проехать. Анст, среди дыма и огня, сидел спокойно на гнезде своем и, казалось, ожидал смерти. Несколько казаков ревизовали опустошенные села, растаскивали пожитки. Наконец проехали мы мимо крайней цепи, где казаки были расставлены по деревьям, а кони их паслись взнузданные под их ногами. Из этого надлежало заключить, что мы ехали, как говорится, не у деда за пазухой, хотя при нас находились только четыре конвойные казака.

Еще до заката солнца настигли мы главную квартиру, в самое то время как совершалось, в большом сводном карре, из частей всех присутствовавших войск состоявшем, молебствие. Обер-священник говорил коротко, но сильно и разительно: «Дерзайте; святой чудотворец Николай, в лице обожаемого монарха, присутствует Вам; карайте строптивых, щадите молящих о пощаде. Богу честь и слава, а вам царство вечное — аминь». — Все показывало грозу парящую, готовую разразиться; последние слова Главнокомандующего подтвердили то, что услышать ожидал всякий: «Завтра, ребята, увидимся на поле сражения». — Солдаты горстями носили и сыпали приношения свои на походный алтарь. Священник окропил обреченных славе и смерти, и — меня взяла неизъяснимая грусть и тоска, глядя на стройные ряды воинов наших: сколько из вас, ныне еще сильными мышцами свободно движущихся, завтра кости положат в земле чужой? Сколько изувеченных будут дни унылые встречать и провожать на костылях — заменят живой член, эту часть самого себя, мертвым деревом?

Это было накануне Кулевчинской битвы, 29-го мая; и так действительно большая часть Муромского и многие Софийского и 11-го, и 12-го егерских полков в последний (раз)²⁰

проводили глазами заходящее солнце. Я часто читал и слышал подобное; но впервые увидел; впервые узнал какое-то горькое чувство, смесь нетерпения, досады, грусти, сострадания и мужества. На ухах воинов дрожали капли невольной слезы и сливались с каплями святой воды. После молебствия войска тронулись и шли во всю ночь. Рано утром прошли мы Яны — базар и заняли позицию в виду Шумлы. Визирь — так сказывали — вышел из Шумлы для освобождения осаждаемой нами Силистрии, был теперь нечаянным и быстрым движением нашим обойден и отрезан; мы стали между Шумлою и им; он же, Визирь, недоумевал и сомневался. Казаки очистили нам дорогу через Яны — базар; они имели незначительные шибки, гнались за передовыми постами до самого лагеря и хватили из оного всякую всячину. Со мной были только бурка и перевязная сумка; все прочее в вагенбурге; а потому, когда наконец прибыл под сильным конвоем маркитант, то расхватили мы в полчаса три повозки съестного, не спрашивая *что?* и *почем?* и платили с радостью за две горсти белых московских сухарей рубль серебром. В тылу нашем Шумла; в лице болотистый ручей, разделяющий нас от крупных высоких скал, на коих лес, а в лесу Визирь; против нас, через ручей, лошина; на левом скате ее с. Кулевчи. Войска наши стояли весьма скрытно. Линейки наши прошли на рысях мимо Иркутских гусар, которые были расположены в яру и дремали, держа замундштученных коней в поводу. «Не торопитесь, господа, пустите нас наперед», — кричал вслед за нами подпол-

ковник М. Утром с трудом отыскали и узнали обезглавленный труп его. До полудня часа за полтора, 30-го мая 1829 раздался первый пушечный выстрел с противулежащих скал и известил всех нас о начале Кулевчинского дела. Я пустился бегом от обоза, где только что перевязывал казака, ординарца генерала В., который был так зол на турок, один из коих раздробил ему, даровавшему пленнику своему жизнь, пистолетною пулею колено — так зол, что грозился зарыть зубами раненого турка, подле которого ему довелось лежать на земле — надлежало их разлучить. Я пустился бегом, говорю, и стал как можно ближе к Главкомандующему. Я мог слышать приказания его, доклады прилетавших адъютантов. Реляций о деле сам я не читал и по сие время, толки весьма различны — но я заключаю из того, что видел и слышал, что первоначальная потеря наша была не случайная, но умышленная; крайнее средство, чтобы выманить турок и принудить драться. Это доказывало и невероятное хладнокровие, с каким Главкомандующий взирал на происходящее и не трогал с места большие запасные силы, тогда как все слепо-зрячие видели, вначале, одну только гибель нашу, и уверились в победе только на другой день, когда до шестидесяти орудий неприятельских стояло перед шатром Главкомандующего.

Движение колонн конницы и пехоты, пушечный и ружейный огонь, рассыпной строй егерей и даже кой-где одиночных наездников, и пистолетный огонь их можно было отличить простыми глазами.

¹ См.: Ляхов В. А. Русская армия и флот в войне с Османской Турцией в 1828—1829 годах. Ярославль, 1972. С. 170, 296.

² «Действия» Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1898. Т. 3. С. 37, 42 (отдел III).

³ См., например: Записки И. П. Дубецкого // Русская старина. 1895. № 6. С. 129.

⁴ Ляхов В. А. Указ. соч. С. 251.

⁵ Даль В. И. Полн. собр. соч. СПб.; М., 1897. Т. 4. С. 109. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁶ Воспоминания доктора Зейдлица о Турецком походе 1829 года // Русский архив. 1878. № 4. С. 434.

⁷ ИРЛИ. Ф. 27. Ед. хр. 895. Л. 3—3, об.

⁸ Порудоминский В. И. Болгарские страницы жизни и творчества В. И. Даля // Русско-болгарские фольклорные и литературные связи: В 2 т. Л., 1976. Т. 1. С. 354, 356.

⁹ ИРЛИ. Ф. 27. Ед. хр. 506. Л. 12.

¹⁰ Северная пчела. 1829. 14 июня. № 71. Привавление № 20.

¹¹ Северная пчела. 1829. 17 июля. № 85. Привавление № 30.

¹² См.: Фесенко Ю. П. «Путешествие в Арз-

рум во время похода 1829 года» А. С. Пушкина и «Болгарка» В. И. Даля // Творческое наследие В. И. Даля в идейно-нравственном формировании личности. Тезисы докладов и сообщений четвертых Далевских чтений. Ворошиловград, 1988. С. 30—31.

¹³ Стефан Г. Ф. Два года в Турции (с июля 1828 года по сентябрь 1830) // Инженерный журнал. 1878. № 2. С. 46—47.

¹⁴ Оба отрывка публикуются нами с учетом окончательной правки Даля. Выделенные курсивом слова подчеркнуты в оригинале.

¹⁵ Возле г. Калараша в 1829 году русскими войсками была наведена переправа.

¹⁶ Находившаяся в турецком владении Анапа в июне 1828 года была осаждена русскими войсками и после упорного сопротивления сдалась.

¹⁷ Усеченное: Quid progo argumentari? (лат.) — К чему мне еще доказывать?

¹⁸ Осада Силистрии, начатая в 1828 году, была прервана на зиму и возобновлена в мае 1829 года.

¹⁹ Сосредоточенное построение обозных повозок.

²⁰ Вставлено нами по смыслу.

ПИСЬМА ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА К ЛЬВУ АЛЕКСЕЕВСКОМУ

(ПУБЛИКАЦИЯ Л. А. ИЕЗУИТОВОЙ)

О содержании четырех писем Л. Н. Андреева к пятнадцатилетнему племяннику Л. А. Алексеевскому известно исследователям творчества Андреева, работавшим в рукописном отделе Пушкинского Дома; с небольшими отрывками из второго публикуемого письма (недатированного) читателя познакомились в «Очерках жизни и творчества А. М. Горького», изданных В. А. Десницким в 1935 году. Как сообщил В. А. Десницкий, была подготовлена к печати подборка поздних писем Андреева, которая в печать не попала и существование которой где-то ни было сейчас проблематично. Это обидно, потому что в наши дни открылась возможность спокойного, объективного исследования творчества Андреева последних лет его жизни, и переписка многое помогла бы понять.

Одни письма попали в зарубежные хранилища, другие остались в частных руках, и скоро придет время их публикации. Наступило оно для материалов наших хранилищ. Кое-что было обнародовано в 20—30-е годы. Среди писем следует назвать письма к Андрею и Павлу Андреевым, С. С. Голоушеву, А. В. Амфитеатрову, И. В. Гессену, Н. К. Рериху; среди воспоминаний — воспоминания А. и П. Андреевых, А. А. Кипена, И. А. Белоусова, М. К. Куприной-Иорданской, Ф. Н. Фальковского, две книги воспоминаний («Книга о Леониде Андрееве» и «Реквием»). Кое-что опубликовано уже в наши дни. Это в первую очередь 72-й том «Литературного наследства» «Горький и Леонид Андреев», сыгравший существенную роль в изучении Андреева. Некоторые ценные материалы — письма к брату Андрею, к И. С. Шмелеву, к Ф. Сологубу и др. — напечатаны в малых дозах. Ощутимым подспорьем для желающих знать о последних годах жизни и творчества Андреева являются книги Вадима Андреева «Детство» и Веры Андреевой «Дом на Черной речке».

Письма Андреева к Льву Аркадьевичу Алексеевскому безусловно имеют право на публикацию по ряду причин. Прежде всего в них виден Андреев-человек в его отношении к людям — братьям, друзьям, родным, к юному племяннику. В них много внимания, тревоги и чувства ответственности — качеств, характеризовавших стиль бытового поведения писателя. С Львом Аркадьевичем Леонид Николаевич ведет разговор всерьез, без скидки на возраст, очень доверительно и открыто. Его письма написаны домашним теплом. Как почти во всех личных письмах Андреева, в них много юмора, иногда мягкого, порой грубоватого. Самая существенная их черта: Андреев пишет о главном, касается ли это обстоятельств жизни его адресата, или его самого, или судьбы близких, тем более судьбы его отчизны. Письма проникнуты чувством озабоченности исходом общественных катаклизмов. Андреев поглощен жизнью

России в настоящем и старается провидеть ее будущее.

Эти письма являются естественной и характерной частью всего, что делал, писал, говорил Андреев. Всем, кто был связан с Андреевым в эти годы, бросалась в глаза его поглощенность общественными событиями. В. Е. Беклемишева в воспоминаниях, относившихся ко времени первой мировой войны, писала о «повышенном интересе к разыгрывающимся военным событиям» и напряженной любви к России, которые «толкали» Андреева от литературной деятельности к газете, публицистике, журналистике, политике.¹ Андреев видел смысл и оправдание революции в ее созидательной исторической роли. В письме того же времени, что и публикуемые письма к Алексеевскому, он писал: «Мне лично кажется, что этот новый приближающийся период будет временем собирания и стройки, работы положительной и созидательной. Вот тогда можно будет говорить, тогда всякое решительное и громкое слово будет иметь большую ценность. Огромные задачи, которые встанут перед Россией, потребуют величайшего напряжения и концентрации всех сил и оплодотворят нашу работу. Что пользы в сохе, когда земля покрыта снегом и скована морозом? Пусть хоть проталины покажутся».²

Собственное участие в новом строительстве жизни для Андреева гадательно по многим причинам общего и личного свойства. Первое обстоятельство, его мучившее, — то, что из-за газетной работы он забросил литературное творчество. «Ведь столько тем, столько мыслей остаются неразработанными», — сетовал он в том же письме к А. А. Измайлову. Второе обстоятельство — возраст, здоровье (из того же письма: «А жизнь проходит, здоровье слабеет...»)³ Было, однако, и третье, едва ли не главное обстоятельство, диктовавшее невозможность участия Андреева в политическом строительстве 1918 года, — это его несогласие с большевиками. Из воспоминаний В. В. Вересаева: «Большевизма, конечно, он не мог принять ни единым атомом души».⁴ Это не был каприз, настроение минуты, эмоциональный всплеск. За неприятием большевизма стояла выношенная годами позиция, стояло устойчивое общественное сознание; Андреев был верен ему и последователен в отстаивании своей позиции. Мы должны перестать говорить и писать о заблуждениях и ошибках Андреева, нам следует думать о трагическом времени выбора пути, когда решался вопрос о возможностях революции, отчасти и социализма.

6 февраля 1919 года Андреев окончил листовку «S. O. S.», обращенную к странам Антанты. Из нее ясно, что созидательные, строительные начала революции Андреев не связывал с большевизмом. То, что видел Андреев в Петрограде, побуждало его говорить о боль-

шевиках как «дикарях Европы», которые встали против ее «культуры, законов и морали»⁵

Чего не приемлет Андреев в политике большевиков? Соглашения с германскими империалистами, банками и «преступным» Вильгельмом II с целью завладеть политической ситуацией. Красного террора. По его убеждению, большевики одной рукой отменили смертную казнь, другой — решением революционных трибуналов обрекли на уничтожение всех «буржуев». В итоге Андреев воспринял большевизм как нарушение законности — «божеской» и человеческой, — поскольку он был связан с широким применением государственного убийства, лжи, грабежа; писатель назвал все это политическим двоедушием.

Конечно, Андреев не был политиком — отсюда его идеализм в отношении к странам Антанты и взаимным союзническим обязательствам входивших в нее стран; отсюда и выдвижение им внеполитического (морального) лозунга войны с Германией до победного конца. Однако Андреев был одним из видных носителей современной ему социальной философии. Исходя из ее духа, он не мог принять поправки высших нравственных ценностей, отвержения общечеловеческих законов нравственности. Разрыв между собой и большевизмом Андреев переживал как трагический. В письме к Н. К. Рериху от 4 сентября 1919 года он с тоской и горечью писал о том, что у него не стало дома, в котором был уют и покой (Андреев не мог жить в собственном доме на Черной речке; он скончался в Нейволе у Фальковских), не стало большого дома — России; вместе с ним пропал и самый просторный дом — искусство. Трижды изгнанник, он скорбел: «Нет России. Нет и творчества».⁶ Можно даже сказать, что кончина Андреева была следствием его трагедии.

Если правда, что трагедии не бывает без катарсиса, то для Андреева его очищением были мысли о природе революции. Незадолго до смерти Андреев готовился ехать в Соединенные Штаты Америки с лекциями о России, русской литературе, о революции. М. К. Куприна-Иорданская, вошедшая в кабинет писателя, где лежало его тело, увидела на листе бумаги, вставленном в пишущую машинку, слова конспекта его американской лекции: он хотел говорить о природе революции. На протяжении всей жизни Андреев был, хотя и колеблющимся, сторонником революционного пути развития («революционистом»). В последние дни жизни он готов был отказаться от этого убеждения. «Революция, — писал он, — такой же малоудовлетворительный способ разрешать споры, как и война. Раз нельзя победить враждебную идею иначе, как разбить череп, в котором она заключена, раз нельзя усмирить враждебное сердце иначе, как проткнув его штыком, — тогда, понятно, деритесь. . .»⁷ Опыт революции побуждал Андреева к новым мыслям и словам, которые он хотел сказать молодым.

1

15 (28) февраля 1918 года

Милый мой Левушка!⁸ Твои письма — одна из больших радостей для меня за это время! Ты очень славно пишешь, просто молодец! — говоря по правде, никак не ожидал от тебя такой прыти. Seriously. Молодец! Не отвечал тебе только потому, что с твоего отъезда не написал никому *ни одного* письма, так не хотелось писать. Только теперь, вернувшись из Петрограда, где я прожил в вашей квартире почти три недели, начинаю писать, и первым делом тебе, Лев Д'Андрэ.

После твоего отъезда было так. Выпал снег и наступили собачьи холода. Приехал Андруша⁹ на 8 дней и были холода. Андруша уехал и опять приехал через две недели, и были собачьи холода. Прожил он в деревне месяца полтора, а на Рождество жил Павел;¹⁰ и были собачьи холода. В столовой 5° морозу, в кабинете 12—8, снаружи все время больше 20. Были ледяные снежные бури при 25° морозу и северном ветре, весь дом дрожал и выл, казалось, завалится. Снегу нанесло поверх заборов, дорог почти нет, потому что ни у кого нет лошадей. Потеплело только к половине января. Тихо у нас было совершенно. Дети чувствуют себя прекрасно и всему радуются. Дидишка¹¹ упорно и хорошо занимается, радуя меня. И растет день и ночь. Я ни разу никуда не выезжал и рисовал: день рисовал, вечер рисовал и ночь рисовал, а остальное время играли в винт и даже в стуколку. Жратво ничего себе, хотя трудно доставать. Главным образом — брюква. Гораций Ч. Брюква ел брюкву.¹²

С половины января началась и у нас сражения красной и белой гвардии, поезда ходят плохо. Теперь всем управляет у нас красная гвардия, держится пока вполне прилично, нас не трогают. Иногда вдали слышны бывают выстрелы. Оружие у меня реквизовали. Солдат почти не видать, почти все удрали. В Питере ждут немца. Пока я жил там, вечером ни разу не выходил — грабят! Днем погуливал и тоже слушал выстрелы. Павел мучительный хозяин и весь дребезжит, его обнимают квартиранты. Но об этом расскажет Андрей.

Римме¹³ скажи, что я изъявляю согласие быть крестным отцом этого малолетнего преступника, Кирилла.¹⁴ Я привык, ничего. Одним больше или меньше, эка важность. Бог с ней. Я как-нибудь выдержу. И не то выдерживал! Ну и крестный отец, ну и мать, ну и бабка — кому какое дело? Мое дело. Раз я сам иду на такую вещь, значит судьба. Я недавно чуть артистку Давыдову¹⁵ не крестил, а это что — какой-то Кирилл! Ничтожество в восемь фунтов. Вот Давыдову потаскай вокруг купели. Это работа. У нее в одной ноге десять ваших Кирилов, да и то не ропщу. Роптать — грех, даже при отделении церкви от государства, запомни это. И не таких крестил, как Кирилл, честное слово, и все с рук сходило. Я его потом отдам в воспитательный или подброшу в чемодан к

Павлу. Павел любит детей. А он не большевик? Если большевик — все равно крещу: я отчаянный. Мне хоть каждый день крестить, всегда готов. Эка! Я его так окрещу, что своих не запомнит. Потом отдам его в шоферы, пусть давит людей, мне никого не жалко! Раз я сам крещу, так чего же мне других жалеть?

Сегодня узнал, что Павёл идет добровольцем в Красную Армию и с завтрашнего дня отправляется рыть окопы. Весь так и сияет! Дай ему Бог. Вероятно, он еще хочет искупить свой тяжкий грех — дело в том, что за это время они съели с Андреем всех лошадей в Петрограде, и большевистской кавалерии теперь не на чем ездить. Хоть на палочке! Может быть, Павла самого назначат лошадей для Крыленки,¹⁶ это хорошо, потому что Павел подавал большие надежды в этом смысле. Конина в супе, конина в котлетах и конина на сладкое постепенно стала превращать его в лошадь: крайне любопытный процесс! Так, в последнее время он мог ходить только по середине улицы, притом все время пукая. Ржет он еще слабо, скорее мяучит, но задом бьет; недавно здорово брыкнул квартиранта. В пиджаке сзади Женя¹⁷ и Маруся¹⁸ уже прорезали ему дырочку для хвоста, хвостом он очень дорожит, говорит, что всегда мечтал. И у него честолюбивый план: поступить верховой лошадей к самому наштаверуху,¹⁹ хотя не думаю, чтобы он смог достаточно быстро бегать, когда надо эвакуироваться. И ленив он.

С большим огорчением думаю, Левушка, что лето мы не будем, пожалуй, жить вместе. Но... ничего неизвестно, даже загадывать не хочется. Еще и сам про себя не знаю, где я буду. Вероятно, в Финляндии, заниматься огородом: хочу теперь сделать его как следует. Мы были ослами, что так мало его сеяли и сажали. Хочу Вадима²⁰ основательно запретить на поденную работу по огороду. Буду и сам песком посыпать дорожки: недавно из меня начало сыпаться. Слава Богу!

Будь здоров, милый, и пиши мне побольше. Поцелуй Римму и остальную дробезь. Скажи, что Кирилл я крестить согласен. Все равно уж, где наша не пропадала! Перекрещу и с колокольни долой, как говорится. Это не Давыдову крестить. Вот не знаю, крещен Щеголев²¹ или нет, боюсь, что еще нет. Ну да все равно: задавит так задавит, туда мне и дорога: не берись!

Целую крепко.

Твой любящий дядя Евграф Пуповинский.

2

[Б. д.]

Милый мой Левушка! Получил два твоих письма, одно с шутками насчет учителя — это чепуха! — и другое, серьезное, очень мне понравившееся и тронувшее меня. Я тебя люблю, мой милый мальчугашка, и мне приятно, что ты такой здоровый, веселый, умный и правильный человечико. Все, что ты пишешь о немцах, необходимости обороны, Питере и прочем, — правильно. Так, как ты, чувствуют все здоро-

вые и честные русские люди. Правда, многие как будто радуются приходу немцев, но это потому, что вся Россия устала и измучилась анархией и даже своих врагов немцев считает за меньшее зло, нежели большевиков. Многие думают так: пусть придут проклятые немцы и уберут проклятых большевиков, а потом мы сами уже уберем и немцев.

Конечно, это рассуждение неверно. Если у нас не хватает силы самим справиться с большевиками, то еще меньше сможем мы справиться с германцами. И моя надежда вовсе не в том, что немец защитит нас, как слабосильных идиотов, от Ленина и его компании, а что сами рабочие, крестьяне и все честные люди России почувствуют наконец невозможность жить так и дальше, почувствуют позор, голод и разорение, поймут обман, куда их вовлекла невежественность, — и сами, всем народом примутся за энергичную работу. Россия сейчас распалась на части, на мельчайшие частички; она развалилась, как каменный огромный дом после землетрясения, и представляет собой груды мусора: кирпичей, известки, сломанных и погнутых палок, порванных обоев, стекла битого и всякого сору. И надобно, разобрав весь этот мусор, отделить в нем цельные кирпичи, годные для стройки, и весь другой годный материал, надо добавить к этому новых кирпичей и крепкого дерева — и сызнова строить дом по новому плану.

Работа предстоит трудная и долгая, но отчаиваться не следует. Может быть, так и надо, чтобы старый дом России, затхлый, вонючий, клоповый, построенный по ветхозаветному плану — развалился до глы и тем дал возможность воздвигнуть новое величественное здание, простое и светлое. Боюсь издержек и труда, мы хотели только отремонтировать Россию да сделать некоторые пристройки, а дом не выдержал первого прикосновения и рассыпался весь — что ж, может, это и к лучшему! Знаешь, как говорится: «Пожар Москвы способствовал ей много к украшению».²²

Будем строить, то есть строить будете вы, молодежь, а нам уже не придется: стары и слабосильны. Но будем и мы, сколько сможем. Будем опять, как при Калите и других, понекому собирать воедино Украину и Крым, Запад и Восток, будем добывать море и силу. Я думаю, что по прошествии некоторого времени все эти окраины и части России, которые теперь с такой жадностью стремились к отделению и отделились — с такой же силой и жадностью захотят воссоединения, начнут стремиться друг к другу, как влюбленные и разлученные. Не только Украина, которая сбежала от России исключительно из-за большевика и уже теперь чувствует себя дурой, но и Курляндия с Эстландией, и Польша и Литва, и, быть может, даже Финляндия — все они, поживши особняки и погулявши с немцем под ручку, весьма захотят вернуться обратно в отчий дом России. Они его не ценили и не любили, когда их держали там насильно, но при свободе он станет им дорог и мил по-новому.

Сейчас русский народ кажется сплошным дураком, вором и хамом, и стыдно называться русским. Но ведь и самый лучший дом кажется простою кучею мусора и грязи, когда он разваливается, и в действительности русский вовсе не таков. В нем есть и ум, и талант, и совесть, большая совесть, — это показывает та же русская литература, которая ведь не из пальца высосана и не в Германии сделана, а создана русскими людьми! В нем есть и воля к жизни — недаром же он так разросся и раскинулся на чужь не на половине земного шара, и все это скажется, когда начнет он строить свое новое здание. Ведь даже в его теперешней отвратительной на вид, страшной и тяжелой болезнью есть положительная сторона — это его неудержимое стремление к безграничной свободе. При всех современных условиях, при невежестве народа, лжи и обмане со всех сторон это стремление к безграничной свободе выродилось в глупейшую анархию, жестокость, бесчинство, воровство и хамство, но ценность самого стремления от этого нисколько не умаляется. И впоследствии, наученный теперешним горьким опытом, подучившись и поумнев — русский народ сумеет свое стремление к свободе заключить в более разумные формы и принесет свободу не только себе, но и всему миру.²³

А пока, Левушка, жить очень трудно и тяжело. Круто, брат, приходится! Противно, что даже так много лгут и так много убивают хороших и неповинных людей. Противно, что немец задрал нос и ходит гоголем, а настоящий голь ввдруг оказался в друзьях с пруссаками. Все это противно, и порою очень хочется подойти к зеркалу и побить себе морду — это удобно в том отношении, что штрафа платить не придется и легко дело об оскорблении покончить миром. Конечно, я с большим удовольствием побил бы морду кому-нибудь другому — есть ужасно соблазнительные морды! Но достать их трудно.

Вполне понимаю и разделяю твою печаль и скуку о море. Мое мнение такое, что без моря вообще не стоит жить на свете, и если бы я уже не был сложившимся писателем, я бы хотел быть акулой или даже простой селедкой. Я за то и московские земли не люблю, что у них моря нет. Река не то. Плавать по реке все равно что гулять по Невскому: правая сторона, левая сторона, вверх, вниз — простору никакого. А море — это простор и широта. И конечно, наша Финляндия, и особенно шхеры, где море так доступно даже для маленькой лодочки и так разнообразно, — самое лучшее учреждение. От всего сердца сочувствую я тебе, Левушка. Как жаль, что теперь война и нет «Далекого»: ²⁴ ты и Вадим теперь уже настолько велики, что я мог бы брать вас в дальние плавания, а это, брат, такая штука капитана Кука! Ты еще этого не знаешь!

У меня есть мечтание: на лето, если кончится в Финляндии война красных и белых, поселиться на Сайменском озере,²⁵ где тоже есть шхеры, тысячи островов и проливов. Конечно, «Далекого», если даже немцы и не возьмут его, получить нельзя, но можно будет ограничиться

гномиком, лодкой и парусами, это тоже не кот заплакал. И вот: если позволит Римма, если возможен будет проезд, если вообще удастся это сделать, — я хочу взять тебя на лето. Конечно, это только мечта, и ты не особенно ей предавайся: возможно, что и лето мы будем сидеть на своих местах, как сидели, жрать кофину и выть от тоски.

19 марта 1918

Так вот какие дела, старик. Повторяю, относительно лета и шхер на макароны не задавайся, мечтай, но с осторожностью, как будто кошку кормишь горчицей. Гражданская война здесь сейчас в полном разгаре, и конец ее угадать трудно: если замиряется, то скоро, если и дальше будут грызть друг друга, то долго, силы у обеих сторон много. И как будет продовольствие, неизвестно, и все вообще так неопределенно, что можно только ждать, терпеть и мечтать. Во всяком разе, уехать на дачу сможем только после того, как здесь хорошо приготовим и засеим огород. Вадим уже подряжен, в качестве поденщика: 8 часов работы. Такая работа над землей является теперь общественно-необходимой, все дети будут работать, а я буду ходить и уваживать, я же и дорожки буду посыпать песком.

От Андрея я получил открытку и сегодня письмо, датированное 7 марта. От тебя два письма. Андрею послал открытку, тебе недели две назад большое письмо — получил? Чрезвычайно обрадовался, получив на днях письмецо от Андреича ²⁶ из Москвы, я уже начал изрядно беспокоиться. Стало быть, цел и теперь уже в Мстере.²⁷ Вся компания уцелела: беспокоило было за Володю,²⁸ который застрял на румынском фронте и долго не подавал известий — на днях он прибыл в Москву. Теперь всем надо беспокоиться за Павла: как передают, он идет добровольцем в Красную Армию и теперь уже ходит на учебу, к ужасу А. И.²⁹ и Жени.³⁰ Передай Андреичу, что его приятеля Гржебина ³¹ недавно ограбили, сняли платье и отобрали автомобиль.

Живем мы по-старому, в тишине. До того тихо, что порой совсем можно забыть и позабыть о войне и прочем. Даже стрельба, которой занимаются в Ваммельоках ³² обучающиеся красногвардейцы, не производит впечатления настоящей и звучит мирно. Бывают минуты перенюха: так, недавно объявили обязательный набор в Красную гвардию и стали забирать здешних финнов, а здешние финны стали удирать и прятаться по лесам. Кажется, довольно много попрыгало, часть пошла. Нас это прямо не касается, но косвенно задевает, т. к. отражается на подвозе дров и проч. Как я уже писал тебе, финны-красногвардейцы ведут себя вполне благопристойно.

Погода три недели стоит солнечная, чудесная, на солнце бывает до 20°, но дает мало. Воздух иногда пахнет морскими туманами, даю, простором — и так тогда хочется путешествовать, так хочется теплого моря юга, жар-

кого солнца, что хоть плачь. Ведь три года сижу я на одном месте, без шхер, без Италии, и это дьявольски надоело. И лето так коротко, что чхнуть не успеешь, как опять длиннейшая осень и зима. Дидишка так растет, что скоро придется перевести его в башню, в одном этаже он не помещается, а там его можно, не сбывая пополам, пропустить сквозь люк. Маркиз³³ стал окончательной бабой, каждую минуту истерики от страха. Боятся разбойников и привидений, а также раненовского поросенка, который на него хрюкает. Собирается приехать сюда со своим штатом и на месяц поселиться во флигеле Илья Николаевич³⁴ — он переработал, утомлен, стало пошаливать сердце, необходим отдых. Будем ходить в гости, играть в винт. Продолвольствие плохо, хлеба давно нет, и брюквы нет, и репы нет. Вчера по всем комнатам прошла манифестация голодных тараканов и клопов с требованиями: «Работы и хлеба!», «Война до победного конца!». Клопы в отдельности требуют возвращения бабушки. Мыши по ночам вудут антиправительственные разговоры, вся подпольная печать полна призывов к бунту. У Эмилиии уже отъеден кончик носа, почти поларшина.

26 марта 1918

Ожидал оказии, чтобы отправить письмо. Сегодня едет в Питер Наташа³⁵ и вот отправит

сие. Милый старик, пиши мне побольше, но не надо на конверте «Брюкве», а просто мне, иначе может не дойти. Попроси Андрейча написать.

Здесь все так же, и все то же, и все те же. После того как пруссаки и клопы были разогнаны вооруженной силой, воцарилось спокойствие и полное довольство. Дурачьё! — сказал я им: из вас всяк должен быть в теле, ведь недаром вчера мы с Анной с трудом съели сса-лаку.

Здоровье наше какообразно и вообще экс-крементабельно. Дети здоровы. Анна в летаргическом сне вот уже трети сутки. У Наташи морда покрылась огромным количеством прыщей, каковое явление я называю «осенние розы». У кузнеца починили нос Эмилиии, сделали здоровенный набалдашник, которым она колет лед и бьет блох на Маркизе. Дидишку, чтобы не гнулся, я привязал мочалой к колу; скоро начну его подрезать, невозможно! У Тинчика³⁶ вырабатывается мрачный, пессимистический и суровый характер; ворчит на всех, полон брюзгливого недовольства; зовем его Шопенгауэром.³⁷

Светит солнце, но мороз, ветер, в комнате опять холодина.

Все.

Пиши, милый мой Левушка, жду. Поцелуй граждан Олей³⁸ и товарища Кирилла. Тез-ке³⁹ — мое почтение.

Твой Л. Репоедов.

¹ Реквием: Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930. С. 271.

² Андреев Л. Н. Письмо к А. А. Измайлову от 25 марта 1918 года // ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 10.

³ Там же.

⁴ Реквием. С. 176.

⁵ Андреев Л. Н. S. O. S. Гельсингфорс, 1919. С. 4.

⁶ Родная земля: Сборник второй. Нью-Йорк, 1921. С. 40.

⁷ Иорданская М. К. Эмиграция и смерть Леонида Андреева: (Воспоминания) // Родная земля: Сборник первый. Нью-Йорк, 1920. С. 62.

⁸ Алексеевский Лев Аркадьевич (1902—1951) — флотский инженер-механик, племянник Л. Н. Андреева, старший сын Р. Н. Андреевой и А. П. Алексеевского; был настолько близок Андрееву и любим им, что тот думал его усыновить. См. об этом: Андреевский сборник: Исследования и материалы. Курск, 1975. С. 248.

⁹ Андреев Андрей Николаевич (1885—1920) — литератор, младший брат Л. Н. Андреева. В ИРЛИ хранится подборка писем Л. Андреева к брату. Частично она опубликована: Залп. 1933. № 1. С. 68—74; Кен Л. Н., Вагин А. С. Леонид Андреев в годы первой ми-

ровой войны (по письмам к брату Андрею) // Творчество Леонида Андреева: Исследования и материалы. Курск, 1983. С. 130—139. Письма Андрея Николаевича «С войны» и его «Дневник в письмах» в собственной, очевидно, обработке Л. Андреев напечатал в журнале «Отечество» (1914. № 3, 5; 1915. № 1, 4). «Из воспоминаний о Л. Андрееве» А. Н. Андреева опубликовано в «Красной нови» (1926. № 9).

¹⁰ Андреев Павел Николаевич (1878—1923) — художник, преподавал рисование, брат Л. Н. Андреева. Его «Воспоминания о Л. Андрееве» опубликованы в журнале «Литературная мысль» (1925. Кн. 3. С. 209—223).

¹¹ Дидишка — Андреев Вадим Леонидович (1902—1976), русский писатель, автор стихов и прозы; создал автобиографическую повесть «Детство» (М., 1963), старший сын Л. Н. Андреева.

¹² Гораций Ч. Брюква — псевдоним Л. Андреева-фельетониста в «Русской воле». За этой подписью здесь вышли: в 1916 году — «Воздыхания» (29 дек. № 3); в 1917 году — «Новые въздыхания» (3 янв. № 2), «Новейшие въздыхания» (15 янв. № 14), «Последний въздох» (24 янв. № 23); «Воздыхания с того света (Похождения моего друга под видом Ангела

мира» (28, 30 янв., 7, 12, 14, 21, 23 февр. № 27, 29, 37, 42, 44, 51, 53).

¹³ Андреева (по фамилиям мужей: Алексеевская, Оль, Верещагина) Римма Николаевна (1881—1941) — сестра Л. Н. Андреева, мать адресата Андреева Л. А. Алексеевского. Автор рукописных воспоминаний о Л. Андрееве, очерка «Мать Леонида Андреева» (Россия. 1925. № 4). Переданные ею в Пушкинский Дом рукописи писателя положили начало образованию его личного фонда в рукописном отделе ИРЛИ АН СССР.

¹⁴ Верещагин Кирилл Дмитриевич (1918—1961) — инженер-гидрогеолог, сын Р. Н. Андреевой и Д. И. Верещагина.

¹⁵ Давыдова Мария Самойловна (1888—1988) — певица, солистка Театра музыкальной драмы в Петербурге, где с большим успехом исполняла партии Ольги («Евгений Онегин»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Кармен, которую пела в очередь с Л. А. Дельмас-Андреевой. См.: *Левик С. Ю.* Записки оперного певца. М., 1962. С. 631—632.

¹⁶ Крыленко Николай Васильевич (1885—1938) — советский государственный деятель; в 1917—1918 годах был Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам.

¹⁷ Женя — Евгения Фальковская, актриса, жена Ф. Н. Фальковского (1874—1942) — драматурга, театрального критика, совладельца Нового драматического театра, друга Л. Н. Андреева; последний скончался на даче Фальковских в поселке Нейвола (ныне Горьковская). См. об этом: *Андреев Вадим.* Детство. М., 1963; *Андреева Вера.* Дом на Черной речке. М., 1980. О последних днях жизни Андреева в восприятии Фальковского см.: *Фальковский Ф.* Предсмертная трагедия Л. Андреева: (Из воспоминаний) // *Прожектор.* 1923. № 16. С. 27—30.

¹⁸ Давыдова Мария Самойловна — см. прим. 15.

¹⁹ Наштаверх — во Временном правительстве начальник штаба Верховного главнокомандующего; им был Н. Н. Духонин (1876—1917). Н. В. Крыленко был главнокомандующим.

²⁰ Андреев Вадим Леонидович — см. прим. 11.

²¹ Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк революционного движения и литературы. После Февральской революции был членом Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, редактировал ее стенографические отчеты; тогда же возобновил журнал «Былое».

²² Неточная цитата из «Горя от ума», где читается: «С к а л о з у б. По моему суждению. Пожар способствовал ей много к украшению».

²³ «Может быть, так и надо... здание, простое и светлое; «Будем строить... сколько сможем»; «В нем есть и ум, и талант... создана русскими людьми»; «русский народ сумеет... всему миру» — эти отрывки приведены В. А. Десницким в его книге «А. М. Горький: Очерки жизни и творчества» (М., 1959. С. 239. Первые издания книги вышли в 1935 и 1940 годах).

²⁴ «Далекий» — моторно-парусная яхта. «Это был настоящий корабль, блестящий коричнево-красным лаком и надраенными медными частями, пахнувший просмоленным канатом и далекими морскими просторами». Андреев уходил на нем в море «на целые месяцы, как бывалый морской волк — бритый и загорелый, в белом кителе и капитанской фуражке с белым верхом...» (*Андреева Вера.* Указ. соч. С. 44). Помимо «Далекого» у Андреева были: маленькая шлюпка «Тузик» (она же «Лягушонок»), шлюпка побольше — баркас «Хамондол», третья шлюпка «Кутукари», названная так по имени живописного острова в финляндских шхерах, моторная лодка «Савва» (см.: *Кипен А.* Воспоминания о Леониде Андрееве // *Реквием.* С. 179—180) и «нечто длинное и зеленое под неблагозвучным именем „Сопля“» (*Андреева Вера.* Указ. соч. С. 44) — целый речной и морской флот.

²⁵ Сайменское озеро — система озер Сайма на юго-востоке Финляндии неподалеку от города Выборга; Выборг соединяется с Сайменскими озерами одноименным Сайменским каналом.

²⁶ Оль Андрей Андреевич (1883—1958) — архитектор, муж Р. Н. Андреевой. По его проекту летом 1908 года был построен дом Л. Н. Андреева на Черной речке; архитектура и убранство дома подробно описаны В. Л. Андреевой в книге «Дом на Черной речке».

²⁷ Мстера — поселок во Владимирской области (губернии); славится народными промыслами — вышивкой, лаковой живописью. В октябре 1917 года в Мстере с матерью и сыном поселилась В. Е. Беклемишева; к ней приезжала ее приятельница Р. Н. Андреева с детьми; здесь жил и Д. И. Верещагин. Сюда с войны приезжал А. А. Оль.

²⁸ Денисевич Владимир Ильич — брат А. И. Андреевой, шурина Андреева. Упоминание о нем см.: *Реквием.* С. 116.

²⁹ А. И. — Андреева (урожд. Денисевич) Анна Ильинична (1885—1948), вторая жена Л. Н. Андреева (с 1908 года).

³⁰ Женя — см. прим. 17.

³¹ Гржебин Зиновий Исаевич (1877—1929) — известный издатель, организовал сатирические журналы «Жупел», «Адская почта»; создал издательство «Шиповник», выпускал в нем «Литературно-художественные альманахи», «Северные сборники», книги. Сотрудничал в журнале «Отечество», в издательствах «Парус» и «Всемирная литература». В 1919 году основал собственное издательство «З. И. Гржебина», где печатались учебники средней и высшей школы, научно-популярные книги, собрания сочинений современных русских писателей; в Петербурге — Петрограде — Берлине выпустил несколько номеров журнала «Летопись революции».

³² Вammelюки (в переводе с финского: Черная речка) — деревня; близ нее жил с семейством Л. Н. Андреев.

³³ Маркиз — сенбернар, любимец семьи. В воспоминаниях Л. А. Андреева-Алексеевского читаем: «... дядя очень любил собак. На даче у него жили сенбернары. Родоначальницей

большого и шумного собачьего поголовья была Юнга — полностью Юнг-фрау — старая, сопливая, страшно добродушная псина, готовая каждого обслуживать и облизать. От Юнги шло потомство: Тюха, Люлек, Маркиз. . .» (Андреевский сборник. С. 250). О Маркизе см. также: *Андреева Вера*. Указ. соч. С. 89—91.

³⁴ Денисевич Илья Николаевич — тесть Л. Н. Андреева; состоял в должности уполномоченного Московского городского общественного управления. О нем и о его кабинете на Миллионной, 8 см.: *Андреева Вера*. Указ. соч. С. 70—73.

³⁵ Наташа — Наталия Матвеевна, вдова Всеволода Николаевича Андреева (1877—1916). После смерти сына и мужа поселилась в доме Андреева, вела хозяйство, воспитывала детей, которые ее любили.

³⁶ Тинчик — Андреев Валентин Леонидович (1912—1988), младший сын Андреева от второго брака. Жил во Франции. Передал в ЦГАЛИ большую часть рукописей отца (см. об

этом: Лит. наследство. 1965. Т. 72. С. 155, 176 и др.). Андреев выделял его среди других детей за веселость, предприимчивость, самостоятельность (см.: *Андреев Вадим*. Указ. соч. С. 173). Из письма Л. Н. Андреева к матери от 9 марта 1917 года: «. . .самый смешной человек — Тинчик. Недавно Дидишка рассердился на него за что-то и спросил, намекая на мозги: что у тебя в голове? И Тинчик быстро ответил: «Суета!» (*Андреев Вадим*. Указ. соч. С. 203).

³⁷ Андреев увлекался Шопенгауэром, его труды оказали влияние на творчество писателя.

³⁸ Семейство А. А. Оля и Р. Н. Андреевой-Оль к тому времени фактически распалось, о чем Л. Н. Андреев не знал.

³⁹ Тезка — Андреев-Алексеевский Леонид Аркадьевич (1903—1974), инженер, младший брат адресата, Льва Аркадьевича. См. его воспоминания «На даче у Леонида Андреева» (Андреевский сборник. С. 243—263).

Е. Г. Эткнд

ПОЭЗИЯ НОВАЛИСА: «МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

В 1909 году назревал кризис символизма; углубившись, он принял катастрофический характер годом позднее, в 1910-м. Предчувствуя распад вдохновляемого им художественного направления, Вячеслав Иванов обратился к поддержке иноземных союзников. Среди них главенствующее место занимал Фридрих фон Гарденберг — юноша, угасший в расцвете творческих сил более столетия назад, в 1801 году, и воплощавший для Вяч. Иванова черты давно выношенного им идеала. В статье «О Новалисе» (Новалис — псевдоним Гарденберга), написанной в качестве вступления к так и не осуществившейся книге, Вяч. Иванов называл своего любимца «христианским магом и теургом», приравнивая его к тем «царственным волхвам Востока, которые принесли из глубины своих таинственных и мудрых царств в дар Вифлеемскому Младенцу золото, ладан, мирру». А в предисловии к переводам нескольких стихотворений в журнале «Аполлон» (1910. № 7) читаем: «. . .огромное явление новой общеевропейской, — точнее и определеннее, — христианской культуры, каким представляется творчество гениального создателя „храмовой легенды“ романтиков о Голубом Цветке». В 1915 году, когда символизм был в сущности уже достоянием истории, Вяч. Иванов вспомнил немецкого романтика в сонете памяти А. Н. Скрябина: Он был из тех певцов (таков же был Новалис), Что видят в снах себя наследниками лир,

Которым на заре веков повиновались
Дух, камень, древо, зверь, вода, огонь, эфир.

Подобно Скрябину, Новалис для Вяч. Иванова не только художник; он повелитель Вселенной, его голосу подчиняются стихии природы. В самом деле, одной из особенностей раннеромантической позиции Новалиса, как и его друзей по иенской группе, было желание выйти далеко за пределы искусства и заняться новым жизнеустройством, преобразованием не только «внутреннего человека», но и мира.

Символисты всегда стремились к преодолению границ художественного творчества — они создавали новое жизнеощущение; такое понимание своей функции теснее всего связывало их с романтиками, прежде всего немецкими. Это высказал Александр Блок в докладе 1919 года: «Подлинный романтизм вовсе не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой чувствования, новым способом переживания жизни. Литературное новаторство есть лишь следствие глубокого перелома, совершившегося в душе, которая помолодела, взглянула на мир по-новому, потряслась связью с ним, прониклась трепетом, тревогой, тайным жаром, чувством неизведанной дали, захлестнулась восторгом от близости к Душе Мира». ¹ Блок определяет романтизм как «жадное стремление жить удесятеренной жизнью», ² а романтическое искусство как «способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со

стихией».³ Блоковское понимание романтизма было близко тому, которое выработал Вяч. Иванов за десять лет до того — в 1909 году. Статья «О Новалисе», однако, написана позднее — вероятно всего, она окончена после 1914 года, когда вышла книга В. М. Жирмунского «Немецкий романтизм и современная мистика», на которую Вяч. Иванов ссылается с большим сочувствием.

Все лето 1909 года Вяч. Иванов был занят Новалисом; за десять недель он перевел множество стихотворений — два больших цикла, «Гимны и ночи» и «Духовные песни», стихи из романа «Генрих фон Офтердинген», а также другие поэтические произведения. К сожалению, готовая к изданию книга «Лири Новалиса» пролежала в рукописи 75 лет. Выйдя в свет ныне,⁴ она, разумеется, обогащает русскую поэтическую культуру; однако сегодня Новалис воспринимается не так живо, как в ту пору, когда Вяч. Иванов к нему обратился как к союзнику. Недаром интерес к раннему немецкому романтизму, и в особенности к Новалису, в какой-то момент возродился чуть ли не повсюду в Европе: в Бельгии и Франции (Метерлинк — «Le Trésor des Humbles», 1895), в Германии (Стефан Георге), в Австрии (Рильке). Для возрождения Новалиса в эпоху символизма более других сделал Метерлинк — он перевел его «Учеников в Саисе» и написал о нем большой очерк, смысл которого сводится к тому, что Новалис открыл глубинные мистические свойства души — без этого не было бы европейского романтизма. «Мы обладаем неким Я, которое глубже и неисчерпаемее, нежели Я страстей и чистого разума... — писал Метерлинк. — Все, что не выходит за пределы повседневного и рассудочного опыта, к нам отношения не имеет и нашей души недостойно. Все, чему можно научиться, не испытывая страха, нас унижает (Tout ce qu'on peut apprendre sans angoisse nous diminue). . . Наша душа судит иначе, чем мы; она прихотлива и сокровенна. Она может содрогнуться от дуновения и не заметить урагана (Elle peut être atteinte par un souffle et ignorer une tempête)».⁵

Для Метерлинка, автора этих строк, Новалис — живое воплощение мыслителя и поэта, выражающего не внешний, а внутренний мир человека, его душу; он призван стать эмблемой новой поэтической эпохи, наступившей — вместе с французским символизмом — на исходе XIX века.

В России Новалиса переводил Ив. Коневской (1877—1901), талантливый юноша-поэт, родившийся через 105 и умерший ровно через сто лет после Новалиса (1772—1801); в России же о Новалисе впервые серьезно, с пониманием его литературного и внелитературного значения писал молодой В. Жирмунский в книге «Немецкий романтизм и современная мистика», который, до Блока, подчеркивал, что «романтизм перестает быть только литературным фактом. Он становится прежде всего новой формой чувствования, новым способом переживания жизни... Литературное новаторство было

только результатом глубокого перелома в душевных переживаниях».⁶

В чем же, с точки зрения Жирмунского, эта новая «форма чувствования»? В. Жирмунский сводит ее к мистическому чувству, которое он определяет как «живое присутствие бесконечного в конечном»,⁷ — оно влечет за собой все иные особенности романтизма; сюда относятся и «поэтика тайны и настроения», и «борьба со словом, с образом, попытка вложить в него содержание, большее, чем обычное».⁸ Жирмунский устанавливает, что наиболее частое прилагательное, являющееся «постоянным определением мистического переживания», — *невыразимый* (unsäglich, unaussprechlich); с этим соотносится стихотворение Жуковского «Невыразимое» (1819). Исследователь подчеркивает и то, что у немецких романтиков первого поколения снимаются «отчетливые грани между пятью чувствами, чтобы в слиянии их добиться того, что невозможно в отдельности»,⁹ — отсюда увлечение музыкой и музыкальной стороной речи. «Разве содержанием должно исчерпываться содержание стихотворения?» (Новалис).

Новалис привлекал Вяч. Иванова многими особенностями личности и творчества: оценкой роли поэта, приравниваемого автором романа «Генрих фон Офтердинген» к жрецу, пророку или апостолу; философией «магического идеализма», выходящей в поэзии не созерцание, как то было свойственно Гете, а теургию; мыслью, преодолевающей губительный для современного человека индивидуализм посредством подчинения личности религиозному переживанию или даже догмату; наконец, возвышением всеобщей религии над иными проявлениями духовной жизни, даже над поэтическим творчеством. Эти черты Новалиса отвечали идеалу Вяч. Иванова; именно такой предшественник ему был нужен. Впрочем, там, где Новалис «не дотягивал» до «нужных» идей, Вяч Иванов не останавливался перед некоторым преобразованием своего героя.

В статье о Новалисе, написанной увлеченно и с блеском, Вяч. Иванов подробно пересказывает одну из последних работ Новалиса (если не самую последнюю) — «Христианство или Европа» («Die Christenheit oder Europa», 1799), долго остававшуюся неопубликованной (до 1826 года), в частности оттого, что печатанию ее воспротивился Гете. Свою статью (подзаголовок — «Фрагмент»; автор иногда называл ее «речью») Новалис начинает с апологии Средневековья: «В прекрасное, лучезарное время Европа была христианской, и единое христианство населяло эту благоустроенную для людей часть мира (menschlich gestalteten Weltteil)». Новалис славит ту пору, когда «единый глава, не обладавший большими светскими богатствами, управлял большими политическими силами, сплавляя их воедино», и когда «каждый человек мог радостно нести повседневное бремя своего труда, ибо святые люди (папы) готовили ему уверенное будущее, обеспечивали ему прощение всякого греха, уничтожение всякого тем-

ного пятна, легшего на жизнь, и несли ему свет». Итак, статья Новалиса открывается хвалой средневекового благочестия, папства, цехового устройства. Далее следует апология миссионерства, паломничества к святым местам и католической церкви, умевшей противостоять «несвоевременным опасным открытиям в области науки», ибо люди, «утратив благоговейное уважение к своей земной родине, утратят уважение и к небесной отчизне, и к собственному роду — они предпочтут ограниченное знание безграничной вере и приучат презирать все великое и чудесное, рассматривая таковое как подчиненное мертвой закономерности». Новалис снова и снова восхваляет духовную власть римских пап, он повторяет восклицания восторга, обращенного к церкви. «Таковы, — пишет он, — важнейшие прекрасные черты истинно католических или истинно христианских времен». Новалис не устает подчеркивать тождество христианства и католичества. С досадой говорит он о протестантах: они, хотя и были справедливы в своем восстании против мертвой буквы осточеннейшей догмы и рождавшегося деспотизма церковных владык, сыграли зловещую роль — «разделили неразделимое, разъединили единую Церковь», положили начало хаосу и новому догматизму, более опасному, нежели прежний, ибо «Лютер вообще произвольно обращался к христианством, игнорировал его дух, ввел иную букву и иную религию» — Лютер превознес филологическую науку, вытеснившую подлинное христианство. Для Новалиса укрепление Реформации — это безусловная победа светского начала и гибель христианства («Mit der Reformation wars um das Christentum gethan»); несмотря на усилия иезуитов, протестанты в союзе с еретиками-учеными одержали верх. «Знание и Вера вступают в непримиримое соперничество», и торжество Знания закономерно приводит к французскому Просветительству и кровавой Революции. Спасение человечества — в новой Вселенской церкви, которая обеспечит наступление «священного времени вечного мира, когда столицей Вселенной станет новый Иерусалим».

Вяч. Иванов переводит важнейшие фрагменты статьи Новалиса и, обобщая, видит в ней «исповедание католической веры». Вот общая оценка Ивановым «речи» Новалиса, в течение почти столетия вызывавшей бесчисленные нападки: «Наполеон поставил себе целью осуществить неслыханный синтез: синтез революционности и всемирной, по-новому иерархической и религиозной монархии. Новалис в сфере духа замыслил поистине то же самое: впрячь новый индивидуализм в колесницу новой христианской общности, как Дантова грифа, что влечет райскую колесницу, окруженный Верою в ризах белых, Надеждою в земных и Любовью в алых. Ибо Новалис был первый, кто властно позвал новое мятежное человечество, не выходя из рядов его, в старый, родной, Отчий дом».

Нет сомнений, что Новалис в статье «Христианство или Европа» — апологет католической церкви, причем всех ее аспектов. Русский

германист Н. В. Гербель, сопоставляя Новалиса с его современниками, писал в 1877 году, что другие романтики, «думая положить в основу своего поэтического мирозерцания христианский взгляд на жизнь, грубо ударялись в узкое восхваление католицизма, не находя для защиты христианства достаточно нравственного материала в собственной душе; Новалис, напротив, умел с редкой ясностью взгляда пополнить именно этот пробел в воззрениях своих современников. . . Католицизм оказался слишком материалом для его души, жаждавшей гораздо больше познать, чем верить».¹⁰ Это верно, но слишком осторожно. Гербель здесь идет следом за немецкими историками, которые предпочитают говорить о «католических тенденциях»;¹¹ но такая оценка компромиссна. Ал. Блок имел в виду прежде всего Новалиса (хотя, конечно, и Шлегелей, и Ваккенродера), когда в уже упомянутом докладе 1919 года сурово заметил: «Католицизм действительно стал могилой для некоторых представителей романтизма; в их жизни произошла трагедия; они захотели порвать с художественным творчеством во имя строительства новой жизни и сорвались в пропасть старой церкви».¹²

Новалис в статье о христианстве «более католик, чем папа»; однако это отнюдь не говорит о единстве его взглядов и последовательности суждений. В том же 1799 году саксонские власти призвали поэтов создать новый протестантский молитвослов; на их призыв Новалис откликнулся и написал «Духовные песни», из которых многие вошли позднее в сборник церковных песнопений.¹³ С католической точки зрения их весьма резко осуждали; так, старый Эйхендорф обвинял Новалиса в пантеизме.¹⁴ В сущности же Эйхендорф был недоволен протестантским характером Новалисовых песнопений — от автора «Христианства или Европы» католики были вправе ожидать иного.

«Духовные песни» Новалиса отличаются наивностью и простотой речи, выражающей детское простодушие прихожанина. Это связано с романтическим культом ребенка и детства, свойственным иенским романтикам: Фр. Шлегелю, Л. Тику, Новалису. Последний говорил: «Каждая ступень развития начинается с детства. Поэтому земной человек, обладающий наивысшим развитием, так близок ребенку».¹⁵ Историк немецкого романтизма Н. Берковский замечает, что XVIII век до романтиков «понимал ребенка как взрослого маленького формата, даже одевал детей в те же камзолы, прихлопывал их сверху паричками с косичкой и подмышку подсовывал им шпажонку. С романтиков начинают детские дни, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые».¹⁶ Берковский ссылается на картины Филиппа-Отто Рунге (1777—1810), в которых ребенок — «корнесловие дня, его первичная идея». Культ детского сознания, как и отдельного от всякой официальной церкви частного человека, ведущего доверительный, дружеский разговор с Богом, Христом или Богородицей, — таков общий тон «Духовных песен».

Н. В. Гербель, своя воедино мнения немецких критиков и выражая свое собственное, весьма компетентное, заметил, что в религиозных песнях Новалиса «нет и следа узкого католического взгляда на религию; напротив, даже в мистических вопросах он умел оставаться оригинальным поэтом, выводившим свои взгляды единственно из глубины собственной души. Характер его духовных песен напоминает гимны первых веков христианства...»¹⁷ Сам Вяч. Иванов говорил о «детской умильной религиозности» Новалиса.¹⁸

В самом деле, можно ли быть простодушнее и доверительнее, чем автор гимна IV, рассказывающего о пробуждении в человеке христианского чувства:

Unter tausend frohen Stunden,
So im Leben ich gefunden,
Blieb nur eine mir getreu;
Eine, wo in tausend Schmerzen
Ich erfuhr in meinem Herzen,
Wer für uns gestorben sey.

Произический перевод труден именно потому, что стихи здесь — намеренно инфантильные: «Из тысяч радостных часов, Пережитых мною в жизни, Мне запомнился только один; Один тот час, когда в тысяче страданий Узнал я в собственном сердце того, Кто умер за нас». Из всех возможных вариантов Новалис выбирал неизменно самый бесхитростный.

Перевод Вяч. Иванова:

Хмель прошел часов счастливых,
Невозвратно-горопливых:
Верен был единый час, —
Час, когда в последней боли
Я познал, кто в сей юдоли
Чашу смерти пил за нас.

Стиль перевода не просто отличен от оригинала — он ему противоположен. Вместо простоты — усложненность, вместо прозрачности — темнота, вместо прямых значений слов — нагромождение фигуральных («хмель часов», «чаша смерти»), а главное, вместо доверительного шепота — декламационная риторика. Вторая строфа продолжает то же противоположное развитие:

Meine Welt war mir zerbrochen,
Wie von einem Wurm gestochen
Welkte Herz und Blüthe mir;
Meines Lebens ganze Habe,
Jeder Wunsch lag mir im Grabe,
Und zur Qual war ich noch hier.

(«Мой мир был погублен, поломан, Словно подточенные червем, Увяли у меня сердце и цвет; Все достояние моей жизни, Каждое мое желанье лежало в могиле, И я был еще здесь только для страданий»).

Вяч. Иванов:

Лист был желт, и стебель несочен:
Корень сох, червем подточен, —

Блекнул дух мой, вял и хил.
Все взяла, в чем жизни сила,
Всех желаний цвет — могила:
Лишь для мук еще я жил.

Замена сравнения метафорой (вместо «Лист был желт...» и т. д.) и введение усложненного синтаксиса (вместо «Могила взяла все, в чем сила жизни, цвет всех желаний» порядок оказался невообразимый: 3 — 2 — 4 — 6 — 5 — 8 — 9 — 7 — 1) создают не просто трудный текст, но речь, затемненную латинским синтаксисом.

Da ich so im Stillen krankte,
Ewig weint' und wegverlangte,
Und nur blieb vor Angst und Wahn:
Ward mir plötzlich, wie von oben,
Wed des Grabes Stein gehoben,
Und mein Innres aufgethan.

(«Когда я так страдал в тишине, Постоянно плакал и хотел уйти И оставался только из страха и суетности, — Мне внезапно показалось, словно бы сверху Подняли могильный камень И открыли мой внутренний мир»).

Вяч. Иванов:

И когда душой недужной
Ждал конца я, безоружный
Разомкнуть проклятый круг, —
Вдруг — упал ли свыше пламень? —
Сдвинут был надгробный камень,
Грудь моя разверзлась вдруг.

Все по смысловому содержанию, казалось бы, совпадает, вплоть до малых деталей. В то же время не совпадает ничего: стилистические расхождения оказываются философскими. Не все ли равно, как сказать? «И когда душой недужной Ждал конца я, безоружный Разомкнуть проклятый круг...» — это ведь и означает: «Когда я страдал и хотел уйти из мира, бессильный покончить с собой...» В то же время это означает нечто в корне иное: другой голос, другие отношения между говорящим и слушающим, другое понимание Слова, а значит — другая религия. Переворот, совершенный Лютером, филологический (об этом говорит Новалис в статье «Христианство или Европа») — переписав Библию и песнопения, он решительно изменил содержание христианства. Можно эту формулу перевернуть: изменив содержание христианства, он увидел необходимость переписать священные тексты в другом стилистическом ключе.

В гимне IV есть еще одна строфа; цитировать ее не буду; расхождения такие же, как в трех рассмотренных. Вообще, сказанное о гимне IV относится ко всему циклу. Ограничусь несколькими примерами.

В гимне I читаем:

Ein jedes Werk schien uns Verdrechen
Der Mensch ein Götterfeind du seyn,

Und schien der Himmel uns zu sprechen,
So sprach er nur von Tod und Pein.

У Вяч. Иванова первые два стиха переведены точно, другие два улетают в бесконечную даль:

Вся жизнь казалась преступленьем,
И человек — врагом небес;
Творец грозил божоявленьем,
Судья земли — грозой чудес.

Еще строфа из гимна I, предпоследняя:

Seitdem verschwand bey uns die Sünde,
Und fröhlich wurde jeder Schritt;
Man gad zum schönsten Angebinde
Den Kindern diesen Glauben mit;
Durch ihn geheiligt zog das Leben
Vorüber, wie ein sel'ger Traum,
Und, ew'ger Lieb' und Lust ergeben,
Bemerkte man den Abschied kaum.

(«С той поры у нас исчез грех, И радостен стал каждый шаг; Детям давали эту веру с собою В качестве лучшего именинного подарка; Исцеленная ею, жизнь текла, Словно блаженный сон, И, предаваясь вечной любви и радости, Мы едва замечали разлуку»).

Вяч. Иванов:

Цветет юдоль Господним садом,
И первородный грех исчез.
Наследьем лучшим нашим чадам
Мы завещаем дар небес.
Родные к нам слетают звуки,
И плоти колыбель свята.
И в гордый час земной разлуки
Любимых жизнь не отнята.

Чтобы понять степень расхождения Вяч. Иванова с Новалисом, достаточно рассмотреть эти, похожие друг на друга, но и противоположные обороты:

Man gab zum schönsten Angebinde
Den Kindern diesen Glauben mit;
Наследьем лучшим нашим чадам
Мы завещаем дар небес.

Здесь «дети» заменены «чадами», «вера» — «даром небес», глагол «дать» — глаголом «завещать», «именинный подарок» — «наследьем»; наконец, затемнен синтаксис: «Наследьем лучшим нашим чадам...». Следует читать: «Лучшим наследьем...»

Может быть, угол расхождения наиболее ясно проявился в так называемом «Большом песнопении о Деве Марии» («Das große Marienlied»). В немецком оригинале — смиренный тон, принятый ребенком, который обращается к любимой и почитаемой матери; он так ее постоянно и называет — «матерью», не впадая в молитвенный экстаз, сохраняя нежную довери-

тельность и заботливую любовь. Иисус на ее руках — вызывающий улыбку умиления ребенок, и божественность его упомянута тоже с улыбкой: «Der kleine Gott auf deinen Armen» (в переводе: «Младенец Твой в сиянье рая...»). Но вот целая строфа для сопоставления (шесть):

Unzähl'gmal standst du bei mir
Mit Kindeslust sah ich nach dir,
Dein Kindlein gab mir seine Hände,
Daß er dereinst mich wieder fände;
Du lächeltest voll Zärtlichkeit
Und küßtest mich, o himmelsüße Zeit!

Ты предстоляла часто мне,
Тебя следил я в тишине,
Младенец твой ко мне тянулся,
Брал за руку, чтоб я вернулся,
И с нежностью уста Твои
Меня касались... Где вы, дни мои?

У Новалиса: «Твой ребенок давал мне свои руки», у Вяч. Иванова то же, но не то: «Младенец твой ко мне тянулся». У Новалиса: «Ты улыбалась, полная нежности, и целовала меня», у Вяч. Иванова: «И с нежностью уста Твои меня касались...» Похоже? «Да» — по смыслу, «нет» — по стилю, эмоции, тону. Одно дело: «Du... Küßtest mich», совсем другое: «Уста Твои меня касались».

Отмеченные особенности — не случайные отступления, а элементы системы. Вяч. Иванов, высоко ценя идеи, высказанные Новалисом в статье «Христианство или Европа», в переводах духовных гимнов продолжил ту же линию традиционного католицизма: он переписал гимны, перевел их с немецкого на своеобразную русскую латынь, с обиходного на выпенный, с языка людей на «глагол богов», с протестантского на католический.

Разумеется, с протестантского. Чтобы в этом убедиться, достаточно привести песнопения, сочиненные Лютером (1483—1546), которые послужили Новалису образцом. Таковы, например, «Хвалебная песнь Симеона», начинающаяся строфой:

Mit fried und freud ich war dahin
in Gottes wille.
Getrost ist mir mein herz und sinn,
sanft und stille,
wie Gott mir verheißten nat,
der tod ist mein schlaf worden.

Задуманная простота слога и песенное многообразие строфики подхвачены Новалисом. Или в «Детской рождественской песне»:

Vom himmel hoch da kom ich her.
Ich bring euch gute, neue mer.
Der guten mer bring ich so viel,
davon ich singen und sagen wil:

Euich ist ein kindlein heut geborn,
von einer Jungfrau auserkorn,

ein kindelein so zart und fein.
Das soll euch freud und wonne sein.

Es ist der HERR Christ unser Gott.
Der will euch fürn aus aller not.
Er will eur Heiland serber sein,
von allen sunden machen frei. . .

«Духовные песни» Новалиса повторяют песни Лютера, обновляя их применительно к языку и эстетическим вкусам конца XVIII века. Но близость к лютеровским образцам несомненна.

Другой поэтический цикл Новалиса, «Гимны к ночи», переведен Вяч. Ивановым прямо противоположным образом. В «Духовных песнях» он тщательно соблюдает внешнюю форму, радикально преобразуя стиль и, следовательно, глубинное содержание. В «Гимнах к ночи» он редко воспроизводит стиховую форму, зато сохраняет верность стилю и философскому содержанию.

Строфические композиции «Духовных песен» разнообразны; они рассчитаны на хоровое исполнение и должны, сменяя друг друга, вызывать сходную или, напротив, контрастную эмоциональную настроенность.

Вот как следуют друг за другом строфы: I: Я4AbAbCdCd; II: X4AbAb—X5CC; III: Я4AbAb; IV: X4AAbCCb; V: X334435—AbAbCC; VI: Я3AbAbCdCd; VII: Свободный стих; VIII: X4AAbCCb; IX: Я4343abab; X: Я3AbAb; XI: Я4AbAb; XII: Я4aabb; XIII: X4AbAb; XIV: Я444445 — aaBVcc.

Из четырнадцати песен одинаковые строфы содержат лишь III, XI (Я4AbAb); близка к ним I (Я4AbAbCdCd); похожи VI (Я3AbAbCdCd) и X (Я3AbAb). Все остальные отличны друг от друга; иначе говоря, на 14 песен приходится по меньшей мере 11 строфических форм — Вяч. Иванов с присущей ему виртуозностью воспроизводит их по-русски, ни разу не сбиваясь, да и не пытается приспособить песенные строфы к своему языку. Это относится и к VII, озаглавленному «Гимн» и написанному свободным стихом, свойственным немецкой поэзии, в частности жанру гимнов (Hymnen) в творчестве Гете («Wandrer's Sturmlied», «Mahomets Gesang», «Ganymed», «An Schwager Kronos», «Prometheus» — 1772—1774), и чуждым русской (за редкими исключениями — ср.: Фет — «Я люблю многое, приятное сердцу. . .», 1842). Начало новалисовского «Гимна» — в оригинале и переводе:

Wenige wissen
Das Geheimnis der Liebe,
Fühlen Unersättlichkeit
Und ewigen Durst. . .

Многие ль знают
О любви всю тайну?
Сердце ненасытно
В тех алчет всегда. . .

Не представляется ли тем более странным отступление от стиховой формы в «Гимнах

к ночи»? Гимны — один из жанров немецкой поэзии, подражающий античному (Пиндару); Новалис создал свои «Гимны» как продолжение гетевского цикла 1772—1774 годов, сохранив верность свободному стиху. Правда, в журнале братьев Шлегелей «Athenaeum» (1800, август) они печатались наподобие прозы, в подбор, однако рукопись Новалиса свидетельствует о том, что для автора это были стихи такого же типа, как, например, «Ганимед» Гете или как его собственный «Гимн» из «Духовных песен».

«Гимны к ночи» — произведение большой глубины, редкой цельности и художественной законченности. В них опровергается классическое представление о божественности Света и его превосходстве над Тьмой — дня над ночью. Ночь, по Новалису, — царство Вечности и Бесконечности, ночь духовна — в отличие от материального дня; день — земной, ночь — небесна. День — господство житейской суеты, ночь готовит человека к подвигу смерти, к приобщению Вечности. Последнее стихотворение озаглавлено «Тоска по смерти» («Sehnsucht des Todes»). Русскому читателю этот комплекс идей хорошо известен по лирике Тютчева, во многом, прямо или косвенно, связанной с Новалисом (Н. Я. Берковский называет стихотворения «О чем ты воешь, ветр ночной» — 1836, «Ночь и день» — 1839, «Ночное небо так угрюмо» — 1865, «Не оставшая от зною» — 1851).¹⁹ Есть, однако, и другие образцы в русской словесности, которые подсказали Вяч. Иванову выбор — вместо свободного стиха — пятистопного ямба. Дело в том, что в 1830 году юный Лермонтов создал (явно под влиянием двух стихотворений Байрона — «Dream», «Darkness», 1816) три стихотворения, озаглавленные каждое «Ночь» (I, II, III). Написаны они пятистопным ямбом (как и тексты Байрона):

Я зрел во сне, как будто умер я;
Душа, не слыша на себе оков
Телесных, рассмотреть могла б яснее
Весь мир — но было ей не до того;
Боязненное чувство занимало
Ее. . .

В этом духе Вяч. Иванов преобразовал большинство «Гимнов к ночи»; начало гимна I, посвященного хвале Света, звучит у Новалиса и у Вяч. Иванова так:

Welcher Lebendige,
Sinnbegabte,
Liebt nicht vor allen
Wundererscheinungen

Des verbreiteten Raums um ihn
Das allerfreulichste Licht —
Mit seinen Strahlen und Wogen
Seinen Farben,
Seiner milden Angegenwart
Im Tage.

О, кто живой и чувством одаренный,
Превыше всех чудес, в пространстве зримых,
Не возлюбил всерадостного Света,

Его в лучах и красках вдохновенья,
С его сверканьем волн, цветистых радуг,
И вестью дня, что будит нас повсюду
Разлившимся присутствием его?

И, Ночи таинством дыша,
Мы вами дышим: вас она
В себе лелеет; и душа
Раздельных вас — она одна.

Слог Вяч. Иванова здесь совпадает со слогом немецкого оригинала: нет той величавой декламационности и темноты, которые затрудняют доступ к «Духовным песням». Своеобразная позиция Иванова-переводчика особенно ясна при сравнении его поэтических воссозданий «Гимнов к ночи» с ритмической прозой Ив. Коневской (Ореуса); у него только что цитированное начало гимна I звучит так: «Есть ли на свете живой человек, одаренный чувством, кто бы больше всех чудных явлений пространства, над ним распростертого, не любил всеотрадный свет с переливами красок и лучами его и с волнами, с благодатным его лучезащитством, не любил всебудящего дня? . . .»²⁰

Иван Коневской воспринимает «Гимны к ночи» вне поэтической традиции; он предлагает читателю близкий перевод, игнорирующий своеобразие жанра, столь важного для немецкой поэзии и трансформированного в английской и русской литературах. Вячеславом же Ивановым поэтическая философия Новалиса прочитана сквозь лирику Тютчева, близкого к немецкому романтизму, и Лермонтова, от него далекого. Для Тютчева ночь — истинный облик мира, когда «бездна нам обнажена С своими страхами и мглами» и когда «жадно мир души ночной Внимает повести любимой. . .», ибо суть человеческой души — ночной хаос; день же для Тютчева — блистательный покров, брошенный над «бездной безымянной Высокой волею богов». Для Лермонтова (вслед за Байроном) ночь — синоним смерти, а смерть — проклятие для человечества и природы:

Погаснул день! — и тьма ночная своды
Небесные как саваном покрыла. . .

Вот с Запада *Скелет* неизмеримый
По мрачным сводам начал подниматься
И звезды заслонил собою. . .
И целые миры пред ним уничтожались,
И все трещало под его шагами, —
Ничтожество за ними оставалось. . .

Вяч. Иванов использует лермонтовско-байроновский стих для опровержения этого взгляда. Впрочем, возможно, что Лермонтов в своих треха «Ночах» спорил именно с Новалисом, которого, вероятно, знал, а Вяч. Иванов, несколько десятилетий спустя, опровергал Лермонтова тем же Новалисом, но переведенным на русский сквозь стиховую форму Лермонтова. Сам Вяч. Иванов в собственном творчестве близок к тютчевскому взгляду («Тютчев — истинный родоначальник нашего истинного символизма», 1910). В стихотворении «Ночь» (1912), обращаясь к умершим, Вяч. Иванов называет Ночь

Невеста вечная Отца,
Им первоузнанная дочь.

Это близко к тому, что утверждал Новалис, видевший в ночи и смерти приближение к Богу. Надо полагать, что и поэтический спор Новалиса с Шиллером, автором стихотворения «Боги Греции», был Вяч. Иванову близок, несмотря на его античные пристрастия. «Боги Греции» (1788) — сөтования Шиллера на то, что прекрасный, одухотворенный античный мир исчез:

В дни, когда покров воображенья
Вдохновенно правду облакал,
Жизнь струилась полнотой творенья
И бездушный камень ощущал.

Красота и радостное вдохновение Эллады уступили место угрюмому, аскетическому миру:

Все цветы исчезли, отлетая,
В жутком вихре северных ветров.
Одного из всех обогащая,
Должен был погибнуть мир богов.
Я ишу печально в тверди звездной:
Там тебя, Селена, больше нет;
Я зову в лесах над водной бездной:
Пуст и гулок их ответ! . . .²¹

Новалис (а вслед за ним Вяч. Иванов) повторяет картину, нарисованную Шиллером:

Verschwunden waren die Götter.
Einsam und leblos
Stand die Natur
Entseelt von der strengen Zahl
Und der eisernen Kette
Gesetze wurden.
Und in Begriffe
Wie in Staub und Lüfte
Zerfiel die unermaßliche Blüthe
Des tausendfachen Lebens. . .

. . . Исчезли боги,
Безжизненно во гроб легла Природа,
Железными оковами ее
Связали числа и сковали меры.
Души живой избыток в пыль и воздух
Преобразили темные слова. . .

Сравнение каждой детали покажет близость перевода оригиналу — хотя Вяч. Иванов идет иногда чуть дальше в истолковании, чем надлежит переводчику (ср.: «Begriffe» — «темные слова»). Центральная полемическая идея Новалиса соответствует идее Иванова об отношениях античности и современности — прекрасного детства и мудрой зрелости человечества:

Ins tiefere Heiligthum
In des Gemüths höhern Raum
Zog die Seele der Welt
Mit ihren Mächten
Zu walten dort
Bis zum Anbruch
Des neuen Tags,

Der höhern Weltherrlichkeit.
Nicht mehr war das Licht
Der Götter Aufenthalt
Und himmlischen Zeichen —
Den Schleyer der Nacht
Warfen Sie über sich
Die Nacht ward
Der Offenbarungen
Fruchtbarer Schoos.

... В святилище иное
И внутреннее — в душу человека
И тайный храм его — сокрылась ты,
Душа Вселенной, с силами твоими,
В нем царствовать до нового рассвета.
И стал не свет убежищем богов
И знаменем небесным: в ризы Ночи
Божественные власти облачились,
И лоном откровений стала Ночь.

Перевод обоих поэтических циклов Новалиса свидетельствует о пристрастном отношении русского поэта к своему немецкому предшественнику. Он хочет видеть его *цельным и единым*, уст-

ранить его противоречивую расщепленность, в переводе на свой язык усовершенствовать, даже идеализировать его. Основание для этого дает ему теория перевода, разработанная Новалисом, — она являет собой часть общей эстетической теории Новалиса. С точки зрения Новалиса, перевод может быть двух видов: грамматический и мифологический; первый — подражание оригиналу, второй — проникновение в его сущность, постижение его идеала. Перевод-миф не только точнее грамматического перевода, но может оказаться ближе к оригиналу, чем сам оригинал. Новалис: «Настоящий переводчик... должен быть поэтом поэта, и поэт должен у него говорить и по-своему, и так, как того хочет переводчик. В сходных отношениях состоят Гений человечества с отдельным человеком». Новалис настаивает на том, что подобным переводчиком, «поэтом поэта», может быть только «человек, в сознании которого полностью соединились поэзия и философия».²²

Не таким ли переводчиком Новалиса оказался поэт и философ Вячеслав Иванов?

¹ Блок Александр Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 6. С. 363.

² Там же. С. 367.

³ Там же. С. 365.

⁴ Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 181—277.

⁵ Maeterlinck Maurice. Le Trésor des Humbles. Paris, 1895. P. 126.

⁶ Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914. С. 13—14. (Последнюю фразу, как, впрочем, и предшествующую, А. Блок выписал из В. Жирмунского).

⁷ Там же. С. 12.

⁸ Там же. С. 33.

⁹ Там же. С. 34.

¹⁰ Гербель Н. В. Немецкие поэты в биографиях и образцах. СПб., 1877. С. 346.

¹¹ Mähl Hans-Joachim. Nachwort // Novalis. Werke in einem Band. München, 1981. S. 679.

¹² Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 364—365.

¹³ Schultz Gerhardt. Novalis. Rowolt. 1969. S. 131 f.

¹⁴ Eichendorf Joseph. Über die ethische und religiöse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland. Leipzig, 1847. S. 53—55.

¹⁵ Novalis. Schriften / Hrsg. von J. Minor. 1907. Bd. II. S. 121.

¹⁶ Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 44—45.

¹⁷ Гербель Н. В. Указ. соч. С. 346 (курсив мой. — Е. Э.).

¹⁸ Иванов Вяч. Собр. соч. Т. 4. С. 406.

¹⁹ Берковский Н. Я. Указ. соч. С. 193—194.

²⁰ Новалис. Гимн к ночи / Перевод Ивана Коневского // Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах: 1812—1970. М., 1974. С. 394.

²¹ Перевод М. Лозинского.

²² Цит. по: Литературная теория немецкого романтизма: Документы под ред., с вступ. статьей и комментариями Н. Я. Берковского. Л., 1934. С. 146.

С. А. Батюто

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ И. П. ПАВЛОВА, Э. Л. РАДЛОВА, П. А. СОРОКИНА

Новая экономическая политика, ознаменовавшая собой окончание эпохи военного коммунизма, начала осуществляться в издательском деле с 1922 года. Как известно, 13 декабря 1921 года СНК РСФСР принял декрет о частных издательствах. В составлении и редактировании проекта этого декрета деятельное участие принимал Ф. И. Седенко (Витязев) — журналист и библиограф, издательский работник, возглавлявший в то время Петроградский союз кооперативных издательств и книгоиздательское товарищество «Колос». В первой трети 1921 года в Петрограде им на правах рукописи была выпущена брошюра «Частные издательства в Советской России», отпечатанная тиражом 700 экземпляров.

В фонде Ф. И. Витязева, хранящемся в ЦГАЛИ (Ф. 106), находятся присланные ему ответы И. П. Павлова, Э. Л. Радлова, П. А. Сорокина «на анкету по вопросу о национализации частных издательств и отдачи всего издательского дела в Государственное издательство». Текст самой анкеты до настоящего времени обнаружить не удалось, но присланные Витязеву в связи с ней письма позволяют получить достаточно полное представление о ее содержании. Различные по объему, эти письма не совпадают и по стилю. Сдержанно-лаконично написанное несколько старомодным языком послание И. П. Павлова. Изящество и образность выражения мысли отличают письмо Э. Л. Радлова. П. А. Сорокин же не ограничивается кратким ответом, а присылает Витязеву целый трактат. Лейтмотив всех этих документов — страстная защита свободы печати от имперских посягательств со стороны государственно-бюрократического аппарата. Вот тексты этих писем (сохраняем авторскую пунктуацию).

И. П. Павлов

На вопрос о своевременности
и уместности вообще
уничтожения частного издательства
и замене его государственным

Конечно, вполне нецелесообразно именно теперь, во время страшного книжного голода, прекратить содействие частным: средств, инициатив, энергии и предприимчивости. Но и вообще всегда, при нормальном положении вещей (1 слово нрзб.) свободное по существу, шепетильное, животрепещущее дело облекания знаний, мыслей и чувствований человеческих в обязательные формы печати, подлежащие, в тонко приспособленном виде, возможно широкому использованию в человеческой массе,

сосредоточить в сухо официальных, все шаблонизирующих, все мертвящих руках государственного чиновничества — это плохо думать о высшей стороне человеческой природы и желать подавить и задвить ее.

Проф(ессор) И. Павлов. 9 февраля 1921 г.
(Оп. 1. Ед. хр. 121. Л. 1).

Э. Л. Радлов

Великий левиафан, называемый государством, может, конечно, подавить всякую свободу граждан, подчинив детальной регламентации духовную и материальную жизнь, однако, чтобы это имело какой-либо смысл и не было бы простым *stat pro ratione voluntas*,¹ необходимо лицам, понимающим таким образом функции государства, обладать непогрешимым суждением и ангельской нравственностью, в противном случае получатся самые плачевные результаты. Так как непогрешимостью обладает один лишь папа, а ангельской нравственностью — никто, то ломка жизни во имя идеи государства-левиафана ничем не может быть оправдана. Особенно пагубно всякое принуждение в области духовной, ибо наука и литература только и могут жить в условиях свободы. Объединение всякого издательства в руках государства, т. е. лиц, защищающих идею государства-левиафана, есть введение цензуры на произведения человеческого духа; такая цензура может вести лишь к фальсификации науки и литературы.

9 февр(аля) 1921
(Там же. Ед. хр. 131. Л. 3).

П. А. Сорокин

Закрытие частных книгоиздательств и окончательное огосударствление их, с моей точки зрения, будет иметь совершенно определенные следствия и для науки, и для искусства, и для всей общественной жизни. Главные из этих последствий таковы:

1) еще большее падение издательского дела и дальнейшее увеличение книжного кризиса, ибо на место уничтоженных издательств не будет создано ничего, что бы заменяло эту потерю (словесные обещания любителей «социализации» в счет не идут);

2) дальнейшее подавление научного творчества и распространения его результатов, ибо при ликвидации частных издательств не могут быть опубликованы и те работы, которые до сих пор издавались благодаря им;

3) рост «религиозной ортодоксии и догма-

тизма» (хотя бы и коммунистического) за счет науки, ибо наука без свободы мысли, критики и борьбы мнений существовать не может, а государственные монополизаторы (будьте покойны!) издавать работы, противоречащие их догме и почему-либо им негодные, не будут. В итоге, как в период «владельчески-попечительной опеки печати» (средние века, период Генриха VIII в Англии, эпоха Галилея и Рабле в Италии и Франции, у нас эпоха Грозного и Петра), все будет зависеть от «инквизиторов» государства. *Arprobatio*² папы заменится *arprobatio* госуд(арственного) чиновника. Он будет «живым носителем», «наместником» научности и истинности. Его мнение — законом. Научная оценка заменится решением комиссара печати. Критика — доносом. Словом, мы получим полную копию давно уже, казалось, пройденной эпохи Магницкого в России, средневековья — в Европе.* Как тогда, все противоречащее католической церкви преследовалось, так и теперь все противоречащее учению «иже во святых отцов наших, вселенских учителей и святителей» К. Маркса, Ф. Энгельса и «иже во святых отцов наших — правоверных коммунистов российских» или им почему-либо не нужное не может быть напечатано.

«Катехизис» Филарета, хотя бы в виде «Азбуки коммунизма», займет место науки, вера и догма — место опыта и наблюдения, невежество — место просвещения и т. д. Впрочем, к чему будущее время, когда все это мы имеем уже в настоящем. . .

Обращаясь к данному опыту, мы теперь уже имеем основания для подтверждения этого прогноза. Усилилось ли издательское дело со времени национализации? Не издает ли весь аппарат Госуд(арственного) издательства меньше книг, чем издавало их раньше одно частное издательство, например Сытина? А какова научная ценность издаваемых книг? Научных книг почти не издается. И то, что издано, имеет случайный характер, говорящий не об научной высоте издаваемых книг, а об хороших отношениях автора с «апробаторами» истины и власть имеющими. Большинство изданных до сих пор научных работ принадлежит «Чичиковым от науки».

«А судьи кто?» Если Кювье ошибся в оценке «Философии зоологии» Ламарка, то неужели же заведующий Госуд(арственным) издательством и его коллегия такие гении, что безошибочно сумеют решить: что научно, что ненаучно, что заслуживает общественного внимания, что нет, что должно быть напечатано, что не должно. Мне несколько неловко за тех «смельчаков», которые берут на себя такую претензию. В 21³ веке она выглядит довольно странной. . . Заканчиваю словами Гальтона эти замечания:

* Подтверждение этого положения читатель найдет в работах по истории печати, в частности см.: Фойницкий. «Моменты истории законодательства печати». Сб. госуд. знаний, СПб., 1875, стр. 348—396.

«Наша раса остается существенно рабской. По своей природе мы склонны слепо верить в то, что мы любим, а не в то, что является наиболее истинным. Подобно дикарям, прибегающим к оружию, когда миссионер разбивает их фетишей, мы негодуем, когда другие исследуют наших идолов и критикуют их безнаказанно. Счастливы те, которые с детства приучаются к мысли, что научное исследование может быть абсолютно свободным, не будучи неуважительным, что уважение к истине есть отец свободного исследования, а фальсификация истины — величайший смертный грех».

По пути этой фальсификации мы далеко ушли за эти годы. Оказательная ликвидация частных издательств — только дальнейший шаг по тому же направлению.

Кому нравятся такие результаты — пусть поет «осанна!». Я не принадлежу к числу этих «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!».

Проф(ессор) П. Сорокин. (1921 г.) (Там же. Ед. хр. 157. Л. 34—36).

Корреспонденты Витязева единодушны в том, что частные и вообще все негосударственные издательские образования — залог успешного свободного развития интеллектуальной и духовной жизни общества. При всей иногда свойственной ему парадоксальности суждений (и Маркс и Энгельс иронически упомянуты в числе «вселенских учителей и святителей»), ответ П. А. Сорокина, как и высказывания И. П. Павлова и Э. Л. Радлова, свидетельствуют о величайшем ими уважении свободы творчества и свободы печати. Подобные взгляды разделяли тогда немногие. А тех, кто активно выступал их поборником, ждали эмиграция, отлучение от Родины, гибель в сталинских застенках и концлагерях или остракизм (М. А. Булгаков, А. А. Ахматова, М. М. Зощенко и др.). Но время все расставляет по своим местам. Так, труды П. А. Сорокина, столетие со дня рождения которого отмечалось во всем мире в 1989 году, возвращаются из спецхранов, а главный труд его жизни — написанная на чужбине «Социальная и культурная динамика» — ждет своей публикации на его Родине.

Высказывания И. П. Павлова, Э. Л. Радлова и П. А. Сорокина по вопросу о путях развития издательского дела в нашей стране не утратили своей актуальности и по сей день. Говоря о пагубных последствиях всеобщего огосударствления в этой и других областях, эти деятели науки и культуры во многом предвосхитили последующее развитие событий. Уже в 1922 году было образовано Главное управление по делам литературы и издательства (Главлит) — иначе говоря, цензурное ведомство (с февраля 1917 по 1922 год существовала только военная цензура). Именно об этом предупреждал Э. Л. Радлов. Как правильно заметил П. А. Сорокин, «рост „религиозной ортодоксии и догматизма“» надолго сковал развитие науки, искусства и литературы в нашей стране. С середины 1920-х годов этот процесс приобретает поистине космические масштабы. Своего апогея он достиг в

печально памятные годы культа личности Сталина, а затем, несколько отступив в годы хрущевской оттепели, вновь во всю свою зловещую мощь проявил себя в эпоху брежневской стагнации.

Факт наличия в фонде Ф. И. Витязева ответов ряда видных представителей русской интеллигенции на анкету по вопросу о национализации частных издательств вдвойне примечателен. Он свидетельствует об уважительном отношении Витязева — издателя и журнали-

ста — к мнению авторитетных людей. С другой стороны, — это становится все более очевидным, — суждения Витязева опирались на данные опроса, полученные в результате анкетирования. Настоящая публикация ответов на анкету позволяет в какой-то степени снять далеко не во всем справедливые, бытующие и по сей день в историко-книговедческой литературе обвинения автору брошюры «Частные издательства в Советской России» в легковесности и излишней тенденциозности.⁴

¹ Вместо разумного основания выступает воля (лат.).

² Одобрение (лат.).

³ Описка: должно быть — 20.

⁴ Данная работа Витязева, несмотря на частую цитацию тех или иных ее положений, вызвала до последнего времени скорее отрицательную оценку, нежели положительную. Ее автора подавляющее большинство современных историков книги упрекали в легковесности (Е. А. Динерштейн, А. Л. Посадсков), «тенден-

циозности» в подаче материала (С. В. Белов и С. С. Ишкова, Л. А. Везирова). Об этом см.: *Динерштейн Е. А.* Начало советского книгоиздания // Книга: Исследования и материалы. Сб. 15. М., 1967. С. 97; *Посадсков А. Л.* Сибирская книга и революция 1917—1918. Новосибирск, 1977. С. 260; *Белов С. В., Ишкова С. С.* Частные и кооперативные издательства // История книги в СССР: В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 112; *Везирова Л. А.* Феррапонт Иванович Витязев // Книга... Сб. 53. М., 1986. С. 89.

Е. Каньяр-Беккер (Швейцария), Р. Ю. Данилевский

ШВЕЙЦАРСКИЙ СОБИРАТЕЛЬ И ХРАНИТЕЛЬ РУССКИХ КНИГ

В Университетской библиотеке Базеля хранится замечательное собрание славики (монографии, журналы, рукописи), насчитывающее около 12 тысяч названий. Создателем и владельцем этой уникальной культурной сокровищницы, в которой большое место занимают материалы, посвященные России, был базельский профессор теологии, общественный деятель и публицист Фриц Либ (Lieb, 1892—1970), или Федор Иванович Либ, как называл его Алексей Ремизов, хорошо его знавший.

Фриц Либ происходил из семьи реформатского пастора. В университете родного Базеля, а затем в Берлине он изучал восточные языки, особенно много занимался ассириологией. Но уже очень рано, перед первой мировой войной, проявился общественный темперамент Либса, вообще для него характерный, и вовлек молодого человека в борьбу за социальную справедливость. Либ заведует курсами для рабочих в Берлине. Призванный в швейцарскую армию, он становится во главе Союза социалистической молодежи, затем работает в швейцарской социал-демократии и профсоюзах. Либ принял участие в забастовочном движении, и участие активное, так что ему пришлось провести некоторое время в тюрьме. Редактируя газету социалистической партии «Vorwärts», Либ одновременно оканчивает (в 1923 году) теологический факультет Базельского университета.

Интерес к России возник у Ф. Либса в 1917 го-

ду благодаря революционным событиям в Петрограде и Москве. Тогда же он принял за изучение русского языка, русской политики и культуры. Как теолога его особенно заинтересовала духовная жизнь России, история русской церкви. Вскоре о Либсе заговорили как о знатке России, привлекавшей тогда к себе всеобщее внимание. Его приглашают в разные страны Европы для чтения лекций о русских делах. Побывал он и в буржуазных республиках Прибалтики, где жило много русских. В это время Либ и начал собирать русские книги и литературу о России. Так стала складываться еще одна, третья его коллекция, в дополнение к библиотеке по ориенталистике и собранию произведений художников и скульпторов швейцарского и немецкого авангарда, многие из которых были его друзьями.

В 1930 году Ф. Либ получил почетный титул доктора Базельского университета и тогда же был приглашен в Бонн, на кафедру древней и современной истории восточного христианства. Однако и здесь он не мог оставаться в стороне от политики и сразу же включился в антифашистское движение. Естественно, что после прихода Гитлера к власти Либ был заподозрен в инакомыслии и русофильстве и одним из первых профессоров был уволен из Боннского университета.

Вместе с семьей Либ бежит из Германии в 1934 году и поселяется в Клараре под Па-

рижем, где тогда жил уже Н. Бердяев, с которым швейцарский ученый был знаком и дружен. Во Франции Либ и Бердяев продолжили (до 1936 года) издание журнала «Orient und Occident», основанного ими в Лейпциге в 1929 году. Этот журнал, посвященный вопросам «теологии и социологии», как значилось на его титуле, имел целью широко знакомить западного читателя с русской общественной и религиозной мыслью. Активная роль культурного посредника была присуща всей деятельности Ф. Либа как слависта и исследователя русской духовной жизни.

В Кламаре, в своем доме, Либ организовал антифашистскую «Вольную немецкую академию». Его дом посещали, наряду с немецкими противниками гитлеризма, многие деятели русской эмиграции. В альбоме, предназначенном для гостей и сохранившемся в семье ученого, можно найти автографы А. Ремизова, С. Булгакова, Г. Флоровского, Л. Шестова, Д. Чижевского — дружеские строки, иногда стихотворные, адресованные хозяйину дома.

Возвратившись в 1937 году в Базель, Либ снова развивает энергичную общественную деятельность. Вместе с журналистом Э. Беренсом он издает и сам распространяет на улицах воскресную газету «Schweizer Zeitung am Sonntag», открыто направленную против нацизма. Правда, вскоре эта газета под нажимом фашистских властей соседних Германии и Италии была запрещена. Но Либ не успокаивается и ищет другие формы борьбы с охватившим Европу злом. После освобождения Парижа от гитлеровской оккупации Либу поручили деликатную миссию налаживания отношений между русской эмиграцией во Франции и представителями антигитлеровской коалиции.

Известный своими демократическими взглядами, Ф. Либ получил после войны приглашение советской администрации в Германии занять кафедру в Берлинском университете. Он отправился туда не только с убеждением в освободительной роли Советского Союза в мире, но и с надеждами на какие-то политические реформы в послевоенной России. Эти надежды, выраженные в книге Ф. Либа «Россия в пути» («Russland unterwegs», 1945), тогда, разумеется, не сбылись, натолкнувшись на реальность сталинской идеологической политики. После двух семестров ученый вернулся из восточного сектора Берлина в Швейцарию непримиримым противником сталинизма. Немало обсуждался в местной печати выход Либа из общества «Швейцария — Советский Союз», председателем которого он являлся. Этот поступок можно теперь оценивать по-разному. Можно было бы с запозданием упрекнуть профессора Либа в том, что он слишком поспешил отождествить сталинщину со взглядами всех советских людей; нельзя, однако, отказать ученому в последовательности и гражданском мужестве. Решение Ф. Либа не повлияло на его позицию борца против ядерного оружия, позицию, которую он разделял с такими неуклонными противниками бессмысленной и самоубийственной гонки вооруже-

ний, как его друг швейцарский философ Карл Барт и великий гуманист Альберт Швейцер.

Читая лекции в университете до своей отставки и ухода на пенсию в 1958 году, Либ отдавался в свободное время еще одному любимому занятию — пешим экскурсиям в горы. Бродя по отрогам соседней Юры, он собрал интересную коллекцию пород и палеонтологических редкостей. Либ оставил также несколько научных работ по геологии.

В памяти современников Фриц Либ запечатлелся как неординарная личность, «вулканическое явление», человек подчас нелегкий в общении, «смесь Лютера и Рабле», но всегда верный своим убеждениям «рыцарь без страха и упрека», искренний христианин и любимец студентов.¹ В сборнике «Sophia und Historie», изданном в 1962 году к семидесятилетию ученого, друзья характеризовали его как человека «скорее созданного для беседы, общения и дискуссий, чем для труда за письменным столом».² Фрица Либа действительно нельзя назвать кабинетным ученым. Он всегда предпочитал действие, университетскую кафедру как место для живого общения с молодыми слушателями, политическую борьбу. И все это сочеталось в нем с любовью к книге и с неугаваемой собирательской страстью.

Русские книги Либ собирал всю жизнь. Как он сам вспоминает, он старался «собрать как можно больше, если не все, с тем чтобы помочь спасти для будущих времен все то значительное, что было создано поколением, оказавшимся большей частью в эмиграции...»³ Это были не только произведения современников, но и старинные издания XVI—XIX веков, в том числе и весьма редкие. Либ решался на покупку целых эмигрантских библиотек.

Когда в Советском Союзе началась распродажа на Запад за валюту книг, конфискованных в бывших монастырях, имениях, учреждениях царского времени, а также у так называемых «врагов народа», Ф. Либ не остался в стороне. Об этом свидетельствуют пометы на ряде изданий и сохранившиеся там указания цены в долларах.

Часть этой коллекции Либ переправил в библиотеку Базельского университета сразу после своего спешного отъезда из фашистской Германии; затем, уже во второй половине 30-х годов, он передал своей alma mater еще несколько тысяч томов. Наконец, по дарственному договору от 29 ноября 1951 года все книжное собрание Ф. Либа перешло в собственность библиотеки Базельского университета. Но и все последующие годы, до самой смерти, Либ не переставал пополнять свой фонд. Принял он участие и в составлении первого систематического каталога собрания.⁴

После кончины ученого, до середины 80-х годов, над упорядочением библиотеки продолжала работать его вдова г-жа Рут Либ-Штеелин (Lieb-Stähelin, 1900—1986), передавшая университету дополнительные материалы коллекции. С 1981 года проводится новая каталогизация фонда Ф. Либа, данные фиксируются в

компьютере. Сотрудник библиотеки университета М. Штриккер обобщил этот опыт в своей дипломной работе, специально посвященной собранию Либа.⁵ Новый каталог предполагается издать в виде книги.

В заключение отметим, что книжное собрание Фрица Либа включает в себя кроме книг по истории западных и восточных вероисповеданий труды по славистике, по истории России и СССР, книги по проблемам масонства, по археологии и географии, большой раздел, посвященный русской классической и советской литературе, и мн. др. Среди русских рукописей, собранных ученым, находятся несколько старинных рукописных переводов философско-мисти-

ческих трактатов Я. Бёме, В. Вейгеля, Г. Фиктульда (рукописи 1800—1820-х годов). Хранится там рукопись книги Д. Чижевского о Григории Сковороде; есть рисунки и автографы произведений Андрея Белого и Алексея Ремизова.

Несколько лет назад по завещанию вдовы Ф. Либа в библиотеку Базельского университета перешло и его собственное рукописное наследие. В нем отразилась почти вековая история духовной и политической жизни Швейцарии и других европейских стран, история славистики и неутомимой научной и общественной деятельности швейцарского друга России.

¹ См., в частности: *Kambas Ch. Wider den «Geist der Zeit»: Die antifaschistische Politik Fritz Liebs und Walter Benjamins // Der Fürst der Welt: Carl Schmitt und die Folgen // Hrsg. von J. Taubes. München, 1983. S. 263—291; R. H. B. Fritz Lieb (1892—1970): Necrologia // Nova acta Paracelsia, Jahrbuch der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. 1977. Bd 9. S. 1—7; Porret E. Der ausserordentlichste Mensch, den ich kenne // Sophia und Historie. Zürich, 1962. S. 373—380.*

² *Rohrkrämer M. Vorwort // Sophia und Historie. S. VII.*

³ *Ibid. S. 20.*

⁴ Еще при жизни Ф. Либа о его библиотеке писали: «В нынешнем состоянии собрание представляет собой замечательный рабочий инструмент, бесценный вклад в историю русского гуманизма от его истоков до наших дней» (*Blanc S. Note sur la bibliothèque Lieb de Bâle // Cahiers du monde russe et soviétique. 1967. Vol. 8. P. 639.*)

⁵ *Stricker M. Ordnung und Erschließung des Nachlasses von Prof. lic. theol. Fritz Lieb (1892—1970): Verzeichnis-, Standortkatalog. Basel, 1989. 500 S.*

Л. П. Лаптева

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА В АРХИВАХ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Настоящая статья посвящается характеристике нескольких десятков писем русского поэта К. Д. Бальмонта и писем к нему, которые не только не были предметом исследования специалистов, но и вообще не были известны в истории нашей литературы. Хранятся эти письма в архивах Чехословацкой Академии наук (*Ústřední Archiv Československé Akademie věd*), «Памятники народной письменности» (*Literární Archiv Památníku Národního Písemnictví LAPNP*) и Национального музея в Праге (*Archiv Národního Musea, ANM*).¹ Собранный нами коллекция имеет уже давнюю историю. Первые письма были найдены в 1961 году при разборе еще никем не тронутого фонда В. А. Францева (русского слависта, эмигранта) в архиве Национального музея.² С того времени у нас накопилось — кроме двух писем К. Д. Бальмонта В. А. Францеву — еще около 60 писем поэта и 11 переводов стихов и литературных очерков, падающих на период его эмиграции (машинописные копии с собственноручной подписью поэта).

Рассматриваемые письма охватывают период с 1907 по 1934 год. Лишь одно из них напи-

сано в России. Адресованы они четырем лицам, из которых трое — иностранцы (один немец и два чеха), а четвертое — упомянутый профессор В. А. Францев, живший в Праге с 1922 по 1942 год. Все письма — на русском языке, хорошо сохранились и легко читаются.

Первым из упомянутых четырех адресатов Бальмонта является Александр Элиасберг — немецкий литератор, поэт, переводчик русской поэзии на немецкий язык, а немецкой литературы — на русский (Бальмонт называет его «Александр Самойлович»). Жил Элиасберг в Мюнхене; во всяком случае, 31 письмо Бальмонта к нему (1907—1921 годов) адресовано именно в Мюнхен. Обстоятельств знакомства Бальмонта с Элиасбергом из писем выяснить нельзя, но ясно, что отношения были очень дружеские, даже близкие: корреспонденты встречались семьями и в Мюнхене, и во Франции. 17 июня 1907 года Бальмонт писал: «Я мало имею заграничных друзей и вдвойне ценю Вашу любовь к моему творчеству»,³ а 16 февраля 1908 года: «У меня из мужчин лишь два друга, два брата... и один из них — Вы».

Письма Бальмонта Элиасбергу содержат

много интересных сведений о творчестве русского поэта. Прежде всего, в них речь идет о переводах стихов Бальмонта на немецкий язык. Бальмонт сообщает также, над чем он работает в тот или иной момент, какие его сборники или отдельные произведения вышли из печати или подготовлены к публикации. Оба поэта обмениваются рукописями своих сочинений еще до их обнародования, чтобы узнать мнение друг друга. Далее, в письмах содержатся сведения о многочисленных путешествиях русского поэта, посещениях им многих стран мира, впечатления от этих стран, о творческих результатах путешествий. Эти сведения уточняют факты биографии и некоторые стороны личной жизни Бальмонта. Оба литератора обмениваются книгами (как собственными, так и других авторов), журналами и т. д.

Элиасберг активно знакомил немецких любителей поэзии с творчеством ставшего уже знаменитым русского поэта. 18 марта 1907 года Бальмонт сообщает: «Я получил Ваше письмо с приложенным к нему переводом моего „Возвращения к океану“. Ваш перевод превосходен. Он не только действительно хорош, но мне представляется, что я впервые вижу истинного своего переводчика, который чувствует не только букву текста, но и все оттенки моего стиха. . . Для меня будет большим удовольствием видеть напечатанными Ваши переводы моих стихотворений». В связи с этим Бальмонт предлагает следующее. «У меня, — пишет он, — сейчас есть совсем готовая книга лирики под заглавием „Птицы в воздухе“. Эту книгу я издам в России не ранее чем через несколько месяцев. . . Быть может, Вы захотите ее перевести целиком или по частям, и, быть может, ее можно будет напечатать в Вашем переводе в Германии?».

В письме от 17 июля 1907 года Бальмонт, высоко оценивая перевод Элиасбергом ряда стихотворений, замечает: «Мне очень нравятся Ваши переводы. Хотелось бы, чтобы Вы еще и еще переводили меня». В 1907 году Элиасберг издал книгу «Русская лирика в Германии», во введении к которой характеризовал и творчество Бальмонта. Отзываясь на присылку Элиасбергом этой книги, русский поэт 1 августа 1907 года писал: «От всего сердца благодарю Вас за доставленную мне радость. Я напишу Вам завтра же подробное письмо по внимательном и повторном чтении Вашей прекрасной книги. Для меня и для всей молодой русской поэзии эта изящная, и внешне и внутренне красивая книга есть событие. За границей еще никто так не говорил обо мне, как Вы. Очень хороши Ваши переводы, хотелось бы, чтобы их было много, еще и еще».

Элиасберг переводил не только стихи, но и прозаические произведения Бальмонта. Какие именно, из писем не видно, это требует дополнительного исследования. Однако сведения о самом факте имеются в письме от 25 марта 1908 года. Бальмонт спрашивает: «Думаете ли действительно что-нибудь еще перевести из моей прозы? Очень было бы приятно».

В 1921 году, эмигрировав из России и поселившись во Франции, Бальмонт был особенно озабочен проблемой публикации своих произведений. 18 июля этого года он спрашивает своего давнего друга: «Не захотели бы Вы перевести на немецкий язык небольшую книжку моих рассказов в прозе?» Спустя несколько месяцев, 1 октября 1921 года, Бальмонт высылает Элиасбергу свою повесть «Белая невеста», добавляя, что она будет помещена в «ближайшем, седьмом номере „Современных записок“». «Это часть моей автобиографии, — продолжает русский поэт. — Я был бы поистине счастлив увидеть ее напечатанной в Вашем переводе». В том же письме Бальмонт сообщает, что послал Элиасбергу «Сонеты Солнца», и пишет: «Было бы очень хорошо, если бы Вы напечатали рецензию об этой книге в одной из мюнхенских газет».

Таким образом, переводы стихов и прозы Бальмонта мюнхенским литератором вполне удовлетворяли и даже восхищали автора подлинников. По поводу некоторых переводов он даже восклицал: «Божественно!», «Очень, очень хорошо!» и т. п. Однако современники отзывались о тех же переводах куда более сдержанно. В журнале «Весы» (1907. № 9) была помещена рецензия на книгу Элиасберга «Русская лирика в Германии». Автор рецензии В. Гофман, признавая книгу полезной и заслуживающей внимания, весьма критически отнесся к качествам перевода. «Александр Элиасберг, — говорится в рецензии, — задался целью познакомить немецкую публику с современной русской лирикой, выбрав для этого шестерых. . . ее представителей — К. Бальмонта, В. Брюсова, И. Бунина, З. Гиппиус, Н. Минского, Ф. Сологуба. Его задачей было, по-видимому, именно познакомиться немцев с этими поэтами, но не создать равноценные их произведениям вещи, именно übertragen,¹ но не nachdichten.⁵ Переводы его, за немногими исключениями, очень точны и старательны, иногда почти дословны. Никаких сколько-нибудь грубых ошибок или искажений текста у него не встречается. Но тем не менее ни Бальмонта, ни Брюсова, ни даже Бунина в его книге нет. . . В частности, относительно переводов из Бальмонта можно указать на довольно неудачный выбор переведенных произведений. Хотя все сложные и изысканные размеры Бальмонта сохранены с большой тщательностью, все же особый пленительный стиль Бальмонта испарился».

Много недостатков находит рецензент и в предисловии Элиасберга к книге. По мнению В. Гофмана, «характеристика Бальмонта — сплошное общее место, представляя собой в то же время несколько рискованный гимн поэту. Для Элиасберга Бальмонт разносторонен, как Гете. . . революционные стихи его блестящи, а в подражаниях народному творчеству он, видите ли, достиг ослепительных результатов. В своем поклонении Бальмонту Элиасберг доходит до утверждения, что все другие поэты „sind stolz Balmonts Trabanten zu sein“.⁶ Обращает внимание В. Гофман и на

чрезмерно высокую, с его точки зрения, оценку Элиасбергом Бальмонта-переводчика.

Разумеется, такого рода суждения Элиасберга не могли не льстить русскому поэту, что, возможно, и отразилось на его отношении к переводам Элиасберга.⁷

В письмах Бальмонта содержится немало свидетельств его удивительного трудолюбия и высокой продуктивности. Практически почти в каждом письме имеются его сообщения о том, над чем он работает, что уже готово, с чем он хочет познакомиться Элиасберга уже в рукописи. Так, объясняя свое довольно долгое молчание, Бальмонт в письме от 11 сентября 1907 года замечает: «Я весь поглощен завершением своей книги „Зеленый вертоград“». В ноябре того же года он лаконично сообщает: «Пишу для „Золотого руна“ статью „Чувство расы в творчестве“». 5 января 1908 года: «Поглощен потоком (т. е. массой) работы. — Л. Л.). Напишу, как будет можно. . . Высылаю завтра „Птицы в воздухе“, „Белые зарницы“». В марте того же года: «Занят сразу несколькими работами. Пришлите мне свой перевод, но только не могу обещаться, что возьмусь за редакцию перевода. Постараюсь, однако». И далее: «Скажите Пшибышевскому. . . что через месяц примусь за ряд статей о польских поэтах (для «Зол(отого) руна»): Словацкий, Пшибышевский, Каспрович, Выспянский, Жулавский».

Хорошо известно, что своими знаниями и широкой эрудицией Бальмонт был обязан и самообразованию. Неотъемлемая часть его творчества, оно отразилось и в письмах. 2 августа 1909 года он сообщает: «Я много читаю по археологии и истории религии». Весьма плодотворным был для Бальмонта и 1911 год. 5 октября он извещает Элиасберга: «Я напечатал „Три драмы“ Словацкого. Вы, вероятно, получили их? Издал мне „Скорпион“ давнишнюю мою работу „Побеги травы“ Уитмена, а подлое русское правительство арестовало эту книгу, Полякова же (издателя. — Л. Л.) отдало под суд — за оскорбление нравственности. На днях должны выйти у Сытина „Испанские народные песни“ в моем переводе, пошлю Вам экземпляр. Приготовил я также за это время 3-й том Эдгара По „Страшные рассказы. Гротески“, печатается. Видите, я работаю. Это далеко не все».

Как уже указывалось, Бальмонт и Элиасберг обменивались рукописями и напечатанными произведениями. Об этом узнаем и из переписки. «Через несколько дней пошлю Вам на неделю рукопись „Вертограда“, хочется, чтобы Вы его прочли», — писал Бальмонт 7 сентября 1907 года, а 11 сентября 1908 года сообщил: «Сегодня послал Вам свою книгу „Зоев Древности“. Завтра вышлю рукописи моих рассказов». Но в октябре 1908 года Бальмонт сам приехал в Мюнхен и привез рукописи с собой.

Несомненно, и Элиасберг переправлял свои рукописные тексты русскому поэту. Выше уже отмечено, что один из таких текстов Бальмонт собирался редактировать, а в письме от 2 мая 1908 года читаем: «Послал Вам из Брюссе-

ля Вашу рукопись; о впечатлении напишу на днях».

Есть и другие свидетельства обмена рукописями и книгами. В письме, датированном «Ночью 16 февр. 1908», содержится текст стихотворения, начинающегося строками «Я только снам в те дни, В те дни единственные. . .» (в опубликованном виде оно нам не встречалось). Здесь же Бальмонт просит Элиасберга прислать 3 экземпляра журнала «Lit. Echo» «с Вашим переводом моей статьи и еще один экземпляр Вашей книги» (вероятно, о русской лирике). В следующем письме (25 марта 1908 года) содержится благодарность Бальмонта за выполнение упомянутой просьбы. В свою очередь Бальмонт в ноябре 1907 года извещает друга о выходе в свет девятой книжки журнала «Весы», где напечатаны рецензия на книгу Элиасберга, одна из статей Элиасберга и его же перевод.

Бальмонт ценил и собственное поэтическое творчество немецкого литератора. «Ваши стихи прекрасны, — восклицает русский поэт 13 апреля 1910 года. — Сколько силы, образности, нежности и пронзенности сердца! „Плоды“, „Романцеры“, „Быль“, „10“, „Ночью“, „Утром“ прелестны. Ношу их в кармане. Вчера были у Елены и перечитывали. Она восхищена».

В последнем имеющемся в нашем распоряжении письме Бальмонта Элиасбергу, посланном 7 сентября 1921 года из Бретани, где обосновался поэт, тоже имеются свидетельства его интереса к творчеству друга, хотя в тоне письма явно ощущается утрата той мажорности и очарованности жизнью и поэзией, которые были свойственны Бальмонту в предшествующие годы. «Дорогой Элиасберг, — читаем в письме, — спасибо Вам за присылку Вашего прелестного томика „Немецкие поэты в русских переводах“. Я завидую Вам, что Вы можете теперь так красиво издавать Ваши книги. Я не могу их никак издавать, хотя чемоданы мои полны рукописей». О присланной книге Бальмонт отзывается так: «Подбор вещей очень удачный, но, к сожалению, далеко не полный. Мы, русские, с детства привыкли к созданиям германской фантазии, и хотелось бы видеть Ваш сборник расширенным в четыре раза».

Содержатся в анализируемых письмах и довольно подробные сведения о путешествиях Бальмонта по свету. Судя по некоторым публикациям — и современным, и более ранним, — точная карта его поездок еще не составлена, да и влияние путешествий на его творчество не до конца выявлено и оценено. Полагаем, что архивные изыскания, в частности анализ писем Бальмонта, могли бы дать немало материала для уточнения ряда моментов его биографии и творчества. Есть такой материал и в письмах к Элиасбергу. Так, 17 июля 1907 года Бальмонт пишет: «Уезжал в Италию и на Балеарские острова. Письма Ваши и стихи блуждали напрасно, гоняясь за мной». В следующем году Бальмонт в Италии — в Генуе, Флоренции и других городах. «Италия нам очень нра-

вится», — признается он 7 ноября 1908 года, а в следующем (недатированном) письме добавляет: «Работаю; тоскую, зябну. Во Флоренции неуютно и неинтересно. Помышляю о бегстве, как только кончу печатание начатых книг». 21 ноября 1909 года Бальмонт сообщает из Парижа: «Уезжаем в Марсель, а оттуда с Еленой в Египет» — и просит писать ему в Каир. О своем пребывании в Египте поэт упоминает в письме от 10 марта 1910 года: «Я был в Египте. Видел его от Александрии до Асуана. Знаю Луксор и Карнак, и библейские горы, и гробницы фараонов! Я в глубоком разочаровании». И далее: «Прожил около двух месяцев в Провансе, теперь возвращаюсь в Париж». Как свидетельствуют дальнейшие письма, в Египте Бальмонт мечтал побывать еще раз, несмотря на «глубокое разочарование». В письме от 10 мая 1911 года из Парижа читаем: «Пребываю (мысленно. — Л. П.) частью в Египте, частью в Индии. В сию еду осенью на много месяцев». В конце того же года, 30 декабря, Бальмонт сообщает: «Я в конце января (1912 года. — Л. П.) уезжаю в Лондон, а оттуда на юг, истинный юг, именно в Южную Африку и еще южнее». При этом поэт отнюдь не забывал о родине. На святки, 7 января 1912 года, он отправляет Элиасбергу письмо, в котором явно слышны ностальгические нотки: «Я мечтаю о России. Вижу снег. Полозья хрустят». Из строк, написанных 18 апреля 1913 года, видно, что Бальмонт собирался и в Полинезию. Но, очевидно, осуществить эту поездку не удалось. Во всяком случае, 16 июня 1913 года письмо Бальмонта помечено: «Нара Фоминская Московской губернии, имение Плессенское». В нем, между прочим, имеется и такое замечание: «Я не слишком очарован Россией».

Далее в письмах наступает перерыв до 1921 года, вызванный, скорее всего, мировой войной, революцией, гражданскими бурями. Впрочем, не исключено, что какие-то письма в это время все же были написаны. Первое письмо 1921 года, от 18 мая, не дает оснований для заключения о полном отсутствии контактов за все прошедшие годы. Бальмонт лишь сообщает, что «уехал из пыльного Парижа в Бретань» и там обосновался.

Конечно, сведения о путешествиях Бальмонта в его письмах Элиасбергу достаточно отрывочны. Но они все же дают представление о непоседливом характере русского поэта, стремившегося все к новым и новым впечатлениям, к познанию новых пространств, которое, однако, подчас приносило поэту разочарования.

Имеются в письмах и некоторые другие моменты. Так, из письма от 18 марта 1907 года видно, что Элиасберг просил Бальмонта прислать его портрет и некоторые биографические данные. Вероятно, то и другое понадобилось немецкому литератору для книги о русской лирической поэзии — ведь в ней опубликованы и краткая биография, и портрет Бальмонта.

Далее письма сообщают о знакомстве Бальмонта с польскими поэтами, в первую очередь

со Станиславом Шибышевским. С ним Бальмонт постоянно встречался, передавал ему привет, обещал написать о нем очерк (Шибышевский одно время жил в Мюнхене). Наконец, в письмах говорится и о личных, семейных делах.

Можно констатировать, что письма Бальмонта Элиасбергу открывают нам малоизвестные стороны жизни русского поэта, в том числе содержат сведения о проникновении его творчества за пределы России, о переводе его произведений на немецкий язык. Сам поэт видел в этом не только средство распространения своей славы (чем, впрочем, тоже не пренебрегал) — он приветствовал желание Элиасберга «сблизить германский гений со славянским», так как, по его мнению, «немцы и русские суть два народа ближайшего исторического будущего» (письмо от 18 марта 1907 года).

Остальные имеющиеся в нашем распоряжении письма Бальмонта уже целиком относятся к периоду его жизни в эмиграции. Поэт тосковал по России, горевал об утрате былой славы, испытывал и материальные лишения. Но творческий дух его не угасал. Сфера его переводческой деятельности даже расширяется. Он обращается к творчеству тех поэтов, которые ранее его не привлекали или привлекали мало, а именно чехов. Эта сторона деятельности поэта совсем мало известна, и письма из нашей коллекции проливают на нее свет. Всего этих писем 29. Три из них адресованы Г. Елинеку (1878—1944), чешскому писателю и переводчику, интересовавшемуся преимущественно французской поэзией. О них будет сказано ниже. Основная же масса писем — 26 — адресована Яну Роките. Они падают на пятилетие с марта 1926 года по декабрь 1931 года, отправлены из Франции, некоторые из Парижа, большинство же из Капбретона, где поэт уединялся, избегая городской суеты. Хранятся они в архиве Чехословацкой Академии наук.⁸ К ним приложены переводы на русский язык 6 стихотворений Яна Рокиты, три очерка о чешских поэтах, а также два оригинальных стихотворения — все это написано Бальмонтом и выслано в форме машинописных копий, подписанных им собственноручно.

Ян Рокита — литературный псевдоним Адольфа Черного (1864—1952) — чешского публициста, переводчика, поэта, этнографа, основателя и издателя журнала «Словаки пржеглед», который выходил с 1898 года. Журнал публиковал всестороннюю информацию обо всех славянских народах и их литературах; он выходит и в наши дни, хотя направление его ныне скорее историческое, чем литературное. Кроме писем Бальмонта Роките⁹ в нашем распоряжении имеются и три черновых фрагмента ответных писем Рокиты Бальмонту. Эти тексты (они тоже на русском языке) также используются в настоящем обзоре.

Главное внимание в письмах к Роките Бальмонт уделяет чешской поэзии. «Я читаю с интересом все, что касается Чехии», — писал русский поэт 26 октября 1926 года. При этом он

ощущал потребность расширить круг знакомства с чешской литературой. Но Бальмонту недоставало пособий по интересовавшему его предмету, и он просил прислать соответствующую литературу. 7 августа 1926 года он писал: «У меня нет, к сожалению, никакой Антологии чешской поэзии, кроме маленькой книжки Сальвера *Modern Czech Poetry* (чешские и английские тексты). Мне очень хочется иметь книги чешских поэтов, о которых Вы пишете, а также меня интересуют Маха, Сова, Безруч, Тэер, Томан.¹⁰ Если бы Вы могли похлопотать, чтобы я получил несколько книг этих поэтов и названных Вами, я был бы глубоко благодарен Вам».

Наибольший интерес проявлял Бальмонт к творчеству крупнейшего чешского поэта, переводчика, новатора стихотворной формы Ярослава Врхлицкого (J. Vrchlický, 1853—1912, литературный псевдоним Эмиля Фрида). Бальмонт не знал его лично, а с его поэзией впервые ознакомился по упомянутой книжке П. Сэлвера, но, изучив творчество Врхлицкого подробнее, стал считать этого поэта «звездой первой величины, которой давно пора сиять и на русском небе». В очерке «Праздник сердца (Ярослав Врхлицкий)¹¹ Бальмонт писал: «Я изучаю творчество Ярослава Врхлицкого, — и переводить отдельные его поэмы — радость прикосновения в собственной душе к тому, что есть в ней наиболее яркого и нежного и что в ней было и останется первоисточно славянским». Имеющаяся в нашем распоряжении корреспонденция дополняет эти слова. 26 марта 1926 года Бальмонт выражает Роките признательность «за сочувственное отношение» к «работе над Врхлицким» и сообщает, что им окончена «книга переводов из этого лучезарного чешского поэта в 2000 строк», которую он и вышлет в Прагу «через неделю». Отвечая на это письмо, Рокита 19 июня 1926 года писал: «Мне очень дорого, что Вы взяли за перевод Врхлицкого, и надеюсь, что кроме „Избранных стихов“ Вы переведете еще больше стихов этого великого поэта, да сих в России, так сказать, неизвестного». Бальмонт действительно продолжал публиковать переводы произведений Врхлицкого и других чешских поэтов в русских заграничных изданиях, в основном в эмигрантских газетах. 25 декабря 1926 года он сообщает своему чешскому корреспонденту, что «послал в „Волю России“ цикл переводов: Маха, Врхлицкий, Рокита («Отпущение»), Сова, Бжезина,¹² Тэер, Томан, Волькер;¹³ и в „Родное Слово“: Врхлицкий, Сова, Бжезина («Как сон»), Тэер, Волькер». «Я мечтаю о радости перевести еще Врхлицкого (еще недостаточно оцененный гений)», — замечает Бальмонт в другом письме (7 августа 1926 года).

Высланная Бальмонтом в Прагу рукопись книги переводов из Врхлицкого долго не издалась, что вызывало у русского поэта раздражение, вылившееся в письмо от 25 сентября 1927 года (впрочем, в достаточно корректной форме): «Позвольте обратиться Ваше внимание на тот чудовищный факт, что книга Врхлицкого

в моем переводе лежит в Праге без движения уже полтора года. Мне это совсем не представляется доказательством особой любви чехов к Врхлицкому и желания, чтобы русский переводчик продолжал работать над переводом чешских поэтов. Я желал бы получить энергичное опровержение этих моих слов, которые пишу против своего желания, а самое энергичное опровержение заключалось бы в немедленной высылке мне корректур Врхлицкого». Рокита помог русскому поэту; 14 октября¹⁴ он ответил, что «книжка выйдет в начале декабря (1927 года. — Л. Л.)», а также что «уже через две недели» Бальмонт получит первую корректуру. Последний выразил в ответ свою радость, а по получении корректуры, 19 ноября 1927 года, сообщал: «Прочитав корректуры Врхлицкого внимательно, трижды, я их отослал сегодня заказной бандеролью в типографию. . . Книга набрана добросовестно, и если мне скоро вернут корректуры, возможно, что к половине декабря книга выйдет уже? Как было бы хорошо! . . Душа ожила!» Однако прошло еще немало времени, прежде чем перевод Бальмонта увидел свет. Предполагалось, что вступительную статью к книге переводов напишет профессор пражского Карлова университета М. Гысек,¹⁵ который, однако, не смог этого сделать, и 17 марта 1928 года Бальмонт просит самого Рокиту «написать несколько слов предисловия, хоть одну страницу», добавляя: «Ваше слово — как поэта, который мне дорог, как человека, лично знавшего Врхлицкого, как борца за Славянское Единение (в чем Вы и я, мы союзники и братья) — было бы очень дорого». К середине 1928 года книга вышла в свет. 29 июня Бальмонт, написав «благодарю Вас. . . за прекрасное Ваше предисловие к моему скромному труду „Врхлицкий“», сетовал, однако, на то, что ему не присланы еще обещанные 50 экземпляров издания.

Переводил Бальмонт и других чешских поэтов. Естественно, в письмах к Роките особенно много сведений о переводах именно его произведений.

Отметим, что Рокита не оставил большого следа в литературе. Современники считали его одним из эпигонов Врхлицкого, далеко не достигавшим уровня последнего. В большую заслугу Роките-Черному ставится его работа как этнографа, славянского публициста, издателя специального славянского журнала. Тем не менее Бальмонт восхищается поэзией Рокиты, представлявшейся русскому поэту родственной по духу, по той «славянской идее», которая выражена в некоторых произведениях Рокиты и к сторонникам которой причислял себя в это время Бальмонт. Поэтому в письмах содержатся высокие оценки поэтических и идейных достоинств творений Рокиты. «Вчера, все последнее утро мая, — пишет Бальмонт 1 июня 1926 года, — я читал Ваши стихи, и две песни, тонкие, как радуги паутинки и как шелест травы на холме, совсем меня пленили, и я перевел их, как умел: „Sen“ и „Odpustiŕi“. Вот они обе в русском лике:

Ян Рокита

СОН

С челом лилейным, белый знак
 В мой мир, где все уклон,
 Вступили Вы тихонько так,
 Как мысль, как светлый сон.
 В часах — недели мчатся в ряд,
 День в мигах истощен,
 Мои мгновения летят,
 Как облака, как сон.
 В иной уйду я кругом,
 В предел иных сторон,
 Вы в прошлом будете моим,
 Как память дней, как сон.
 Плыву, плывет моя ладья,
 Я током устремлен,
 Быть может, принесет струя
 Мне образ Ваш, как сон.
 Когда же солнце в крайний час
 Мне явит небосклон,
 Как знать, я не увижу ль Вас,
 Как белый знак, как сон.
 Когда же в вечность, в глубину
 Я буду унесен,
 Я буду видеть Вас одну,
 Мой сон, мой сон, мой сон.

К. Бальмонт

Париж, 1926, 31 мая

Ян Рокита

ОТПУЩЕНИЕ

Где же солнце? Где мои созвездья?
 Ночь меня тенями обступила,
 Зной в лице, и холод, и возмездье,
 Мой был грех, со мною вражья сила.
 О, душа, какой я бедный малый!
 Ты царишь высоко надо мною,
 Лик твой — лик зари с каймою алой,
 Я — могила, холм зарос травюю.
 Преклонись, молю, у той могилы,
 Белых рук своих сомкни запястье,
 Помолись, яви свой призрак милый,
 Может быть, искупит то участие.
 Может быть, сокрытый там, в просторе,
 Бог простит, приняв твои моления,
 Может быть, в твоём прочту я взоре
 Божий знак любви и отпущенья.

К. Бальмонт
Париж, 1926, 31 мая.

Восторженный отзыв дал Бальмонт еще об одном стихотворении Рокиты: «Я испытал истинное наслаждение, читая Вашу поэму *Lesní Pohádka* («Лесная сказка». — Л. Л.). Я читал ее как раз в лесу, на берегу озера. . . Тишина озера и соснового бора так красиво слились с прозрачностью и кроткой нежностью Вашей „Лесной сказки“. . . Это так же воздушно и ласково, как поэзия Шелли, но в Ваших строках эти чувства имеют чисто Славянский оттенок» (15 августа 1926 года). Отрывок из «Лесной сказки» в переводе Бальмонта также имеется среди писем к Роките:

«Ян Рокита

КУПАВА

(С чешского)

Над озерными водами
 С сердцевидными листьями
 Расцвела купава.
 И не черной глубиной
 Там, где венчан день с водою,
 Взрошена как слава,
 Глубиной души, мечтами
 И лесистыми местами
 Дышит величава.
 Над водою неспененной
 Цвет тот, солнцем озаренный,
 Светит грезой белой.
 Он на дне души был рано,
 Встал зарею из тумана,
 Нежно онемелый,
 Чтоб цвести, куда тучи
 Не зажгут закат тягучий
 Розой обгорелой.
 Полузамкнут, полуявен,
 Чарой белой многославен,
 Он с ним манит слиться,
 И листьями, изумрудом,
 И тоскою сердца, чудом
 Кличет расцветиться.
 Сердце хочет без усилия,
 К красоте раскрывши крылья,
 Красоте молиться.
 Так под темными бровями,
 Может, ты сверкнешь зрочками,
 Взор твой ярче взглянет?
 Ты посмотришь на купаву,
 Дашь мне крылья, дашь мне славу,
 Блеск чей не устанет?
 Да, цветок владеет нами,
 Прежде чем он под волнами,
 Задремав, увянет!

К. Бальмонт

Carbreton. 1927. 26 янв..

Особенно нравилось Бальмонту стихотворение Рокиты «Гитара». «Вот Вам Ваша дивная Гитара, — читаем в письме Бальмонта от 30 сентября 1927 года. — Вчера читал ее моему другу, знаменитому писателю И. С. Шмелеву, он восхищается ею, как и я». Русский перевод «Гитары» впервые опубликован в газете «Последние новости» (Париж) 16 октября 1927 года. Имеется текст и в нашей публикации в газете «Литературная Россия» (см. сн. 9).

В 1928 году Бальмонт переводил исторические поэмы Рокиты. «Читаю с восторгом Вашего верного брата Жижку и переводу из него отрывки», — сообщает русский поэт 6 января 1928 года. И далее: «Благодарю Вас за Вашего кованого и милого Жижку, я его люблю, как живого. Шлю Вам перевод одной главы. Думаю, что переводу больше, чем одну главу. Был бы Вам признателен, если бы Вы послали мне какой-нибудь исторический очерк о Жижке и Гусе. Я бы напечатал в „Последних новостях“ статью о Вашей книге с цитатами» (5 февраля

1928 года). В июне 1928 года Бальмонт написал очерк под названием «Кроткий и смелый. Ян Рокита», где дал обзор творчества поэта и характеристику его «духа». Имеются в статье и переводы ряда стихотворений Рокиты. Очерк был опубликован в русском эмигрантском издании «Россия и славянство», о чем узнаем из письма Бальмонта от 12 января 1929 года. Тут же приложен перевод главы «Жижка в Вифлееме», датированный 1—2 февраля 1928 года. Бальмонт также сообщал Роките, что занимается переводом его «превосходного „Ветра“ из „Революции“», а в конце 1930 года (10—11 декабря) выслал свою статью под названием «Ян Рокита. Из освободительных песен. С чешского», в которой после краткого введения публиковался перевод стихотворений Рокиты «Колыбельная песня (1905-й год)» и «Лес шумит».

Еще одним чешским поэтом, которым интересовался Бальмонт, был Антонин Сова (1864—1928). В газете «Последние новости» русский поэт поместил перевод стихотворения Сова «Каждому вёсны светят» — вырезку из газеты с переводом Бальмонт выслал автору через Рокиту, что видно из письма последнему от 26 октября 1927 года. При этом Бальмонт просил, чтобы Сова прислал ему «что-либо из своих полных изящного очарования произведений» (письмо Роките от 25 ноября 1927 года), и был очень рад, когда получил 10 книг Сова (письмо от 27 декабря 1927 года). В феврале 1928 года Бальмонт написал и очерк о творчестве Сова под названием «Поэт музыки чувства» и выслал отгиски в Прагу (см. письмо от 17 марта 1928 года).

Из прочих чешских поэтов Бальмонт отметил своим очерком Рудольфа Медека.¹⁶ Статью под названием «Чехи о России. Рудольф Медек» Бальмонт послал Роките для публикации в журнале «Словански пржеглед» (письмо от 21 сентября 1927 года).

Задумал Бальмонт издать и антологию чешской поэзии на русском языке. «Этой зимою, — писал он 25 ноября 1927 года, — буду усердно работать над подготовкой образцов чешской поэзии (в моем переводе)», а 29 июня 1928 года сообщал Роките: «К осени я закончу „Образцы чешской поэзии 19-го и 20-го вв.“. Там будет много из Вас и новое из Врхлицкого». Однако работа двигалась не так быстро, как Бальмонт планировал, и 2 октября 1928 года он пишет: «Я размышляю о зиме. Переводу образцы поэзии чешской, сербской, хорватской, болгарской. Хотелось бы сосредоточиться, кончить „Образцы чешской поэзии 19-го и 20-го века“». Но для этого Бальмонт считал необходимым приехать в Прагу, «побыть в ней месяца два и на месте проверить и дополнить свой выбор». «Сам я этого осуществить не могу, — продолжал он. — Но если бы чехи захотели устроить мне несколько публичных выступлений и пригласили меня и мою жену, я приехал бы, чтобы работать во славу Чехии и России». Бальмонт уже посещал Чехию в 1927 году, так что поездка 1928 года могла бы стать второй, но

о ней в собранных нами письмах сведений нет.

Еще и в начале 1930 года антология не была закончена. 13 января 1930 года Бальмонт писал: «Очень меня огорчает, что моя 4-летняя работа „Чешские поэты в очерках и переводах“ лежит у меня на руках, и нет у меня сил дописать последние страницы, ибо не знаю, кому она нужна и кому ее послать». А об окончании труда свидетельствует письмо от 2 апреля 1931 года: «Долгий мой путь по чешской словесности — на время — закончен, и жатва моя перед Вами: „Душа Чехии в слове и деле“. Хотя и неполный обзор, эта моя книга продиктована глубокой любовью к Чехии и усердными изучениями. Если Чехия не отнесется к ней холодно, я, окончив уже начатые давно славянские работы, охотно вернусь к чешскому слову и напишу еще новую книгу. . . Но пока довольно и этого. Если, прочтя мою работу, Вы посодествуете своим ценным влиянием тому, чтобы Прага напечатала эту русскую, первую еще, кажется мне, книгу — поэтический огляд, книгу „Чешско-русский сад“, Вы доставите мне высокую радость, и работа моя нескольких лет не потеряется». Рокита пытался помочь русскому другу. Вероятно, по его инициативе в газете «Народни освета» 28 февраля 1931 года была помещена заметка о том, что «русский поэт, живущий во Франции (Калбретон), Константин Бальмонт написал новую книгу о чехах „Душа Чехии“» (вырезка из газеты — на чешском языке — хранится вместе с письмами). В заметке также раскрывается содержание книги по главам. О дальнейшей судьбе этого труда Бальмонта у нас сведений нет.

Переводы Бальмонта удовлетворяли чешских авторов. Так, Рокита 19 июня 1926 года¹⁷ писал русскому поэту: «Особенно Вам благодарен за прекрасные переводы двух моих стихотворений, которые я уже получил также от проф. Евгения Александровича Ляцкого.¹⁸ Обе песни переведены с истинно удивительной верностью».

Но отношения Бальмонта с чехами не ограничивались тем, что он переводил чешскую поэзию: его собственные произведения также печатались в чешском переводе. В упомянутом письме Рокиты от 19 июня 1926 года читаем: «Шлю Вам переводы Ваших песен («Раненый»,¹⁹ «Весенний клич»,²⁰ «Капля»,²¹ «Кальян»,²² «Костры»,²³ «Слово о погибели»,²⁴ «Столбы закона»)²⁵. В ответ на просьбу Бальмонта, выраженную в письме от 1 июня 1926 года, поместить в журнале «Словански пржеглед» краткое сообщение о книге русского поэта «Мое — ей. Россия»²⁶ Рокита пишет, что молодой поэт Иосиф Пелишек «перевел некоторые стихи из книги „Мое — ей. Россия“ и напечатал их в „Слованском пржеглед“е» прошлого (т. е. 1925. — Л. Л.) года и что «в томе V (1902—1903) Slov. Přehl., на стр. 1—6 имеются переводы Ваших стихов: Choryj («Большой». — Л. Л.); Otázka («Вопрос». — Л. Л.); Smrt («Смерть». — Л. Л.); Okean («Океан». — Л. Л.); Ne, nikdo tolik nepřivodil zla («Нет, никто не содеял столько зла». — Л. Л.); Ach, jenom

věděti («Ах, только бы знать». — Л. Л.); V jeskíni («В пещере». — Л. Л.); Pozdě («Поздно». — Л. Л.).²⁷ Перевела их покойная Павла Матернова. К сожалению, у меня нет уже выпуска „Сл. прегледа“ с этими переводами; но если его еще найду, с удовольствием Вам пришлю».

Таким образом, чешским литературным кругам Бальмонт был известен уже в начале века, а в 20-е годы его контакты с чешскими поэтами и писателями стали весьма оживленными. Наряду с упомянутыми писателями его корреспондентами были, очевидно, Пелишек, Кубка, Копта и др. Бальмонт посылал чешским литераторам свои книги. Так, 15 декабря 1931 года он писал Роките: «На днях вышла моя книга „Северное сияние“. Вам должны были выслать ее из Парижа. Прилагаю листок посвящения, чтобы Вам вклеить его в Ваш экземпляр». Свои симпатии к родине чешских литераторов он выразил и в имеющемся среди писем стихотворении, текст которого приводим:

К ЧЕХИИ

Между Русью Прикарпатской
И Германией седой,
Между Венгрией и Польшей,
Между стран, чей счет и больше, —
В вязи хмеля молодой,
Горный край, лесной — и братский,
Крепь, упор и целина,
Желтых нив к волне волна,
Край борьбы, свершений трудных,
Исполинских гор и Рудных,
И прогалин изумрудных,
С моря вся ты мне видна,
Соколиная страна.

Благовонно-золотую,
Здесь, в лесу, смолу густую
Я в прозрачный стих пролью,
В стих певучий и тягучий,
Что скользит по бытию,
Как изваянные тучи,
Дивоносная семья,
Караван светло-пловучий,
Чьи горящие края
До тебя стремятся в небе.
Сердце в песне не тая,
Пропою тебе мой жребий,
Ты услышь, Сестра моя!

Русский жребий в годы эти
Преломления основ,
Он старинный, он не нов: —
Сеть порвал — и снова в сети
Погоревший отчий кров.
Семь печатей красных. Книга,
Где в русле крылатых слов,
На строке начальной — иго,
Вражьем сглазом сжатый круг.
Не зеленый вешний луг,
Не разливистая нива,
Что шуршит «Живи счастливо!»
Не в забаву, не в игру,
Пляска Смерти на юру,

Вихрь бесовский, ужас срыва,
«Дашь копейку? Все беру!»
Старцы, дети, девы, жены,
Опрокинут небосклон,
Лики муки, крики, стоны,
Бездорожье, миллионы,
Уходящие за склоны,
В теневой, бескрайный сон,
В злой, скитальческий закон.

Дни безжалостные строги,
Сам в себя идешь — в нору.
Видеть нищую сестру,
Знать, что дочь ушла с дороги
И блуждает где-то там,
К четырем идя ветрам.
На чужом стоять пороге,
Слышать в сотый раз в ответ
Остужающее «Нет».
Как вися на бычьем роге,
По слепым блуждать краям,
Ведать воздух сорных ям,
Проходить по мерзлым скатам.
Где моя Родная Мать?
В каждом миге быть распятым,
Воскресенья — годы ждать.

Ты, заботница недужных,
В эти сроки вражьих чар,
В этой попытке вихрей вьюжных,
Не считая щедрый дар,
Помогла снести угар
Тем, кто в бурях всеокружных
Через жуткий шел пожар.
Не меняй же соколиный,
Сильный солнечный полет.
Проходя родной долиной,
Мы воспомним в миг единый —
В горький миг нам данный мед.

Ожерелье — к бусе буса —
Четка к четке — жемчуга.
Край Хельчицкого и Гуса,
Кровь, что, брызнув на луга,
Стала пенным потоком,
Затопившим берега, —
Огненным Славянским оком
Глянь на правду слов моих.
Я горю в костре жестоком,
Но пою тебе мой стих!

Капбретон. 1927. Январь.
Русский Новый год.

К. Бальмонт.²⁸

В письмах Бальмонта чешским литераторам, особенно Роките, прослеживается увлечение русского поэта идей славянской взаимности, модной тогда в определенных интеллигентских кругах. Бальмонт и раньше подчеркивал, что принадлежит к славянам как к «племенному складу». Потеряв родину, поэт стал еще больше тяготеть к славянским народам, изучать их язык, литературу, историю. 26 августа 1926 года он пишет Роките: «Я читаю каждый день по-чешски»; 25 декабря 1926 года: «Чувствую глубокую любовь ко всему чешскому,

изучаю чешских поэтов и прозаиков и каждый день нахожу новые черты сродства между чешской и русской душой». Повышенный интерес проявляет Бальмонт и к другим славянам. 15 августа 1926 года он делится с Рокитой такими мыслями: «Мне бы очень хотелось прочесть Ваши работы по Сербии и Белоруссии. . . Я сейчас изучаю сербский язык. К сожалению, сербы ленятся послать мне книги, у меня нет текстов». А 2 октября Бальмонт сообщает: «Перевожу образцы поэзии чешской, сербской, хорватской, болгарской, литовской». Свое увлечение идеей славянской взаимности Бальмонт выразил в сонете «Слава славянам», напечатанном в одной из эмигрантских газет. Вот его текст:

СЛАВА СЛАВЯНАМ

Рус, Чех, и Лех, и Серб — четыре брата,
Но между гор, полей, лесов, равнин
Забуду ли в столетних мглах судьбин
Болгара, и Словака, и Хорвата?

Я Славянин. Моя семья богата.
И в ней мой пращур, сын лесов Литвин.
Мой каждый брат — то вольный властелин,
То раб в цепях, их рвущий в час набата.

От каждого из всей семьи — из всей —
Мне — смелый взгляд и голос многозвонный,
Размах, полет, веселый вихрь степей.

Но в детстве мне сверкнул, сквозь сумрак
сонный,

Ян Гус — огонь души — всего светлей.
Знак Славии — наш дух — воспламененный.

В большинстве писем Бальмонта к Роките звучат сетования русского поэта на сложности существования эмигранта. «Мы живем здесь трудной жизнью, — пишет он из Парижа 1 июня 1926 года, — одно есть утешение, что „sestra Bolest povzpaří me k nebi“ («Сестра Боль вознесет меня к небу» — Л. Л.)». И в письме от 13 января 1930 года читаем: «В таких трудных и тяжелых обстоятельствах я живу, что до сего дня не собрался — простите — поблагодарить Вас за добрый дар, за книгу Ваших хороших стихов». «Трудные обстоятельства» заключались в том, что Бальмонту редко удавалось публиковать свои произведения. Недоставало средств, в том числе и на поездку в Чехию. Все же в 1927 году такая поездка состоялась, о чем свидетельствуют письма поэта к другому чешскому корреспонденту, Ганушу Елинеку,²⁹ с которым Бальмонт, как сам он пишет, «встречался редко, но всегда сердечно» и пользовался его «сочувствием». 29 мая 1927 года, находясь в польском городе Закопане, Бальмонт просит Елинека похлопотать об организации своей поездки в Чехию. «Я буду здесь (в Закопане. — Л. Л.) до конца первой недели июня или до 9—10-го июня, чтобы выехать не позднее 11-го июня из Кракова (польская виза кончается 13-го)», — замечает Бальмонт. До пограничной станции билеты были оплачены польским отделением Пен-клуба.

«Я хотел бы, — пишет далее Бальмонт, — чтобы чешский Пен-клуб пригласил меня на неделю в Прагу и устроил мне вечер. Я прочел бы о чешской поэзии и свои переводы. Мне было бы очень горестно, если бы чехи теперь, когда я так близко от Чехии, не устроили мне свидание с братской страной, которую я так люблю. В Польше ко мне отнеслись очень радушно». Елинек похлопотал о приезде Бальмонта, и в следующем письме из Закопане, 10 июня 1927 года, русский поэт сообщает, что билеты получил и выезжает через Краков в Прагу, куда прибудет 13 июня. «Радуюсь, что увижу Чехию, — восклицает он, — более радуюсь, чем могу сейчас выразить. И счастлив, что смогу сказать вслух свое русское слово о чешском народе!»

Пребывание в Праге, видимо, еще больше сблизило Бальмонта с чешскими литераторами, и он вновь полон планов работы над переводами произведений чешской литературы. 18 сентября 1927 года поэт пишет Елинеку из Капбретона: «Я читаю Вашу превосходную книгу „Études tchécoslovaques“ («Чехословацкие этюды». — Л. Л.) и, прочтя очерк о романе чешской войны (т. е. участия чехов в первой мировой войне и в гражданской войне в России. — Л. Л.), возгорелся желанием получить романы и рассказы Медека, Копты и Лангера. . .³⁰ Я как раз пишу ряд очерков „Чехи о России“, и мне их книги прямо необходимы. Начал я очерком о Рудольфе Медеке как авторе прекраснейшего „Львиного Сердца“. Этот очерк уже отослан в „Последние новости“. Следующие будут о Пелишке, Кубке,³¹ и вот хотел бы о Копте, Лангере и Медеке как прозаике». Что касается упомянутых «Чехословацких этюдов» Елинека, то Бальмонт замечает: «Очень мне, между прочим, понравились страницы о музыке и народной песне чехов. Хотел бы эти песни прочесть по-чешски. Я кое-что из них уже перевел, но не записывал, ибо чего же стоит перевод с перевода: тень тени?» (книга Елинека была на французском языке). Из письма видно, что июньская поездка Бальмонта в Чехию состоялась и что он хотел бы вновь побывать там, чтобы «выступить с несколькими лекциями в Праге и в других городах».

Труды Бальмонта о чешской литературе и его переводы чешской поэзии были высоко оценены в Чехословакии. 21 января 1930 года он был избран, а 9 мая утвержден иностранным членом Чешской Академии наук и искусств. Сам поэт узнал об этом лишь к концу года. В его письме Яну Роките от 10—11 декабря 1930 года читаем: «Хотел бы узнать, в чем в точности мои обязанности перед Академией наук и искусств в Праге. . . Мне президентом Академии был обещан некий диплом, но я до сего его не получил». За выяснением этих вопросов Бальмонт снова обращался к Роките.

В целом письма Бальмонта к чешским литераторам свидетельствуют о том, что русский поэт и в эмиграции интенсивно работал, издавая книгу за книгой, очерк за очерком, — это были и его собственные произведения, и пере-

воды. Как раз в это время он освоил и некоторые новые для него литературные языки, а именно славянские.

Проблемы публикации, обмен литературой составляют сюжет и двух писем Бальмонта 1934 года, направленных В. А. Францеву.³² Францев (1867—1942), крупный русский славист, в начале века — профессор Варшавского университета по кафедре славянской филологии. В 1914 году Варшавский университет в связи с событиями мировой войны эвакуировался в Ростов-на-Дону, но в условиях гражданской войны нормальная научная и педагогическая работа была здесь невозможна. В 1922 году Францев уехал в Прагу, где и стал профессором Пражского университета. Имея давние широкие связи с чешскими учеными и литературными кругами, пользуясь своим прочным материальным положением, Францев оказывал разнообразную помощь русской эмиграции, входил в состав ряда организаций, созданных с этой целью в Праге. Понятно, что и Бальмонт обращался к Францеву за консультациями и помощью.

Между прочим, письма Бальмонта Францеву лишний раз свидетельствуют о раздорах в среде русской эмиграции, вызванных разнородностью ее идейных убеждений. Это иллюстрируется письмом Бальмонта Францеву от 23 октября 1934 года. «Пишу Вам в минуту бессильного гнева, — замечает Бальмонт. — „Последние новости“ часто доставляют мне это удовольствие. Милоков³³ вернул мне „Праздник поэзии“, напечатать его негде; и бесстыдно вернул также прилагаемое здесь „Лицо серба“. Как бы сходит с ума от красной ткани, так Милоков теряет остатки своего старческого тупо-доктринерского разума от одного слова „славянофил“. Но этого слова даже и нет в двух моих очерках. Одно упоминание о Хомякове в „Лице серба“ заставило Милокова отвергнуть эти страницы. И г. Демидов, с которым было объяснение в редакции, вид имел сконфуженный и подчеркивал совершенно искренно, что он, Демидов, большой почитатель Хомякова и как поэта,

и как мыслителя. Вот он, демократический застеноч, от чекистского совсем недалеко». И далее Бальмонт просит напечатать названные очерки в Праге по-чешски или по-русски.

4 декабря 1934 года Бальмонт благодарил Францева за содействие. Из письма можно понять, что очерки были опубликованы в газете «Národní Listy». Поэт сообщает: «Я получил № Národní Listy, XI, 29—1-го декабря, как раз когда выходил, чтобы ехать в Югославянское посольство. Я подарил там этот номер, и это вызвало сочувствие». И далее Бальмонт просил напечатать в «Národní Listy» еще одну «дополнительную страницу».

Вторым сюжетом писем Бальмонта Францеву является оценка поэтом работ ученого об А. С. Пушкине. Исследование Францева «Пушкин и польское восстание 1830—1831 гг.» Бальмонт считает «очень осведомленным и содержательным», производящим даже «величественное впечатление». «Очерк (Францева. — Л. Л.) о „Моцарте и Сальери“, — продолжает поэт, — написан прямо музыкально, и радостно было его прочесть, как радостно от свежей весенней ветки».

Разобранные в предлагаемой статье письма Бальмонта, хранящиеся в чехословацких архивах, представляются ценным и достаточно надежным источником сведений о ряде моментов жизни и творчества русского поэта. Они содержат много неизвестных фактов, ряд деталей, без которых подчас затрудняется понимание того или иного аспекта творчества поэта, различных обстоятельств его жизни и т. п. Письма Бальмонта ценны еще и тем, что иногда дают ключ, а иногда импульс к исследованию его жизни и творчества в период эмиграции. По ним можно узнать, в каких странах и в каких изданиях публиковал Бальмонт свои произведения, кто переводил, какие его произведения переводились и публиковались на других языках. Весь этот материал может существенно дополнить наши представления о поэте, более точно определить его место в истории русской культуры.

¹ Автор располагает ксерокопиями или микрофильмами писем и других материалов.

² Этот фонд был впоследствии передан в LAPNP.

³ Все письма К. Бальмонта А. Элиасбергу хранятся в Праге, в архиве LAPNP (pozůstalost Eliasberg Alex., korespondence).

⁴ перекладывать — нем.

⁵ переводить свободно (творчески) — нем.

⁶ горды быть сателлитами Бальмонта — нем.

⁷ Отметим попутно, что в «Весах» нередко появлялись стихи Бальмонта, а Элиасберг опубликовал в этом журнале в 1907—1908 годах ряд очерков о современных немецких поэтах и переводов на русский язык их новелл и рассказов.

⁸ Ústřední Archiv Československé Akademie věd (fond Cerný-Rokita, korespondence).

⁹ Письма К. Бальмонта к Я. Роките частично использованы в нашей статье «Вот Вам Ваша дивная гитара» (Лит. Россия. 1989. 17 марта. № 11. С. 23).

¹⁰ К. Г. Маха (К. Н. Macha, 1810—1836) — революционный романтик, классик чешской поэзии. Об Ант. Сове см. ниже. П. Безруч (P. Bezruč, наст. имя Вл. Влашек, 1867—1958) — выразитель чаяний народа Чешской Силезии. О. Тээр (O. Theer, 1880—1917) — поэт, театральный и литературный критик. К. Томан (K. Tompa, наст. имя Антонин Бернашек, 1877—1946) — поэт-лирик.

¹¹ См. в кн.: Бальмонт К. Избранное: Стихотворения; Переводы; Статьи. М., 1983. Об от-

ношении Бальмонта к другим чешским поэтам и писателям в этом издании сведений нет.

¹² О. Бжезина (ныне обычно транскрибируют «Бржезина»; O. Bžezina 1868—1929) — поэт-символист.

¹³ И. Волькер (J. Wolker, 1900—1924) — поэт, выразитель чаяний чешского пролетариата.

¹⁴ На имеющемся в нашем распоряжении черновике этого письма, написанном рукой Рокиты, дата не обозначена, но она ясна из ответной открытки Бальмонта от 9 ноября 1927 года («В письме Вашем от 14-го окт. . . Вы пишете, что через две недели я получу корректуру»).

¹⁵ Hýsek, Miloslav (1885—1957) — литературный критик и историк, профессор Карлова университета.

¹⁶ Р. Медек (R. Medek, 1890—1940) — писатель и драматург националистического, реакционного направления. Писал, в частности, о чешских legionерах в России.

¹⁷ Черновик и в данном случае не датирован. Из текста видно, что он является ответом на письмо от 1 июня, полученное Рокитой 16 июня, так что можно предполагать дату ответа вскоре после этой последней. Действительно, из письма Бальмонта от 7 августа 1926 года ясно, что существовало письмо Рокиты, датированное 19 июня, и что оно по содержанию совпадает с текстом цитируемого черновика.

¹⁸ Е. А. Ляцкий (1868—1942) — русский лингвист, филолог, этнограф, ученик В. Ф. Миллера, Ф. Ф. Фортунатова, М. И. Соколова, с 1922 года профессор русского языка и литературы Карлова университета.

¹⁹ «Раненый» («Я насмерть поражен. . .») — стихотворение Бальмонта, вошедшее в его сборник «Горящие здания» (1899).

²⁰ Возможно, «Весенний шум» («Весенний шум, весенний гул природы. . .») — из того же сборника.

²¹ «Капля» («Я заснул среди ночи. . .») — видимо, написано не позднее 1926 года. Опубликовано только в 1937 году в сборнике «Светослучение».

²² О публикации оригинала у нас сведений нет.

²³ Сведений нет.

²⁴ Сведений нет.

²⁵ Сведений нет.

²⁶ Сборник «Мое — ей. Россия» вышел в 1923 году.

²⁷ Из перечисленных названий удалось установить: «Смерть» («Суровый призрак, демон, дух всесильный. . .») — сонет из сборника «Под северным небом» (1894); «Океан» («Вдали от берегов страны обетованной», с посвящением В. Брюсову) — из сборника «В безбрежности» (1895); «В пещере» («В пещере начертал он на стене. . .») — из сборника «Сонеты солнца, меда и луны. Песня миров» (1917).

²⁸ В опубликованном виде это стихотворение нам не встречалось.

²⁹ LAPNP (pozůstalost H. Jelinka, korespondence).

³⁰ Йозеф Копта (J. Kopta, 1894—1962) — писатель и журналист, находился в составе чешского легиона в России; Ф. Лангер (F. Langer, 1888—1966) — драматург и прозаик. В период немецкой оккупации Чехословакии Копта и Лангер подписали открытое письмо-протест против действий фашистской Германии.

³¹ Ф. Кубка (F. Kubka, 1894—1969) — автор цикла романов, трилогии воспоминаний, а в молодости — новелл формалистического направления.

³² LAPNP (pozůstalost V. A. Franceva, korespondence).

³³ Бывший министр Временного правительства, крупный историк П. Н. Миллюков (1859—1943) в эмиграции стал издателем известной газеты «Последние новости».

Н. В. Корниенко

«ЗАМЕТКИ» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

(КОММЕНТАРИЙ К ИСТОРИИ НЕВЫШЕДШИХ КНИГ А. ПЛАТОНОВА 1939 ГОДА)

Платонов писал литературно-критические статьи быстро и практически без правки, они как бы вырастали из его художественного мира. Поиском верной тональности темы, ее человеческого и культурного пафоса отмечены экспозиции всех статей писателя.

Небольшая заметка о книге С. Георгиевской «Бабушкино детство» (1949) осталась незаконченной. Очевидно, это одна из последних рецензий Платонова. Она доносит до нас суровую и трепетную мысль художника о сокровенных началах человеческой жизни и исторической памяти.

«В начальной жизни человека бывает краткое время, когда его детскому сознанию словно впервые открывается внешний мир — во всей его действительности, резкости и несхожести с тобой, во всем, чем он подобен тебе и чем отличен от тебя, во всей его тайне и прелести. Это краткое время можно назвать духовным рождением, или временем, с которого начинается воспитание и образование человека, когда закладывается основание его будущей деятельности жизни, его гражданской судьбы. Такое первоначальное ознакомление с реальным миром (уже закрытым закрываемым),¹ не

загроможденным любовью матери, обычно навсегда, до конца жизни запечатлевается в памяти человека. Чем дальше отделется во времени этот момент, тем более он представляется человеку как день радости и торжества, но это лишь тушующее, смягчающее влияние времени. На самом деле — это дни труда и напряжения для юного существа, хотя, несомненно, в этих днях, когда мир впервые приобретает ясный образ и нарекается именем, есть торжественная радость, остающаяся на всю жизнь.

Это решающее, переломное время в жизни ребенка избрано С. Георгиевской для своей повести.²

Эта маленькая заметка, своеобразный философско-психологический эссе-этиюд, кристаллизует ключевые мотивы платоновских рассказов о детях — «света»-очага, «матери-отца». Дом-очаг — это тот молекулярный уровень, где в 30-е годы в платоновском мире восстанавливаются разрывы и обрывы исторической памяти и свет нравственного идеала. Этиюд вбирает в себя мотивы и тех его рассказов о детстве, которые остались в рукописях, и тех отсеченных частей его произведений, где драматизировалась разъединенность жизни и идеала. Только один пример. Хрестоматийный рассказ «Глиняный дом в уездном саду» (1936) имеет во всех публикациях монологический финал с его пафосом обретения человеком единства с миром: «Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им: он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности».³ Сокращены при публикации последние строки финала рассказа, придающие ему полифоническое звучание, как бы хранящие память о глубинных вневременных — родовых и духовных — началах бытия человека и Родины: «Он нигде не встретил живыми отца и мать, их могилы, наверно, давно загромодили где-то великие строения, и он перестал искать их. Выросши большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства осуждены на то, чтобы их носить только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле».⁴

Незаконченную заметку 1949 года можно рассматривать и как своеобразный метатекст к рассказу «Дар жизни», оставшемуся в рукописи. Совпадение рисунка мысли писателя в заметке и рассказе почти буквально: «Как вечное время, неподвижно стоит детство в воспоминании человека. Более позднее время, время юности и зрелости, течет, проходит и тратится в забвении, но детство лежит, подобно озеру, в безветренной стране нашей памяти. . . и образ его хранится внутри человека неизменным до самой кончины. . .»⁵

Мы взяли для начала нашей статьи только один пример из неопубликованного литературно-критического наследия А. Платонова, зримо высвечивающий всю сложность вопросов, которые предстоит ставить и решать и его биографам,

и историкам литературы. Многие пласты литературно-критического наследия писателя практически еще не только не описаны и не введены в обиход, они еще просто не подняты. Предлагаемая работа — это опыт комментария к истории невышедших книг А. Платонова литературно-критического содержания.

Обращение во второй половине 30-х годов к жанру литературно-критической статьи стало для Платонова одной из форм объяснения своей идейно-эстетической концепции. Резонно замечание Л. Шубина о том, что статьи Платонова «открыто тенденциозны и публицистичны. Здесь этика, социология и эстетика едины».⁶ Обвиненный в 1929—1931 годах во всех политических грехах, вплоть до «доморощенной философии»,⁷ Платонов в статьях прежде всего пытается закрепить свое представление о мире и человеке, опираясь на традиции национальной и всемирной культуры, отстаивая преемственные связи с классиками. «Не будем понимать современность вульгарно, — пишет он в статье 1940 года об Анне Ахматовой, — ведь и мы все, работая на будущее, питаемся не только современностью. Нас воспитывали Пушкин, Бальзак, Толстой, Щедрин, Гоголь, Гейне, Моцарт, Бетховен и многие другие наши учителя и художники».

«Заметки» — первое название книги литературно-критических статей Платонова. Он зачеркивает его и на полях ставит новое: «А. Платонов. Размышления читателя (сборник статей)».⁸

В 1939 году вышел сигнальный экземпляр книги «Размышления читателя» в издательстве «Советский писатель». На титульном листе автограф Платонова:

«Книга, не вышедшая в свет.

— Почему?

Дарю ее тебе, Мария.

Твой муж Андрей Платонов».⁹

История создания книги «Размышления читателя» является одним из белых пятен платоноведения. Подготовку книги к изданию вел в 1939 году известный советский литературовед Л. И. Тимофеев.

Первое упоминание о книге мы находим в письме Л. Тимофеева к А. Платонову, где речь идет о работе над статьей о Николае Островском. Поддерживая направление статьи Платонова, Тимофеев просит внести в ее содержание элементы биографии Островского: «. . . читатель крайне заинтересован самим Островским: кратко охарактеризовать его жизнь необходимо и очень полезно. Мы бы могли сделать это сами. Но характерность Вашего языка требует, чтобы и на биографических данных лежала Ваша печать».¹⁰

Статья Платонова «Павел Корчагин» была опубликована в «Литературном критике» в разделе, посвященном лучшим книгам советской литературы (1937. № 10—11). Платонов пишет продолжение статьи. На последней страничке машинописи «Электрик Павел Корчагин» (пер-

вое название статьи) после прекрасных финальных строк: «...если бы вас не существовало, мы все, ваши читатели, были бы хуже, чем мы есть» — идет карандашная запись Платонова, запись-связка: «Теперь нас интересует следующее, кто же такой был Павел Корчагин».¹¹

В работе над второй частью статьи о Николае Островском формировалась, очевидно, и структура книги об Островском. Сдача ее в издательство, как и книги «Размышления читателя», планировалась также в 1938 году. Свидетельство тому — письмо редактора-организатора издательства «Советский писатель» от 22 мая 1938 года: «Уважаемый Андрей Платонович! Просим сдать рукопись об Островском. Срок истек 16/IV-38. Колтунова».¹²

Безусловный интерес для прояснения истории этих двух книг Платонова имеет его переписка с Л. Тимофеевым.

Письмо А. Платонова от 27 июля 1938 года (черновой вариант):

«Уважаемый товарищ Тимофеев!

Изд-во прислало Ваше письмо от 25/VII. Первые три вопроса, т. е. три пункта В(ашего) письма не имеют того значения, чтобы отвечать на них длинно и подробно. Т. е.: 1) биографией Н. Островского книгу можно дополнить; 2) редакторов книжки можно указать (рекомендую: Мих. Ал. Лифшица и Вл. Б. Александрова); 3) о псевдониме или об авторстве книжки мы согласуем с Вами вопрос: это пустяки; 4) этот пункт единственный и самый важный: из него, этого пункта видно, что литературоведческие книжки вроде не нужны. Тут уж я ничего не могу поделывать. Тут Ваше дело. Если Вы тоже ничего не можете поделывать, то я буду очень огорчен.

Жму Вашу руку.

Привет. Анд. Платонов».¹³

Примечательна приписка Платонова на полях к словам «Если Вы тоже ничего не можете поделывать»: «Р. С. Просьба ответить на последний вопрос».

Письмо Л. Тимофеева от 1 августа 1938 года: «Спешу Вам ответить. О 35 % гонорара я написал, не знаю, санкционирует ли это бухгалтерия. О редакторе, пожалуйста, договоритесь с т. Лифшицем или Александровым и сообщите т. Колтуновой. Она сейчас же пошлет редактору Вашу книгу, а пока он будет ее читать, Вы напишите биографию, таким образом она пойдет в работу сейчас же. Что касается новой книги, то было бы лучше всего иметь решение Правления Союза. Рудой¹⁴ уходит с 1 августа в отпуск, кто его будет замещать, я не знаю, и вряд ли он решится это сделать без него. Кроме того, директивы — все же директивы, и для отступления от них нужны аргументы формального порядка. Решение Правления очень упростило бы дело, и мы бы очень быстро закончили его. Речь ведь идет о том, что мы обслуживаем иную аудиторию, чем та, на которую рассчитана Ваша книга, для этой аудитории составлен и наш план. Отступление от него должно опираться на известные

мотивы. Но было бы решение Правления. Иначе дело может затянуться. У меня есть книги, на которые не заключаются договора уже больше года, несмотря на мои усилия.

Привет. Л. Тимофеев».¹⁵

Письмо Л. Тимофеева от 14 августа 1938 года (автограф):

«Многоуважаемый т. Платонов.

Книгу Вашу направим на редактирование т. Лифшицу (по заключению договора — вписано Тимофеевым. Н. К.). Что касается заключения договора, то здесь будет, кажется, задержка, т. к. Рудой в отпуске, а без него как будто никто не может этого сделать. Но это уже вне сферы моей компетенции. Что касается В(ашей) книги, то меня смущает ее разнородность: Вы объединяете большие статьи проблемного характера со статьями типа рецензии на произведение, неизвестные широкому читателю, мне кажется, что это портит книгу. Я советую поэтому *снять* статьи: 9-ую, 12-ую и 13-ую, устранив также деление книги на две части. Кроме того, прошу Вас пересмотреть статью об Островском для того, чтобы устранить совпадения с В(ашей) книгой о нем, которая выходит отдельно. Тем более что в том случае, если Вы сохраните псевдоним, это будет весьма неудобно».¹⁶

Очевидны недостающие звенья напряженного диалога Платонова и Тимофеева, которые еще предстоит восстановить. Однако попытаемся прокомментировать имеющийся материал.

Идея издания книг статей Платонова вызрела в 1938 году. Долгое время мы не могли найти издательского плана «Советского писателя» на 1939 год (в архиве издательства его нет). В ноябре 1938 года произошла смена директора издательства: вместо К. Рудого был назначен Г. Ярцев (возможно поэтому архив 1938 года «Советского писателя» практически отсутствует). Тематический план на 1939 год удалось обнаружить в архиве Союза писателей. В двух вариантах плана нет ни книги об Островском, ни «Размышлений читателя».¹⁷ Однако в обоих планах-проспектах издательства планировалась сдача в июне 1938 года романа А. Платонова «Путешествие из Ленинграда в Москву». Здесь же и платоновская краткая аннотация романа: «Повторение поездки Радищева в обратном направлении и описание этой поездки»;¹⁸ «Путешествие по маршруту Радищева».¹⁹

Платонов откладывал сдачу романа и в 1939, и в 1940 годах. В письме в «Советский писатель» от 29 июля 1940 года писатель просит сдать в издательство сборник рассказов вместо романа: «По независимости от меня обстоятельствам книга „Путешествие из Ленинграда в Москву“ будет представлена в Изд-во осенью этого года».²⁰ Однако и осенью 1940 года Платонов не сдал роман, над которым он продолжал работать и в 1941 году. Книга исчезла во время эвакуации 1941 года.

Но вернемся к 1938 году. Подготовка в этом году к изданию именно сборника статей была

не случайна. Писатель хотел на языке истории литературы объяснить с той новой волной критических обвинений, которая обрушилась на него после выхода в 1937 году книги рассказов «Река Потудань». Книга вышла не по плану издательства: в плане «Советского писателя» 1937 года стоит роман Платонова «Счастливая Москва».²¹ О завершении романа Платонов говорил еще в 1934 году.²² Роман создавался как своеобразная альтернатива характеру умствующего героя произведений 20-х годов — повестей и романа «Чевенгур»: образ главной героини — девушки Москвы, сироты, обретающей свой путь в фантастической по своим деяниям современности, задавался в ее открытости всем ветрам природы и истории. Главы оставшегося незаконченным романа свидетельствуют о мощном сопротивлении романной поэтики Платонова новому типу героя.²³ Роман фактически как бы разобьется на разные идейно-тематические центры, художественные решения которых Платонов даст в рассказах второй половины 30-х годов: «Московская скрипка», «Третий сын», «Семен», «Фро». В рассказе «Фро» Платонов создал своеобразный образ анти-Москвы.

Первый набросок статьи «Образ будущего человека» можно рассматривать как платоновский анализ философских, исторических и эстетических истоков неудачи в решении проблемы нового героя. Автограф статьи обозначен как предисловие к рассказу о туркменской девочке Карагез. Очевидно также, что этот материал хранит память о неопубликованной повести «Джан». Приблизительное время написания — 1936 год: начало дискуссии о положительном герое в советской литературе. Следы этой дискуссии — в полемической постановке коренного вопроса философии личности, вопроса свободы и идеала:

«Предисловие»

Героя будущего времени невозможно искать в будущем же времени, потому что в будущем мы пока не существуем. Этого героя следует находить и наблюдать в прошлом и настоящем, где происходят все жизненные явления и откуда они либо развиваются в будущее, остаются в памяти, либо исчезают бесследно. Но само бесследное исчезновение бывает условным: часто случается, что однажды умершее впоследствии становится бессмертным и яростно живущее оказывается мнимым или ничтожным.

Есть одна старая, обыкновенная идея, от слишком частого повторения ее имени ставшая почти неощутимой, а от отвлеченной безнадежности ее осуществления — отвлеченной. Однако эта идея образовалась из глубокого чувства, из крайней нужды угнетенного человека и она обладает необыкновенной жизненной конкретностью и реальностью: это чувство называется свободой, точнее — желанием ее.

Как бы человек ни хотел применить свою жизнь, прежде всего ему необходимо обладание собственной жизнью; если же ею, его жизнью, владеют другие люди, то есть человек

не свободен, то он бессилен не только применить свои силы с благородной целью, но и вообще как личность не существует: существуют те, кто владеет невольником.
(...)²⁴

Предлагаемый ниже вниманию читателя небольшой очерк основан на действительности; в нем заложена тема свободы и освобождения обездоленного человека-раба. Нас привлекла к этой теме уверенность, что в будущем человеке элемент свободы осуществится как высшая и самая несомненная реальность. Больше того — эта личная свобода всецело будет служить объединению человечества [ощущение друг друга],²⁵ и она не может быть применима в эгоистических целях.

Нет ничего легче, как создать фантазию о будущем человеке, изобразив его либо технологическим всемогущественным существом, окруженным покорными машинами, либо существом, достигшим морального идеала после преодоления элементарных, природных стихий, после некоего «всеобщего насыщения». Ни то, ни другое неверно, потому что не поддается удовлетворительному реальному доказательству с позиций сегодняшнего дня. Мы предвидим в будущем еще большее напряжение человеческого, угнетенного человека с его буржуазным, фашистским антиподом — и дальше не хватает нашего зрения и пронизательности. Мы видим лишь темную стену, через которую нам следует пробиваться, а уж за этой тьмой мы будем способны узнать себя.

Можно достоверно предполагать, что конкретное, обыкновенное изложение развития благородной человеческой страсти есть лучший способ предсказания будущего, потому что невозможно доказать обратное — исчезновение этой страсти: что же тогда станет с человеком? — А если что и станет, то будет ли это человек и стоит ли о нем тогда говорить?»²⁶

Финал статьи поднимает вопрос о коренных основах литературы как человековедения. Появление в статье образа «стены», одного из ключевых в романе «Чевенгур» и повестях «Котлован», «Джан», — это знак трагического противостояния идеала и жизни.

Рассказ «Река Потудань», давший название книге Платонова 1937 года, шел в русле новых эстетических установок писателя. Основная проблематика повестей 20—30-х годов, соединившись с глубочайшим проникновением в человеческую психологию, вылилась в рассказе в утверждение этической идеи как высшей в человеческой истории. Символичен характер Никиты Фирсова, в котором Платонов обозначил на уровне экспозиции содержательные смыслы своих центральных умствующих героев — бобыля, рыбака, Шаши Дванова («Чевенгур»), Вощева («Котлован»), Чаготаева («Джан»). «Людей такого типа, — писал М. Горький, — людей, по их словам, сознательно ушедших от „нормальной“ жизни, — должно быть, немало на Руси».²⁷ Только через страдание и сострадание обретает Никита Фирсов «свет» бытия, его вечных ценностей.

Выход сборника «Река Потудань» вызовет новую после 1931 года волну критики Платонова. Именно эта книга и послужит материалом для продолжения разговора об эволюции художественного метода Платонова. Отклик на книгу будет практически мгновенный. В 10-м номере журнала «Красная новь» за 1937 год напечатана статья А. Гурвича «Андрей Платонов», в которой дан обобщающий анализ пути Платонова от повестей 20-х годов к «Реке Потудань» и критическим работам писателя. Гурвич нанес сокрушительный удар по Платонову. Платонов ответил известной статьей «Возражение без самозащиты». Он писал: «Гурвич обвинил меня даже в том, что служит искуплением моих прошлых ошибочных, вредных произведений».²⁸

В этом же номере «Литературной газеты» — ответ А. Гурвича Платонову, который критик подкрепил отзывами рабочих — рецензентов книги «Река Потудань». На вопрос Платонова: «Отличаются ли мои произведения от старых?», — рабочий Николаенко ответил точно по Гурвичу. Сравните:

А. Гурвич: «Платонов не народен именно потому, что в его произведениях не нашли своего отражения истинные чаяния и огромные творческие силы русского народа. Платонов антинароден, поскольку истинные качества русского народа извращены в его произведениях».²⁹

Николаенко: «... непонятно, почему Фирсов, герой рассказа, участник гражданской войны, так предельно устал, так безнадежно покорен каким-то болезненным теориям? Скорее так любить может неврастеник, хлюпик, а не сын народа. А ведь общеизвестно, что „никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить“».³⁰

Мощный удар А. Гурвич нанес и по платоновской статье о Горьком. «Письмо Горького адресовано к Зошенко, но первым из всех советских литераторов его должны были прочесть вы, Платонов! Вы восхваляете полноценный неотравленный хлеб Горького, противопоставляя ему отравленный хлеб Достоевского, но ведь и ваш хлеб отравлен ядом обиды, в которую влюблены ваши герои... Вы продолжаете навязывать страданию роль „первой скрипки“».³¹

Итак, при всех негативных моментах одному из генералов критики 30-х годов не откажешь в правильной оценке направления творческого поиска Платонова. В этом отношении характерен также штрих из рецензии И. Саца на статью Платонова «Пушкин и Горький»: критик предлагал убрать из текста слово, за которым в 30-е годы еще ощущалась целая традиция духовной русской культуры. «... „Взыскание“ — неприятная традиция у этого слова со времен Бердяева, Булгакова и пр. (нрзб.), конечно, этим пренебречь».³² Платонов оставил текст нетронутым, ибо речь шла о главной линии статьи: «... центр темы заключался в выходе из положения смерти, во *взыскании погибших* (курсив наш. — Н. К.)».³³ В статьях Платонова,

где социологизации искусства было отдано большое пространство, ключевые образы-символы, раздвигая границы социологизации, сигнализировали о более глубинных пластах содержания культуры.

Сборники литературно-критических статей 1938 года готовились Платоновым как своеобразная альтернатива позиции А. Гурвича и компании. Книга об Островском была и попыткой заявить о концепции героя в советской литературе. Вспомним приписку Платонова в письме к Тимофееву с просьбой ответить на вопрос, может ли он помочь с изданием новой книги статей. Эта приписка должна быть прочитана только в раскрывающемся перед нами контексте 1937—1938 годов. Она знак драматической реальности прохождения книги «Размышления читателя», заботу о которой возьмут на себя Л. Тимофеев и Е. Усиевич. Именно Е. Усиевич станет редактором этой книги Платонова.

20 апреля 1939 года состоялось заседание президиума Союза писателей совместно с активом писателей Москвы, посвященное журналам «Литературный критик» и «Литературное обозрение». Среди приглашенных на заседание был и Андрей Платонов.³⁴ В эти же дни на заседании президиума СП с активом критики возникнет и вопрос о Платонове. Полемика развернется между А. Гурвичем и Е. Усиевич вокруг проблемы истоков, традиций платоновского гуманизма.

Именно на время этих дискуссий приходится прохождение книги «Размышления читателя» в издательстве.

Главная опора А. Гурвича в споре с Е. Усиевич, защищающей героя Платонова, — это М. Горький: «Обратите, тов. Гурвич, свой гнев на Горького, — говорит мне Е. Усиевич. — ... Нет более сильного удара по Платонову, чем творчество Горького, и мне кажется, судя по последним статьям, что лучше всего это понимает он сам».³⁵ Итак, Горький. Удар по Платонову критик рассчитал достаточно точно. Этот прием А. Гурвич использовал уже в статье 1937 года. Не поэтому ли из первоначального плана книги «Размышления читателя» статья о Пушкине и Горьком убирается? В первом плане книги она стояла на втором месте.³⁶ Удар 1939 года после полемики в СП был выбран также достаточно точно: статья об Островском. Книга была задержана именно из-за нее. Об этом — письмо редактора-организатора Колтуновой от 1 сентября 1939 года:

«Уважаемый Андрей Платонович!

1. Крайне срочно нужно дать материал взамен снятой статьи. Я жду его от Вас с подписью редактора Е. Усиевич „в набор“. Пожалуйста, сделайте это в кратчайший срок.

2. „Н. Островский“ — задержана Главлитом и передана в ЦК».³⁷

Переделка книги была произведена: об этом свидетельствует несоответствие ее оглавления и содержания и изменение расположения статей. Однако судьба книги была предreshена. Масси-

рованная атака А. Гурвича имела свои прямые последствия. Книга была рассыпана. Полемику выиграл «неистовый ревнитель».

Наверное, самое точное описание психологического состояния Платонова этого времени можно прочитать в том новом финале, который он допишет к возвращенному журналом «Знания» рассказу «Любовь к Родине, или Путешествие воровья»: «Тогда он положил скрипку на место и заплакал, потому что не все может выразить музыка и последним средством жизни и страдания остается сам бедный человек» (курсивом обозначен вписанный Платоновым новый текст. — Н. К.)³⁸.

В это время была предreshена и судьба книги о Николае Островском. Отметим только, что по плану она должна была состоять из трех частей. Статью «Образ будущего человека» Платонов готовил как третью часть книги. После второй части Платонов сделает следующую запись:

«В заключение нас интересует следующее. Если бы Николай Островский продолжал жить и работать, то каким бы он представлял себе образ будущего человека. Иначе говоря, продолжая и совершенствуя органические принципы своего творчества, каким бы в приближительных очертаниях Ник(олай) Островский изобразил нам характер, идеологию и поведение будущего человека — героя того произведения, которое Ник(олай) Островский не успел, к нашему сожалению, написать.

Позволим себе развить это наше мысленное допущение, основываясь на лучших образах Островского, созданных в романах «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей»³⁹.

Платонов зачеркивает название статьи «Образ будущего человека», делая ее своеобразным приложением к первой и второй статьям об Островском. Характерна и правка, проведенная писателем в статье уже по тексту машинописи: Платонов вносит материал, относящийся к Корчагину, во все важные блоки осмысления пути Карагез, пути туркменской женщины к свободе. Связующей линией двух героев — Карагез и Корчагина — для Платонова становится идея свободы личности как органическая потребность каждого отдельного человека.

[Образ будущего человека]

Чувство (или мысль) достигает высшей ценности, когда оно переходит в предчувствие, то есть в предвидение и, так сказать, в пророчество будущего. Мы говорим здесь о том чувстве, посредством которого действует писатель-художник, истинный инженер, то есть производитель новых будущих человеческих душ. Всякое искреннее, серьезное человеческое чувство всегда имеет в себе и предчувствие; например, распространенное чувство любви между мужчиной и женщиной, по убеждению самих любящих, «вечно», но если эта любовь достаточно глубока, то она же бывает и «грустна», потому что в ней же самой находится

предчувствие ее окончания, хотя бы путем смерти. Этот пример — между прочим. Мы хотим сказать следующее: в современной советской литературе есть много чувства, изобретательной силы, живописи, даже мысль есть, но в ней еще мало предчувствия в указанном выше смысле — того предчувствия, того ощущения будущего мира, которое питает разум и резко влияет на психологию и поведение человека.

Несомненно, что образ будущего социалистического человека в некоторой зачаточной форме (а иногда и в достаточно развитой (например, тот же Павел Корчагин))⁴⁰ существует уже сейчас, больше того — в скрытом и безвестном виде он существовал и в прошлом. Если бы дело обстояло иначе, то, во-первых, будущий, желательный нам, лучший человек вообще не мог произойти и, во-вторых, его нельзя было бы изобразить реалистическими средствами искусства (разве только мистическими, но искусство этих средств — пусто). Будущее находится в существующем, и чем более мы его, будущее, способны делать настоящим, тем будущее истиннее, действительнее, тем исторический прогресс совершается выгоднее и скорее.

Обратимся к тем фактам, когда характер будущего человека проявлялся и проявляется в своей открытой деятельности. (Не надо думать, что будущее есть нечто совершенно несвойственное прошлому; если думать таким образом, то нет предмета рассуждения и нет самого вопроса о будущем образе человека.)

В 1935 году, в Хиве, мы слышали сообщение об одной курдинке по имени Карагез (по-русски: черные глаза — Черноокая). Ей было двадцать лет, когда она вышла замуж за китайца и уехала с ним через Синьцзань в южный советский Китай, как жена мужа, потому что ее супруг был оттуда родом. Карагез, говорят, была нежна и хороша собою, в хивинском оазисе ее помнили многие люди, — помнили не за то, что она ушла с мужем в Китай, а за то, что она была доброй, доверчивой, постоянно взволнованной собственным тайным воодушевлением, — безмолвная, она походила на поющую, как говорил про нее знавший ее узбек в чайхане.

Карагез сильно любила свою мать, уже умершую, и особенно бабушку Фатьму, прожившую около ста лет, которую Карагез в живых вовсе не видела, но она хорошо знала ее по рассказам матери и стариков. В Китае будто бы Карагез рассталась со своим мужем (что не в натуре Карагез и не в обычаях ее родины), служила нянею в приюте круглых сирот, оставшихся от красноармейцев, вышла снова замуж за многодетного вдовца и, по слухам, снова идет обратно на советскую родину — вместе с новым мужем, детьми, сиротами из приюта, стариками и старухами, со всеми бедняками того поселения, где жила Карагез, но она еще не дошла обратно — слишком далеко.

Душа ее движет ее жизнью, и Карагез действует без промедления, не себя приспособивая к мужу, но его к себе.

Бабушка Карагез, уже давно умершая, была

человеком столь же драгоценным, как и ее внучка. Она родилась, вероятно, в начале девятнадцатого века и была в молодости наложницей (женой и рабыней) у одного богатого туркмена Сеида из-под Красноводска. Некоторые данные о биографии бабушки Карагез, Фатьмы, мы нашли у капитана Н. Н. Муравьева (брата декабриста А. Н. Муравьева), путешественника в Туркмению и Хиву. Вот что он пишет: «На передовом верблюде сидела курдинка (т. е. женщина из племени курдов) Фатьма, бывшая наложница отца Сеидова (Сеид — проводник Муравьева), она уже двенадцать лет была у него в неволе и, желая лучшей участи, просила хозяина своего продать ее в Хиву; но, получивши отказ, несчастная сия, подбежав к колодцу, сказала Сеиду, что если он ее не продаст, то бросится в оный и что тогда за нее ни одного реала не получит. Отчаянный поступок сей заставил его согласиться на ее требование, и ее повезли. Чтось женщина переносила дорогой, почти невестой; будучи едва прикрыта рубищем, она днем и ночью вела караван без сна и почти без пищи; на привалах же пасла, путала верблюдов и еще пекла в горячей золе хлеб для своих хозяев». О дальнейшей судьбе Фатьмы существует лишь устное предание. В Хиве она была продана баю и работала на него долгие годы до иссушения тела, пока ее не выкупил какой-то пришлый, пожилой курд, взяв ее второй женой. В поливной сезон Фатьме бай поручал самую тяжелую работу: она вращала тяжестью своего тела чигирь (водоподъемное колесо). Из Хивы Фатьма хотела уйти обратно в Красноводск; ее надежда, что в хивинском оазисе жизнь для рабыни будет немного легче, не оправдалась. Она много времени ожидала случая бежать из Хивы, но не знала куда. Фатьма хотела вернуться снова к Сеиду, однако его караван больше не пришел из Красноводска. Тогда Фатьма бежала из Хивы к Усть-Урту, на печальную и бесплодную возвышенность к северной части Кара-Кумов: там эта женщина жила некоторое время в земляной пещере, питаясь тем, что находила в природе готовым, преимущественно корнями камыша. Ее случайно нашли кочевые туркмены и почти насильно доставили в Хиву, потому что Фатьма была хотя и совершенно одинокой, ослабшей, но не хотела снова знать рабство. В Хиве ее наказали, стали мучить разрушающей, вечной работой, однако Фатьма не переменилась; она опять глядела глазами вдаль, слушаясь лишь своего инстинкта жизни, которая должна быть свободной и счастливой. Вышедши замуж за курда, бывшего раба, Фатьма едва ли узнала облегчение своей доли, потому что бывший раб — худший господин. Но все же, как человек большого и глубокого сердца, Фатьма полюбила своего мужа — другого выхода у нее не было: ведь мир вокруг нее был тьмою и пустыней и жизнь некуда было истратить, кроме семьи. Солнце будущего социализма еще не взошло, согреться человеку можно было лишь у домашнего очага, у этого слабого тепла. Фатьма рожала мужу детей до

старости, и когда уже не могла рожать — еще терпеливо жила многие годы, словно томясь и ожидая чего-то, а затем умерла.

В судьбе покойной Фатьмы есть сила будущего человека: она хотела быть свободной, она хотела существовать как личный, отдельный человек. Как бы человек ни хотел применить свою жизнь, прежде всего ему необходимо обладание собственной жизнью; если же ею, его жизнью, владеют другие люди, то есть человек не свободен, то он бессилен не только применить свои силы с благородной целью, но и вообще как личность не существует: существуют те, кто владеет невольниками. Но что такое свобода? Прозаически говоря, это полное отсутствие или наименьшая степень нормы эксплуатации. Определяя проще, это возможность употребления своих производительных, творческих сил на собственное развитие совместно с тем количеством людей, с обществом и родиной, в которой живет человек. (Свободен ли, например, Павел Корчагин, получивший возможность применить и обогатить все свои способности после Октябрьской революции, действовавший в огромном количестве пролетариата.)

Историю Советского Союза можно определить как прогрессивное, нарастающее освобождение человека, заверщенное теперь новой Конституцией, фактически возлагающей всю ответственность за дальнейшую судьбу всемирной истории на свободного, социалистического человека (такого, как Корчагин, который вполне может возложить на себя подобную ответственность). И поэтому в будущем — близком и далеком — чувство свободы останется признаком, мерой человека, неперменной чертой его души, характера и поведения.

В истории же Фатьмы и ее внучки Карагез есть одно особое достоинство. Карагез, уже советская женщина, имея полную личную и общественную свободу (о чем почти сто лет назад тщетно томилась Фатьма), обратила свободу не на служению своему удовольствию или наслаждению, а на цели дальнейшей борьбы объединения человечества и освобождения еще не свободных. Из хода событий, из течения истории жизни отдельных людей таким образом выясняется, что свобода — это общественное чувство и она применяется вовсе не в эгоистических интересах.

На примере Фатьмы мы могли заметить, как уже одна сильная воля к освобождению делает человека устойчивым, терпеливым, почти непреодолимым; может быть, и тайна ее долговечности, вопреки рабскому губительному труду, именно в этом. Свободная Карагез, наша современница, обладает не меньшей силой, хотя она лишь рядовая советская женщина, а ее бабушка была все же исключением. Такое свойство Фатьмы и Карагез — свойство быть свободным и освобождающим, свойство быть непобедимым даже рабской судьбой (история Фатьмы) — есть само по себе могучее вооружение современного человека против фашизма и, в то же время, это резкая характерная черта будущего человека, даже того, который будет жить после

нас через тысячу лет. Дай ему бог, чтобы он, этот наш тысячелетний потомок, не прожил того морального наследия, которое нажила для него бедная Фатьма в безлюдных Кара-Кумах. (Историю Фатьмы и Карагез мы привели здесь потому, что увидели в них родственные натуры Павлу Корчагину, чем дополнительно утверждается эта историчность и человеческая стойкость этого образа, созданного Островским.)

Мы хотим этим сказать, что мы любим образ будущего человека, стремимся обеспечить, подобно Островскому, его совершенство своей работой и жизнью, но вместе с тем и понимаем его ответственность, так же как мы понимаем свою ответственность. Бесследно истлевшие кости рабыни Фатьмы для нас незабвенны; близкая и историческая необходимость освобождения всех людей от классового и взаимного угнетения жила в этих костях в виде чистого, героического, пусть даже бессознательного, стремления к выходу из своего положения, в виде уверенности, что на свете есть такой выход или он может быть найден. Вот какое было предчувствие у этой давно скончавшейся рабыни, хотя чувство ее жизни питалось действительностью, а действительностью ее было рабство и труд, об истощающей напряженности которого мы теперь уже не имеем представления.

Художественная литература имеет дело с силами и тенденциями человеческой истории, когда они уже находятся в человеке в качестве чувства или мысли. Однако это совсем не значит, что за изображение какой-либо исторической тенденции нельзя приниматься прежде, чем эта тенденция сама по себе не превратится во «внутреннее чувство». Наоборот — можно и должно, потому что нет таких истинных исторических сил и тенденций, которые бы одновременно не содержались в качестве мысли, чувства или предчувствия внутри человека: в воздухе история не живет.

Мы осмеливаемся даже считать, что лучшая литература — это та, которая еще не вполне ясные перспективы развития человека делает ясными и конкретными для всех, которая влечет человека вперед, а не только живописно изображает и констатирует его. В самой констатации, в статичной живописи, очевидно, еще нет выхода из положения и нет утешения для читателя. И даже — наверно нетипичная для своего времени и для своего окружения Фатьма, по существу, есть типичный, классический образ освобождающейся женщины-рабы. А ведь ее жизнь была основана не на всеобщей закономерности, не на «очевидном» факте, а всего-навсего на «предчувствии» необходимости свободы, только на этой тонкой и — для времени Фатьмы — непрочной «тенденции». (Фатьма еще очень далекая предшественница Павла Корчагина.)

Существует такой совет или положение для художника: создавайте образы своих героев, которые были бы типичные и действовали бы в типических обстоятельствах. Это гениальное указание Энгельса у нас иногда толкуется натуралистически, но настоящий художник не

может принять натурализм как руководство к творчеству. В действительности указание Энгельса разработано самим Энгельсом очень детально, и оно не что иное, как обоснование социалистического реализма; вкратце точку зрения Энгельса можно изложить следующим образом: типичное впоследствии — не бывает таковым в начале, типичное рождается из нетипичного, иногда из исключительного случая (но не из случайности), и не может быть для него поэтому еще и типичных обстоятельств. Задача художника здесь в том, чтобы увидеть в редком и исключительном явлении будущий, имеющий историческую возможность распространиться, тип человека — и оценить встретившуюся, хотя бы и эффективную случайность как пустяки. Возьмем лишь один пример из общей действительности. Стаханов был вначале исключительным человеком, теперь — это распространенный тип советского рабочего. Если бы художник задумался изобразить Стаханова «типичным рабочим в типичных обстоятельствах», он бы ошибся еще прежде, чем его рукопись была бы окончена. И больше того, если он сейчас пожелает написать советского рабочего, основываясь на материале стахановского движения сегодняшнего дня, художник опять ошибется, потому что он не сумеет тогда опередить своим воображением творческий прогресс целого народа, — но именно такое усилие и требуется от воображения и жизненного опыта художника; только это усилие и даст наиболее благотворительный результат. (Островский же несколько опередил своим жизненным опытом и художественным воображением своих современников, потому что «Павел Корчагин» не был вначале чрезвычайно распространенным образом человека, таковым он стал, и все более становится, лишь впоследствии. — Вот в чем писательская заслуга Островского — в воспитании своих современников.)

Мы считаем, что положение о «типическом и типических обстоятельствах» следует понимать таким образом: пусть писатели-художники создают типичное из нетипичного, из самой глубины действительности, и пусть их герои действуют в своеобразных, а не типических обстоятельствах. Конечно, здесь больше риска, но зато и больше надежды на создание образа будущего человека; ведь тогда, по мере жизни произведения, действительность станет проверять его своим параллельным ходом: и нетипическое превратится в типическое, и своеобразные обстоятельства обратятся тоже в типические. Тут уже это определение будет иметь буквальный смысл и означает победу автора. Именно на таких путях стоит делать попытки открыть образ будущего, лучшего человека. Вспомним, сколько раз совершались современными писателями огромные усилия изобразить досоветского интеллигента. И не вышло почти ничего, потому что они искали «типическое» там, где сам «тип» отсутствовал и не хотел находиться; точнее говоря, в этом «типе» уже не было исторической силы, а где ее нет, там искусство беспомощно. А между тем физически этот тип

существовал и иногда даже действовал в «типических обстоятельствах». Островский поступил иначе, он взял другой тип человека, пусть очень «типичный» вначале, и мы знаем теперь, чего достиг автор.)

Нет ничего легче, как создать фантазию о будущем человеке, изобразив его либо всемогущим технологическим существом, окруженным универсальными покорными машинами (со знаменитыми «кнопками управления»), либо существом достигшим полного морального «совершенства» — после овладения элементарными природными стихиями, после некоего «всеобщего» насыщения и омоложения организма (путем, скажем, переливания крови или неизвестных пока методов ВИЭМ). Нет более скучного, более ненужного литературного героя, чем этот упомянутый. Но его все-таки следует описать в сатирическом произведении, чтобы раз навсегда умертвить этот тип «будущего человека» и заказать к нему дорогу другим.

Истинный будущий человек — это победитель мирового империализма и фашизма, и нужнее его сейчас нет и долго еще не будет. Этот человек не только будущий — он уже существующий. Но он нуждается еще во многом — для того, чтобы победить фашизм. Мы говорим в данном случае не про материальное вооружение (хотя без него победить фашизм, конечно, нельзя). Мы говорим про утешение, про воодушевление, про воспитание такого человека, чтобы он мог держаться в жизни и бороться, пока не наступит время его победы. Мы имеем здесь в виду, главным образом, не советского человека, а жителя, трудящегося за рубежом. Враждебные, смертельно-угрожающие силы сделали его жизнь похожей на рост дерева в камне, где-нибудь на скале над пустынным и темным морем. Его рвет ветер и смывают штормовые волны, но дерево должно противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться — другого выхода ему нет. Оно должно преодолеть и ветер, и волны, и камень: оно единственно живое, а все остальное — мертвое.

Будущий человек растет и вырастает самостоятельно (в силу исторического прогресса и революционной борьбы); литература только может ему помочь в его росте, в накоплении им душевных и физических сил, — или не помочь.

Но для того, чтобы открыть и написать образ будущего, высшего человека, надо оказать ему содействие произойти в действительности. А содействовать происхождению нового человека невозможно, если писатель сам не будет иметь тех же сил, которые он закладывает в душу своего героя. (Этой способностью в высшей степени обладал Николай Островский.)

Раньше, вероятно, было легче быть писателем. Не знаем. Может быть, прежде не стоял вопрос о спасении самого человеческого рода и ежедневно, в обыденном порядке, не гибли тысячами женщины, старики и дети.

Однако возникает вопрос, каким же именно, в своем конкретном виде, должен быть образ

будущего человека, чтобы он способен был унаследовать социалистическую революцию и продолжить далее великую историю трудящегося человечества. Этот конкретный образ будущего человека поддается изображению только средствами искусства — в форме художественного произведения, а не в форме очерка. (И этот образ благороднее всего представлен пока что в лице Павла Корчагина.)»⁴¹

Статья Платонова «Образ будущего человека» имеет и самостоятельное значение. Это попытка принять участие в дискуссии второй половины 30-х годов о формализме и о положительном герое, центром которых стал вопрос «создания типичного идеала нового человека».⁴² Платонов повторяет многие формулы дискуссий: о «соревновании с действительностью»,⁴³ об «эстетическом верховенстве действительности»,⁴⁴ т. е. выстраивает социально-политический каркас необходимых тезисов. Но одновременно писатель подчеркивает преемственную связь дореволюционной действительности и послереволюционной, напоминая о глубинных началах человеческого сознания, о духовном богатстве, которое несет человек из народа.

В этой статье мы впервые находим указание на один из источников, которым пользовался Платонов, создавая «Джан» и «Такыр». Ссылка на книгу крупного исторического деятеля России XIX века Н. Н. Муравьева «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах» вводит сюжет «Джана» в определенную национально-культурную традицию. В этой же книге мы находим упоминание о туркменской женщине Фатме,⁴⁵ одной из героинь статьи «Образ будущего человека». Журнал «Русский архив», внимательным читателем которого был Платонов, в 1880-е годы печатал серию заметок Н. Муравьева о культуре Востока.⁴⁶ «А. Платонов и „Русский архив“» — одна из серьезных и реальных тем для современного изучения творчества Платонова.

* * *

В архиве журнала «Литературное обозрение» сохранились две статьи-рецензии Платонова, не опубликованные в 30-е годы: о пьесе известного советского писателя М. Козакова «Чекисты» и о книге А. А. Ахматовой. Возможно, они бы вошли в ту третью книгу литературно-критических статей, о которой Платонов думал в 1938 году.

Текст рецензии на пьесу «Чекисты» нам удалось собрать по листкам и отрывкам, сохранившимся в одной из папок журнала. Рецензия написана Платоновым на популярную в 1938—1939 годах пьесу. Время написания — 1938 год, трагической кульминацией которого для писателя стал арест сына осенью этого года. Рецензия написана карандашом, правка — минимальная. Тема рецензии — история и искусство.

«Чекисты» — пьеса Мих. Козакова

Действие пьесы происходит, как сказано у автора, в «Петербурге в конце 1917 и в начале

1918 г. по старому стилю». [Очевидно, автор не хочет тратить свою энергию на то, чтобы, поработав с цифрой 13, пересчитать старый стиль на новый, возможно, что автор желал сохранить свою силу для непосредственных художественных задач, не затрачивая ее, силу таланта, на арифметику. Талант же.]

В это время, как известно, в Петрограде было достаточно много контрреволюционной нечисти, русской и иностранной. Это было время организации заговоров, шпионажа, террора против Советской власти и вождей революции. (В пьесе сделана попытка изобразить борьбу революции за свою жизнь и победу жизни революции над смертью, которую готовила для нее контрреволюция. Точнее говоря, в пьесе описана борьба передового отряда самообороны пролетариата — чекистов против контрреволюционных заговоров, шпионажа и терроризма и победа пролетариата над буржуазными заговорщиками.)⁴⁷

Злодейская черная «сотня» заговорщиков объединила в себе самые разнообразие по внешним признакам элементы — от шпионов (заграничной),⁴⁸ от правых и левых эсеров⁴⁹ до лидеров из группы так называемых «левых коммунистов». Заговорщики метили в голову и сердце революции, но революция — в лице Дзержинского и ВЧК — уже имела свой меч самозащиты.

Именно этот период революции, — трудный, опасный, но богатый опытом и мужеством, — автор взял как материал для своей пьесы. Для такой темы, конечно, недостаточно одного литературного таланта; здесь необходимы глубокие исторические и политические знания, благодаря которым для автора была бы возможна возможность воссоздать объективную обстановку минувшей эпохи революции.

Осмелимся также сказать, что у автора еще должна быть не только личная уверенность в своих литературных способностях, но и творческая смелость, но и фактическое, доказанное в работе наличие этих качеств, поскольку у него в пьесе — среди других действительных лиц — изображены И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский.

У нас в последнее время появилось несколько драматургических и прозаических произведений, в которых осуществлена попытка изобразить руководителей пролетариата. В этих произведениях творческая смелость писателей часто превышает их талант. Мы не беремся с точностью судить, насколько талантливы должны быть тот автор, который вправе взять на себя труд драматургического изображения вождей революции, но уверены, что этот человек должен обладать огромным дарованием. Он сам должен быть хотя бы приблизительно литературным соответствием создаваемого им образа. Так велика здесь авторская задача.

Что же удалось и чего не удалось выполнить товарищу Козакову в его пьесе?

Помещение ВЧК. Машинистки, сотрудники, посетители. Должна идти большая, напряженная, сосредоточенная работа, пусть бы даже

еще плохо технически организованная (ВЧК создана всего несколько дней назад). Но автор эту сцену ведет иногда небрежно, а иногда просто развязно. Некоторую суетливость действия, характеризующую работу еще не сложившегося учреждения, автор пытается изобразить суетливым же текстом. Например. Вера, сотрудница ВЧК, говорит по телефону: «Секретарь... Да, как видите, женщина... Ну, не видите, так слышите! Ничего странного... Совершенно верно: революция тоже женского рода... Да... Алло!». Подобные реплики обладают особым свойством инерции: начав болтовню, ее невозможно оканчивать. Глубокий художник отличается от поверхностного писателя тем, что ему [не приходится вовремя кончать с болтовней своих героев, он ее не начинает. Если же требуется написать болтовню, то поболтать должны лишь персонажи произведения и обязательно для пользы дела, то есть для развития главной идеи —] не приходится бороться с распушенностью, с болтливостью своих героев, если только эта их болтовня не помогает развитию главной идеи произведения. Истинный художник не пользуется устами своих героев для такой болтовни.

В ВЧК приходят матросы, рабочие и другие посетители. Один матрос пришел с сообщением, что «в гвардейском флотском экипаже анархия развелась. Винные погреба разбивают. Девочек набрали». Вера его спрашивает: «А что там такое?» Матрос, по авторской ремарке, мнетя и говорит: «Извиняюсь, товарищ... Хотя чекистка вы, но вполне женского рода, не могу... (Разводит руками)». Чего же он не может сказать, этот литературный матрос, ведь он уже все сказал, — и притом столь галантными словами, что сам матрос больше, чем Вера, походит на выдуманное существо «вполне женского рода». Рабочий Галкин, только что явившийся с производства работать в ВЧК, развязно заявляет:

«Выходит, что я уже при исполнении служебных обязанностей? Айда сюда, флотский!». Неужели это так было в действительности? Мы не просим от писателя фотографии прошлого, но если он не в состоянии дать ничего большего, то пусть даст «фотографию», подобие правды, но не меньше.

(Хорошо или плохо это изложено у автора? (Затрудняюсь ответить). Можем ответить, что изложено это интересно, но «интересно» — в данном случае это недостаточно и неудовлетворительно, потому что там, где автор в соответствии с темой своего произведения включает, хотя бы косвенно, образ Ленина, необходимо искусство первоклассного художника, а не только скромное умение пользоваться материалом.)⁵⁰

Затем появляется некий Шпитовский, член ЦК, «левый большевик». Узнать, кто послужил прототипом для этой фигуры, нетрудно. Вот первая реплика Шпитовского: «Ведь это же апперцепция исторического процесса! В общем, суммарно... Нельзя подражать чужой истории. Да, да, да! Если кто-либо предполагает,

что из него выйдет русский Фукту-Тэнвиль. . .». Дело в том, что Бухарин обладал не просто бессмысленным идиотическим лексиконом; его псевдонаучная, идиотическая фразеология была как бы шифром контрреволюции. Так что сам-то Шпитовский-Бухарин (в плане контрреволюции)⁵¹ был вполне осмыслен, вменяем и словесным идиотизмом он болел мнимо. Если бы автору удалось разработать характер Шпитовского в этом разрезе, мы бы получили в пьесе не мелкую фигуру враждебного, мерзкого идиотика и «теоретического гсеха», мы бы могли тогда увидеть крупного врага — заговорщика, последовательного идеолога терроризма, фашиста в его начальном образе, вуалирующего свое истинное лицо бредом во всеуслышание, святостью чистого, книжного мыслителя и бездейственного «теоретика». Чтобы истолковать образ Шпитовского в этом смысле, можно было бы, например, изобразить его, Шпитовского, говорящим просто по-русски и действующим с точки зрения своих интересов вполне здраво, лишенным всякой взвинченности и «психоидеологии», когда Шпитовский находится в своей контрреволюционной среде. Или сделать нечто подобное этому.

Дзержинский сразу разгадывает чужеродную душу Шпитовского. «В общем, суммарно. . . антиципация, сециссионисты, — гневно передразнивает Дзержинский. — Постараюсь, чтобы ЦК освободил его от общения с нами». «Попик с перевернутым языком!» — характеризует далее Шпитовского Дзержинский.

Очень хорошо удалась автору сцена посещения Дзержинского известным поэтом Корневым. Этот поэт имеет, конечно, за собой реальный прообраз. «Слава, тебе, господи, — говорит Корнев елейным подобострастным голосом, входя в кабинет Дзержинского, — не оставяет заступника нас грешных. Привела она предьясы революционные очи великого народного сокола. . . Кланяюсь низко, смиренно прошу защиты у богатыря Дзержинского. Не погнушаюсь и к плечу приложиться». Дзержинский (гневно): «Выйдите! Слышите? Выйдите! . . и вернитесь человеком!»

Но такие сцены в пьесе Козакова бывают нечасто, и создание образа Дзержинского автору не удалось. Причина неудачи в том, что тов. Козаков подошел к своей работе — в отношении изображения Дзержинского — не творчески, а иконографически. Автор сделал следующее: общезвестные опубликованные выдержки из дневников Дзержинского, написанных в тюрьмах до революции, извлечения из его речей, произнесенных совершенно по другому поводу, чем у автора пьесы, тов. Козаков искусственно разбил на отдельные реплики и монологи и искусственно же вложил их в уста Дзержинского. И теперь Ф. Э. Дзержинский, по воле автора, свои слова, некогда написанные или сказанные им по другому случаю, произносит уже в качестве председателя ВЧК из деловых и оперативных соображений.

Это получается неуместно. Автор, стремясь точно передать язык Дзержинского, обнаружил,

однако, лишь неприятное своеволие. Мы все знаем поэтический язык дневников Дзержинского, в которых выразилось его органическое (революционное)⁵² человеколюбие, тем более нельзя пользоваться этим языком своевольно. Если же автор был не в силах создать своими средствами эквивалент языка Дзержинского или смуглился перед такой задачей, то зачем же он взялся за свой труд и чем же ему можно помочь? . . . Одним списыванием и копированием слов великих людей невозможно создать их литературные или драматургические образы. Здесь необходимо творческое усилие самого автора, и, быть может, самое наибольшее усилие — больше, чем тогда, когда образ является произведением чистой фантазии.

Дзержинский и его помощники уничтожают созревшие и зреющие очаги заговоров и контрреволюции. Покушение на Ленина не удается. Поручик Капля, который должен совершить террористический акт против В. И. Ленина, падает духом перед лицом Ленина. Еще несколько ранее этот Капля встречал Ленина: «У самых дверей толпа прижала меня к нему (к Ленину). Он телом своим, боком ощутил висевшую у меня под шинелью гранату. . . Гранату, предназначенную для него смерть. . . Он почувствовал ее и, глядя укоризненно мне в глаза, сказал: „Товарищ, вы, вероятно, пришли охранять меня, — и можете из-за неосторожности причинить много бед здесь кому-нибудь из народа“». А до Ленина Капля видел и слышал Сталина, и Капля на допросе смиренно сознается, что он не мог убить В. И. Ленина, потому что не в силах был побороть в себе глубокого, потрясающего впечатления от обаяния личности Ленина и Сталина; он не сумел внутренне устоять перед объективной народной правдой их учения. В этом смысле Ленин был защищен от врага собственным величием.

Из всех персонажей пьесы наиболее удался автору большевик Никита Денисов, мужественный, изобретательный чекист, заслуживающий благодарность Дзержинского. Никита под непосредственным руководством Дзержинского раскапывает корни шпионско-террористической организации до конца, чтобы вырвать их вместе с питающей их почвой.

Из других образов пьесы очень хорошим мог бы стать образ профессора-медика Алексеева, если бы у него не было близкого литературного родителя — профессора Полежаева.

(Переходя в заключение к общей оценке пьесы, скажем, что автор недостаточно одарен талантом, недостаточно имеет литературного искусства и опыта, чтобы ему была поставлена задача создания образа И. В. Сталина, образа Ф. Э. Дзержинского в драматургии. Широкое использование опубликованных высказываний Ф. Э. Дзержинского вовсе не означает, что автору удалось создать образ великого революционера.)⁵³

Ф. Человеков.⁵⁴

Пьеса М. Козакова была написана по горячим следам процессов 1936—1937 годов. В ее

сюжете добросовестно были реализованы те социально-политические установки, с которыми писателей по списку заставили согласиться в 1936 году.⁵⁵

Можно только предположить, почему объектом анализа в 1938 году Платонов избрал пьесу М. Козакова, перенеся центр критики с собственно материала на вопросы художественности. При сохранении всех социально-политических оценок, характерных для того времени, лейтмотивом статьи Платонова становится мысль о том, что исторический и политический факт не претворен в пьесе в явление искусства. Думается, что резко отрицательный пафос рецензии связан во многом с тем, что пьеса Козакова неслучайно в своем содержании нигилизм по отношению к самым разным традициям русской культуры XX века. Среди врагов народа, участвующих в контрреволюционном заговоре 1918 года, закодированы в пьесе поэты самых разных ориентаций: крестьянской (Н. Клюев в это время уже был арестован), символистской (З. Гиппиус — в эмиграции), акмеистской (А. Ахматова). Поэтесса, связанная с контрреволюцией, не названа, но она читает свои стихи: «Навсегда забыты окошки, // Что там изморозь иль гроза. . .». Думается, что судьба Ахматовой, одного из любимых поэтов Платонова этого времени, сыграла свою роль в оценке писателем пьесы М. Козакова.

Пьеса Козакова не поддается, по Платонову, ни историческому анализу, ни художественному. К вопросам нарушения логики исторического и эстетического мышления Платонов постоянно обращался в 30—40-е годы. Отношение к отступлениям от историзма в их нравственно-психологических последствиях для формирования сознания читателя наиболее точно будет сформулировано Платоновым в рецензии 1943 года на пьесу Вл. Соловьева «Великий государь». Имея в виду определение М. Покровского: «История есть политика, обращенная в прошлое», Платонов записывает: «История есть не политика, а наука; политика же должна пользоваться наукой. Глубокое использование истории как науки даст историческому писателю лучшие результаты, чем любой другой метод, — в том числе тогда его произведение достигнет и настоящей политической полезности. Но писатель может и не ставить себе вовсе исторической или научной задачи; он может свободно деформировать исторический факт, если цель его оправдывает такое действие». У Козакова Платонов не видит выполнения ни одной из этих целей, подчеркивая давление политической модели на разработку всех уровней художественной плоти текста: конфликта, системы образов, композиции. О героях пьесы Козакова можно сказать опять-таки словами Платонова из только что процитированной рецензии: «. . . в некоторых эпизодах нет достаточной аргументации поступков людей: не они с трудом и болью вырабатывают свое поведение, а автор их ведет за руку».⁵⁶

Буквально через несколько недель после выхода книги Ахматовой⁵⁷ Платонов отдал в ре-

дакцию «Литературного обозрения» свою статью об Ахматовой. Статья была подготовлена и подписана к печати в 15-й номер журнала. Из ее текста был исключен почти целый абзац, как бы расшифровавший первое предложение статьи: «Голос этого поэта долго не был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности». Следы ножиц на листе. Вырезается следующий текст: «Мы не знаем причины такого обстоятельства, но знаем, что оправдать это обстоятельство ничем нельзя, потому что Анна Ахматова поэт высокого дара, потому что она создает стихотворения, многие из которых могут быть определены как поэтические шедевры, и задерживать или затруднять опубликование ее творчества нельзя». Абзац, как мы видим, хранит память о литературных боях 1937—1938 годов вокруг самого Платонова, рождая аналогию между судьбами таких разных людей, как Платонов и Ахматова. Этот абзац заменяется более нейтральным: «Теперь мы имеем возможность слышать А. Ахматову, поэта высокого дара».⁵⁸

Платонову была безусловно известна история трудного прохождения сборника стихов Ахматовой. Он понимал, почему Ахматова идет на многие уступки ради выхода своей книги. Разрешение на публикацию книги Ахматовой 1940 года было получено только в феврале 1940 года.⁵⁹ Возможно, Платонов был знаком даже с рукописью Ахматовой, судя по быстроте и глубине реакции его как критика.

Центральный лейтмотивный вопрос статьи очень платоновский: делают ли стихотворения Ахматовой «лучше и чище человека или нет?» И заключительный аккорд статьи — это прямая полемика с вульгарно-социологической критикой, полемика, имеющая глубоко личное содержание для Платонова этого периода. Сравните:

Б. Костелянец. «Есть неудачные книги, в которых все же видно стремление понять нашу современность, показать, чем живет советский человек в нашу героическую эпоху. Причислить к ним книгу А. Платонова (речь идет о «Реке Потудань». — Н. К.) нельзя. Под прикрытием внешнего правдоподобия, а нередко и без этого прикрытия, автор настойчиво, от рассказа к рассказу, навязывает нашей современности чуждые ей конфликты, нашим людям — несвойственные им страдания и «радости». Платонов в своем творчестве касается значительных и важных тем. Он пишет о преодолении одиночества, о дружбе, любви, жизни и смерти. Однако в своей трактовке названных тем А. Платонов идет не от глубокого проникновения в сущность новых (курсив наш. — Н. К.), складывающихся в нашей стране человеческих взаимоотношений, а от дурных традиций декадентской и индивидуалистической литературы».⁶⁰

А. Платонов. «Не всякий поэт, пишущий на современные темы, может сравниться с Ахматовой по силе ее стихов, облагораживающих натуру человека. . . Ахматова способна из личного житейского опыта создавать музыку поэзии, важную для многих; некоторые же другие поэты способны великую поэтическую дей-

ствительность трактовать как дидактическую прозу. . .

Вообще же говоря, самая современная поэзия та, которая наиболее глубоким образом действует на сердце и сознание современного человека. . . а не та, которая ищет своей силы в современных темах, но не в состоянии превратить эти темы в поэзию. . . (курсив наш. — Н. К.)».⁵¹

Мы остановились только на некоторых аспектах судьбы литературно-критического наследия А. Платонова 30-х годов. Его статьи останутся в истории литературы как документ драматической литературной эпохи, как пример отстаивания таких ключевых понятий, как правда и красота. Рукописи его статей приоткрывают драму сопротивления той сплошной политизации литературы, которую он сам в черновом наброске статьи «Великая Глухая» 1931 года называет «идеологической оглашенностью», «художественной глухотой», «производством лживых звуков».⁶²

Так Платонов попытается в рукописи вывести из-под удара свою основополагающую статью «Пушкин — наш товарищ», написав канонический для эпохи культа личности финал: «Мне пришлось недавно слушать в школе одно стихотворение Пушкина. Мальчик читал стихотворение по памяти, вот окончание стихотворения:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори.

Как эта лампада бледнеет

Пред ясным восходом зари,

Так ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума.

Да здравствует Сталин, да скроется тьма!

Мальчик ошибся в последней строчке. Учитель поправил ученика: «надо — разум», сказал учитель. Мальчик, не поправившись, сел на место. Пушкин несомненно исправил бы само стихотворение — в духе „ошибки“ ученика».⁶³

Платонов снимает этот финал в последнем варианте статьи, финал, который звучал не столько серьезно, сколько пародийно в контексте размышлений писателя об «универсальном творческом сознании» автора «Медного всадника».

Наличие своего органического стиля, мировоззренческого по плоти, определило и то, что Платонов так и не смог в эти годы написать приемлемые для официальной критики произведения о Кагановиче (история пьесы «Воодушевление»). По-своему Платонова спасало то «вещество существования» художественного языка, которое противилось всему чуждому для него. В этой органике языка, в понимании литературы как идеального строения в культуре Платонов был традиционен. Так же традиционно для русской критики он называл свои статьи о литературе, многочисленные записи, рецензии «заметками».

¹ В угловых скобках — вписанный Платоновым текст.

² ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 1—2.

³ Платонов А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 127.

⁴ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 68—69.

⁵ Там же. Ед. хр. 49. Л. 46.

⁶ Шубин Л. Критическая проза Андрея Платонова // Платонов А. Размышления читателя. М., 1970. С. 7.

⁷ Майзель М. Ошибки мастера // Звезда. 1930. № 4. С. 201.

⁸ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1.

⁹ Там же. Л. 3.

¹⁰ Там же. Ед. хр. 128 (письмо без даты, примерная датировка — июнь 1938 года).

¹¹ Там же. Ед. хр. 101. Л. 81.

¹² Там же. Ед. хр. 25. Л. 31; договор на монографию о Н. Островском подписан 16 февраля 1938 года (Там же. Ед. хр. 15. Л. 24).

¹³ Там же. Ед. хр. 113.

¹⁴ К. Рудой — директор издательства.

¹⁵ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 32.

¹⁶ Там же. Л. 30.

¹⁷ Договор на «Размышления читателя» был заключен 21 октября 1938 года на уже представленную рукопись (ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 28).

¹⁸ ЦГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 315. Л. 60.

¹⁹ Там же. Л. 84.

²⁰ Там же. Ф. 1234. Оп. 5. Ед. хр. 28 (второй том). Л. 26 (автограф письма А. Платонова).

²¹ Там же. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 9.

²² Там же. Ф. 1651. Оп. 1. Ед. хр. 1 (справка Платонова о литературной работе, автограф от 3 января 1934 года).

²³ Там же. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 82 (написанные Платоновым главы романа «Счастливая Москва»).

²⁴ Утеряна страница автографа.

²⁵ В квадратных скобках здесь и далее — зачеркнутые в рукописи слова.

²⁶ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 66.

²⁷ Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произв.: В 25 т. М., 1973. Т. 17. С. 67.

²⁸ Платонов А. Возражение без самозащиты // Лит. газета. 1937. № 70.

²⁹ Гурвич А. Андрей Платонов // Красная новь. 1937. № 10. С. 230.

³⁰ «Река Потудань». Рабочие-рецензенты о книге // Лит. газета. 1937. № 70.

³¹ Красная новь. 1937. № 10. С. 233.

³² ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 126а.

³³ Платонов А. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 2. С. 308.

³⁴ ЦГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 334. Л. 74 (список приглашенных на заседание, Платонов под № 118).

- ³⁵ Лит. газета. 1939. 26. апр.
- ³⁶ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 1—2.
- ³⁷ Там же. Ед. хр. 25. Л. 35.
- ³⁸ Там же. Ед. хр. 83. Л. 24. (Этот финал не включен ни в одно издание рассказа. Финал вписан карандашом. — *Н. К.*)
- ³⁹ Там же. Ед. хр. 103. Л. 100—101.
- ⁴⁰ В угловых скобках — вписанные Платоновым в машинопись новые части текста.
- ⁴¹ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 101.
- ⁴² *Гоффеншефер В.* Мироззрение и мастерство. М., 1936. С. 117.
- ⁴³ Там же. С. 106.
- ⁴⁴ *Лежнев А.* Об искусстве. М., 1936. С. 111—112.
- ⁴⁵ *Муравьев Н. Н.* Путешествие в Хиву и Туркмению. . . М., 1822. С. 106—107.
- ⁴⁶ Русский архив. 1886. № 3; 1887. № 3; 1888. № 1—2.
- ⁴⁷ Вставка к общему тексту, написана чернилами, без подписи, имеет надпись «Вставка к стр. 2», в общей нумерации единицы архива находится на Л. 34. Статья Платонова имеет свою нумерацию: 1—12.
- ⁴⁸ Слово «заграничной» вписано на месте слова «английской», зачеркнутого автором.
- ⁴⁹ «от правых и левых эсеров» — вписано Платоновым.
- ⁵⁰ Вставка к общему тексту, написана чернилами, без подписи, имеет надпись «Вставка к стр. 6».
- ⁵¹ «в плане контрреволюции» — вписано Платоновым.
- ⁵² «революционное» — вписано в текст.
- ⁵³ Вставка к общему тексту, написана чернилами, на полях имеет подпись «Ф. Человеков» (Л. 38 данной единицы архива).
- ⁵⁴ ЦГАЛИ. Ф. 615. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 119—130, 32, 34, 33.
- ⁵⁵ Там же. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 72. Стенограмма общего собрания писателей Москвы.
- ⁵⁶ Литературное обозрение. 1989. № 9. С. 35—36.
- ⁵⁷ *Ахматова А.* Из шести книг. Л., 1940.
- ⁵⁸ ЦГАЛИ. Ф. 615. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 152.
- ⁵⁹ Там же. Ф. 1234. Оп. 5. Ед. хр. 26 (2-й том). Л. 50.
- ⁶⁰ *Костелянец Б.* Фальшивый гуманизм // Звезда. 1938. № 1. С. 255.
- ⁶¹ *Платонов А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 362—363.
- ⁶² *Платонов А.* Возвращение. М., 1989. С. 176—179.
- ⁶³ ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 31—32.

ИЗ АРХИВА Н. Я. БЕРКОВСКОГО

(ПУБЛИКАЦИЯ М. А. КУЗЬМЕНКО)

Имя выдающегося советского филолога Наума Яковлевича Берковского (1901—1972) известно читающей публике не только в нашей стране. При жизни автора наряду со множеством статей были опубликованы три его книги: «Текущая литература» (1930), «Статьи о литературе» (1962), «Литература и театр» (1969). Главный труд ученого книга «Романтизм в Германии» вышла уже после его смерти, в 1973 году, как и две другие книги — «О мировом значении русской литературы» (1975, авторское название «О национальном своеобразии русской литературы») и «О русской литературе» (1985).

В архиве ученого сохранилось множество заметок и материалов на самые разнообразные темы, касающиеся русской и европейской культуры разных веков. Особое место в литературном наследии Н. Я. Берковского занимают письма.

Б. И. Зингерман писал в статье, посвященной памяти ученого: «Написать письмо другу — значило для него совершить поступок. Письма Берковского написаны интимно и ответственно; скупые летописные сообщения о житейских событиях и обстоятельствах, исповеди, комплименты и увещевания, соображения об увиденном и прочитанном неизбежно переходят у него в обширные философские рассуждения о сущности искусства и смысле человеческого бытия. Его письма подготовляли печатные труды. . . »¹ Все сказанное Б. И. Зингерманом в полной мере можно отнести и к письмам Берковского Д. Д. Обломиевскому.

Специалист по западным литературам Дмитрий Дмитриевич Обломиевский (1907—1971) начинал свою научную деятельность в Ленинградском университете под руководством Н. Я. Берковского, будучи его аспирантом.

Именно в те годы сложились между ними дружеские отношения, которые они сохранили до конца жизни. Война развела Берковского и Обломиевского в разные концы страны. Обломиевский не вернулся в Ленинград, он жил после войны в Москве и работал в редакциях разных издательств и журналов и в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

Н. Я. Берковский в 1944 году возвратился из эвакуации в Ленинград, работал в Пушкинском Доме, в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена, читал лекции по западной литературе. Дружба ученых сохранилась, они почти ежегодно встречались и часто писали друг другу. «Я существо, думающее в разговорах», — скажет Берковский в одном из писем Обломиевскому, которого он считал лучшим своим собеседником. Идеи многих статей и книг впервые высказывались в переписке. Это подтверждают и уже опубликованные письма Берковского военных лет,² и публикуемые сейчас несколько писем 1946—1960 годов.

Великая Отечественная война сыграла решающую роль в том, что Н. Я. Берковский, ученый-западник, с особым увлечением стал заниматься русской классической литературой. Начиная с военного времени «главным предметом его интимных размышлений была Россия — ее историческая судьба и духовная миссия»,³ — скажет впоследствии Б. И. Зингерман. «Горячо думается только про русское», — писал Берковский Обломиевскому в 1942 году. Эти мысли выльются позднее в книгу, посвященную русской литературе.⁴ Пройдет время, и Берковский опять будет писать Обломиевскому: «...страсть к русской теме, несмотря на все неудачи, не прошла, и это, кажется, единственная моя страсть, остальное — европейское — чем далее, тем более кажется только „филологией“ и очень неглубоко меня берет...» И появятся его замечательные статьи о Пушкине, Достоевском, Тютчеве, Чехове.

Письма Берковского печатаются по автографам, хранящимся в архиве его семьи, куда они были переданы родственниками Д. Д. Обломиевского после его смерти.

В подготовке писем к печати большую помощь оказал сын ученого — Андрей Наумович Берковский.

20 / II 46.

Дорогой Дмитрий Дмитриевич!

...«Своеобразие»¹ я дописываю, оно возросло листов до 5—6 и очень меня измучило. Я так отвык от друзей по мысли и по работе, что совсем перестаю понимать, худо или хорошо написанное мною, — в глазах у окружающих уже наперед предсказано, что худо. Я бы очень хотел, чтобы Вы прочитали это сочинение. А что касается практической части, то я бы мог Вам в журнал написать на нее конспект в один лист примерно.

Живется мне, как видите, чересчур индивидуально. Хотелось бы до людей каких-нибудь дойти.

Завидую Москве — здесь просторно, есть печатать, и, говорят, еще больше будет печатать. В Москве я, как видно, окажусь не скоро. С Ин-том московским² связи мои ослабли. Сборник сделан, но почти без меня — я не мог добиться присылки мне материалов — и выйдет мизерным. Жаль, что я заховал в нем моего «Отелло».³ Еще раз вопрошаю Вас о ВОКСе⁴ — я бы хотел им послать «Отелло» и «Своеобразие». Мне совершенно необходимо как-нибудь сойти с ленинградской площадки, чтобы иметь возможность работать, — но покамест из Москвы мне предлагали малоподходящее — вроде писания для ЖиЗеЛи⁵ какой-либо биографии etc. Нужно печататься в Москве, чтобы служить в Ленинграде, и здесь тоже иногда печататься.

Федор Михайлович:⁶ я о нем прочел на днях две интересные книги: Dostojewskij — Studien von D. Suževskij (весьма талантливая статья о двойниках — точка зрения обратной моей по поводу Гофмана при общем совпадении, но мне понравилось),⁷ Gerh(ard) Ledig — «Philosophie der Strafe bei Dante und Dost(ojewskij)»⁸ — довольно искусственная метафизика, но что-то задевает в Дост(оевск)ом. Вообще Запад все-таки многое раскопал в Дост(оевском), что мы едва не пропустили.

К Вашей работе — по состоянию науки о Дост(оевском) — она в основах непременно должна быть кропотлива, т(ак) к(ак) уже существует Dostojewskij-Philologie, и с ней нельзя не считаться. Хороший пример Suževskij,⁹ или попросту Чижевский, — он подбирает все мелочи, а рисунок у него крупный, философский.

Я перечитал «Каренину» — с восхищением. Очень хотел бы отдельно написать о ней, если бы был случай. Толстого читал статьи поздние — тоже великолепные по языку, да и по мысли. Сила речи неимоверная — вот бы так писать — так осязаемо и сквозь всякое сопротивление читателя. В биографии Толстого тоже как все свежо и ясно — сравни «Jougnal» Гонкуров¹⁰ — какая паршивая жизнь: приходит Золя и жалуется, что у него мочевого пузырь болит, потом обедают в каком-то ресторане все вместе — не те тела, не тот воздух, корм не тот.

¹ Зингерман Б. Н. Я. Берковский: 1901—1972 // Театр. 1972. № 10. С. 103.

² Берковский Н. Я. Письма военных лет: (Из писем Д. Д. Обломиевскому) // Вопросы литературы. 1986. № 5. С. 147—178.

³ Зингерман Б. Указ. соч. С. 102.

⁴ Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975.

Слышал, что книга Ваша в изд(ательств)е продвигается,¹¹ и очень рад за Вас. Только напрасно Вы не отяжелили ее аппаратом и пр. . .

.. Один из моих литературных планов — насочинять книгу статей о России. Первая уже есть — «Своеобразие», последняя тоже — «Велемир».¹² Нужно сочинить статьи для середины, но, разумеется, если будет повод, если можно будет их напечатать еще и до книги.

Нет слов, дорогой Д(митрий) Д(митриевич), как недоволен я собой литератором. Всю жизнь вогнал в это дело, и все беспутно — хоть бы когда-нибудь и как-нибудь написать хорошее что-нибудь. Я даже готов поступиться любимыми интересами, написать о чем угодно, если меня заверят, что об этом выйдет хорошо. Раздражают меня и убивают вечные несовершенства.

Не знаю, как скоро увидимся. По Вас всегда очень скучаю. У окна — между столом и полкой — пустует и скучает у меня «стул Д(митрия) Д(митриевича)». Думаю, Вы об этом узнете где-то и об этом стуле и забыли.

Пишите, да подлиннее и подробнее, что в московском литературном мире делается, пишите, если есть полезные для меня новости — сообщите — сюда доходит только эхо третьей степени.

Живу затворником, маюсь у письменного стола.

Николай Ив(анови)ча¹³ как-нибудь подхватите и повеселите его.

Ел(ена) Ал(ексан)др(овна)¹⁴ Вас приветствует.

Н. Б.

Не хотите ли получить от меня статью о театре Акимова? Я обещал ее Аниксту,¹⁵ но охотнее дал бы Вам.

Н. Б.

¹ В 1944—1946 годах Берковский работал над книгой «О национальном своеобразии русской литературы».

² В 1944—1946 годах Берковский работал в Восточном институте иностранных языков.

³ Речь идет о сборнике: Литература Востока и Запада / Под редакцией профессора Н. Я. Берковского, доцента А. А. Аникста, доцента Л. З. Эйдлина. М., 1946. (Труды Восточного ин-та иностранных языков; Вып. 2). В этом сборнике была опубликована статья Берковского «„Отелло“, трагедия Шекспира».

⁴ Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (1925—1958).

⁵ ЖЗЛ — серия «Жизнь замечательных людей».

⁶ Ф. М. Достоевский занимал обоих исследователей. В 1942—1947 годах Д. Д. Обломиевский работал над книгой «Достоевский и мировая литература». Книга не была завершена. Фрагмент из этой работы был опубликован С. Бочаровым. См.: *Обломиевский Д. Д. Князь Мышкин // Достоевский: Материалы и исследования*. Л., 1976. Т. 2.

⁷ Видимо, речь идет о статье Д. Чижевского «К проблеме двойника» (в кн.: *О Достоевском: Сборник статей / Под ред. А. Л. Бема*. Прага, 1929).

⁸ См.: *Ledig G. Philosophie der Strafe bei Dante und Dostojewskij*. Weimar, 1935.

⁹ См. о Д. К. Чижевском (1894—1977), историке литературы: *Orbis scriptus: Dmitrij Tschizewskij: Zum 70 Geburtstag*. München, 1986.

¹⁰ «Journal» Гонкуров — «Дневник» французских писателей, братьев Эдмона (1822—1896) и Жюль (1830—1870) Гонкуров. В «Дневнике» нашла отражение литературная жизнь эпохи. Дневник полностью был напечатан в 50-х годах XX века.

¹¹ См.: *Обломиевский Д. Д. Французский романтизм: Очерки*. М., 1947.

¹² Речь идет о статье «Велемир Хлебников», которая была написана к 20-летию смерти В. Хлебникова (1942), но увидела свет только в 1985 году в кн.: *Берковский Н. О русской литературе: Сборник статей*. Л.: Худож. лит., 1985.

¹³ Н. И. Харджиев (1903) — литературовед, искусствовед, друг Н. Я. Берковского.

¹⁴ Е. А. Лопырева (1904—1982) — переводчик, литературовед, жена Н. Я. Берковского.

¹⁵ А. А. Аникст (1910—1988) — литературовед, театровед, критик.

2

9 мая 1948

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

Вы напрасно предполагаете во мне какие-то скрытые течения, почему я не пишу. Течений таких против Вас у меня никогда не было и нет. А неписание происходит от скучной жизни, в которой так мало erzählenswert¹ . . .

.. Писание мое о романтизме² завяло — с великим трудом делается введение, пишутся страницы и бракуются — я даже конца введения не предвижу, не то что всего в целом. Но для меня дело чести дописать все это.

Попутно читаю *varia*,³ большей частью русское, так как страсть к русской теме, несмотря на все неудачи, не прошла, и это, кажется, единственная моя страсть, остальное — европейское — чем далее, тем более кажется только «филологией» и очень неглубоко меня берет — тут действуют больше воспоминания прежних интересов, чем интерес в настоящем.

А вот прочел переписку Мусоргского⁴ и очень оживился — переписка касается вещей, о которых мне более всего думается. Да и люблю Мусоргского. Сегодня пишу Вам после филармонии — там был и из него кусочек — вступление к «Хованщине», где все так содержательно, каждый звук, — содержательно, какой может быть иной раз музыка. Считаю, что нигде так не применимо, как в музыке, понятие содержательности и несодержательности, есть ли глубина, нет ли. А в русской музыке

Мусоргский глубже всех. (Глинка — божественнее).

Немножко рылся в Островском — по одному поводу, и это вызвало мысли. Хороший автор, жаль только, что в слове Мусоргского у нас не было. Как театр Островский бесконечно слабее не только «Бориса» и «Хованщины», но даже «Сорочинской».

Вчера спорил с человеком, который уверял, что и без Шалапина обойтись можно, — пропустить его, да и только. Мое мнение: без Шалапина мы меньше знали бы, что есть Россия.

Дело не в том, что он такие-то лица изображал и тому-то дал толкование. Дело в том, что *выражал* он. Через него выражен какой-то элемент России, о могуществе которого мы бы и не подозревали, не будь Шалапина. И так же с Толстым и Пушкиным, с Достоевским. Само появление их есть уже национальное познание. Они не толкователи событий, не «историки русского общества» etc. — а сами они своим стилем, силой своей личности уже суть событие в национальной истории, открытие о ней. Как в политической истории выигранные битвы открывают, какова была массовая сила изо дня в день, что там накоплено было, так в культуре обстоит с гениями — они тоже показывают, что была массовая сила, и показывают, в чем характер этой силы. Одним словом, я за «роль личности в истории». И очень недоволен убожеством собственных моих способов изучать историю, когда гений превращается только в репродуктор, а как развить другую позицию, еще не умею. Сравни также: Бальзак. Бальзак не есть сумма романов, наблюдений, фигур, выводов и т. д. Прежде всего дан сам Бальзак в родновском своем образе. Да, Родэн — лучший толкователь Бальзака, п(отому) ч(то) здесь дано не дело, не состав дела, а дан сам деятель, часть которого есть дело. Дана та характерная сила, именуемая «Balzac». А уж раз есть эта сила, то можно понять, что именно и как отомкнется ей в объективном мире. Сама личная гениальная сила — бессознательное извержение объективного мира, и вот она проделывает обратный путь: старается выразить себя, то есть через романы, повести, драмы и в осознанном для себя и других виде представить то, что в ней есть объективного, порожденного исторической реальностью.

Горю или Гранде — самоуяснения того подземного, что есть «Balzac», выведение его на свет божий. Гений возникает из накопления объективных сил. Его творчество, его «дела» — романы, драмы и пр. — это способ, которым открываются объективные силы, породившие его. Есть большой соблазн в точке зрения Карлейля,⁵ Гумбольдта⁶ — «hero-worship».⁷ Соблазн можно преодолеть именно так: творчество гения, карлейлевского «геро»,⁸ — это возврат к реально-исторической почве, откуда взялся гений и которая только в творчестве ясна. Сам «геро» больше чем личность, «геро» — это и есть индивидуум, превосходящий себя. И вот это свое национальное, социальное,

историческое вместе с личным он и обнаруживает в творчестве.

О красоте и поэзии, может быть, вся отгадка в том, что где эти силы в объективной жизни, там гений? И если жизнь прошла через гения, то она и открылась в своей красоте (?) — (поэзии)? . . .

. . . Послал Таирову⁹ — Коонен¹⁰ статью из Вашего журнала,¹¹ и пришел милый ответ с собственноручным начертанием Алисиной лапкой — почерк у ней очень размашистый, как волны в непогоду всякие «О» и «А».

Пишите, не считайтесь письмами. Смотрите, какое я Вам послание наваял — длиной оно равно Вашим четырем (1=4).

Пишите также и Дм(итрию) Евг(еньевичу)¹² — он на Вас обижен, что его забыли.

Привет от Е(лены) А(лександровны).

Привет мой.

Н. Б.

Пегги¹³ наелась живой рыбы и тоже кланяется.

¹ того, о чем стоит рассказать (нем.).

² Имеется в виду фундаментальный труд Н. Я. Берковского о немецком романтизме, который появился в печати после смерти ученого. См.: *Берковский Н. Я. Романтизм в Германии*. Л.: Худож. лит., 1973.

³ разное (лат.).

⁴ Видимо, Н. Я. Берковский читал книгу «М. П. Мусоргский. Письма и документы» (М.; Л., 1932), на которую он ссылается и в своих работах.

⁵ Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, публицист, историк, философ. В сочинении «Герои, культ героев и героическое в истории» Карлейль утверждал, что историки создают отдельные великие люди.

⁶ Гумбольдт Вильгельм (1767—1833) — немецкий филолог, философ, языковед, дипломат. Видел в универсальном развитии индивидуальности высшую цель, определяющую развитие государства.

⁷ hero-worship — культ героев (англ.).

⁸ hero — герой (англ.).

⁹ А. Я. Таиров (1885—1950) — режиссер, организатор и руководитель Камерного театра.

¹⁰ А. Г. Коонен (1889—1974) — актриса, нар. арт. РСФСР, жена А. Я. Таирова. На протяжении многих лет Берковский был в переписке с Коонен. Письма Берковского хранятся в ЦГАЛИ, в фонде Коонен, письма Коонен — в архиве семьи Берковского.

¹¹ Имеется в виду статья Берковского о Камерном театре, опубликованная в журнале «Советская литература», в котором работал Д. Д. Обломиевский, на французском языке. См.: *Berkowski N. Le théâtre Kamerny de Moscou // La littérature soviétique*. 1947. № 12. P. 69—75.

¹² Д. Е. Максимов (1904—1987) — литературовед, друг Берковского и Обломиевского.

¹³ Любимая кошка Н. Я. Берковского.

29/1. 49

Дорогой Дмитрий Дмитриевич!

Меня смущает, отчего Вы молчите. Получили ли мое новогоднее письмо? Не больны ли Вы?

Если здоровы, приехали бы сюда хоть на неделю, очень хотелось бы Вас увидеть. Я к Вам отношусь очень нежно, и так жаль, что Вы своим пребыванием в Москве, своей безвыездностью и бесписьменностью превращаетесь для меня в астральное тело. Вы из немногих людей, с которыми хочется соприкасаться повседневно.

Я опять после одного эпизода в прошлом году бешено занимаюсь Пушкиным — около «Повестей Белкина». ¹ Не знаю, что выйдет, и выйдет ли. Я робею писать о Пушкине, у меня и слов тех нет, какими надо о нем писать, и не знаю, какие это слова, а между тем удумано очень многое и, кажется, многое раскрутилось. Больше всего я беспокоюсь о точности.

Про Пушкина врать нельзя, а он волнист, струист, как пишет о нем Вяземский, и как мало о нем было сказано верного даже импрессионистически, то есть в самой доступной форме. Поучительно для меня и погружение в другую точность, более вульгарную, — во все, что установлено пушкинистами. Писать надо так, чтобы пушкинисты обязаны были признать. А они все же так набороздили поверхность Пушкина, что у них есть права быть взыскательными ко всякому, кто претендует на большее, чем поверхность.

Учию я некое сочинение или не учию, но очень помолодел и повеселел, общаясь с Пушкиным. Советую Вам в сборнике Цявловского прочесть о Пушкине воспоминания В. П. Горчакова ² — прелестно, пушкинский воздух, пушкинская свобода. И что меня поражает и восхищает в пушкинских современниках и в самом А(лександре) С(ергеевиче) — это духовная независимость, легкость жизни, неотравленность бытом, расчетами его, немалодушие, умение быть в виду всякой вещи и хозяином ее, и гостем, при очень земных запросах свобода от «тоски материальности» — ведь тоска всегда и имеет этот источник. Все это необъяснимо в сущности, и этим веет у беззаботного, умного, умеющего писать В. П. Горчакова.

Вообще, их всего трое, с которыми нужно постоянно общаться, — Шекспир, Гете, Пушкин, и всех веселее Пушкин. Я уже горюю, что скоро придется захлопнуть его. Куча мемуарно-биографических пакостей, прочитанных мной за последние две недели, на меня не действует. Кстати, всех пакостней толстый Щеголев, ³ который по брюху своему понимает хочет Пушкина, пишет о нем обывательски — жирно. Все это всего лишь факты. А суть дела и чудо в том, что эти биографические факты занозами во внутреннем Пушкине не сидели. Ту независимость духовную, которую знали пушкинские люди, хотел восстановить и Достоевский, но у него

христианское барокко, напряженная теория, а у тех это было бездумное ежедневное дело. . . . Про пушкинские мои занятия сообщаю только Вам. Я их так, так как боюсь, что они окажутся бесплодны.

Пишите — и непременно подробно.
Пушкинский привет.

Н. Б.

¹ Речь идет о работе Н. Я. Берковского над статьей «О „Повестях Белкина“ (Пушкин 30-х годов и вопросы народности и реализма)», которая была опубликована в сборнике «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы» (М.; Л., 1960).

² См.: Горчаков В. П. Воспоминания о Пушкине: По поводу статьи «Еще о Пушкине», помещенной в № 11 «Общезанимательного вестника» // Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931.

³ П. Е. Щеголев (1877—1931) — ученый, историк и филолог, пушкинист, автор книги «Дуэль и смерть Пушкина».

4

30 / VIII. 1957.

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

. . . Очень мило с Вашей стороны, что вы так меня вербуете участвовать в журнале. ¹ Не премину со временем двинуться вперед по Вашему списку тем. Б(ыть) м(ожет), я Вам напишу обзор новой немецкой Heiße-аны: есть книги 4—5, как с Запада, так и с Востока Германии, в которых много нового материала, — это все «деловые», материальные работы, и нехудо нашу публику о них оповестить. Чем черт не шутит, я, быть может, вдруг напишу Вам Гамсуна. Погода сегодня так хороша, что все кажется достижимым.

О «Белкине» — четыре листа сдал в издательство и жду, как оно будет проходить. Я довольно равнодушно взираю на напечатанное под моей подписью, но здесь, если будет напечатано, то это для меня окажется большой радостью, — все дело в Александре Сергеевиче, очень хочется явно, публично оцутиться среди его слуг. Чем старше становлюсь, тем более его люблю и тем чаще поклоняюсь. Читать и изучать его — это, конечно, вид богопознания, в божественной природе А(лександра) С(ергеевича) нисколько не сомневаюсь. Великое счастье, что это открытие, именуемое Пушкин, написано было по-русски, в формах наиболее нам внятных, с зимней дорогой, с нашими реками, с нашим мельником, с нашими русалками, со станционным смотрителем.

Как Вы знаете, верный слуга Александра Сергеевича, старый Томашевский ² утонул в Черном море, от инфаркта в воде. Очень сожалею о нем. Он работал черство, строго, быть может, и забыв даже, что было живым поводом к этому его кальвинистскому культу. Но польза

от него великая. Он выделил, что мы можем знать о Пушкине наверное. Для меня, у которого весь интерес лежит в той области, которая не наверное, это выделение особенно ценно. Как хотите, и Вас я причисляю к своей компании — интересантов в том, что не наверное. По-моему, это и есть область настоящей науки. Но точнее, несомненное, «деловое» необходимо, как почва, от которой отбывают. А старик Томашевский очень укрепил для Пушкина эту почву и подсушил ее, чтобы не размывалась. . .

Я был на концерте Тито Скипа,³ 72-летнего экс-короля, но сумевшего отстоять свое величество. Петь ему легче, чем ходить по сцене. Я знаю его по пластинкам молодости его. То, что я услышал, было гравюрой его молодого пения, но очень хорошей, замечательной гравюрой. Как видите, я уже начинаю восхищаться, когда старики умеют оставаться настоящими людьми. Рисунком лица, подбором лба, бровей, носа Тито Скипа напоминает покойного Бориса Аполлоновича.⁴ Тот ведь тоже господом богом был предназначен для эстрады и ошибкой попал на кафедру. . .

. . . Кажется, в сентябре не будет занятий, студенты выйдут на картошку, и мы тем временем кое-что сочиним, почитаем, надумаем. До свидания.

Н. Б.

¹ Д. Д. Обломиевский пригласил Н. Я. Берковского сотрудничать в журнале «Вопросы литературы», который был основан в 1957 году и членом редколлегии которого Обломиевский был с 1957 по 1969 год. В этом журнале было опубликовано несколько работ Н. Я. Берковского.

² Б. В. Томашевский (1890—1957) — литературовед, текстолог, исследователь жизни и творчества Пушкина, редактор и комментатор многих собраний сочинений Пушкина.

³ Скипа Тито (1889—1965) — итальянский певец (лирический тенор).

⁴ Б. А. Кржевский (1887—1954) — литературовед, переводчик.

5

18 / 7 (1958)

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

отправляю Вам бандероль Кафка, 3. Простите, ради бога, что так задержал книги, — я хотел непременно сделать себе обстоятельные заметки по ним, а для этого все не было времени, — наконец, присидел несколько ночей и «заприходовал» себе все три книги, одну за другой, с обширными выписками.¹ Писатель он, конечно, первоклассный, и есть у него вещи абсолютно гениальные (н(а)пр(имер) Prozess² — главная из его книг). После него все большие писатели нашего века становятся архаичны, н(а)при(мер) Томас Манн, Пруст. Кафка —

это настоящая литературная революция, и она совсем не в том, что обыкновенно обозначают этим словом, так как литературная суть Кафки — простота, строгость, своеобразная классичность. Он довел литературу до простоты самой последней и доказал, что повесть с двумя-тремя персонажами может быть равна мировой мистерии.

Я бы очень хотел, чтобы и Вы его почитали, — уверен, что и Вам он многое скажет, конечно, если настроитесь на него, он требует сочувственного уха. Я Вам бесконечно благодарен за Вашу дружбу относительно Кафки — чтение этих трех книг было для меня важнейшим событием этой весны.

Отчего Вы ничего не пишете о своих делах? Закончилось ли дело с ВАКом³ и вручен ли Вам уже диплом? Как обстоит дело с Вашей книгой в Гослитиздате?⁴ Подготовлена ли она уже Вами к печати?

Я доделываю учебный год, принимаю экзамены. Заседаю — слушаю диссертации, вернее, не слушаю, но гуляю по коридору между одним голосованием и другим. Боюсь, как бы меня не нагрузили чрезмерно на будущий учебный год. Все-таки от преподавания я устал, вообще и навсегда устал. Тем более что аудитории мои с года на год все скучнее и скучней, и лекции становятся сотрясанием воздуха зарплаты ради. Какое-то густое недовольство осталось у меня от двух лекционных сезонов. . .

. . . Спасибо Вам за доброе слово о «Русалке».⁵ Не так для меня важна моя статья, сколько сама «Русалка», помимо меня и без меня. Я обожаю это произведение и хотел сколько-нибудь и других заразить этим обожанием. А вот мне пишу, что произведение это второстепенное, и я зря будто бы совершил такие несоизмеримые затраты на толкования его. На днях получил несколько экземпляров статьи об «Идиоте»⁶ и один припрячу для Вас. . .

Целую Вас.

Н. Б.

¹ Франц Кафка (1883—1924) — австрийский писатель, один из самых любимых писателей Н. Я. Берковского. В архиве ученого хранятся заметки о творчестве Кафки, написанные в 1958 году.

² См. роман «Процесс» в кн.: Кафка Ф. Роман; Новеллы; Притчи. М., 1965.

³ Решением Высшей аттестационной комиссии от 12 июля 1958 года Д. Д. Обломиевскому была присуждена степень доктора филологических наук.

⁴ Речь идет о книге Д. Д. Обломиевского «Бальзак. Этапы творческого пути» (М., 1961).

⁵ См.: Берковский Н. Народно-лирическая трагедия Пушкина («Русалка») // Русская литература. 1958. № 1.

⁶ Имеется в виду статья Н. Я. Берковского «Достоевский на сцене («Идиот» в Большом драматическом театре им. М. Горького)», напечатанная в журнале «Театр» (1958. № 6).

6

15 декабря 1959

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

питаюсь о Вас слухами, из первоисточника от Вас самих ничего не приходит. Е. А.¹ пишет, что у Вас вполне удачно сошло обсуждение Ваших глав в Институте,² но вот сестры³ говорят, что спите Вы не больше двух часов в сутки. Человеку нужен воздух, нужно гулянье — без этого нет ни настоящей работы, ни хорошего сна не бывает. Сам я ради гуляний собираюсь скоро снова в Комарово. А что если и Вам в Комарово на январь месяц? Зима там очень хороша, ясна, серебриста, целебна.

У Вас сейчас гастролирует — после нас — Гамбургский театр, весьма великолепный. Я писал Е. А., чтобы она пыталась вытащить Вас на эти спектакли, мало, впрочем, надеясь на успех моих происков. Там отличный актер Gustav Gründgens.⁴ О нем написан целый роман, Klaus Mann, «Mephisto»,⁵ не слишком, впрочем, лестный для него.

Об этом театре я собираюсь написать статью⁶ на этих днях. Гамбургскими актерами я был так увлечен, что пониженно воспринял «Ночи Кабирии»⁷ — все места для впечатлений от этого фильма были во мне заняты. Но, разумеется, не стану спорить, что «Ночи Кабирии» очень замечательны. На наших глазах складывается совсем новое искусство, мы едва-едва умеем его объяснить, но оно, конечно, не ждет, покамест теория справится с ним, и очень быстро делает свой путь. Чехов—Хемингуэй—итальянцы — вот Вам одно из направлений этого искусства, безнажимного безэффектного и будто бы даже бесформенного, в силу всех этих свойств очень требовательного к читателю, к зрителю и тем не менее легко входящего с ним в соприкосновение. Искусство это говорит очень ненавязчивым языком, и тем не менее все его понимают.

Кстати, я только теперь сообразил, как следовало мне писать статью о Чехове,⁸ — выводы сделать предпосылкой, и тогда все совсем иначе бы заиграло. Чехов, конечно, один из современных авторов. (Совершенно по-другому Достоевский). Чеховское — современное: искусству нужно отказаться от всяких претензий, если оно хочет иметь влияние на наших современников. См. Шостакович — в какой степени в его музыке отсутствуют чувства помпы и эстрады. Форма Шостаковича — музыкальный доклад. Но я обрываю — тема бесконечная. Следите за своим здоровьем. Приветы ото всех домашних. Ждем Вас в гости.

Н. Б.

¹ Е. А. Гусева (1919) — литературовед, специалист по западной литературе, друг Д. Д. Обломиевского и Н. Я. Берковского. Вместе с Обломиевским работала в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, а с 1957 по 1964 год — в редакции журнала

«Вопросы литературы». Была в дружеской переписке с Берковским. Письма к ней хранятся в архиве семьи ученого.

² Видимо, речь идет об обсуждении в Институте мировой литературы им. А. М. Горького глав из книги Обломиевского «Бальзак», которую он в это время готовил к изданию.

³ Две сестры Д. Д. Обломиевского жили в Ленинграде.

⁴ Грюндгенс Густав (1899—1963) — немецкий актер, режиссер театра и кино.

⁵ См.: Манн Клаус. Мефистофель: История одной карьеры. М., 1970. Написанный в 1936 году роман Клауса Манна направлен против той части немецкой интеллигенции, которая сотрудничала с фашистами.

⁶ Статья Н. Я. Берковского «Манера и стиль (Спектакли Гамбургского драматического театра)» была опубликована в журнале «Театр» (1960. № 3).

⁷ «Ночи Кабирии», фильм итальянского режиссера Федерико Феллини, был показан в 1957 году на кинофестивале в Каннах; в советском прокате с 1959 года.

⁸ См.: Берковский Н. Я. Чехов, повествователь и драматург // Театр. 1960. № 2.

7

15 июля 1960

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

сетую на Вас, что Вы вестей о себе не подаете, — хоть бы знать, как обстоит с Вашим здоровьем. Я сижу в городе, жара страшная, колоссальный грохот уличного ремонта рвет мои раскрытые окна, переворачивает Лиговку и все окрестные улицы тоже. Все это мне нравится, должен признаться, я люблю кипение улицы и хорошо подо все это занимаюсь. Вероятно, на физическом моем «я» вся эта обстановка отражается худо, но что касается духа, то дух бодр. Я сижу над новым вариантом «Тютчева»¹ и поставил себе целью исчерпать о Тютчеве и вокруг Тютчева весь наличный печатный материал. Я вообще стал все неохотнее делать работы так, чтобы в карте предмета оставались белые пятна, — раньше на это шел легко. От повторного изучения Тютчев не увял, а стал для меня еще грандиознее. Надеюсь в новом варианте воздать должное ему.

Кстати, я окончательно убедился, процеживая сквозь себя политические статьи Тютчева,² в какой степени они — источник Достоевского, а об этом никто никогда не подозревал. Оно и понятно, историки литературы мыслят по-департаментски, им не приходит в голову сопоставить прозаика с поэтом, особенно с политическими сочинениями поэта.

Недавно мне очень хвалили одну Вашу очень старую статью, о существовании которой я ничего не знал. Какая это статья, скажу при встрече...

Книгу свою³ я сдал точно по договору 1 июля, с прежним вариантом Тютчева, потом

заменяю. Многие статьи я сильно поправил и дополнил. Но, по всем признакам, книга сразу же ушла в топь, и я очень грущу и беспокоюсь по этому поводу. . .

. . . Сделано мне полуофициальное предложение от «Сов. писателя» написать им книжку листов на 10 о Хемингуэе. Я — раздумываю. Что Вы скажете по этому поводу — да или нет?

Напишите, когда Вы приедете к нам? Как продвигается сквозь подземные ходы Гослитиздата Ваш «Бальзак»?

Мне предстоит написать так много за оставшиеся полгода, что я ужасаюсь и захлебываюсь. Но это хорошо — ощущаешь жизнь. Полная занятость — это жизнь. . .

¹ Речь идет о работе Берковского «Ф. И. Тютчев», которая готовилась для книги: *Тютчев Ф. И. Стихотворения / Вступ. ст. и подг. текста Н. Я. Берковского. 3-е изд. М.; Л., 1962.* (Библиотека поэта, малая серия).

² См.: *Тютчев Ф. И. Политические статьи: (1844—1857) // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. Изд. т-ва А. Ф. Маркс. СПб., 1911.*

³ Речь идет о книге «Статьи о литературе» (М.; Л., 1962). В окончательный состав книги статью о Тютчеве Берковский не включил.

8

6 октября 1960

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

на днях переехал из Комарово в туманную столицу и сразу же схватил препакостный грипп, под сопровождение которого и пишу это письмо. Вузовская жизнь уже в полном разгаре, в первом семестре порядочно загружен, смягчающие обстоятельства — милые, очень милые дети, которых приходится учить. Все они страшно любознательны, и надо бы больше готовиться к ним, чем я это делаю. По их просьбе стал с ними вести маленький семинар по Хемингуэю¹ — он идет при самом затаенном их внимании к каждой подробности. Вероятно, классикой не удалось бы их так занять. С классикой что-то случилось, она отъезжает от нас в свою собственную даль; как видно, связи ее с нами оказались мнимыми. Это не значит, что я перестал ее любить, но со-любви, чувства к ней вместе с другими, кажется, все меньше.

С удовольствием прочел в «Лит. газете» пышный анонс по поводу Вашей новой работы.²

Боюсь только, что сами Вы недовольны этим анонсом — по напрасной своей скромности в этих случаях. Ничего, ничего, пусть разумеют языцы.

По поводу статьи о «Белкине» — рад, что она Вам понравилась. Только Вы несправедливо пробираете меня за «Гробовщика» на том основании, что все это к литературе отношения не имеет. Как же это не имеет? Реальный комментарий — «от жизни» — есть главное дело. Им, этим комментарием, мы вставляем зрачки в глаза произведения. А в «Гробовщике» тот случай, когда комментарий этот может быть весьма и весьма точным — логика профессий и т. д.

Как известно, в искусстве плотника самое важное работать по древесине — как она велит, по ее прожилкам, в их направлении. Комментируя «Гробовщика», можно показать, как шла работа Пушкина — по прожилкам живого материала, вдоль логики его. В повести Пушкина есть и логика реальных вещей, и игра поверх этой логики — и то и другое раскрывается реальным комментарием. Игра — только надстройка над реальной логикой, угаданной Пушкиным. Я считаю, что мы трактуем связь искусства с действительностью — главнейшую, живейшую связь — чересчур поверхностно — обще, непоследовательно. Не следует упускать случая, когда связь эта поддается нам в своих деталях. Я даже мелочный реальный комментарий высоко ставлю. Н(а)пр(имер), мне кажется, что одно из ст(ихотворен)ий Тютчева продиктовано засухой того года. Если это так, то пейзаж очень выигрывает в содержании. Классическая филология очень ценила *realia*. Они не менее существенны и не в классической. . .

. . . Не сердитесь за полемику. Пишите часто. Письма уплотняют нашу жизнь.

Приветы от Ел(ены) А(лександровны) — от Е(лены) А(лександровны) здешней.³

Обнимаю Вас. Н. Б.

¹ Н. Я. Берковский вел семинар по Хемингуэю в ЛГПИ им. Герцена начиная с 1960 года до конца своей жизни для студентов факультета русского языка и литературы. Семинар по Хемингуэю, как и семинар по Шекспиру и лекции Берковского, собирал не только студентов ЛГПИ, но студентов и аспирантов многих вузов Ленинграда.

² О какой статье идет речь, установить не удалось.

³ Е. А. Лопырева.

НОВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Сложившиеся в нашей науке представления о русской литературе XX века и концепции ее развития до сих пор не свободны от известной односторонности. Что же касается конкретных знаний литературного процесса этой эпохи, то они и сегодня далеки от полноты, а некоторые, порою очень значительные, явления литературного движения, например литература русских эмигрантов, наукой просто не затронуты. Это объясняется прежде всего тем обстоятельством, что исследователи сосредоточивались исключительно на изучении советской литературы; совершенно не учитывалась та часть русского литературного наследия, которая представлена творчеством писателей-эмигрантов. Ведь на протяжении семи десятилетий у нас считалось, что эмиграции как бы не существует и нет никакой эмигрантской литературы, а если она и есть, то не заслуживает внимания ученых, в том числе и библиографов. Однако такое отношение к отечественной культуре, науке и литературе вынужденно развивавшимися за рубежами родной страны, не могло остановить процесс познания истории русской эмиграции и ее литературы. Только взамен отказавшихся от такого изучения советских ученых этим занялись сами эмигранты, а также историки, литературоведы и библиографы разных стран. Эмигранты очень рано осознали роль культуры, литературы, науки, созданных и развивающихся в русском зарубежье, и уже в самом начале 1920-х годов думали о необходимости собирания, систематизации, сохранения и изучения результатов своей творческой деятельности. Впрочем, они не просто думали, но и активно действовали, и началось это со справочно-библиографических и историко-литературных разысканий, приводивших к созданию специальных изданий и выпуску трудов, сохраняющих свое справочное и научное значение и в наши дни. Вот что писал по этому поводу в 1925 году Яков Полонский: «Нужно ли... повторять общее место о том, сколь необходимо регистрировать все, что воплощено в русской книге, изданной за рубежом? В прошлом у нас есть печальный опыт: мы всегда были бедны библиографической литературой. На русском языке нет подобия таких капитальных трудов, как, например, французский *Logenz*. А первый библиографический ежегодник появился у нас лишь в 1912 году. Тем непростительнее было бы для эмиграции не оставить по себе исчерпывающего репертуара всех изданных за границей книг. Составление такого

репертуара немислимо, однако, без наличия соответствующих источников, каковыми в данном случае являются указатели и каталоги всякого рода книгохранилищ, издательств, книжных магазинов и т. п.»¹ Правда, надо сказать, что репертуара своей печати русская эмиграция не составила, хотя попытки создания такого библиографического указателя ею и предпринимались.² Тем не менее работа по библиографированию литературы русской эмиграции, начатая в первой половине 1920-х годов самими эмигрантами, продолжается и поныне, о чем свидетельствуют то и дело появляющиеся в разных странах библиографические указатели, освещающие многие стороны литературной, культурной и научной деятельности русской эмиграции. На одном из последних изданий в этой области мы и остановимся.

Сводный указатель (Index) статей из журналов и сборников на русском языке за период с 1920 по 1980 год выпущен в качестве очередного тома серии «Bibliothèque Russe», издающейся Институтом славистики в Париже. Эта книга интересна для нас по нескольким причинам. Во-первых, она содержит огромное количество информации о русской зарубежной литературе, во-вторых, является завершающим звеном в большой серии справочников, посвященных литературе русской эмиграции,³ в-третьих, относится к тому типу издания, с информационной точки зрения емкому и чрезвычайно полезному для многих отраслей литературной науки, который у нас пока находится в стадии обсуждений и предварительных разработок.⁴

Работа над рецензируемым указателем продолжалась более десяти лет. Первоначально просто собирался библиографический материал, как пишут авторы, «для наших личных работ», который позднее, после создания специальной группы библиографов, «превратился в пособие большого значения». Картотеку материалов из журналов и сборников русской эмиграции, потом преобразованную в указатель, составили, как отмечено в предисловии, «сотрудницы и ближайшие друзья Тургеневской библиотеки в Париже» (С. Х): Т. Л. Гладкова, Т. В. Громб, Е. М. Карамзин, Ю. Е. Кац, Т. А. Осоргина, Т. Г. Пажо, В. Э. Столярова, М. В. Шерер-Долгорука. В роли редакторов выступили уже известные своими работами по библиографии русской эмиграции Т. Л. Гладкова и Т. А. Осоргина (вдова известного писателя Михаила Андреевича Осоргина).

* *Emigration russe. Revues et recueils, 1920—1980. Index général des articles.* Préface de Marc Raff. Paris, 1988. XXII, 662 p. (Bibliothèque de l'Institut d'études slaves. T. XXXI).

До появления рассматриваемого труда периодическая печать русских эмигрантов неоднократно привлекала внимание библиографов, но исключительно с точки зрения ее репертуара.⁵ Содержание же газет и журналов, в разное время и в разных странах издававшихся эмигрантами,⁶ всегда было и сейчас в значительной части остается нераскрытым, так как такой тип библиографического указателя, как роспись содержания журнала (или газеты), в интересующей нас области до последнего времени не использовался вообще. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что рецензируемое издание является для эмигрантской печати первым опытом подобного рода. Впрочем, такое положение следует признать вполне естественным: сначала необходимо было разыскать и учесть все периодические издания эмигрантов, разбросанные по пяти континентам, и лишь потом браться за раскрытие их содержания. Сейчас первый этап работы можно считать завершенным: мы имеем более или менее правильное и достаточно полное представление о количестве периодических изданий и их распределении по разным странам и основным центрам русской эмиграции. Теперь пришло время приступить к раскрытию содержания отдельных периодических изданий,⁷ их определенных групп, к выяснению персонального вклада в развитие литературы каждого из писателей-эмигрантов. Именно этой цели и служит изданный в Париже указатель, который позволит «установить библиографию каждого автора, печатавшегося вне пределов страны, и это будет первым шагом по пути глубокого ознакомления с тем, что было ими создано, и даст возможность включить русскую эмиграцию в культурную жизнь XX века» (С. IX). Так определили задачи своего труда сами авторы.

При подготовке указателя его составители пользовались богатейшими собраниями эмигрантской печати в фондах Тургеневской библиотеки и Библиотеки современной международной документации в Париже. Не имея возможности охватить всю периодическую печать русской эмиграции, библиографы обследовали 45 журналов и 16 сборников (всего было просмотрено 1384 номера, которые стали источником 25 260 библиографических записей). Среди изданий, использованных в работе, преобладают издания берлинские и парижские. Это и понятно: в Берлине до 1933 года выходило множество эмигрантских изданий, а Париж всегда был интеллектуальным центром русской эмиграции. Составители просмотрели 13 берлинских и 28 парижских изданий; другие же центры эмиграции представлены единичными журналами и сборниками (Прага — 5, Нью-Йорк — 4, по одному Брюссель, Тель-Авив, Торонто). Однако многие центры русской эмиграции в библиографии не представлены совершенно (Варшава, Белград, София, Рига, Харбин и др.). В указателе не отражены газеты, составители «исключали публикации еженедельные и ежедневные» и все те, которые «обращались к определенным замкнутым кругам читателей: воинским частям, политическим объединениям,

профессиональным организациям, церковным приходам, а также те публикации, которые оказались не полными в парижских библиотеках» (С. XIII).

Издания, полученные и расписанные составителями, относятся к разным этапам русской эмиграции, в целом охватывая период с 1920 по 1980 год. Впрочем, девять из этих изданий продолжали выходить и после 1980 года («Новый журнал», «Континент», «Синтаксис», «Третья волна» и др.). Стремясь показать место и роль каждого из писателей-эмигрантов в литературном движении, составители разместили собранный ими материал по расположенным в алфавитном порядке персональным гнездам, и таким образом писатель или критик имеет в указателе свое персональное гнездо, в котором зарегистрированы все его выступления в просмотренных составителями журналах. Каждое персональное гнездо открывается фамилией или псевдонимом писателя. Составители пытаются раскрывать псевдонимы и криптонимы, а также привести полностью имя и отчество писателя, но это далеко не всегда им удается. Затем следует перечень произведений писателя, расположенных в алфавите из заглавий, и заключается также персональное гнездо специальной рубрикой «Отзывы о книгах», содержащей сведения о критико-библиографических выступлениях данного автора. Надо сказать, что в общий алфавитный ряд авторов включены не только писатели-эмигранты, но и все те, чьи произведения публиковались на страницах эмигрантских изданий, в том числе и писатели XIX века: здесь мы встретим Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Горького, Есенина, поэтому в справочник не без пользы взглянут и специалисты по истории русской литературы, с эмиграцией не связанной. В конце алфавитного ряда всей книги в особом разделе представлены сведения о статьях и заметках, печатавшихся без подписи. Материал этого раздела для удобства пользования поделен на несколько групп: От редакции, Отзывы о книгах, Интервью, Вернисажи, Некрологи. Включение в указатель анонимных произведений надо рассматривать как несомненное его достоинство: это делает рецензируемый указатель предельно полным и передает сложность литературной жизни разных кругов русской эмиграции.

Общая система оформления библиографической записи и размещения материала отличается от существующей в нашей стране. В советских библиографиях криптонимы вводятся, как правило, в алфавитный ряд на ту букву, которая точно или предположительно обозначает фамилию автора. В рецензируемом же справочнике в алфавитный ряд они вводятся на первую букву, обозначающую обычно имя автора, а не фамилию. Поэтому обращаясь к справочнику и разыскивая в нем интересующего нас автора, мы сталкиваемся порою с трудностями: Александра Арнольдовича Кашина (подписывался: А. К.) на букву «К» мы не найдем, он помещен на «А»; Иннокентия Федоровича Анненского на букву «А» не найдем (он

стоит на «И»); Л. Донатов стоит не на «Д», где мы его будем искать, а на «Л». Есть случаи и еще более странные: часть произведений М. Осоргина поставлена на «О», а другая часть (с подписью Мих. Ос.) на «М». Часто даже при раскрытом криптониме запись делается на имя, а не на фамилию, что, конечно, затрудняет пользование указателем, в котором подавляющее число криптонимов осталось нераскрытым. Другим недостатком указателя следует считать то, что в нем не обозначено количество страниц, на которых напечатано регистрируемое произведение. Без аннотации и наименования жанра регистрируемого произведения остается непонятным, что скрывается за его заглавием — роман, повесть, поэма или коротенькое стихотворение. Указание объема в некоторой степени компенсировало бы отсутствие дополнительных сведений и позволило бы относительно судить о жанре произведения. Что же касается стихов, то в такого рода указателе произведений, на родине авторов не печатавшихся, было бы полезно приводить в записи первую строку.

Появление рецензируемого издания не озна-

чает, что библиографическая работа с периодической печатью русских эмигрантов закончена. Наоборот: с выходом этого труда более четко вырисовываются перспективы дальнейшей деятельности в данной области. Наряду с продолжением начатой во Франции серии персональных библиографических указателей встает задача создания ряда справочников, посвященных крупнейшим зарубежным русским периодическим изданиям («Возрождение», «Русские записки», «Современные записки», «Новый журнал» и др.), которые дадут материал и возможности для всестороннего изучения эмигрантской журналистики, а тем самым и творчества ее выдающихся и рядовых представителей, в нашей литературной науке пока еще почти не известных. В заключение скажем, что составители, проделав огромную работу, создали труд, который во многом будет способствовать расширению и углублению наших знаний в той части отечественной литературы, которая вынужденно развивалась за пределами нашей страны.

¹ Полонский Як. Библиография зарубежной библиографии // Временник Общества друзей русской книги. Вып. 1. Париж, 1925. С. 33.

² Первая и, пожалуй, единственная попытка создания свода эмигрантской печати была предпринята С. П. Постниковым, который опубликовал библиографию русской зарубежной книги за 1918—1923 годы во втором выпуске «Трудов Комитета русской книги» (Прага: изд-во «Пламя», 1924).

³ В 1973—1988 годах Институт славистики в Париже издал библиографические указатели, посвященные М. Алданову, Г. Газданову, С. Булгакову, Н. Бердяеву, З. Гиппиус, Б. Зайцеву, Н. Лосскому, М. Осоргину, Д. Мирскому, А. Ремизову, И. Шмелеву, Л. Шестову, С. Франку, а также периодической печати русских эмигрантов в европейских странах.

⁴ Подобный тип библиографического указателя представляется целесообразным применить при публикации картотеки А. Д. Алексеева, хранящейся в Пушкинском Доме и представляющей собою роспись материалов русской журналистики 1900—1917 годов и эмигрантской печати 1918—1940 годов.

⁵ Библиография периодической печати русских эмигрантов представлена в справочниках М. Шагова (США), а также Т. Осоргиной и А. Волковой (Франция): *Schatoff M. Half a century of Russian serials, 1917—1968. P. I—IV. New York: Russian book, Chamber abroad, 1971—1972; Ossorgin T., Volkoff A.-M. L'emigration russe en Europe. Catalogue collectif des*

periodiques en langue russe. 2 vol. Paris, 1976—1977.

⁶ В предисловии к рецензируемому изданию (С. XIII) сказано, что «библиографический список этих публикаций, вышедших между 1917 и 1979 годом, насчитывает 1639 названий». Это не совсем точно. Дело в том, что названная цифра дана по библиографии периодической печати эмигрантов, составленной Т. Осоргиной и А. Волковой. Однако надо иметь в виду, что в этом справочнике учтены журналы и газеты, вышедшие в европейских центрах русской эмиграции. Между тем множество русских изданий было создано в разных странах Азии, Австралии, Северной и Южной Америки и даже Африки. Если верить данным М. Шагова, в своем справочнике регистрировавшем периодические издания русской эмиграции во всех странах света, то с 1917 по 1968 год их насчитывается 3719.

⁷ Библиографы еще только начинают изучение отдельных периодических изданий русской эмиграции и роспись их содержания. Пока вышел в свет в США один указатель подобного рода: *Записки русской академической группы в США. Указатель авторов, предметов, рецензий к журналу «Путь».* Составитель А. П. Оболенский. New York, 1986, 58 с. Следует заметить, что при множестве значительных и интересных изданий, созданных русскими эмигрантами и в нашей стране часто совершенно неизвестных, перспективы развития такого типа справочников практически беспредельны.

Д. М. Буланин

УКАЗАТЕЛИ К РУССКИМ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ
ЖУРНАЛАМ *

В 1836 году историк и журналист, архивист и библиограф, организатор первых археографических экспедиций П. М. Строев выпустил в свет двухтомный справочник под названием «Ключ к „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина». Нелегкий и кропотливый труд составителя заслуживает почтения тем большего, что над «Ключом» работал ученый, который уже занял почетное место в рядах отечественных историографов.¹ Одним из первых оценил книгу П. М. Строева А. С. Пушкин, знавший и раньше о его занятиях и откликнувшийся на выход «Ключа» краткой, но, как всегда, остроумной заметкой в «Современнике»: «Издав сии два тома, г. Строев оказал более пользы русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. Те из них, которые не суть еще закоренелые верхогляды, принуждены будут в том сознаться. Г. Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории „Ключ составлен по второму изданию «Истории Государства Российского», самому полному и исправному“, пишет г. Строев. Издатели „Истории Государства Российского“ должны будут поскорее приобрести право на перепечатание „Ключа“, необходимого дополнения к бессмертной книге Карамзина».²

Эти строки А. С. Пушкина уместно вспомнить, обращаясь к двум указателям содержания русских историко-филологических журналов, которые увидели свет совсем недавно. Первый из них — поstateйное описание «Летописи занятий имп. Археографической комиссии», выходявшей с 1861 по 1928 год. Второй — труд известного восточногерманского слависта К. Гюнтера, опытного библиографа,³ — содержит исчерпывающий перечень статей, напечатанных в следующих сборниках и сериальных изданиях: «Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», выходявшие с 1896 по 1927 год (как продолжение «Известий» в 1928—1930 годах были напечатаны три тома «Известий по русскому языку и словесности Академии наук СССР»); «Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», выходявший с 1867 по 1928 год (как продолжение «Сборника» в 1928—1930 годах появились четыре книжки «Сборника по русскому языку и словесности Академии наук

СССР»); «Записки историко-филологического факультета имп. С.-Петербургского университета», выходявшие с 1876 по 1918 год; «Ученые записки имп. Московского университета. Отдел историко-филологический», выходявшие с 1881 по 1917 год; исследования и публикации текстов имп. Общества любителей древней письменности в составе «Памятников древней письменности», выходявших с 1878/1879 по 1925 год (начиная с вып. 126 назывались «Памятники древней письменности и искусства»), и номерных изданий Общества, выходявших с 1877 по 1917 год; «Библиографическая летопись», выпускавшаяся тем же Обществом в 1914—1917 годах; «Древности. Труды Славянской комиссии имп. Московского археологического общества», выходявшие с 1895 по 1915 год.

Сделанный авторами указателей выбор журналов нельзя не признать удачным: это издания эпохи расцвета русской историко-филологической науки, помещенные в них труды не утратили своего значения и по сей день. Специалисты по гуманитарным наукам получили путеводители к тем книгам, без которых они не могут обойтись в своей повседневной работе, к которым приходится обращаться буквально на каждом шагу. Историки, филологи, археологи, искусствоведы, библиографы — все те, кто не всегда имеет доступ к полному комплексу журнала и вынужден вести долгий поиск необходимых материалов, — все они безусловно произнесут слова благодарности в адрес авторов составителей. Особо следует отметить, что в рецензируемых книгах расписаны не только статьи, но и протоколы заседаний, которые печатались в «Летописях Археографической комиссии» и в «Трудах Славянской комиссии». Многие доклады, читанные в том и другом учреждении, никогда не были напечатаны в полном виде, так что их резюме, занесенное в протокол, остается единственным источником сведений о ряде интересных работ.

Знакомая со структурой указателей, не будем упускать из виду, что удобство в эксплуатации — главное достоинство такого рода справочников. Рассматриваемые книги в равной мере обладают этим достоинством, хотя их построение принципиально различно. Справочник к «Летописи» предлагает, после оглавления и краткой характеристики ежегодника, перечень статей и материалов в каждом из выпусков издания. Завершается книга серией указателей (именным, географическим, предметным, наконец, специальным указателем сведений о деятельности Археографической комиссии) и списком сокращений. Такую структуру можно считать идеальной, ибо читатель, во-первых, получает исчерпывающее представление о каждой книжке журнала, во-вторых, добывает из именного указателя

* Летопись занятий Археографической комиссии. 1861—1928 гг. Указатель содержания. Сост. Л. П. Смирнова, А. Ф. Тутова, А. А. Цеханович. Л., 1987. 121 с.; Gesamtinhaltsverzeichnis zu russischen philologischen Zeitschriften und Reihen. Bearbeitet von K. Günther. Berlin, 1989 (Linguistische Studien. Reihe A: Arbeitsberichte. Sonderheft). 320 S.

данные о мере участия в журнале отдельного ученого, в-третьих, пользуясь всеми указателями в совокупности, видит направления, в которых работали сотрудники журнала.

Материал в «Сводных указателях содержания» К. Гюнтера организован по-другому, что было обусловлено, по-видимому, ограничениями на объем книги (см. С. 5). Главное отличие заключается в том, что содержание отдельного тома или номера журнала не раскрывается, К. Гюнтер ограничивается формальным описанием каждой единицы издания (том, номер, год издания, листаж); это формальное описание сведено в таблицы, к которым даются отсылки в следующей далее росписи статей. Роспись занимает основное место в книге и расположена в алфавите авторов (номерные издания Общества любителей древней письменности распределены в справочнике между указателем изданий и указателем исследований — оба в алфавитном порядке). За росписью статей идет роспись рецензий в алфавите авторов и редакторов рецензируемых изданий. Алфавитный принцип, которого придерживается составитель в том и другом случае, заставил его выделить в самостоятельные рубрики сборники статей и анонимные сочинения, равно как и рецензии на них (в росписи «Сборника Отделения русского языка и словесности» выделены, кроме того, рецензии на оригинальные и переводные произведения художественной литературы). В тех случаях, когда публикация состоит из мелких заметок, а сериальный выпуск представляет собой юбилейный сборник, — они расписываются по частям в специальном отделе. «Сводным указателям содержания» предпослано оглавление, предисловие (по-немецки и по-русски) и список сокращений. Роспись каждого из вошедших в книгу изданий завершается указателем, обычно тематическим или предметным (к «Сборнику Отделения русского языка и словесности» добавлен указатель по лицам, издания Общества любителей древней письменности снабжены именным указателем и указателем некрологов).

Приходится мириться с тем, что справочник К. Гюнтера, выиграв в компактности (в частности, алфавитный принцип расположения материала сделал ненужным именной указатель), несколько проиграл в удобстве. Это выражается и в том, что с помощью «Сводных указателей содержания» читатель не может восстановить состав отдельного выпуска журнала, и в неизбежной при алфавитном порядке подробности разделов, между которыми распределяется роспись содержания. В некоторых случаях наличие дополнительных рубрик не мотивировано классифицируемым материалом. Каков, например, смысл разделения рецензий на «оригинальные произведения художественной литературы» и на «переводы и издания произведений художественной литературы» (С. 186—192)? Нельзя назвать удобными тематические указатели: работы группируются в них то по отдельным языкам, то по странам, то по наукам; порой разные принципы группировки создают причудливую комбинацию.⁴ В итоге классифицируемый

материал неизбежно подвергается насилию, возникают и терминологические трудности. Существует ли, к примеру, разница между «древнеславянским» и «старославянским» языками, которые даны в указателе порознь (С. 133)? К сказанному можно было бы добавить еще несколько мелких придирок (наличие среди русских указателей одного — немецкого (С. 209—211); отсутствие оговорки, что названия докладов, внесенных в протоколы Славянской комиссии, иногда присвоены им составителем и т. д.). Остановливаться на этом подробнее не хочется, потому что польза, которую принесет справочник К. Гюнтера, заставит забыть о некоторых технических изъянах, в целом непринципиальных.

Выбор журналов для росписи мы признали удачным. Но над принципами их группировки стоит поразмыслить. Думается, удобно было бы в дальнейшем соединить под одной обложкой росписи всех журналов, выпускавшихся тем или иным учреждением. С Археографической комиссией дело обстоит просто, так как «Летопись» — единственный ее ежегодник.⁵ Напротив, Московское археологическое общество, кроме расписанных К. Гюнтером «Трудов Славянской комиссии», напечатало за время своего существования множество других продолжающихся изданий: «Древности. Труды имп. Московского археологического общества»; «Древности восточные. Труды Восточной комиссии имп. Московского археологического общества»; «Древности. Труды Археографической комиссии имп. Московского археологического общества»; «Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников имп. Московского археологического общества»; «Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями имп. Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства»; «Материалы по археологии восточных губерний России, собранные и изданные имп. Московским археологическим обществом на Высочайше дарованные средства»; «Древности Украины. Издание имп. Московского археологического общества»; «Археологические известия и заметки».⁶ Некоторые из перечисленных журналов и серий содержат полезные для слависта исследования и материалы. Ни один славист не может обойтись без «Ученых записок Второго отделения имп. Академии наук» и «Известий имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности», предшествовавших тем изданиям Отделения, которые расписал К. Гюнтер. Жаль, что указатели к трудам этих двух учреждений не собраны воедино.

В предисловии к «Сводным указателям содержания» отмечено, что из учтенных в справочнике журналов и серий раньше имели указатель только «Известия Отделения русского языка и словесности» (С. 5).⁷ Это не совсем так. Библиографические сводки разной степени полноты и разного достоинства существовали ко всем изданиям, вошедшим в «Сводные указатели содержания» (за исключением «Библиографической летописи»). На уровне современ-

ных библиографических требований описана только историко-филологическая серия «Ученых записок Московского университета» — вместе с прочими сериями этого издания.⁸ Другие каталоги менее совершенны: статьи, помещенные в пяти томах «Трудов Славянской комиссии» (без росписи протоколов), перечислены в книге В. К. Трутовского;⁹ каталоги своих изданий за разные промежутки времени печатало Общество любителей древней письменности;¹⁰ в «Сборниках Отделения русского языка и словесности» помещался рекламный каталог изданий Отделения, где раскрывалось содержание «Сборников», состав «Записок историко-филологического факультета» за 1876—1917 годы раскрыт в приложении к 140-ой части «Записок». И все же следует решительно подчеркнуть, что наличие старых указателей к некоторым историко-филологическим журналам¹¹ не обесценивает новые труды в этом направлении, т. к. имеющиеся росписи не лишены ошибок, далеки от полноты и давно уже стали библиографической редкостью.

В заключение позволю себе перечислить те русские журналы (помимо упомянутых выше), путеводители к которым жизненно необходимы современному слависту: «Чтения в Обществе истории и древностей российских при имп. Московском университете» и «Временник» того же Общества, «Журнал Министерства народного просвещения», «Русский филологический вестник», «Филологические записки», «Записки имп. Академии наук по Историко-филологическому отделению», «Летопись Историко-филологического общества при имп. Новороссийском университете», «Русская старина», «Киевская старина», «Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца», «Православный Палестинский сборник». Это, конечно, малая часть научной периодики, в которой помещались работы славистического профиля,¹² но при нынешней скудости справочных пособий о более обширной программе мечтать не приходится. Хотелось бы надеяться, что, продолжая свою полезную работу, библиографы обратятся и к названным изданиям.

¹ О работе П. М. Строева над «Ключом» и истории его напечатания см.: Барсуков Н. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878. С. 95—97, 298—300.

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 136.

³ Славистам хорошо известен составленный К. Гюнтером указатель к «Archiv für slavische Philologie»: Archiv für slavische Philologie. Gesamthaltsverzeichnis. Bearbeitet von K. Günther. Berlin, 1962 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik. Sonderreihe Bibliographie). Ср. рец. Н. Ф. Дробленковой (ИЮЛЯ. 1963. Т. 22. Вып. 1. С. 67—68).

⁴ Ср. замечания Н. Ф. Дробленковой к тематическому указателю, сопровождающему роспись содержания «Archiv für slavische Philologie» (ИЮЛЯ. Т. 22. Вып. 1. С. 67).

⁵ Ср. полный перечень ее изданий: Библиографический указатель изданий Археологической комиссии. 1836—1936 (К 150-летию Археологической комиссии). Сост. Л. П. Смирнова, А. Ф. Тутова, А. А. Цеханович. Л., 1985.

⁶ Список изданий имп. Московского археологического общества за 50 лет его деятельности, с указанием их содержания. Сост. В. К. Трутовский. М., 1915. С. 3—29.

⁷ Указатель авторов и их статей, напечатанных в Известиях Отделения русского языка и словесности за все время существования этого издания с 1896 г. по 1927 г. Т. I—XXXII. Л., 1928. Ср.: Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Общее содержание I—V томов (1896—1900 гг.). СПб., 1901; Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Общее содержание I—XII томов (1896—1907 гг.). СПб., 1911.

⁸ Систематический указатель к «Ученым запискам Московского университета». 1833—1961. Сост. М. И. Гуревич. М., 1969. Ср.: Потемкин В. Указатель к «Ученым запискам имп. Московского университета» по историко-филологическому отделу с I выпуска (1881 года) по 25 выпуск (1899 года). М., 1900; Ученые записки имп. Московского ун-та. Отдел историко-филологический. 1916. Вып. 45.

⁹ Список изданий имп. Московского археологического общества. . . С. 18—19.

¹⁰ Описание изданий имп. Общества любителей древней письменности. СПб., 1888 (ПДП. Вып. 76); Основание Общества любителей древней письменности. 1877. СПб., 1891; Издания имп. Общества любителей древней письменности. СПб., 1899. С. 1—9 (ПДПИ. Вып. 129); Издания. . . Общества любителей древней письменности. [СПб., 1903]; Нумерные издания состоящего под Высочайшим государя императора покровительством имп. Общества любителей древней письменности. [СПб., 1901]. Названия всех ста девяноста выпусков серии «Памятники древней письменности» приведены в кн.: Справочник сокращений, принятых в исторической литературе. Сост. Н. А. Саморукова. М., 1964. С. 27—34.

¹¹ Сведения о них можно почерпнуть в кн.: Вукотич Н. А. Материалы для списка указателей русской периодической печати. Л., 1928; История СССР. Аннотированный перечень русских библиографий, изданных до 1965 г. Изд. 2, перераб. и доп. М., 1966. С. 176—186; Масанов Ю. И., Ниткина Н. В., Титова З. Д. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1775—1970 гг. М., 1975.

¹² Следует учесть, что значительная часть славистических исследований была напечатана в изданиях русской православной церкви, к которым также нужны специальные указатели.

О НОВОМ СОБРАНИИ СОЧИНЕНИЙ В. Г. КОРОЛЕНКО*

«Советская власть примет все меры к широчайшему распространению произведений покойного среди трудящихся республики», — говорилось в телеграмме родным В. Г. Короленко, посланной М. И. Калининым вскоре после смерти писателя.¹

И действительно, с тех пор произведения В. Г. Короленко печатались довольно часто и большими тиражами. Появилось особенно много изданий, предназначенных для широкого круга читателей. Сам по себе этот факт заслуживает самых добрых слов. Однако, обобщая опыт «популярных изданий» Короленко, трудно не обратить внимания на четкую систему приоритетов, сложившуюся в отборе материала. Состав однотомников варьируется очень незначительно: «Чудная», «Сон Макара», «Лес шумит», «Река играет», «Слепой музыкант», «Огоньки», «Мгновенье». Почему-то из достаточно объемного списка произведений Короленко отбираются именно эти вещи, частью просто неудачные («Огоньки», «Мгновенье»), а частью превратно понятые («Слепой музыкант»). Почему-то именно на них делается акцент во вступительных статьях.

В то же время практически никогда не воспроизводятся рассказы религиозной тематики, а произведения о философских, этических проблемах («Тени», «Необходимость», «Не страшное»...) включаются редко. Аналогичным образом подается и публицистика писателя.

Естественно, что такая издательская политика вполне определенно корректирует восприятие Короленко массовым читателем, формируя образ простого, сентиментального и благородного автора, предназначенного в основном для детского чтения.

Вместе с тем в нашей стране неоднократно предпринимались попытки более серьезного и полного издания В. Г. Короленко. В 20-е годы готовилось и начало выходить в свет Полное посмертное собрание сочинений. Предполагалось выпустить 50 томов. Единственный раз это собрание включало варианты и незаконченные произведения. В процессе работы издательство наложило запрет на статьи и дневники 1917—1921 годов. В связи с этим Софья Владимировна и Наталья Владимировна Короленко отказались от продолжения издания. Вышли: 1—5, 7, 8, 13, 15—22, 24, 50, 51-й, а также 1—4-й тома Дневника с 1881 по 1905 год.

Правда, уже в 1930 году в издательстве «Земля и Фабрика» выходит собрание сочинений Короленко в 24-х книгах. Вступительная статья была написана А. В. Луначарским,

человеком, который очень уважал писателя, называл его праведником, но полагал, что праведничество пока неуместно, и Короленко надо оставить на будущее, когда все социальные коллизии будут благополучно разрешены. Собрание полно представляет художественное творчество, включает достаточно много публицистики, но в нем действует жесткое ограничение на материалы последних четырех-пяти лет жизни писателя.

К 100-летию со дня рождения В. Г. Короленко вышло 10-томное собрание сочинений, подготовленное его дочерьми. Затем оно появилось еще трижды: в 1953, 1960 и 1971 годах в различных ухудшенных вариантах, изданных Библиотекой «Огонька». Читатель получил почти все художественные произведения, за исключением некоторых рассказов религиозного плана. В то же время за рамками собрания остались не только статьи периода революции и гражданской войны, но и более ранние: «О сложности жизни», «Война, отечество и человечество»; не вошло почти ничего из исторических исследований Короленко («Современная самозванщина», статьи о дуэлях и др.). Были серьезные недостатки в текстологической работе составителей, — в частности, исключение идеологически неприемлемых тогда суждений из текста «Истории моего современника» без каких-либо пояснений.

Таким образом, при издании творческого наследия В. Г. Короленко в нем были так изменены акценты и сделаны такие купюры, что значительная его часть осталась практически неизвестной (речь идет не только о прямой полемике с властью, но и об определенных взглядах на историю, на философско-этические проблемы). Это касается не только издательской политики, но и почти всей отечественной литературы о писателе: литературоведческих исследований, биографических книг, даже очень серьезных и обстоятельных. Только в монографии Г. А. Бялого проблемы философии и эстетики в творчестве Короленко рассматриваются относительно подробно. Последний же период жизни «великого праведника» не мог быть освещен даже и в этом труде (он вышел в 1947 году).

Любопытно, что читателя вводили в заблуждение даже библиографические указатели. Не будем говорить о многочисленных «памятках читателю», но и серьезные научные указатели Р. П. Маториной² и Е. Мокршанской³ не давали практически никаких сведений о последних годах жизни Короленко: ни о рукописях, ни о печатных произведениях. Было бы несправедливо упрекать авторов упомянутых справочников в недобросовестности. Очевидно, на них оказывалось давление. В 1975 году А. В. Храбровицкий включил в «Материалы к библиографии произведений В. Г. Короленко» перечень публи-

* Короленко В. Г. Собр. соч.: В 5 т. / Сост., подг. текста Б. Аверина, Н. Дождиковой; прим. Б. Аверина, Н. Дождиковой, Е. Павловой; вступ. ст. Б. Аверина. Л.: Худож. лит., 1989—1990.

цистических статей писателя 1917—1921 годов, составленный, но не опубликованный в свое время Е. Мокршанской. Заметим, что указатель А. В. Храбровицкого, как и очень подробный указатель Мокршанской, существует лишь в машинописи.

Впрочем, попытки восстановить истинное положение вещей все же иногда осуществлялись. В 1968 году в издательстве «Удмуртия» г. Ижевска вышла «Книга об отце» Софьи Владимировны Короленко. Вместе с изданной ранее работой «Десять лет в провинции» она была своеобразным продолжением «Истории моего современника», над которым она работала с благословения своего отца. В повествование были включены отрывки из дневников и писем полтавского периода, из статей «Земли! Земли!», «Письма из Полтавы» и др.⁴

И тем не менее неадекватный образ писателя твердо сохранился в массовом сознании. У Короленко есть работа, написанная в двух вариантах: сначала была создана большая серьезная повесть «В дурном обществе», а затем ее сокращенный вариант для детского журнала «Родник» «Дети подземелья». Более известно второе произведение.⁵ Издатели и литературоведы долгое время продлевали с наследием писателя аналогичную вещь, и в результате большинству известен детский, сокращенно-упрощенный вариант творчества серьезного писателя и гуманиста.

Появление «нового Короленко» началось у нас лишь в 1988 году с публикацией «Писем к Луначарскому».⁶

Рецензируемое издание продолжает и развивает эту отрадную тенденцию. К сожалению, оно вновь неполно. Планировавшийся первоначально восьмитомник (которого также было бы недостаточно) в итоге был урезан до 5 томов, что очень остро поставило проблему отбора материала. Стесненные издательскими лимитами, составители вынуждены были исключить многое даже и из художественных произведений, не говоря о целых пластах публицистических и исследовательских работ. Так, не вошли в собрание рассказы «В ночь под Светлый праздник», «За иконой», «На Волге». . . Несмотря на это, состав собрания выгодно отличается от предшествующих. Включено много нового материала, что должно создать у читателя более адекватное представление о творчестве Короленко, более пропорционально представить его тематическое многообразие.

Сказанное особенно относится к 3-му тому, в котором читатель найдет целый ряд интереснейших публицистических статей: впервые в собрание сочинений включены «Письма к Луначарскому», где Короленко сформулировал свои важнейшие этические принципы и высказал некоторые полностью осуществившиеся пророчества; актуальны как никогда много лет не переиздававшиеся «Декларация В. С. Соловьева. К истории еврейского вопроса в русской печати» (1909), «Несколько мыслей о национализме» (1901), «9 января 1905 года» (1905), «Легенда о царе и декабристе» (1911),

а также хрестоматийная, но теперь обретшая злободневный смысл статья «Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни» (1910). В каждой из этих статей В. Г. Короленко проявляет себя как серьезный мыслитель, высказывающийся о самых жгучих и, как показывает время, о самых долговечных проблемах нашего общества.

Впервые в СССР публикуется работа «Земли! Земли!» (1919), напечатанная после смерти писателя в журналах «Голос минувшего» (без 12—14 глав) и «Современные записки». Кроме того, вводится в научный оборот неизвестное ранее авторское предисловие, предназначенное для зарубежного издания. К сожалению, по техническим причинам оно помещено в примечаниях.

Заметим попутно, что одновременно с выходом 3-го тома статья «Земли! Земли!» опубликована П. И. Негретовым в первом номере «Нового мира» за 1990 год. Здесь без какой-либо мотивации опущены IV—VII главы. При этом дается ссылка на некий «сокращенный (журнальный) текст», тогда как в журнале «Голос минувшего» опущены совсем другие главы, а в журнале «Современные записки» текст дан полностью. Если же это новация «Нового мира», то по ряду причин она не представляется оправданной.

Значимость работы «Земли! Земли!», которая теперь, на наш взгляд, должна войти в число классических, заставляет остановиться на ней подробнее. Сквозь призму вопроса о земле — главного для аграрной страны и нерешенного по сей день — Короленко показывает историю русской общественности и государственности от некрасовских «Отчужденных записок» до середины 1919 года. Вопрос о земле не тема статьи, а именно точка зрения, ракурс, выбранный исследователем бытовых явлений русской политической истории. Избранная же тема столь же вечна для нашей литературы, как земельный вопрос для экономики. Эта тема — народ и интеллигенция. Сюжетом статьи, собственно, и является сближение крестьянина и «человека в городском костюме» от полного непонимания (глава «Дорожная встреча») до спокойного диалога (глава «На сельском сходе»).

Путь интеллигенции к народу не только труден — он опасен. И опасен для интеллигенции прежде всего. В 1919 году Короленко уже мог это видеть, потому что было народничество Златовратского и «Недели» с его слепым преклонением перед мужицкой мудростью, был Л. Толстой, были большевики с идеей диктатуры пролетариата. Писатель четко отделял себя от максимализма этой части интеллигенции: «Лично я давно отрешился от этого двустороннего классового идолопоклонства. . . Я. . . знал, что. . . таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом» (Т. 3. С. 402).

Народнический (марксистский) максимализм, если его последовательно проводить до

конца, ведет к полному идейному самоотрицанию интеллигенции (история Виктора Пругавина). Интеллигенция, сохраняя свой статус, никогда не может полностью перейти на позиции какого-либо класса — крестьянства или пролетариата, потому что она имеет свой собственный интерес, выделяющий ее в особую социальную группу, — интерес к правде и свободе.

Одна из важнейших глав «Земли! Земли!» — «Из-за чего вы хлопочете?». К писателю, отстаившему справедливость на судебном процессе, приходят крестьяне с подношениями. Когда он отказывается от вознаграждения, следует вопрос, вынесенный в заглавие. Короленко, который «давно уже чувствовал некоторое нерасположение к рассказам о бескорыстном „доброхотстве“ интеллигенции» (Т. 3. С. 396), берет с полки книжку «Русского богатства», объясняет, что такое подписка, показывает свою фамилию на обложке.

«Люди верят, что мы пишем правду о том, что делается на свете, и покупают наши книжки. А мы, писатели, этим живем и, как видите, живем не хуже вашего. . . Им стало до известной степени понятно. . . почему нам, интеллигентным людям, нужна законность и свобода и почему мы возмущаемся произволом и насильем» (Т. 3. С. 397).

Нарочито снижено (сколько уже сказано высокопарных фраз!) Короленко на частном, но легко поддающемся обобщению примере показывает, что деятельность писателя, журналиста, вообще человека думающего и излагающего свои мысли (а без этого интеллигент непредставим) делает свободу его классовым интересом. Без свободы не может быть мысли и правды, а без них нет интеллигенции. У интеллигента и крестьянина интересы разные: «Им нужна земля — нам нужна свобода» (Т. 3. С. 397). Но интеллигенция занимает такое социальное положение, что ее частный интерес потенциально всеобщ: «Мы стараемся доказать, что свобода нужна и им» (там же). И это дает возможность ей стать основой координации классовых интересов, устранения классово-вражды. Убеждение Короленко в опасности «классового идолопоклонства», долгое время делавшее появление этой статьи у нас невозможным, сегодня звучит как пророческое предостережение большого русского писателя.

Из художественных произведений Б. В. Аврина включает в собрание неперездававшийся с 1930 года рассказ «Эпизоды из жизни искателя» (1879). Это первое появившееся в печати художественное создание Короленко. Сам писатель считал его неудачным и лишь под давлением включил в девятый (последний) том сочинений 1914 года. Между тем рассказ очень характерен, содержит в свернутом виде многие мотивы позднейшей прозы, и кроме того, важен для понимания сложного отношения писателя к народничеству.⁷ А безусловно, что это очень существенно для понимания его мировоззренческих и творческих установок в целом.

Два последних тома, 4-й и 5-й, занимает

итоговое произведение Короленко «История моего современника». Впервые она печатается со всеми приложениями.

Другие рассказы и повести, включенные в собрание, хорошо известны и не раз переиздавались. Но и здесь нельзя не отметить очевидных достоинств работы составителя Б. В. Аврина. Во-первых, он по-новому располагает материал. Сам Короленко в собрании Маркса придерживался «географического принципа». Творчество делилось на сибирские рассказы, рассказы из юго-западного края и заграничные. При известной логике, очевидны недостатки такого распределения, не случайно последовательно провести его не удалось ни в одном из изданий. В рецензируемом пятитомнике тексты располагаются по жанрово-хронологическому принципу. Относиться к этому в данном случае можно по-разному. Тем не менее представляется, что в целом такое размещение более удачно, позволяет взглянуть на некоторые вещи с новой точки зрения. Например, включение в 1-й том девятитомника 1914 года вместе с «Яшкой» (1880), «Убивцем» (1882) и т. п. рассказов «Ат-Даван» (1892) и «Мороз» (1901) оправдано только общностью места действия. По проблематике же эти вещи совершенно различны, различны и по авторской позиции, поэтому разведение их по хронологии в разные тома, как это и сделано в настоящем издании, более логично. Вообще, если «географический» принцип очень мало связан с творческими моментами, то жанрово-хронологический более концептуален, акцентирует внутреннюю логику развития писателя, выявляет проблематическую структуру его творчества, и следовательно, способствует его углубленному пониманию.

Во-вторых, при подготовке издания Б. В. Авриным и Н. А. Дождиковой была проделана тщательная текстологическая работа. Тексты сверены с рукописями и прижизненными изданиями, в них внесен ряд изменений и уточнений, иногда достаточно интересных. Приведем только один пример. Третий абзац шестого раздела главы 5 повести «Слепой музыкант» во всех изданиях кроме первой газетной публикации читается так:

«Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки. . .»

Последнее слово явно нарушает смысловую структуру фразы, выбивается из ее эмоционального тона. Единственный раз в первой газетной публикации вместо «привычки» у Короленко стоит «призыва». Именно это чтение вносит в первом томе нового собрания сочинений Б. В. Аврина (С. 494). Удивительно и показательно в данном случае то, что явно ошибочное, алогичное чтение сохранялось так долго в одном из самых часто издаваемых и, видимо, в одном из самых читаемых произведений. Очевидно, это говорит об уровне, на котором воспринимается Короленко читателями и исследователями. И это

не единственный, хотя самый яркий пример текстологической работы, проведенной на высоком уровне.

Несомненное достоинство комментария, составленного Б. В. Авериним, Н. А. Дождиковой и Е. Павловой, — в соответствии адресату, которым является человек, интересующийся русской литературой, но не имеющий регулярного доступа к крупнейшим библиотекам.

В комментарии указываются первые публикации и последующие редакции текстов. Даются (и это для адресата особо ценно) высказывания автора или других лиц о произведениях, почерпнутые из труднодоступных изданий. Это и эмигрантская периодика, и вышедшие в 20—30-е годы сборники писем Короленко, и записные книжки, и дневник писателя. Особенно полны примечания к «Слепому музыканту» и ко всему третьему тому, где ряд текстов публикуется впервые. Есть много очень ценных и трудоемких историко-литературных комментариев. Чего стоит, например, исправление неверных ссылок Короленко на произведения и авторов, которым не принадлежат приписываемые высказывания, и установление верной атрибуции. Эта работа заслуживает самых добрых слов.

Вместе с тем, при очевидных достоинствах, в комментарии есть мелкие, но досадные ошибки. Так, в примечаниях к 1-му тому на С. 610 сообщается, что рассказ «Эпизоды из жизни искателя» включается в собрание впервые в советское время. На самом деле рассказ был помещен в собрании 1930-х годов издательства «Земля и Фабрика». Ошибочна ссылка на первую полную публикацию «Земли! Земли!». Она действительно имела место в журнале «Современные записки», но не в 10, 11, 12, 13-м номерах (Т. 3. С. 697), а в 11, 12, 13, 14-м номерах. Вводит в заблуждение читателя и отсылка комментатора к историческому сборнику «Память» (М., 1977; Париж, 1979. Вып. 2. С. 412—416). Обещанных подробностей о взаимоотношениях В. Г. Короленко и Х. Г. Раковского он там не найдет. На С. 415 есть только биографическая справка о Раковском, ничего почти не добавляющая к комментарию собрания сочинений. Заметим, кстати, что отсылать массового читателя к сборнику «Память» вряд ли стоило, ввиду его крайней труднодоступности.

Вступительная статья к собранию сочинений ограничена размером в один авторский лист. Естественно, что сказать обо всем в ней не удалось. Жаль, что читатель не найдет в ней ничего о публицистике Короленко, в то время как именно этот материал в издании наиболее ценен. Видимо также по техническим причинам, Б. В. Аверин перенес некоторые свои суждения о ней в преамбулу к примечаниям 3-го тома. Кроме того, учитывая сегодняшний интерес к этой теме, может быть, можно было более подробно сказать о последних годах жизни писателя.

В остальном вступительная статья прекрасно соответствует своей функции — ввести дезориентированного читателя в реальный круг проблем творчества В. Г. Короленко. Б. В. Аве-

рин использует привычный для этого жанра биографический сюжет, но очень изящно сопрягает его с изложением творческого и философского кредо писателя. Причем проблемы, которые затрагивает автор вступительной статьи, не надуманы — это живые, актуальные вопросы творчества, которые мало исследовались или не исследовались вообще: формирование и структура этической позиции, явный на протяжении всей жизни интерес к процессам познания, условно говоря, гносеологизм Короленко; проблема Короленко и религия, Короленко и позитивизм. . .

«Его произведения опережали свою эпоху. Вероятно, именно сейчас наступает тот период, когда творчество Короленко может быть осмыслено во всем его многообразии и глубине», — так заканчивается вступительная статья Б. В. Аверина.

Человеку, знакомому с сокращенным вариантом творчества писателя, это может показаться сильным преувеличением. Между тем это справедливо, и справедливо в нескольких смыслах.

Во-первых, это так, потому что только теперь появилась возможность публиковать все созданное Короленко. Только сейчас в нашей стране могут появиться работы, объективно оценивающие все этапы его пути, включая и последний. Только сегодня, завершив известный виток в развитии общества, мы можем в полной мере оценить пророческий характер «Писем к Лучначарскому»: «Не желал бы я быть пророком, но сегодня у меня сердце сжимается предчувствием, что мы только у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь» (Т. I. С. 479).

Сегодня, когда пролетарский гуманизм и классовый подход ко всему на свете утратили свою непогрешимую обязательность, мы можем оценить его настойчивую беспартийность, «умение встать на точку зрения другого человека и увидеть мир сквозь призму его понятий, принципов, представлений» (Т. I. С. 8—9), понять мужество его нравственной позиции в период гражданской войны, усилий остановить «маятник классовой мести».

Сейчас, избавляясь от грубого атеизма, можно понять, почему человек, находящийся под влиянием «мыслящих реалистов», изучавший биологию, физиологию, социологию, психологию, на протяжении всей жизни не утратил религиозного чувства, хотя и не исповедовал в зрелом возрасте никакой конкретной религии.

«. . . Наши понятия о себе и природе — совершенствуются, и вместе с тем должна возвышаться идея того, кто бесконечно выше. Теперь нам предстоит понять того Бога, который не боится наших истин, которому не страшен ни закон Дарвина, ни законы причинности, ни эволюция. . . Все это правда, все это истина, все это есть, все это живо. Но жив и Бог, и истина есть только часть его, а наши истины — это только кончик вешей перед нами жизни, в которую одет он — Бесконечность».⁸

Выход пятитомного собрания сочинений В. Г. Короленко заметно меняет акценты

в творческом наследии писателя. Прежде всего это касается публицистики и некоторых «философских» произведений.⁹ Но по-прежнему Короленко известен и понятен далеко не в полном объеме, не переизданы многие прекрасные статьи и исследования, вошедшие в собрание Маркса, остаются неопубликованными переписка последних лет жизни (за редким исключением), некоторые публицистические статьи, великолепный документ русской истории, дневник Короленко за последние 15 лет жизни, частью утраченный; а вышедшие в Полтаве в 1925 году тиражом 3000 экз. первые его четыре тома ни

когда не переиздавались... Изданная частично переписка, выглядит довольно хаотично и нуждается в упорядочении и дополнениях.

Одним словом, обещание пока не выполнено. И рецензируемое издание, при всех его несомненных достоинствах, нельзя воспринимать как какой-то итог — оно скорее должно стать в начале чего-то большего. На наш взгляд, сегодня естественный ход событий выдвигает на передний план задачу академического издания В. Г. Короленко — величайшего гуманиста, замечательного писателя, публициста, общественного деятеля, мыслителя и исследователя.

¹ Цит. по: *Донской Я. И.* Короленко: Очерк полтавского периода жизни и деятельности писателя. 1900—1921. Харьков, 1963. С. 209.

² *Маторина Р. П.* Описание рукописей Короленко. М., 1950. 224 с.

³ *Мокршанская Е.* Библиография произведений Короленко // РО ИРЛИ. Р. 1. О. 13. № 58. 183 л.

⁴ За границей статьи «Земли! Земли!» и «Письма к Луначарскому» были опубликованы еще в 20-е годы. В различных русскоязычных альманахах печатались письма Короленко 1917—1921 годов и даже отрывки из дневника последних лет, т. е. там творчество Короленко получило обратный крен. Интересно, что статья «Письма из Полтавы» с критикой и Деникина, и большевиков не перепечатывалась с 1919 года ни у нас, ни у них.

⁵ Интересно, что экранизация повести, фильм режиссера Киры Муратовой «Среди серых камней», была долгое время запрещена.

⁶ *Короленко В. Г.* Письма к Луначарскому / Публ. и комм. А. В. Храбровицкого // Новый мир. 1988. № 8. С. 198—218.

⁷ Подробнее об этом см.: *Бялый Г. А.* В. Г. Короленко. 2-е изд. Л., 1983. С. 15—25.

⁸ *Короленко В. Г.* Дневник. ГИЗ Украины, 1925. Т. 1. С. 204.

⁹ Прискорбно, но знаменательно, что рецензируемое собрание стало последней работой, в которой принимал участие выдающийся советский литературовед Г. А. Бялый — автор практически единственной у нас монографии, посвященной жизни и творчеству В. Г. Короленко.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КАЛЛИНИКОВИЧА ГУДЗИЯ

25 октября 1989 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) состоялось научное заседание, посвященное памяти академика АН УССР, доктора филологических наук, профессора Николая Каллиновича Гудзия. Оно было организовано отделом древнерусской литературы ИРЛИ, и поэтому в докладах, прочитанных на заседании, особое внимание уделялось Н. К. Гудзию как исследователю древнерусской литературы, хотя не менее значительное место в отечественной науке он занимает и как исследователь литературы нового времени (особенно творчества Л. Н. Толстого).

Во вступительном слове доктор филол. наук А. М. Панченко (Ленинград) напомнил собравшимся о том, что многие поколения советских филологов, литературоведов и критиков прошли школу Н. К. Гудзия, профессора Московского университета. И хотя начало научной деятельности ученого связано с Киевом, а последующие плодотворные десятилетия — с Москвой, заседание его памяти проводится в Ленинграде, поскольку своими интересами в области древнерусской литературы и методикой ее изучения Н. К. Гудзий был тесно связан с ленинградскими «древниками».

Одним из самых устойчивых интересов к памятникам древнерусской литературы было его внимание к «Слову о полку Игореве». Об этом подробно рассказал чл.-корр. Л. А. Дмитриев (Ленинград) в докладе «„Слово о полку Игореве“ в работах Н. К. Гудзия». Первая работа ученого на эту тему вышла в 1914 году (критико-библиографический обзор работ по «Слову»). Уже в ней проявилась важная черта Н. К. Гудзия-ученого — его непримиримость к дилетантизму в науке. Последующие его работы по «Слову» Л. А. Дмитриев разделил на две большие группы: 1) исследования общего характера с анализом всех сторон памятника и 2) исследования отдельных частных вопросов изучения «Слова». Промежуточное положение занимают издания «Слова» с вступительными статьями и комментариями Н. К. Гудзия. Ученый обращался к этому памятнику на протяжении всей жизни. Л. А. Дмитриев подробно остановился на первой большой исследовательской работе Н. К. Гудзия по «Слову о полку Игореве», напечатанной в журнале «Литературная учеба» (1937. № 5). В ней, сказал докладчик, были подняты серьезные вопросы о художественно-публицистическом характере древнего памятника, о его авторе, о времени создания, которое Николай Каллинович датировал последними месяцами

1187-го или началом 1188 года, что, кстати, не было должным образом замечено позднейшими исследователями. Н. К. Гудziem интересно были рассмотрены вопросы об отражении в «Слове» древнерусской языческой мифологии, о ритмическом строе «Слова», об особенностях его художественной символики и о жанре. Л. А. Дмитриев обратил также внимание на статьи Н. К. Гудзия о «Слове» конца 1930-х и начала 1940-х годов, в которых интерпретируются «хронологические нарушения» повествования. Особое внимание в докладе было уделено ряду работ Н. К. Гудзия, связанных с защитой подлинности «Слова», вызвавшей сомнение в работах А. Мазона и А. А. Зимина. Ученый живо откликнулся на эти работы «скептиков». Н. К. Гудзия, как показал Л. А. Дмитриев, интересовала и судьба печатного текста «Слова» (см. «Судьбы печатного текста „Слова о полку Игореве“» — ТОДРЛ. 1951. Т. 8). Многие из затронутых Н. К. Гудziem проблем изучения «Слова о полку Игореве», заключил выступление докладчик, находили и находят дальнейшее развитие в трудах других исследователей. В качестве примера Л. А. Дмитриев назвал Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» и осуществляемую отделом древнерусской литературы ИРЛИ работу над Энциклопедией «Слова».

В докладе доктора филол. наук В. В. Кукова (Москва) «Н. К. Гудзий — создатель первого советского вузовского учебника по истории древнерусской литературы» было раскрыто значение трудов ученого как педагога, интерпретатора и толкователя древнерусских литературных текстов. В 1935 году Н. К. Гудзий составил хрестоматию по древнерусской литературе, включавшую тексты XI—XII веков наиболее значительных и художественно совершенных памятников литературы Древней Руси. Эта хрестоматия, как известно, выдержала большое число переизданий и по сей день служит важным подспорьем в изучении студентами вузов отечественной средневековой литературы. Критики упрекали Н. К. Гудзия в том, что тексты в хрестоматии даны без перевода на современный русский язык, однако Н. К. Гудзий считал, что студенты-филологи должны изучать древнерусский язык. Хрестоматия, сказал докладчик, явилась основой для написания Н. К. Гудziem учебника по древнерусской литературе, первое издание которого появилось в 1938 году. В нем, как показал В. В. Куков, нашли отражение взгляды Николая Каллиновича на древнерусскую литературу, воспринятые

от своего учителя, академика В. Н. Перетца, в чьем семинарии в Киевском университете он начинал научный путь, и прежде всего внимание к конкретному тексту, конкретным фактам, историко-лингвистическое отношение к изучаемому материалу. В заключение В. В. Кусков высказал мысль об издании отдельного тома в виде приложения к «Словарю книжников и книжности Древней Руси», включающего статьи о наиболее выдающихся исследователях древнерусской литературы, который можно было бы назвать «Наше филологическое наследие».

Науч. сотр. Е. С. Кашутина (Москва) рассказала о библиотеке и архиве Н. К. Гудзия в фондах библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. В настоящее время, сказала она, в МГУ хранится 45 книжных собраний и около 50 архивов бывших воспитанников и профессоров университета. Библиотека Н. К. Гудзия, которую он начал передавать в последний год своей жизни, насчитывает 12 тыс. книг и 2,5 тыс. оттисков. Н. К. Гудзий начал собирать свою библиотеку еще студентом, в 1910—1914 годы. В этом огромном собрании особое место занимают разделы по литературоведению (3500 книг), поэзия (более 1200 книг), сочинения Пушкина и литература о нем, издания Толстого и литература о нем и, конечно, древнерусская литература. Отдельно докладчица остановилась на изданиях «Слова о полку Игореве» и литературе о нем в составе библиотеки Н. К. Гудзия. Здесь хранится экземпляр первого издания «Слова» с дарственной надписью А. И. Мусина-Пушкина Г. Р. Державину, приобретенный Николаем Калининичем в 1957 году. В докладе Е. С. Кашутиной было уделено внимание изданиям русской поэзии XIX—XX веков, собранным Н. К. Гудziem. Многие книги этого раздела уникальны и поступили в собрание университетской библиотеки первым экземпляром. Говоря о личном архиве ученого, насчитывающем 172 ед. хр. (часть этого архива в 1977 году поступила в ГБЛ), докладчица отметила среди творческих материалов 6-е издание учебника по древнерусской литературе, служившее рабочим экземпляром для подготовки следующего 7-го издания, о чем свидетельствуют многочисленные авторские исправления и пометы. Были охарактеризованы рукописи ученого, связанные с работой над «Словом о полку Игореве», сочинениями Аввакума, художественным наследием Толстого. Как известно, десять томов из 90-томного собрания сочинений писателя были подготовлены к изданию и прокомментированы Н. К. Гудziem. Особое место в личном архиве Николая Калининича занимает его переписка, вводящая читателя в научную жизнь ученого и освещающая его деятельность за полвека. Следует отметить письма В. Г. Черткова, секретарей Л. Н. Толстого Н. Н. Гусева и В. Ф. Булгакова, а также большое количество писем В. Д. Бонч-Бруевича.

В докладе канд. филол. наук М. В. Рождественской (Ленинград) «Н. К. Гудзий и В. П. Адрианова-Перетц (архивная переписка)» были раскрыты взаимоотношения двух выдаю-

щихся ученых, основанные на взаимном доверии и уважении, на верности памяти их общего учителя и старшего друга В. Н. Перетца. Их переписка сохранилась в составе фонда В. П. Адриановой-Перетц (№ 726) в рукописном отделе Пушкинского Дома, правда не в равной мере: писем Н. К. Гудзия дошло до нас всего 33. Видимо, В. П. Адрианова-Перетц сохранила лишь те, которые были связаны с именем В. Н. Перетца. Они охватывают отрезок времени с 1956-го по 1965 год, тогда как ее письма начинаются с 1934 года. Уже в первых сохранившихся письмах В. П. Адриановой-Перетц видны общность их с Н. К. Гудziem научных интересов, их отношения не только как старых товарищей по семинарию Перетца, связанных памятью об учителе, которого Николай Калининич всегда называл в письмах «приспомятым» и «незабвенным», но и как единомышленников во взглядах на науку. Варвара Павловна в 1956 году делилась с Н. К. Гудziem и своими хлопотами по реабилитации В. Н. Перетца, осужденного в 1934 году по статье 58—11 и обвиненного в «украинском национализме». А Н. К. Гудзий принял самое деятельное участие в издании работ В. Н. Перетца по русско-украинским и украинско-польским связям, подготовленных Варварой Павловной в виде отдельного тома (1962 год). Желание максимально полно собрать все, сохранившееся в научном наследии учителя, заставляло Н. К. Гудзия, как показала М. В. Рождественская, возвращаться к этим заботам во многих письмах. Переписка В. П. Адриановой-Перетц с Н. К. Гудziem, сказала докладчица, это переписка двух незаурядных личностей, двух старых друзей, прошедших общую научную школу, двух больших ученых. В недлинных и деловых по содержанию письмах раскрывается подлинное значение потерявшего сегодня свой смысл слова «коллеги».

С предыдущим докладом был связан и доклад науч. сотр. Г. В. Маркелова (Ленинград), посвященный письмам Н. К. Гудзия В. И. Малышеву, которые также хранятся в ИРЛИ. Эта переписка, длившаяся около двадцати лет, как показал докладчик, скоро перешла в личное знакомство и дружбу. Она началась с сообщения В. И. Малышева Н. К. Гудзию в 1946 году, в период работы Владимира Ивановича в отделе рукописей ГПБ, о находке им списка «Слова о гибели Русской Земли» (из книжницы рижской Гребеншиковской общины). В фонде писем В. И. Малышева сохранились все письма Н. К. Гудзия, а их более 150-ти. Кроме того, отметил Г. В. Маркелов, в личной библиотеке Владимира Ивановича сохранилось десять книг Н. К. Гудзия с дарственными надписями и много оттисков. Главная тема писем — это древнерусская литература и все, что связано с ней. Особое место в них принадлежит собирательской деятельности В. И. Малышева, которой Н. К. Гудзий очень интересовался и которую горячо поддерживал, а также дорогому сердцу каждого из корреспондентов имени протопопа Аввакума. Как напомнил Г. В.

Маркелов, имя самого Н. К. Гудзия стало известно В. И. Малышеву с издания им «Жития» Аввакума в 1934 году в издательстве «Academia». Н. К. Гудзий внимательно и с интересом следил за новыми находками Владимира Ивановича и публикациями не известных ранее сочинений Аввакума. В письмах 1950-х годов много внимания уделено Н. К. Гудзию предполагаемому изданию совместно с В. И. Малышевым сочинений протопопа. Помимо этого Н. К. Гудзий в письмах знакомил Владимира Ивановича со многими крупными коллекционерами древнерусских рукописей, а Владимир Иванович «свел» Н. К. Гудзия с А. М. Ремизовым, с которым состоял в переписке. В письмах, адресованных В. И. Малышеву, звучали и личные мотивы. Так, Николай Каллинович сочувственно отнесся к настроениям В. И. Малышева и к появившемуся у него однажды желанию вступить в Псково-Печерский монастырь. Как видим, сказал докладчик, не только Н. К. Гудзий, более старший и более опытный

тогда ученый и тонкий знаток древней книжности, привлекал В. И. Малышева, но и сам В. И. Малышев как человек незаурядный привлекал Н. К. Гудзия прежде всего своей страстной любовью к древнерусским рукописям.

Заседание памяти Н. К. Гудзия продолжили воспоминания об ученом. С яркими, подробными и во многом поучительными рассказами о нем выступили доктора филол. наук В. Е. Гусев (Ленинград), А. А. Гозенпуд (Ленинград), В. А. Ковалев (Москва). В Большом конференц-зале ИРЛИ, где происходило заседание, была развернута выставка (устроитель канд. филол. наук О. А. Белоброва), рассказывающая о научном пути и трудах Н. К. Гудзия начиная со студенческих докладов в семинарии В. Н. Петерца и кончая выступлениями на международных съездах славистов.

М. В. Рождественская

БУШМИНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ

20 октября 1989 года состоялись Бушминские чтения, организованные кафедрой русской литературы и журналистики Волгоградского государственного университета (зав. кафедрой — доктор филол. наук, проф. В. Б. Смирнов).

Открывший чтения доклад канд. филол. наук, доц. Р. А. Карабанова (Волгоград) «А. С. Бушмин: образ ученого и его дело» представил опыт соединения впечатлений 15-летнего знакомства со сквозной темой разговоров и переписки — теорией образа, которую докладчик оборачивает к самому Бушмину, чтобы постичь истоки возникновения его образа у современников. Р. А. Карабанов считает таким истоком для себя и большинства коллег труд ученого, его мастерство, гражданственность, внутреннее богатство, творческое взаимодействие со всеми формами общественного сознания и мощный прогностический потенциал. Так, его «Методологические вопросы литературоведческих исследований» (1969) стали объективной программой нашей науки о литературе с конца 60-х до начала 80-х годов, опираясь не только на добротный фундамент историко-литературных штудий, в том числе и собственных (работы шедринского и фадеевского циклов), и теоретическую активность (художественный метод, художественный мир, преемственность, историко-литературный процесс, прогресс в литературе), но и на достоинства личного ряда (скромность, гуманность, негромкая самоотверженность), без коих будущее не открывается теоретическому взору, а «наработанное» не складывается в картину нынешнего дня.

Образ ученого, вырастающий из его трудов, его дела, сам становится фактором, примером, делом, оказывая влияние на коллег, последователь и ход самой науки.

В докладе доктора филол. наук, проф. А. А. Демченко (Саратов) «Чернышевский и Салтыков-Щедрин в исследованиях А. С. Бушмина» рассмотрены предложенные ученым основные принципы изучения источников, особенности исследовательской интерпретации. В пору работы Бушмина над монографией «Сатира Салтыкова-Щедрина» (1959) творчество сатирика столь же целенаправленно, талантливо и с таким же мощным воздействием на современное литературоведение разрабатывалось Е. И. Покусаевым и С. А. Макашиным. Собственно, они втроем создали фундаментальное классическое шедриноведение.

Нередко вступая в острую принципиальную полемику, ученые учитывали достижения друг друга. Подчеркивая, как и Покусаев, единство революционно-демократической оценки «Губернских очерков», Бушмин указал на расхождение между Чернышевским и Добролюбовым. В сцене похорон «прошлых времен» Покусаев отрицал ее либеральное содержание и решение Чернышевского исключить из своей статьи критический выпад по поводу «похорон» объяснял намерением критика поддержать сомнение писателя в возможности серьезных общественных изменений в ближайшем будущем. Бушмин полагал, что Щедрин все же был склонен, исходя из демократической концепции хода общественного развития, глубоко и окончательно хоронить «прошлые времена», а Черны-

шевский вычеркнул свое замечание по тактическим соображениям, чтобы не ослабить революционно-демократическое звучание щедринской книги. По мнению Макашина, в сцене «похорон» сказались реформистские надежды Салтыкова, и действия Чернышевского обусловлены опасениями оттолкнуть сатирика от «Современника», а демократически настроенных читателей от книги. Добролюбов же, менее Чернышевского склонный к тактическим компромиссам, указал Салтыкову на его ошибку. Такая точка зрения более соответствует фактам, но в целом вопрос продолжает оставаться открытым. Необходимы новые исследования, и только благодаря усилиям наших щедриноведов-классиков, в том числе Бушмина, наметившим главные ориентиры изучения, можно продвинуться вперед в истолковании сложных идейно-творческих взаимосвязей Чернышевского и Салтыкова-Щедрина.

Доктор ист. наук, проф. В. А. Китаев (Волгоград) в докладе «О месте славянофильства в истории русской общественной мысли XIX века» критически проанализировал литературу о славянофильстве, появившуюся после дискуссии о литературной критике ранних славянофилов в журнале «Вопросы литературы» (1969 год). Отмечая, что в исследованиях последних лет все более заявляет о себе тенденция к сближению славянофильства с либерализмом, В. А. Китаев высказывается в пользу дуалистического подхода в истолковании природы славянофильского учения. С его точки зрения, в славянофильстве наряду с либеральной линией присутствовала и вторая, консервативно-утопическая, причем их соотношение менялось под влиянием исторических условий 40—60-х годов XIX века. В случае с славянофильством ошибочно было бы довольствоваться констатацией объективно либерального смысла того антикрепостнического и антибюрократического пафоса, который пронизывает его теорию и практику. Не менее важно определить меру субъективной приверженности отдельных представителей славянофильского направления буржуазному порядку.

В докладе канд. филол. наук, доц. В. Н. Коналова (Казань) «Типология писательской критики» основной задачей было обоснование специфики писательской критики. По мнению докладчика, ее нельзя отождествлять с литературно-критической деятельностью писателей вообще, так как многие статьи писателей («Напрасные опасения» Щедрина, «Г-бов и вопрос об искусстве» Достоевского) — образцы не писательской, а профессиональной критики. Писательская же критика, будучи одной из форм критики в целом, отличается от профессиональной тем, что среди ее основных функций — тео-

ретическое осознание писателем своего творчества и своего пути в литературе. Этим обусловлены жанры писательской критики (например, автокритика), способы аргументации, стиль, тесная связь с идейно-художественной системой творчества писателя. Эти тезисы обосновывались на материале русской писательской критики XIX века.

В своем докладе «Трагедия Ильи Рамзина (по роману Ю. Бондарева „Выбор“»)» канд. филол. наук, доц. В. В. Компанец (Волгоград) акцентировал внимание на исторической основе событий, определивших характер и судьбу бондаревского героя. Писатель, считает докладчик, решает одну из наиболее болезненных проблем современности — культ личности и его последствия — нетрадиционно, ставя в центр изображения не трагедии самих репрессированных, а изломанные, исковерканные судьбы их детей. Повышенное стремление Рамзина к самоутверждению, выразившееся в установке на активную тренировку физической силы и одновременное игнорирование проявлений человеческого сердца, постепенно трансформировалось в эгоцентризм, обусловивший сложные жизненные коллизии персонажа, и прежде всего потерю Родины. В. В. Компанец, сравнивая Илью Рамзина с шолоховским Григорием Мелеховым, обратил внимание на принципиально различное решение трагического в романах. Если Григорий Мелехов переживает *великую трагедию*, ибо до конца сохраняет веру в добро и справедливость, то неверие, отчаяние, нигилизм, пантрагическое мировосприятие нравственно разоружают Рамзина, приводят его к бесконечным разговорам о бренности бытия и напрасности позитивного человеческого деяния, а это уже не трагедия, а *атрагедия, трагедия наизнанку*. Однако авторское отношение к персонажу остается сложным: автор, как и самый близкий ему герой Васильев, не может принять Илью таким, каким он предстает в конце повествования. И вместе с тем в произведении нет однозначного осуждения Рамзина, чей путь явился результатом сложного взаимодействия индивидуально-неповторимых качеств героя и осложнивших его судьбу неожиданных роковых обстоятельств. В романе звучит боль за человека больших, но нереализованных возможностей.

С докладом «Реальная действительность 60-х годов — основа фантастического финала „Истории одного города“ Салтыкова-Щедрина» выступила канд. филол. наук, доц. З. Т. Прокopenko (Белгород). Аспирант Гадиача Демба (Иваново) сделал сообщение «Проблема возрождения человека в видении и изображении Н. А. Некрасова (по страницам лирики 60—70-х годов)».

Ю. Н. Ковалева

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИРИКА ПУШКИНА»

В Москве 5—6 декабря 1989 года ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом) и Пушкинской комиссией АН СССР совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина была проведена научная конференция «Лирика Пушкина. Опыт комментария». В ней приняли участие исследователи из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Калининна, Краснодара, Коломны, Горького, Риги. Был заслушан 21 доклад. В докладах представлены опыты историко-литературного и культурологического комментария стихотворений Пушкина, дан текстологический анализ, предложены некоторые новые интерпретации текстов.

Конференция открылась докладом С. К. Романюка (Москва), который обнаружил новый автограф А. С. Пушкина, найденный в Лондонском архиве. Подписной автограф относится к 1830-м годам и представляет собой часть послания «К Жуковскому» (1818) — шесть заключительных стихов, с некоторыми разночтениями по сравнению с известным текстом. Автограф находится в коллекции леди Сары Джерси, ее собрание создавалось в 10—40-е годы XIX века. Салон леди Джерси, друга Байрона, был одним из известных центров общественно-политической и литературной жизни Лондона.

В. М. Файбисович (Ленинград) переосмыслил привычные представления о стихотворении «Лицинию», согласно которым здесь сопоставляется Рим при Ветулии и Россия при Аракееве. Введя пушкинские строки в широкий историко-литературный контекст второй половины XVIII—начала XIX века, докладчик показал, что нарисованная поэтом картина нравственного упадка римлян вполне традиционна. Трудно допустить, что пятнадцатилетний Пушкин уподобил гибнущему Риму Россию, пережившую национальный подъем в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Гибель Рима, предреченная в последней строфе пушкинского послания, должна проецироваться на крушение другой всемирной империи — империи Наполеона. Эта строфа, по мнению В. М. Файбисовича, могла быть приурочена к первой годовщине вступления русских войск в Париж.

Канд. филол. наук И. С. Чистова (Ленинград) предложила вниманию аудитории опыт текстологического и историко-литературного комментария к фрагментарному и потому недостаточно ясному в смысловом отношении тексту, публикуемому в собраниях сочинений Пушкина под заглавием «Нозль на лейб-гусарский полк». Обнаруженные исследовательницей архивные материалы позволили ей внести в текст «Нозля...» ряд существенных поправок. Прочтение «Нозля...» в историко-бытовом контексте эпохи показало, что есть серьезные основания говорить об определенной политической направленности стихотворения, выводящей его

из круга гусарских «домашних» стихов типа «национальных» лицейских песен.

Доклад доктора филол. наук Ю. Н. Чумакова (Новосибирск) содержал указание на возможный источник послания «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»). Им является послание Жуковского «Добрый совет» (1814), посвященное В. А. Азбукину и открывающееся лирической формулой «Любовь, надежда и терпенье». Послание напечатано во второй части «Стихотворений Василия Жуковского» (1816). Сходство и столкновение мотивов, черты тематической композиции, полемическая замена «терпенья» на «тихую славу» заставляют думать, что известнейшее послание Пушкина имеет двойную адресованность: прямую и явную — Чаадаеву и косвенную, теневую — Жуковскому. Обогатившись новым смысловым фоном, стихотворение оспаривает безоглядной верой в крушение самовластья не только скептицизм Чаадаева, но и резиняцию Жуковского.

В докладе, посвященном стихотворению «Возрождение», В. Д. Берестов (Москва) дал анализ пушкинских текстов в связи с мотивами и образами, возникающими как воспоминания Пушкина о детстве.

В докладе канд. филол. наук О. С. Муравевой (Ленинград) «Эпиграмма Пушкина „Все пленяет нас в Эсфири“» были рассмотрены вопросы текста, датировки и интерпретации стихотворения. Анализ источников позволяет уточнить текст, а изучение истории создания — существенно уточнить датировку. Все это дает возможность яснее очертить тот контекст (как событийный, так и психологический), в котором раскрывается смысл этой пушкинской эпиграммы.

Доктор филол. наук С. А. Фомичев (Ленинград) в своем докладе доказал, что эпиграмма «Певец Давид был ростом мал...», в противовес традиционному мнению, не имеет никакого отношения к графу М. С. Воронцову. Текст ее следует существенно уточнить (здесь, в частности, нет упоминания «генерала»). В стихотворении предвосхищался поединок поэта с графом Ф. И. Толстым-Американцем, опытным бретером и чрезвычайно опасным соперником. Написана эпиграмма около (до) 1 сентября 1822 года.

В центре доклада канд. филол. наук А. А. Смирнова (Москва) был анализ романтической образности стихотворения «Фонтану Бахчисарайского дворца». В нем отмечалась особенность дуэльности стихотворения: внутреннее лирическое движение от образов жизни — «фонтан живой, ключ отрадный» — к образу печали, забвения — «хладная роса», «бледное светило гарема». Образ фонтана выполняет функцию посредника в процессе перехода от реальной действительности к душевной жизни поэта. За иллюзией, прекрасным видением со-

храняется статус высшей ценности, благодаря чему лирическое я достигает состояния поэтического восторга. Образ бегущей воды, одинаково полно и всесторонне охватывающий прерывность реального или воображаемого процесса, благодаря своей емкости получил распространение в творчестве Пушкина и в европейской лирике.

В докладе канд. филол. наук С. А. Кибальника (Ленинград) была предпринята попытка объяснить смысл аллегии, на которой построено стихотворение «Виноград». На широком историко-литературном материале докладчик показал, что виноград был устойчивой метафорой для обозначения поздней красоты возлюбленной. Поэтическая мысль стихотворения, таким образом, заключается в предпочтении зрелой красоты красоте юной, рано отцветающей. По мнению С. А. Кибальника, в автобиографической основе тонкой аллегии пьесы лежат отношения с А. Н. Вульф. Пушкин познакомился с ней, когда ей было семнадцать лет, позднее общался в Тригорском, но любовная связь с ней возникла только осенью 1824 года. Подтверждение этому — та же тема в написанном через несколько месяцев стихотворении «Я был свидетелем златой твоей весны», которое явно было обращено к А. Н. Вульф. Следовательно, центральная тема «Винограда» не тема жизненной зрелости, сменяющей быстро уходящую молодость, как полагал А. Л. Слонимский. Нельзя толковать пьесу и как раннее осмысление роли именно Михайловской осени (И. С. Брагинский).

В докладе канд. филол. наук М. В. Строганова (Калинин) рассмотрено соотношение финала «Пророка» и четверостишия «Восстань, восстань, пророк России...». Анализ писем Пушкина 1824—1826 годов убеждает в актуальности темы пророка для поэта, причем образ пророка очень часто связывался с образом юродивого. Интерес к юродивым XVI—XVII веков объясняется работой Пушкина над «Борисом Годуновым», где изображен юродивый Никола. «Пророк России» в четверостишии — это тоже юродивый, что объясняет такие его атрибуты, как «позорны ризы» и «вервие на вые» — знак пророческого, юродивого служения, а вовсе не веревка повешенного, как это обычно толкуется. Прояснение этих атрибутов помогает понять художественную целесообразность строения четверостишия, что позволяет считать строки «Восстань, восстань, пророк России...» первоначальным вариантом финала «Пророка», хотя и дублиальным по тексту (термин М. Л. Горшман), так как он сохранился только в памяти современников.

В докладе М. И. Фейнберг (Москва) о стихотворении «Талисман» («Там, где море вечно плещет») говорилось о том, что это стихотворение не является любовным, прямо обращенным к Е. К. Воронцовой (как считала Т. Г. Цявловская). Условный характер стихотворения, пейзаж, напоминающий оперный задник, подражание восточной поэзии и музыке скорее говорят о том, что «Талисман» — песня, подобная встав-

ной песне в поэме «Бахчисарайский фонтан». Подлинные любовные стихотворения Пушкина лишены какой-либо условной стилизации. «Талисман» рассмотрен в докладе в ряду таких песен, как «В крови горит огонь желаний» (переложение «Песни песней») и «Не пой, красавица, при мне», написанной на грузинскую мелодию.

В докладе доктора филол. наук Н. И. Михайловой (Москва) о стихотворении «Друзьям» («Нет, я не льстец») выявлена цитата из стихотворения Державина «Лебедь»: у Пушкина — «языком сердца говорю», у Державина — «языком сердца говорил». Отмечено, что данная цитата влекла за собой идейно-образную систему державинского текста, мир державинской поэзии, образ самого Державина — поэта-гражданина, государственного деятеля, борца за правду. Державинский мотив бессмертия поэта, заявленная Державиным позиция независимости от власти, конфликт Державина с царями и вельможами, нашедший выражение в его поэзии, — все это определенным образом преломилось в пушкинском стихотворении «Друзьям».

Канд. филол. наук Л. А. Степанов (Краснодар) в своем докладе сопоставил «Послание Великопольскому» (1828) с «Сатирой на игроков» и другими произведениями И. Е. Великопольского. Мотивы и образы стихотворений Великопольского переведены Пушкиным в план обобщающей характеристики (Арист, Дамон). В послании нарисован иронический образ автора «Сатиры» как своего рода идеального героя, который во второй части послания снижается, переходя в образ «проказника», и созданная Великопольским двухъярусная система отношений автор — игроки приравнивается к линейному соотношению, уравнивающему автора сатиры с ее объектом — игроками. Эта формула «поэт — игрок», общая для всех трех стихотворений Пушкина, адресованных Великопольскому, имеет в каждом свою смысловую модификацию. Взятые вместе, стихи образуют большой, растянутый во времени эпиграмматический пассаж. А вместе с ответными посланиями и эпиграммами Великопольского пушкинские стихотворения и письма складываются в диалогическую структуру.

Доклад А. С. Кручининой (Ленинград) был посвящен стихотворению «Ворон к ворону летит», традиционно считавшемуся переводом-перделкой шотландской народной баллады из сборника В. Скотта. Однако не менее важный источник — русская протяжная песня о гибели молодца «Горы Воробьевские», с которой Пушкин был знаком и по сборникам, сохранившимся в его библиотеке, и по живому исполнению. В результате воздействия близкого по сюжету русского источника оказалась почти полностью переработанной образная система шотландской баллады.

Доктор филол. наук Г. В. Краснов (Колмна) сравнил стихотворение «Опять увенчаны мы славой...» с другими откликами на события русско-турецкой войны 1828—1829 годов и

Адрианопольский мир: стихами А. С. Хомякова, Н. М. Языкова, Ф. И. Тютчева и др., письмами А. С. Грибоедова к Ф. В. Булгарину, А. А. Бестужева-Марлинского к своим братьям. У каждого автора свой угол зрения, не совпадающий с официальными версиями. Стихотворение Пушкина «Опять увенчаны мы славой...» непосредственно не связано с другим — «Восстань, о Греция, восстань», как считали Т. Г. Цявловская, Н. В. Измайлов (в противовес мнениям Б. В. Томашевского, Б. И. Бурсова). У этих набросков разные темы и поэтический стиль. Стилистика первой строфы «Опять увенчаны мы славой...» обусловлена поэтикой «Олегова шита», «Из Гафиза» и др. Арзрум для поэта — символ победы, противоборства с Османской империей, кульминация войны. Вторая строфа стихотворения перекликается с рассуждением Пушкина в первой главе «Путешествия в Арзрум».

Канд. филол. наук Д. И. Белкин (Горький) посвятил доклад шестистрочной шутке Пушкина «Глухой глухого звал к суду судьи глухого», записанной в Болдине на одной из страниц «Опыта отражения некоторых нелитературных обвинений». Хотя источник этой стихотворной шутки посвящено несколько заметок как дореволюционных, так и советских авторов, нашедших параллели на латинском, французском, немецком и греческом языках, однако доказательств, что Пушкин держал в руках названные издания, в этих заметках не приводится. Д. И. Белкин указал, что источник шутки следует искать в индийской сказке «Глухие» (Литературная газета. 1830. № 13), переведенной с английского В. Ф. Одоевским. Еще одна индийская сказка «Тени праотцов» в переводе Одоевского опубликована тоже в «Литературной газете» (1830. № 11).

В докладе канд. филол. наук Л. В. Спроге и доктора филол. наук Л. С. Сидякова (Рига) была прослежена судьба «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» в поэзии конца XIX—начала XX века. Рассмотрев стихотворение В. Брюсова «Парки бабье лепетанье» (1918), отталкивающееся от образов «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», авторы обнаруживают сложные ассоциации, объединяющие Брюсова с другими поэтами, варьирующими пушкинский образ Парки и «жизни мышшей беготни». Мифологизация комплекса образов пушкинского текста отличается близкие по семантике мотивы символистских произведений. Множественность смысловых вариаций, восходящих к образам «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы», вообще характерна для русской поэзии конца XIX—начала XX века, и учет этого обстоятельства важен для комментирования пушкинского текста.

В первом разделе доклада доктора филол. наук Л. С. Сидякова о стихотворении «Герой» показано соотношение этого стихотворения с соответствующим контекстом «мемуаров Бурьенна» (мистифицированных воспоминаний бывшего секретаря Наполеона), которые на-

званы в примечании к стихотворению. Возникающий при этом контраст мог иметь в виду Пушкин, отсылая читателей к книге Бурьенна. Во втором разделе характеризуется литературный фон пушкинского стихотворения — произведение, посвященное приезду Николая I в холерную Москву. В отличие от других поэтических откликов на это событие, даже наиболее значительного из них — стихотворения «Высокопреосвященному Филарету» И. И. Козлова, связь которого с конкретными обстоятельствами была утрачена комментаторами, пушкинскому «Герою» присуща смысловая неоднозначность. Его сложное содержание основано на единстве конкретно-исторического и философско-исторического факторов.

Канд. филол. наук А. В. Кулагин (Коломна) обратился к творческой истории наброска «Шумит кустарник... На утес...» (1830). Соглашаясь с Д. П. Якубовичем в том, что набросок возник как попытка перевода фрагмента поэмы В. Скотта «Дева озера», докладчик попытался объяснить появление по ходу работы в тексте слов «днепровские берега». Оно обусловлено, во-первых, интересом Пушкина (как и многих других писателей той поры) к украинской теме (замысел истории Украины и т. д.), а во-вторых, его намерением поехать на Украину, в Полтаву (кстати, в наброске есть ассоциации с поэмой «Полтава»), где жил Александр Раевский и куда собирался приехать Николай Раевский. В начале 1830 года поэт много размышляет об опальной семье Раевских (хлопоты о пенсии вдове генерала, отклик на посвященную ему «Некрологию...»), воспоминания о которой были связаны для него с Украиной, с Днепром (путешествие 1820). Упоминание украинской реалии и все стоящее за ним вводили поэта от произведения В. Скотта. Видимо, этим наслоением и обусловлена незавершенность наброска.

О. Л. Довгий (Москва) сделала доклад, посвященный стихотворению «Не дай мне Бог сойти с ума», по ее словам, одному из самых загадочных, вызывающих разнообразие толкования. Суждения об идее и дате написания его, как правило, базируются на анализе соотношения жизни и контекста творчества поэта. В докладе делается попытка привлечь к этому анализу круг чтения Пушкина. Автор склоняется к точке зрения М. П. Алексева о том, что в основе стихотворения лежит реальное событие: посещение Пушкиным душевнобольного Батюшкова 3 апреля 1830 года, и считает, что на впечатления от начального события наложились впечатления от чтения произведений Барри Корнуолла, особенно интенсивного в Болдинскую осень 1830 года. В докладе со стихотворением Пушкина сопоставляются поэмы Корнуолла, в которых развивается тема безумия. Таким образом, соединение реального и литературного источников и могло дать импульс к написанию стихотворения. Может быть, есть смысл датировать его 1830 годом (см. различные темы безумия в других болдинских произведениях 1830 года: «Бесах», «Стихах,

сочиненных ночью во время бессонницы», намеки на эту тему в «Маленьких трагедиях».

Доклад В. С. Непомнящего (Москва) был посвящен стихотворению «Отцы пустынноики и жены непорочны». Известно, что традиция стихотворного переложения ветхозаветных псалмов Давида была ко времени Пушкина достаточно прочной. Пушкинское стихотворение — редкий, если не единственный, пример поэтического переложения православной молитвы. Уже одно это говорит о некоей особой роли в духовной жизни Пушкина великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина. В. С. Непомнящий напомнил основные вехи ее бытования в пушкинском сознании (письмо к Дельвигу от 23.3.21 — финал «Гавриилиады», 1821, — «Отцы пустынноики и жены непорочны») и произвел подробный сопоставительный анализ. Он показал, что как совпадения текста с оригиналом, так и отступления от него продиктованы сознанием величайшей значительности и острой личной актуальности молитвенных прошений христианских подвижников IV века н. э. для Пушкина 1836 года.

Анализ отступлений от буквы оригинала обратил докладчика к другому священному тексту — 50 (покаянному) псалму (см. черновой вариант строфы 226 главы второй «Евгения Онегина»). Дух псалма присутствует и в «Пророке», 1826, и в «Воспоминании», 1828, а также воздействует на переложение молитвы Ефрема Сирина. На таком фоне проясняются внутренние связи стихотворений «Пророк», «Воспоминание» и «Памятник» («жало мудрость змеи» — «змеи сердечной угрызенья» — «любоначалия змеи сокрытой»), а также эпитета «падший» («и падшего крепит неведомою силой» — «и милость к падшим призывал»). От «Пророка», по мнению докладчика, идут две линии: одна к «Памятнику» («душа в заветной лире», поэтическая миссия Пушкина), другая к стихотворению «Отцы пустынноики и жены непорочны» (личная судьба души).

Состоялось обсуждение докладов. Предложенные в них наблюдения и выводы будут учтены при подготовке нового академического издания собрания сочинений Пушкина.

Е. А. Пономарева

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

15 марта 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака.

Во вступительном слове зам. директора Института русской литературы, канд. филол. наук А. Ф. Лапченко отметил близость и созвучие творчества Б. Пастернака нам, нашему времени. Духовное наследие его по-настоящему начинает входить в общественное эстетическое сознание только в последние годы — благодаря происходящим в стране переменам, а теперь и 100-летию юбилею художника. Важной вехой здесь стала публикация «Доктора Живаго», из противоречивых оценок которого пока бесспорно одно — это роман автобиографический, роман поэта о себе. Опыт главного героя — это опыт самого Б. Пастернака, человека, свободного от какой-либо доктрины, независимого по отношению к официальному мнению, превыше всего ценившего просто жизнь, само по себе человеческое существование, хранившего верность только жизни и своему искусству. Теперь пришло его время, и все, связанное с ним, имеет всеобщий интерес, становится общим делом.

С докладом «Две стихии романа „Доктор Живаго“: проза и стихи» выступил доктор филол. наук А. И. Павловский. Он отметил, что Б. Л. Пастернак — это художник, изначально, генетически совмещающий в себе и

прозу жизни и ее поэзию как единую, нераздельную жизненную и космическую стихию-гармонию. Весь мир для него существовал, двигался, сверкал, радовался и жил именно в этом качестве: высшая гармония, не всегда видная людям, пронизывала клубящуюся стихию бытия, подчиняя ее оцеловеченному разуму и божественному инстинкту. Признавая единовременность и необходимость для существования и равновесия мира стихии и гармонии, Б. Пастернак в такой же мере был убежден, что нет и не может быть изолированных друг от друга, отдельно существующих так называемой прозы и так называемых стихов. Однако, как ни странно, сам он был прежде всего прозаиком, ибо как художник и как мыслитель захватывал те территориальные владения, которые традиционно принадлежат прозе, т. е. действительность в ее немисливо разнообразной, очень материально плотной, шероховатой, грубой, персполненной подробностями сути. Его жажда все запечатлеть, остановить все мгновения обнаруживает в нем человека более готового к той развернутой, разветвленной повествовательности, которая в нашем сознании прежде всего связывается с прозой.

Стихи доктора Живаго, оставшиеся после его смерти, казалось, почти ничего не добавляют ни к фабуле романа, ни к фабуле его жизни, они представляются с точки зрения традиционного романиста совершенно излиш-

ними. Но Б. Пастернак не традиционный романист. Добавив к роману главу со стихами умершего своего персонажа, он имел в виду внутреннюю фабулу его души — те внутренние эмоциональные, мировоззренческие толчки и импульсы, что далеко не всегда бывают видны на поверхности жизни, загроможденной событиями и частностями, пусть даже событиями великими, трагическими, а частностями крошечными. При этом нельзя забывать, что эти стихи написал Б. Пастернак не только о Живаго, но и о себе — о толчках, переломах, импульсах и драмах своей собственной души. Начиная со стихотворения «Гамлет», которое открывает тетрадь Живаго, и кончая «Гесиманским садом», в центре которого евангельский эпизод с молением о чаше, — все это духовные, философские и историко-философские размышления Б. Пастернака. Вполне возможно, что Пастернак, выделяя свою последнюю главу, насыщенную философским содержанием, брал пример — сознательно или нет — со Льва Толстого как автора «Войны и мира», где последняя глава тоже выделена из романа, отделена от него в качестве окончательного авторского резюме, авторского суда.

Канд. филол. наук Г. В. Филиппов в докладе «Натурфилософский аспект поэзии Б. Л. Пастернака» показал, что суть художнической философии настоящего мастера слова — в специфике его образного мышления. Общезнакомое содержание поэзии Б. Пастернака нельзя выявить, исходя напрямую из тех или иных собственно философских концепций. Важнейшую роль здесь играет осознанный выбор творческой позиции, которую сам Б. Пастернак определил как «неромантическую», т. е. отрицающую антиномию «возвышенного» и «низменного» и устанавливающую равновесие всего живого. В натурфилософском плане Б. Л. Пастернак утверждает равенство между коллизиями «человек и природа» и «человек и история»: история природна, а природа исторична. В то же время в поэтическом мире Б. Пастернака природа не является объектом авторского одушевления, а живет своей автономной жизнью. Ключ к постижению пастернаковской «модели мира» — изучение поэтики этого художника. Принимая во внимание разнообразие обозначения ее специфики (А. Синявским, А. Гладковым, Д. Лихачевым, Н. Вильмонтом и др.), автор доклада считает наиболее существенным определение Р. Якобсона, согласно которому у Б. Пастернака властвует «система метонимий, а не метафор», т. е. «ассоциации идут не по сходству, а по смежности». Правда, толковать это положение надо очень широко, не отрицая метафоричность и не сводя содержание к частному формальному приему. Перед нами смежность бытия и быта, пространства и времени, отвлеченного и чувственного. Человек и природа тоже даются по смежности как равноправные участники бытийного действия. Объединяющим эту «смежность» является духовная сущность мироздания. Эту особенность Н. Вильмонт определил как

«христоцентризм» и «геоцентризм». Решительно отвергая идею диалектики добра и зла, Б. Пастернак придерживается преимущественно не натурфилософских воззрений, а нравственно-религиозных. И субъективность личностного бытия для него — проявление родовой субъективности, что и позволяет отнести его к поэтам философского типа мышления. А таковым свойственна главная, универсальная метафора, ключевой художественный образ. Попытки локально его обозначить применительно к Б. Пастернаку не дают результата (и снег, и гроза, и сад, и свеча, и т. д. оказываются равноправными), ибо образ этот — сама жизнь в ее детальных проявлениях — от первой зрелой книги стихов «Сестра моя — жизнь» до романа «Доктор Живаго».

Доклад канд. филол. наук А. М. Любомудрова «Борис Зайцев о Борисе Пастернаке» был посвящен истории взаимоотношений Б. Пастернака и Б. К. Зайцева, недолгое знакомство которых в начале 1920-х годов возобновилось благодаря переписке в 1950-х годах и перешло затем в прочную, хотя и заочную, дружбу. Докладчик рассказал о том, как дважды в трудные моменты жизненного пути Б. Пастернака — в 1922 и 1959 годах — он получал от Б. Зайцева моральную поддержку. А. М. Любомудров обратил внимание на близость мировоззренческих принципов двух художников: оба открывают в своих произведениях скрытую в конкретных явлениях высшую, трансцендентную реальность, в творчестве их центральное место занимает идея жизни как жертвы, идея принятия страдания как пути к очищению и преобразованию человеческой души. Оба писателя вскрывают губительность всякого насилия над жизнью, губительность абстрактных идеологических схем и, в русле традиций классической литературы, призывают к внутреннему переждению человека через любовь и сострадание. Высшая Любовь признается ими основой жизни. В многочисленных очерках и заметках Б. Зайцева о Б. Пастернаке раскрывается путь художника от увлечения модернизмом — через духовный перелом 1940-х годов — к прозрачной простоте и ясности, а в мировоззренческом плане — к истине Христовой, к признанию человека «образом Божиим» и глубокому собственному смирению. В докладе процитировано, в частности, письмо Б. Пастернака к дочери Б. Зайцева Н. Б. Соллогуб от 29 июля 1959 года, где проступает исключительная в советской литературе по глубине и силе покаяния оценка поэтом своего раннего творчества и всего жизненного пути.

Канд. филол. наук В. Н. Альфонсов в своем выступлении подверг критике исследовательские подходы к творчеству Б. Пастернака прошлых лет. Им, по мнению докладчика, свойственна робость, растерянность перед «неясными» местами творчества художника, неумение выйти на широкие обобщения. Но дело тут упирается и в сложность поэзии самого Б. Пастернака, и в кажущуюся ее запуганность. Так, сложилось ложное убеждение, что Б. Л. Пастернак

до 1940 года требует какого-то особого восприятия его стихов. Вряд ли плодотворными являются и попытки противопоставлять позднего Пастернака раннему. Б. Пастернак един! В критике настораживает устоявшийся и сомнительный инструментарий при анализе «непоятных» стихов. Удивительно, что почти нет разбора целых стихотворений Б. Л. Пастернака, мастерство его иллюстрируется отдельными образами, строфами, строками. Неточно трактуется, в частности, «Спекторский». Ключевым является вопрос о метафоризме Б. Пастернака. Сложность здесь представляет непредсказуемость метафор поэта, которые подчас непредсказуемы и для самого автора. Коснувшись романа «Доктор Живаго», докладчик выделил в его структуре два трактования истории. Одна ее ипостась — событийная, в центре другой — личность, творец, человек, который вовсе не «звучит гордо». Самое удивительное в Б. Пастернаке то, что все в его поэзии соткано из реалий бытия, и любая ценность у него существует при наличии связи с прочей жизнью во всей ее полноте.

Канд. филол. наук А. И. Михайлов в своем докладе «Б. Л. Пастернак и Н. А. Клюев» остановился на сходстве и различии двух поэтов. Они разные по социальному происхождению, представители разных пластов культуры, выразители разных художественных мирозерцаний. Но оба принадлежат к одной и той же эпохе, были пленниками и жертвами одного и того же политического режима. Н. Клюев после длительного периода травмы был уничтожен физически; Б. Пастернак отделался только травлей, правда, тяжелой, несомненно сократившей его жизнь. В докладе были приведены малоизвестные материалы из переписки Б. Пастернака и Н. Клюева 30-х годов.

Сложной является проблема соотношения творчества двух художников. У Н. Клюева поэзия проникнута религиозным сознанием; в поэзии Б. Пастернака такой последовательности и цельности в выражении религиозного сознания мы не найдем. Значительный этап его творческого пути (с 1910-х до середины 1940-х годов) вполне безрелигиозен. Чтобы он осознал христианские идеи как живое, насущное начало жизни, нужно было и историческое созревание общества, когда многое неявное стало явным, и, несомненно, собственная внутренняя эволюция. Выход из общественного тупика Б. Пастернак находит в христианстве — личном, для себя; с присущей ему деликатностью поэт никому своих взглядов не навязывал. Это совпадало и с творческой эволюцией поэта — происходило опрощение его сложной образной системы, осуществлялась демократизация целостного мировосприятия. Поэзия Н. Клюева — это как бы реализация основной христианской идеи: мир несовершенен, он лежит во зле и страдании, его еще ждет преображение. И поэты, и пророки — это как раз те люди, которые силой своего творческого духа участвуют уже сейчас в процессе этого преображения. В поэзии Б. Пастернака все по-другому:

он останавливается в том мире, через который пробивается к миру потустороннему Н. Клюев, т. е. в самой реальной, земной действительности. Поэзия Н. Клюева исключительно мистична, ее субъект созерцает и горний, и преисподний миры, и ад, и рай, и бога, и демонов. Такое близкое, яркое видение мира сокровенного, божественного в момент духовного общения с богом (например, в молитве) осуждается христианской догмой. Христианская поэзия Б. Пастернака не мистична и целомудренно умалчивает об откровениях потустороннего мира. Христианские сюжеты у Б. Пастернака исключительно эпичны, осуществляются в самой действительности. Если Н. Клюев в этих сюжетах участвует сам, то Б. Пастернак изображает их со стороны с большой любовью и бережностью. Для него это мир литературный, как скажем, картины средневековых художников на соответствующие темы. В целом же можно сказать, что христианское мирозерцание у Б. Пастернака, в противоположность пророческому у Н. Клюева, носило интимно-личный характер и находило в его поэзии весьма целомудренное, вполне цельное, без грез, фантазий и утопий воплощение.

С сообщением «„Доктор Живаго“ Б. Пастернака и „Заблудившийся трамвай“ Н. Гумилева. Опыт сопоставительного анализа» выступил стажер С. Л. Слободнюк. Трактовки образа движущегося по рельсам вагона, а также самой железной дороги в «Докторе Живаго» и «Заблудившемся трамвае», отметил он, при всей внешней схожести эмоционального настроения, а также связанного с «вагоном» сюжета, практически антагонистичны. Если у Б. Пастернака Живаго погружен в фантазмагорию «вагонного бытия» (встреча с говорящим немым из Зыбушинской республики, беседа со Стрельниковым), то видения пассажира «Заблудившегося трамвая» проносятся за окном, вне трамвая. У Н. Гумилева фигуры, возникающие перед героем, либо сами мертвы, либо несут гибель конкретно ему; у Б. Пастернака убитый Гинц несет гибель Памфилю, восставший из мертвых Стрельников сеет смерть, оживший после расстрела Тереша — злой рок Стрельникова. Кроме того, «заблудившийся трамвай» трамваем и остается, в романе же происходит своеобразная эволюция — скорый поезд становится трамваем, причем при этом сохраняется одно непременно качество: выход из вагона — это смерть. У Б. Пастернака — трагедия остановки движения, у Н. Гумилева — трагедия невозможности сделать это: наличие противоположная направленность «Доктора Живаго» и «Заблудившегося трамвая», что опровергает, например, выводы Луи Аллена о продолжении Б. Пастернаком полемико-пародийной линии Н. Гумилева в осмыслении «тройки» Гоголя. Автор романа скорее продолжатель традиций Н. Некрасова и А. Блока. Этот тезис подтверждается в какой-то мере и самой смертью Юрия Живаго. Антагонизм А. Блока и Н. Гумилева, их творчества, их судеб, скорее всего, неосознанно, интуитивно был спроецирован Б. Пастернаком на трагедию

Юрия Живаго, русского поэта и интеллигента. Доктор филол. наук В. А. Шошин выступил с докладом «Заболоцкий, Тихонов, Пастернак и Грузия». В критике 30-х годов, сказал он, отмечалось, что по-настоящему за переводы поэтов советской Грузии взялись лишь Пастернак и Тихонов. К ним следует добавить и Н. А. Заболоцкого с его подвигом перевода Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важи Пшавелы, Григола Орбелиани. Грузия поразила русских поэтов романтической историей, красотой долин и гор, простотой и естественностью человеческих отношений — может быть, именно этого им недоставало дома в 30-е годы? Слово от экзотического преклонения перед гением всех времен и народов хотелось отдохнуть душой перед лицом неподдельной первозданности. Б. Пастернака критиковали за то, что в цикле «Волны» он противопоставляет мир природы и мир социальной жизни — не в пользу последнего. Ценители поэзии Б. Пастернака, стремясь уберечь его от критики, протестовали, говорили, что такого противопоставления, тем более предпочтения, и не думал выразить поэт. А что, если как раз правы были на этот раз критики? Уход от действительности — а что же еще оставалось делать художнику в те тяжкие годы? При этом Грузия играла объединяющую роль, учила постижению духовного опыта другого народа. Так, например, поэт русской души и русской темы Н. Заболоцкий вместе с тем считал себя учеником Шота Руставели и Давида Гурамишвили. Погружение Б. Пастернака в стихию Важи Пшавелы, а через него в стихию грузинского фольклора дадо поэту не только новые образы, но и новые ноты мировоззрения. Грузия становилась второй родиной души, перевод становился формой ее существования. Грузия родила русских поэтов и через Тициана Табидзе. Н. А. Тихонов произнес вступительную речь на творческом вечере Т. Табидзе в Ленинграде, который оказался едва ли не последним вообще творческим вечером грузинского писателя. Б. Пастернак сказал о Тициане Табидзе: «Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес сказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. . .» Заслуживают внимания и переводы Б. Пастернаком Н. Бараташвили. Здесь личные переживания, введенные в контекст социально-философской жизни Грузии первой половины прошлого века, входили в контекст века двадцатого, и только догадываться можно, где кончается Бараташвили, а где начинается Пастернак. В 1937 году Т. Табидзе и П. Яшвили стали первыми и, может быть, самыми большими жертвами в грузинской литературе. Арест Тициана Борис Леонидович воспринял как большую личную трагедию, послал Нине Табидзе телеграмму: «У меня вырезали сердце».

Конечно, не следует теперь подновлять историю. Умнейшие люди не могли тогда понять, что же происходит вокруг. М. Булгаков писал пьесу о И. Сталине. 1 января 1936 года

Пастернак выступил в «Известиях» с двумя стихотворениями, где были строки: «. . . Не человек — деянье, поступок ростом с шар земной». С этих пастернаковских строк в «Известиях» началась традиция восхваления поэтами Сталина. В конце 30-х годов Н. С. Тихонов переводит эпопею Г. Леонидзе «Сталин». Н. А. Заболоцкий пишет в 1936 году «Горийскую симфонию», посвящая ее Гори как «родине И. В. Сталина» и потому «центру земли». Между тем карающий меч нависал над всеми. В 1938 году Н. А. Заболоцкий был арестован. Предполагался арест и Н. С. Тихонова, которого НКВД намеревался изобразить главой контрреволюционной писательской организации в Ленинграде. Литературоведы говорят о состоянии внутренней эмиграции Б. Пастернака. В конце 40-х годов Н. Заболоцкий и Н. Тихонов вновь обратились в своих стихах к Грузии. Трудно, но необходимо сквозь пожар междоусобиц разглядеть все сложности тех времен, без искажений, верно и полно.

В докладе ст. редактора издательства «Советский писатель» («Библиотека поэта») Д. М. Климовой говорилось об опыте работы над подготовкой ряда поэтических сборников Б. Л. Пастернака и нерешенных вопросах текстологии.*

Канд. филол. наук В. В. Базанов в докладе «Октябрьская революция в творческой биографии Б. Пастернака», обратив внимание на противоречивые интерпретации темы Октябрьской революции в современной публицистике, говорил о том, что мучительными были и размышления писателей 20—30-х годов о судьбах пролетарской революции в России: «Есть ли наша революция звено мировой культуры или же это наша болезнь?» (М. Пришвин); «Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире» (Н. Клюев) и др. Сегодня история побуждает с особой остротой всматриваться в эпоху Октября, в связи с этим новым смыслом наполняется и тема Октября в творческой биографии художников слова. Вопрос этот обострил интерес к тем произведениям, которые либо непосредственно порождены революционными событиями, либо посвящены их осмыслению. В этом плане Б. Пастернак и его творчество, по мнению докладчика, занимают совершенно особое, во многом необычное место в истории советской литературы. Об этом, помимо прочего, свидетельствует даже сама история публикации многих произведений поэта, нередко с большим трудом находивших дорогу к читателю. В полной мере подтверждает это судьба написанной летом 1917 года книги стихов «Сестра моя — жизнь». Хотя сам Б. Пастернак и не сомневался в том, что книга эта «революционная в лучшем смысле этого слова», многократные попытки ее издания в 1919—1921 годах так и не увенчались

* Доклад Д. М. Климовой будет опубликован в одном из ближайших номеров «Русской литературы».

успехом — произведение увидело свет лишь в 1922 году. В этих трудностях «повинно», очевидно, крайне своеобразное мировосприятие поэта. Он еще в 20-е годы прямо отмечал в одном из писем: «В моем понимании Октябрь шире того трагического пятиактного члененья, при котором событие, переживая катастрофу, гонится в рельефные темы для самостоятельной вещи, выводящей это событие как лицо или как предмет, в его сменяющихся перипетиях. Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня». В полной мере подтверждает и реализует эту принципиальную установку поэта ставший его главным произведением роман «Доктор Живаго»: именно в нем нашел

наиболее полное и глубокое воплощение взгляд Б. Пастернака на Октябрьскую революцию как на трагическое, чреватое многими тяжелыми для судеб русской интеллигенции последствиями событие истории. К сожалению, чисто внешние обстоятельства внелитературного порядка мало способствовали спокойной и вдумчивой оценке этой концепции тогда, когда «Доктор Живаго» появился за рубежом, мало способствуют этому и сегодня, когда роман стал доступен советскому читателю. Оценки «Доктора Живаго» стали диаметрально противоположными, но не стали более взвешенными и основательными. Серьезный разговор о романе и его концепции еще только предстоит нашей критике.

Д. А. Благов

ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО»

18—19 апреля 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась третья научная конференция, организованная Советом молодых ученых и специалистов ИРЛИ. (Отчеты о первой (1986 год) и второй (1988 год) конференциях молодых специалистов публиковались в журнале «Русская литература» (1986. № 4. С. 226—229; 1989. № 1. С. 236—240).) Ее участниками были не только представители научной молодежи Ленинграда (ИРЛИ, ЛГУ, БАН), но и докладчики из ИМЛИ, Ивановского и Чувашского университетов, Горьковского, Владимирского и Ярославского государственных архивов, Горьковской областной библиотеки. Работа конференции велась по секциям: древнерусская литература; русская литература XIX века; русская литература начала XX века и советская литература. На открытии конференции вступительное слово произнес зам. директора Института, доктор филол. наук О. В. Творогов, отметивший важность проведения подобных смотров научной смены. Затем начались секционные заседания.

18 апреля состоялась утренняя и вечернее заседания секции древнерусской литературы. Утреннее заседание открыл доклад сотрудника ИРЛИ Е. Г. Водлазкина «Хроника Амартола в Летописце Еллинском и Римском», в котором были прослежены особенности включения текста Хроники в первую и вторую редакции Летописца Еллинского и Римского.

Сотрудник ИМЛИ Е. Б. Рогачевская в докладе «Принципы использования текстов Священного Писания в произведениях русских ораторов XI—XII веков» проанализировала характер цитат из Псалтыри в произведениях митрополита Иларiona и Кирилла Туровского и пришла к выводу, что русские ораторы одновременно

осознавали цитируемый текст как «чужой» и могли его изменять, сохраняя дух Писания.

В докладе аспирантки ИРЛИ Н. И. Милютенко «Проблема происхождения начальной части Летописца Переяславля-Суздальского и самостоятельный памятник Борисо-Глебского цикла в ее составе» было рассмотрено помещенное после отрывка летописной статьи 1015 года произведение Борисо-Глебского цикла, являющееся самостоятельным литературным памятником. К такому выводу привело детальное сравнение Переяславского сказания с наиболее ему близким анонимным.

Аспирант ИРЛИ В. Ф. Хрипков в докладе «Древнейшая, особые и краткая редакция русской версии „Троянской истории“ Гвидо де Колумна» показал, что древнейшая редакция «Троянской истории» представляла события Троянской войны в формах куртуазного этикета, но в русских переработках («особых редакциях») куртуазная поэтика была деформирована, а в краткой редакции жанр романа окончательно трансформировался в жанр исторической повести.

Сотрудник Горьковской областной библиотеки И. М. Грицевская в докладе «Круг чтения древнерусского читателя и индексы истинных книг» остановилась на анализе встречающихся в рукописях XV—XVII веков памятников древнерусской библиографии, которые можно назвать «индексами истинных книг». Сравнив репертуар самого распространенного «индекса XV века» и репертуар сохранившейся книжности XI—XV веков, докладчица установила, что из 47 названий, приведенных в Кирилловской редакции «индекса», 37 (т. е. 79 %) известны по реально сохранившимся древнерусским памятникам. «Индекс» может быть использован

как источник к изучению круга чтения древнерусского читателя.

В докладе аспирантки ИРЛИ Т. Н. Украинской «Житие преподобного Дмитрия Прилуцкого и местные предания о нем» были сопоставлены устные и письменные источники о Дмитрии Прилуцком, как, например, «Чудо о граде Вологде» в Минейной редакции Жития и местные предания о неких «белоризцах» и др. В итоге докладчица пришла к выводу, что устные предания питают Житие, представляя в то же время самостоятельную историко-художественную ценность.

Жанровое своеобразие «Записок» Мартирия Зеленецкого определила аспирантка ИРЛИ Е. В. Крушельницкая в докладе «Жанр „Записок“ Мартирия Зеленецкого и автобиографическое повествование в памятниках древнерусской литературы XIV—XVI веков». «Записки», являясь по внелитературной функции завещанием-уставом основателя монастыря, в литературном отношении представляют собой автобиографическую повесть, появившуюся на пересечении трансформированных жанровых моделей завещания-устава игумена и повествования о создании монастыря.

Сотрудник ИРЛИ М. А. Федотова в докладе «К проблеме изучения проповедей Дмитрия Ростовского» проанализировала рукописный сборник «Слов и поучений» Дмитрия (ИРЛИ. Ф. О. М. Бодянского. № 249). Тексты черновых автографов 18 слов Дмитрия на украинском языке обнаружены лишь в этом списке. Уникальность обнаруженной докладчицей рукописи еще и в том, что черновой вариант слов дает возможность проследить работу автора над своими произведениями.

Доклад сотрудника Государственного архива Горьковской области Е. В. Галицкой «Житие Макария Желтоводского (к проблеме развития текста)» был посвящен истории текста Жития. Его списки разделяются на две редакции: раннюю (середина XVI века) и более позднюю пространную (первая половина XVII века). Главное направление редакторской переработки — изменение стиля повествования: он становится все более витиеватым. Текст Жития, отличный от текстов двух редакций, встречается в рукописных сборниках XVIII века, но назвать его новой редакцией нельзя, так как изменения в нем не были всеобъемлющими, продиктованными идеологическими и историческими задачами; не изменился и стиль повествования.

В докладе О. Ю. Клоковой (ЛГУ) «К изучению списков „Повести о житии царя Феодора Иоанновича“» опровергнуто бытовавшее в науке утверждение, что существует особая редакция Повести, более ранняя, чем текст в Никоновской летописи, и более близкая к архетипу памятника. Изучение Егоровского списка Повести и ряда подобных ему новых списков XVII века показало, что между двумя группами списков существуют не редакционные отличия, а дефекты переписки, причем порча текста произошла, по-видимому, на раннем этапе жизни памятника.

Работа секции русской литературы XIX

века проходила 19 апреля на утреннем и вечернем заседаниях. Утреннее заседание открыл доклад аспирантки ИРЛИ А. И. Роговой «О возможном подходе к текстологическому анализу стихотворений А. С. Пушкина». Докладчица на основе интеграции текстологических работ специалистов по древнерусской литературе и пушкиноведов предложила систему текстологического анализа произведений Пушкина, не публиковавшихся при жизни поэта и зачастую сохранившихся только в списках.

Сотрудник Музея-квартиры А. С. Пушкина Е. А. Вильк в докладе «Черновой набросок Пушкина „Когда порой воспоминанье“»: литературные источники и общий замысел» остановился на воспроизведении в наброске пейзажной формулы из эпиграммы «Отрок», опирающейся на контуры судьбы Ломоносова. Черновой набросок сопоставлялся также с рассказом о пророческом сне из академической биографии Ломоносова и «Путешествием Ивана Лепехина», позволяющими уточнить сюжетную коллизию отрывка.

В докладе А. Б. Румянцева (ЛГУ) «Проблема стихотворения Ф. Тютчева „Природа — сфинкс...“» был дан подробный анализ семантики текста. Докладчик пришел к выводу, что в стихотворении происходит трансформация загадки природы как таковой в загадку природы человека.

Восприятию Пушкина русской эмиграцией 1920-х—начала 1930-х годов был посвящен доклад аспиранток ИРЛИ Н. Р. Бочкаревой и Е. А. Губко. Они показали, что имя Пушкина обозначало для покинувшей Россию интеллигенции целый комплекс идей и тем, а его восприятие генетически восходило к русскому символизму. Помимо отождествления Пушкина с реальной культурной традицией его имя для эмиграции стало и обозначением «духовной Родины». Особенно ярким примером полемики о путях развития русской культуры, в процессе которой апеллировали к имени Пушкина, стала серия публикаций в журнале «Числа» Г. Адамовича, Г. Иванова и др.

Сотрудник Владимирского государственного архива Г. Д. Овчинников в докладе «Литературная репутация Ф. В. Раstopчина» показал, что традиционное восприятие литературной деятельности Раstopчина во многом обусловлено негативной оценкой его общественно-политической роли в событиях Отечественной войны 1812 года. В Раstopчине дореволюционные исследователи видели только публициста, а не оригинального художника слова. В советском литературоведении ни одной публикации о Раstopчине-литераторе не появилось. Как показал докладчик, исключение его имени из литературного процесса допушкинской эпохи нельзя считать обоснованным.

В докладе аспирантки ИРЛИ О. К. Супрунук «К изучению литературного окружения Н. В. Гоголя. (Из новых материалов к ранней биографии Н. Я. Прокоповича)» на новых архивных материалах уточнялся вопрос о творческом окружении Н. В. Гоголя. Докладчица

остановилась на анализе дружеского и творческого сотрудничества Н. В. Гоголя и Н. Я. Прокоповича — поэта, педагога, издателя первого прижизненного собрания сочинений писателя.

Сотрудник БАН Н. Н. Шаталина в докладе «Творчество К. Гуцкова в восприятии А. Н. Островского» остановилась на исследовании материалов, связанных с личностью и творчеством К. Гуцкова, хранящихся в личной библиотеке А. Н. Островского. В начале 80-х годов имя немецкого драматурга, герои его произведений упоминаются в пьесах «Таланты и поклонники» и «Без вины виноватые». Докладчица проследила наиболее глубокую связь интереса Островского к творчеству К. Гуцкова с другими книжными впечатлениями писателя начала 80-х годов на материале творческой истории пьесы «Таланты и поклонники».

Аспирантка ИРЛИ Н. А. Николаева в докладе «Категория разумного сознания в нравственном учении Л. Н. Толстого и философия стоиков» рассмотрела точки соприкосновения нравственно-философских произведений Толстого «О жизни», «Царство Божие внутри вас», «Благо только для всех», «Религия и нравственность» с этическим учением стоицизма. Обобщая основные положения этих работ Толстого, можно выделить, как показала докладчица, ключевую для системы писателя категорию — «разумное сознание», в оформлении которой он опирается на учение стоиков. Эта категория нашла свое воплощение и в художественном творчестве писателя.

Доклад аспирантки ИРЛИ А. Г. Гродецкой «Роль „предания“ в „Анне Карениной“ Л. Н. Толстого («варяжский» сюжет)» был посвящен анализу понятия «предание» в творчестве Толстого и конкретно исследованию предания о призвании варягов в романе Анна Каренина». Это предание выполняет в романе и полемические, и дидактические задачи. Главное его содержание составляет идея жертвы «для души, для Бога».

В докладе канд. филол. наук О. К. Евдокимовой (Чувашский гос. университет) «„Золанизм“ в русской литературной критике 80-х годов XIX века» было рассмотрено восприятие русской критикой теории экспериментального романа Э. Золя. Докладчица показала, что термин «золанизм» обозначал не только подражание школе Золя, но все то, что в русской литературе 80-х годов не укладывалось в устоявшиеся представления о реализме и натурализме.

19 апреля утреннее заседание было посвящено и работе секции русской литературы начала XX века. Оно открылось докладом аспиранта Ивановского университета А. И. Червякова «„Юмор“ в поэтической системе И. Ф. Анненского». Докладчик раскрыл фундаментальное значение категории «юмора» в творчестве Анненского. Процесс ее формирования проходил до начала 1890-х годов и характеризовался совмещением «юмористического» творчества (пьесы на случай, эпиграммы) с теоретическими размышлениями над этой проблемой. Генетически концепция «юмора» у Анненского

восходила к идеям М. Лацаруса и Ф. Ницше. «Юмор» понимался Анненским как широкая мировоззренческая категория, становясь по сути гносеологическим принципом — мифологизированным сомнением.

В докладе стажера ИРЛИ С. Л. Слободнюка «Поэтика символизма в произведениях Н. Гумилева» была прослежена эволюция поэтики Н. Гумилева. Его первые сборники («Путь конквистадора» и «Романтические цветы») опираются на поэтику символизма. Сборник «Жемчуга» имеет уже отчетливую антисимволистскую направленность, выявляемую на разных уровнях текста. Докладчик остановился на анализе цветовой гаммы сборника, ключевых слов. В итоге был сделан вывод, что трактовка поэтики «серебряного века», в частности поэтики символизма, в произведениях Гумилева демонстрирует оппозиционное отношение поэта к предшествующей литературной традиции.

Аспирант ИРЛИ Ю. А. Зобнин в докладе «Путь России и путь Европы», анализируя стихотворение Н. Гумилева «Франция», показал, что историческая концепция поэта была связана с философскими учениями, популярными в начале XX века, и нашла конкретное эстетическое воплощение в этом стихотворении. По Гумилеву, движение истории прогрессивно, так как устремлено к целесообразному идеалу, совпадает с общечеловеческим идеалом. Перед человеком — трагическая альтернатива: подчиниться объективно прогрессивному движению истории и утратить право моральной оценки и выбора или сохранить это право и препятствовать прогрессу.

В докладе канд. филол. наук А. М. Грачевой (ИРЛИ) «Повесть Б. К. Зайцева „Голубая звезда“ (к вопросу о неомифологизме в реалистической прозе 1910-х годов)» говорилось о том, что произведение Зайцева ориентировано как на миф в первоначальном понимании этого термина, так и на чужой «текст», выступающий в функции мифа по воле автора. Основу идейной концепции «Голубой звезды» составляют мистическая соловьевская утопия о Вечной Женственности и вопрос о теургической роли искусства. Полигенетичны образы героев повести. Главный герой, поэт Христофоров, соотнесен с князем Мышкиным, Орфеем, но имеет и реального прототипа — друга Зайцева И. А. Новикова.

Доклад канд. филол. наук А. М. Любумдрова (ИРЛИ) «Мотив смирения в прозе Б. К. Зайцева» был посвящен анализу произведений писателя периода эмиграции («Улица св. Николая», «Преподобный Сергей Радонежский», «Золотой узор» и др.). В них концептуально значимыми являются идеи кротости и смирения. Герои Зайцева образуют «союз людей», совершающих дела любви и терпеливо несущих крест неслыханных испытаний. Непоколебимая вера писателя в Промысел обусловила оптимизм его творчества периода эмиграции.

Сотрудник Ярославского государственного архива И. А. Ваганова в докладе «Из истории

сотрудничества П. П. Муратова с книгоиздательством К. Ф. Некрасова (1911—1916)» раскрыла творческие и дружеские связи искусствоведа П. П. Муратова с книгоиздателем К. Ф. Некрасовым и особо остановилась на истории издания журнала искусства и литературы «София». Главную задачу редакторы журнала видели в ознакомлении читателей с древнерусским искусством, осмысляя его во взаимосвязях с древним искусством Востока и Запада и с современным искусством России. Среди сотрудников журнала были Б. К. Зайцев, В. Ф. Ходасевич, Н. А. Бердяев, И. Э. Грабарь и многие другие представители русской культуры начала века.

В докладе аспиранта ИРЛИ С. Н. Гуськова «Публицистика В. Г. Короленко 1917—1921 годов. Этическое и историческое» была рассмотрена проблематика наиболее крупных публицистических выступлений Короленко этого времени, таких, как «Война, отечество и человечество» (1917), «Падение царской власти» (1917), «Торжество победителей» (1917), «Письма из Полтавы» (1919), «Земли! Земли!» (1922), а также письма к Луначарскому. Докладчик показал, что этическая позиция Короленко, трактовка им исторического развития явилась той основой, на которой возникли его разногласия с новой властью и идеологией.

19 апреля параллельно с секциями литературы XIX и начала XX века работала секция советской литературы. Первым был заслушан доклад сотрудника ИРЛИ В. Н. Запелова «М. Шолохов. Первоисточники личности и судьбы». Доклад был посвящен разработке актуальных вопросов научной биографии писателя, в частности долитературного периода, освещавшегося до сих пор крайне неполно и фрагментарно. Докладчик особо остановился на происхождении писателя и ранних годах его жизни (первый брак матери с казаком Кузнецовым), на истории усыновления Шолохова его фактическим отцом А. М. Шолоховым; осветил гимназический период, заложивший основы интеллектуального роста; отметил немаловажное событие в жизни писателя периода гражданской войны — пребывание в плену у Махно; уделил серьезное внимание участию Шолохова в налоговой кампании 1921—1922 годов (за «превышение власти» он был приговорен к расстрелу, который в последний момент заменили условным сроком наказания). Драматизм и острота жизненных переживаний в годы детства и боевой юности несомненно повлияли на характер художественного мировидения писателя, заключил докладчик.

Аспирант ИРЛИ А. А. Харитонов в докладе «Об анализе художественной формы. Одно предложение платоновского текста («Котлован»»)» выделил следующие аспекты анализа художественной формы текстов Платонова: системное изучение внешней формы; выяснение особого содержания философских понятий в художественном тексте; выявление реминисцентных планов в их системе и в конкретной художественно-смысловой функциональности.

Далее докладчик на примере первого предложения повести «Котлован» показал некоторые характерные черты и приемы платоновского смысловорения, прослеживаемые и при целостном анализе текста «Котлована».

В докладе аспиранта ИРЛИ В. Ю. Вьюгина «К вопросу об истории создания романа А. Платонова „Чевенгур“». Наблюдение над рукописями» был рассмотрен отрывок из рукописи «Чевенгура», хранящейся в ИРЛИ, — глава, расположенная сразу за своеобразным прологом о производстве («Происхождение мастера»). Анализ показал, что изначально глава являлась частью иного произведения и имела черты автобиографизма. Переработка отрывка заключалась в замене рассказчика повествователем, устранении автобиографических элементов, изменении принципа мотивации действий и поступков героя и модификации языка.

Доклад канд. филол. наук Е. И. Колесниковой (ИРЛИ) «А. Платонов о „первопричине деревенской дикости“» был посвящен исследованию произведений Платонова 1920-х годов. Энергия героев рассказов «Родина электричества» (1926) и «Как зажглась лампочка Ильича» (1926) направлена на преодоление «диких способов труда». Но художественное содержание вступает в противоречие с практическими выкладками Платонова-публициста: сгорают станции, взрываются моторы и т. д. Писатель ищет более глубокое и универсальное, чем реальные причины, объяснение этим трагедиям. В повести «Епифанские шлюзы» (1927) мысль о допустимых пределах вторжения в естественный ход жизни приобретает философское звучание.

Сотрудник ИРЛИ В. А. Прокофьев в докладе «Смерть и бессмертие в художественной системе А. Твардовского» проследил эволюцию темы жизни и смерти в творчестве поэта. Коллизия жизни и смерти при внимательном рассмотрении дает понимание трагического как важнейшей категории эстетической концепции Твардовского. Начиная с «Сельской хроники» она получает все более личный характер, который усиливается в стихотворениях военных лет. Новый подход к теме в середине 50-х годов определен в поэмах «Теркин на том свете» и «За далью — даль». Особый случай развития этой темы — стихотворение «Ты дура, смерть: грозишься людям...».

В докладе аспиранта ЛГУ П. А. Лысакова «Цена молодости. (О трактовке проблематики повести М. Зощенко «Возвращенная молодость», была дана новая интерпретация проблематики произведения Зощенко. Драма профессора Волосатова, показал докладчик, не в возрастном старении, а в невозможности принять новую (для него «дикую») культуру. В итоге герой — человек, отказавшийся от своей старой, более высокой культуры, как бы не имеющий теперь своего прошлого. А человек, не имеющий прошлого, — это молодой человек. Такова цена «возвращенной молодости».

Доклад сотрудника ИРЛИ В. С. Федорова «О некоторых проблемах военно-документаль-

ной прозы середины 70-х—80-х годов» был посвящен вопросу соотношения художественного и документального жанров в литературе, без исследования которого невозможно глубокое рассмотрение типологически-функциональной проблематики документально-художественных произведений. Исходя из имеющегося материала можно утверждать, отметил докладчик, что документалистика в условиях отчуждаемой социальности как объективно доминирующей нормы возвращает реципиента к конкретной действительности, вносит эстетическую струю в общечеловеческое сознание. Таким образом, казалось бы, чисто литературоведческая проблема документалистики выходит на уровень не только философско-психологического, но и своего этико-исторического осмысления.

Каждое заседание всех секций завершалось

обсуждением докладов. В обсуждении приняли участие руководители отделов и многие сотрудники Института русской литературы: О. В. Творогов, Л. А. Дмитриев, В. В. Тимофеева, А. И. Павловский, С. А. Фомичев, Г. Я. Галаган, Н. Н. Мостовская, В. Е. Ветловская, Б. В. Мельгунов, О. А. Белоброва, Н. В. Поньрко, Г. М. Прохоров, М. В. Рождественская, Н. П. Генералова. Дискуссия показала творческую взаимосвязь научных поколений, внимательное отношение к молодежи со стороны старших коллег. Были отмечены новизна проблематики докладов, их высокий научный уровень. Итогом конференции стала публикация тезисов ее материалов (см.: Проблемы развития русской литературы XI—XX веков: Тезисы научной конференции молодых ученых и специалистов. 18—19 апр. 1990 года. Л., 1990. 56 с.).

А. М. Грачева

УТОЧНЕНИЕ

В книге Д. Хренкова «Анна Ахматова в Петербурге—Петрограде—Ленинграде» (Лениздат, 1989) сообщается о списке петербургских—петроградских—ленинградских адресов А. А. Ахматовой, который она сама составила по чьей-то просьбе (С. 24) и который ныне хранится в ЦГАЛИ. На С. 218 той же книги публикуется этот список. Он несомненно заинтересует любителей поэзии Ахматовой и историков города.

Факт составления списка адресов самой А. А. Ахматовой подтверждается записью М. В. Латманизова его беседы с ней 27 января 1965 года. Анна Андреевна, в частности, рассказала: «Во время войны Николай Степанович (Н. С. Гумилев) заболел и был направлен в Петроград лечиться. Его положили в больницу на Петроградской стороне (Петропавловскую), и я, чтобы быть поближе — мы жили в Царском Селе тогда — сняла комнату на Большой Пушкинской» (Русская литература. 1989. № 3. С. 92—93). Собеседники попытались выяснить, в каком это могло быть доме. А. А. Ахматова продолжала: «Этот дом стоял прямо против улицы, идущей с Большого проспекта. . . третьей улицы от Каменноостровского» (С. 93).

М. В. Латманизов высказал предположение, что это был дом около Матвеевской церкви («Кажется, это приходской дом»).

Он побывал около дома, о котором шла речь, — на Большой Пушкинской прямо против третьей улицы, пересекающей Большой проспект и Б. Пушкинскую. Как он установил, это Подковырова улица. Однако номер дома — 57-а не соответствует современной нумерации домов. Дома с таким номером на Б. Пушкинской нет. Последний дом по этой улице значится под № 47; он находится на углу Б. Пушкинской и Кировского (т. е. Каменноостровского) проспекта. Против Подковыровой улицы стоит дом № 35. За ним действительно расположен Матвеевский сад, в котором когда-то стояла церковь св. Матвея. Не исключено, что этот дом был (как предположил М. В. Латманизов) домом причта Матвеевской церкви.

А. А. Ахматова говорила, что он был «своеобразной архитектуры». Видимо, с тех пор дом сильно изменил свой внешний облик. По крайней мере легко различимы надстройки четвертого и пятого этажа. Сейчас дом занимает Петроградский узел телефонной связи.

А. А. Ахматова показывала М. В. Латманизову список своих адресов, но по каким-то причинам и после разговора с ним адрес по Б. Пушкинской в список не внесла. Может быть потому, что она жила здесь недолго. И все же предлагаемое уточнение, кажется, не лишено интереса.

К. В. Чистов

НОВЫЕ КНИГИ

- Аллен Л. Этюды о русской литературе. Л.: Худож. лит-ра, 1989. 156 [2] с.
- Аль Д. Н. Основы драматургии. Учеб. пособие для студентов ин-та культуры. Л.: ЛГИК, 1988. 63 [2] с.
- Андреев М. Л. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (X—XIII вв.). М.: Искусство, 1989. 212 [3] с.
- Анненков П. В. Литературные воспоминания. [Вступ. ст. В. И. Кулешова. Комментар. А. М. Доло-товой и др.]. М.: Правда, 1989. 683 [2] с. (Лит. воспоминания).
- Антонова Г. Н. Герцен и русская критика 50—60-х годов XIX века. Проблемы худож.-философ-ской прозы. Под ред. Е. Г. Бушканца. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 198 [2] с.
- Асоян А. А. Данте и русская литература. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1989. 171 [1] с.
- Берестов В. Д. Ранняя любовь Пушкина. М.: Правда, 1989. 62 [2] с. (Б-ка «Огонек», № 32).
- Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. [Сб. ст. Сост., автор коммент. и библиогр. С. И. Тимина; Вступ. ст. Г. А. Белой, С. И. Тиминой]. М.: Сов. писатель, 1989. 492 [2] с.
- Боровицкая В. Н. Эпизод. [О И. С. Тургеневе]. М.: Прометей, 1989. 205 [1] с.
- Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. [Вступ. ст. и примеч. С. А. Розановой]. М.: Правда, 1989. (Лит. воспоминания).
- Бурсов Б. И. Судьба Пушкина. Л.: Сов. писатель, 1989. 565 [2] с.
- Валагин А. П. «Столетье безумно и мудро». Рассказы о рус. лит-ре XVIII в. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 94 [2] с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. [Вступ. ст. И. К. Горского; Комментар. В. В. Мочало-вой]. М.: Высшая школа, 1989. 404 [2] с.
- Виршевая поэзия (первая половина XVII в.). [Сб. Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. В. К. Былинина, А. А. Илюшина]. М.: Сов. Россия, 1989. 478 [1] с. (Сокровища древне-русской лит-ры).
- Вопросы творчества и биографии А. С. Пушкина. Тез. докл. и сообщений обл. науч. конф., 16—18 мая 1989 г. [Гл. ред. А. А. Слюсарь]. Одесса: Б. и., 1989. 125 с. (Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова).
- Высочина Е. И. Образ, бережно хранимый. Жизнь Пушкина в памяти поколений. Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. 235 [3] с.
- Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. Отв. ред. Н. К. Гей. М.: Наука, 1989. 302 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Гацак В. М. Устная эпическая традиция во времени. Ист. исследования поэтики. Отв. ред. А. В. Кудияров. М.: Наука, 1989. 254 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Гей Н. К. Проза Пушкина. Поэтика повествования. Отв. ред. С. Г. Бочаров. М.: Наука, 1989. 269 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Гершензон М. О. Грибоедовская Москва; П. Я. Чаадаев; Очерки прошлого. [Сост., вступ. ст., примеч. В. Ю. Проскуриной]. М.: Московский рабочий, 1989. 398 [2] с.
- Н. В. Гоголь и русская литература XIX века. Межвуз. сб. науч. тр. Посвящается 180-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. [Редколлегия: Е. И. Анненкова (отв. ред.) и др.]. Л.: ЛГПИ, 1989. 131 [1] с.
- Громов М. П. Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. 384 с.
- Гудзий Н. К. Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единение XVII—XVIII веков. [Вступ. ст. А. В. Мишанича]. Киев: Наукова думка, 1989. 373 [2] с.
- Дейч Г. М. Все ли мы знаем о Пушкине? М.: Сов. Россия, 1989. 268 [2] с.
- «Европеец». Журн. И. В. Киреевского, 1832. [Изд. подгот., сост. примеч. Л. Г. Фризмана]. М.: Наука, 1989. 535 [1] с. (Лит. памятники).
- Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. Отв. ред. С. Г. Бочаров. М.: Наука, 1989. 174 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Залыгин С. П. А. П. Чехов. [Канва жизни и творчества. Перевод]. М.: Радуга; Токио: Гундзося, Б. г. (1988). 365 [2] с.
- Золотусский И. П. В свете пожара. [О дорев. и сов. рус. лит-ре]. М.: Современник, 1989. 348 [2] с.
- Зуева Т. В. Сказки А. С. Пушкина. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1989. 156 [3] с.
- Искусство звучащего слова. [Вып. 39. Сказители. Сост. В. И. Калугин]. М.: Сов. Россия, 1989. 125 [2] с.
- Калугин В. И. Струны рокотаху. Очерки о русском фольклоре. М.: Современник, 1989. 621 [2] с.
- Камянов В. И. Время против безвременья: Чехов и современность. М.: Сов. писатель, 1989. 378 [2] с.
- Кардин В. Легенды и факты. Лит. критика, лит. полемика. М.: Правда, 1989. 46 [2] с.
- Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М.: Сов. писатель, 1989. 646 [6] с.
- Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М.: Изд-во МГУ, 1989. 261 [1] с.
- Колганова А. А. Вослед чужому гению. М.: Прометей, 1989. 237 [2] с.
- Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. [Сост., вступ. ст. и коммент. Г. М. Миронова, Л. Г. Миро-

- нова]. М.: Правда, 1989. 653 [2] с. Содерж.: о Ф. А. Кони, И. С. Кони, Д. В. Григоровиче, И. А. Гончарове, И. С. Тургеневе и др.
- М. М. Коцюбинский и русская литература. (Документы и материалы).** [Сост. В. Я. Звизняцкий; Предисл. Н. Е. Крутиковой]. Киев: Наукова думка, 1989. 190 [2] с.
- Кулешов В. И. История русской литературы Х—XX века. Для студентов-иностранцев.** М.: Рус. яз., 1989. 638 [1] с.
- Лебедев Ю. В. Иван Сергеевич Тургенев. Кн. для учащихся ст. классов средней школы.** М.: Просвещение, 1989. 206 [1] с. (Биогр. писателя).
- М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников.** [К 175-летию со дня рождения. Сост., подгот. текста и коммент. М. И. Гиллельсона, О. В. Миллер; Вступ. ст. М. И. Гиллельсона]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 671 [1] с. (Серия лит. мемуаров).
- Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина.** М.: Изд-во МГУ, 1989. 172 [2] с.
- Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном.** [Для сред. и ст. шк. возраста]. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1989. 134 [2] с.
- Ломинадзе С. В. О классиках и современниках.** [Сборник]. М.: Современник, 1989. 365 [2] с.
- Лотман Ю. М., Минц З. Г. Статьи о русской и советской поэзии.** Таллинн: Ээсти раамат, 1989. 153 [2] с. (Шк. б-ка).
- Маймин Е. А. Афанасий Афанасьевич Фет. Кн. для учащихся.** М.: Просвещение, 1989. 157 [2] с.
- Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя.** Л.: Худож. лит-ра, 1989. 205 [3] с.
- Некрасов Н. К. Сейте разумное. . . Очерки о жизни и творчестве Н. А. Некрасова.** М.: Сов. Россия, 1989. 318 [2] с.
- Овчинникова С. Т., Рысина Ф., Светлова Г. Музей «Квартира Пушкина на Арбате».** М.: Московский рабочий, 1989. 79 [1] с.
- Н. П. Огарев в воспоминаниях современников.** [Вступ. ст., сост. С. С. Конкина; Коммент. С. С. Конкина, Л. С. Конкиной]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 542 [1] с.
- О'Мара П. К. Ф. Рылев. Полит. биография поэта-декабриста.** Пер. с англ. А. Л. Величанского. Вступ. ст. и ред. В. А. Федорова. М.: Прогресс, 1989. 334 [2] с.
- Осоргин М. А. Заметки старого книгоеда.** [Сост., вступ. ст. и примеч. О. Ласунского]. М.: Книга, Б. г. (1989). 287 [1] с.
- Оцхели В. И. М. Горький и польская драматургия начала XX века.** М.: Изд-во МГУ, 1989. 139 [2] с.
- Переверзев В. Ф. У истоков русского реализма.** [Сб. Предисл. П. Николаева]. М.: Современник, 1989. 750 [2] с.
- Песков А. М. Буало в русской литературе XVIII—первой трети XIX века.** М.: Изд-во МГУ, 1989. 173 [1] с.
- Писарев Д. И. Исторические эскизы. Избр. ст.** [Сост. и подгот. текста, предисл. и коммент. А. И. Володина; Журн. «Вопросы философии» и др.]. М.: Правда, 1989. 608 с.
- Проблемы драматургии в классическом наследии XVIII—XIX веков. Сб. науч. тр.** [Редколлегия: Е. М. Царева (отв. ред.) и др.]. М.: Моск. консерватория, 1989. 145 с.
- Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Межвуз. науч. сб.** [Вып. 5: К 65-летию Ю. М. Лотмана. Редколлегия: В. В. Пугачев (отв. ред.) и др.]. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. 203 с.
- Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Межвуз. науч. сб.** [Вып. 5, ч. 2: Посвящается памяти Ю. Г. Оксмана. Редколлегия: В. В. Пугачев (отв. ред.) и др.]. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 215 с.
- Проблемы поэтического языка. Конф. молодых ученых. Тезисы докладов.** Отв. ред. О. Г. Ревзина, Т. А. Михайлова. М.: МГУ, 1989. 70 с. Т. 1. Общее и русское стиховедение.
- Прокopenко З. Т. М. Е. Салтыков-Щедрин и И. А. Гончаров в литературном процессе XIX века.** Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 222 [2] с.
- А. С. Пушкин и художественная культура Дагестана. Сб. ст.** [Сост. А. М. Абдурахманов]. Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 1988. 104 [2] с.
- Пьецух В. А. «Литературные мечтания» В. Г. Белинского. Комментарий.** М.: Московский рабочий, 1989. 44 [1] с. (Первоисточники).
- Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII—начала XVIII в.** [Отв. ред. А. Н. Робинсон]. М.: Наука, 1989. 237 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Рассадин С. Б. Гений и злодейство, или Дело Сухова-Кобылина.** [Вступ. ст. Н. Я. Эйдельмана]. М.: Книга, 1989. 348 [3] с.
- Рахманалиев Р. Культура чтения великих писателей.** Фрунзе: Мектеп, 1989. 237 [2] с.
- Родионова Л. В. Устное народное творчество. Учебное пособие.** М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. 61 [2] с.
- Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике.** [Сб. ст. Сост., автор вступ. ст. и коммент. И. Н. Сухих]. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 401 [1] с.
- Россия первая любовь: Писатели о Пушкине. Поэты — Пушкину.** [Сост. В. Макаров, С. Смирнов; Худож. В. Медведев]. М.: Сов. писатель, 1989. 637 [1] с.

- Русская альтернативная поэзия XX века. [Сб. Отв. ред. и автор предисл. Т. А. Михайлова]. М.: МГУ, 1989. 84 с.
- Рымарь Н. Т. Введение в теорию романа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 268 [2] с.
- Сажин В. Н. Книги горькой правды: Н. Г. Помяловский. «Очерки бурсы». Ф. М. Решетников. «Подлиповцы». В. А. Слепцов. «Трудное время». М.: Книга, 1989. 222 [2] с. (Судьбы книг).
- Салтыковские места в городе Кирове. [Сост. Л. Н. Самохвалова]. Киров: Упрполиграфиздат, 1989. 15 с.
- Сараскина Л. И. Не мечом, а духом. (Рус. лит-ра о войне и мире). М.: Знание, 1989. 63 [1] с.
- Семенов В. С. Александр Герцен. М.: Современник, 1989. 383 [1] с. (Б-ка «Любителям рос. словесности»).
- «Слово о полку Игореве» и древнерусская философская культура. [Сб. ст. Редколлегия: М. А. Абрамов (отв. ред.), В. В. Мильков]. М.: ИФАН, 1989. 149 с.
- Современность классики. Сб. науч. тр. [Редколлегия: В. А. Туниманов (отв. ред.), Л. И. Емельянов]. Л.: Наука, 1989. 239 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Содержательность форм в художественной литературе. Межвуз. сб. науч. ст. [Редколлегия: Л. А. Финк (отв. ред.) и др.]. Куйбышев: КГУ, 1988. 174 [2] с.
- Солнце нашей поэзии. (Из современной Пушкинианы). [Сб. Сост. Ю. И. Осипов]. М.: Правда, 1989. 461 [1] с.
- Социально-философские концепции русских писателей-классиков и литературный процесс. Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Т. К. Черная (отв. ред.) и др.]. Ставрополь: СГПИ, 1989. 174 с.
- «Столетия не сотрут...» Русские классики и их читатели. [Сборник. Сост. А. А. Ильин-Томич]. М.: Книга, 1989. 426 [2] с.
- Тарасов Б. Н. Этические взгляды П. Я. Чаадаева. (Из цикла «История этич. учений»). М.: Знание, 1989. 63 [1] с.
- Тверской венок Пушкини. [Сб. Сост. и авт. вступ. ст. А. Е. Смирнов]. Калинин: Моск. рабочий. 1989. 141 [1] с.
- Творчество М. Е. Сатыкова-Щедрина в историко-литературном контексте. Сб. науч. тр. [Редколлегия: В. В. Прозоров (отв. ред.) и др.]. Калинин: КГУ, 1989. 140 [1] с.
- Л. Н. Толстой и Чечено-Ингушетия. [Сб. ст.]. Грозный: Чеч-Инг. книжное изд-во, 1989. 172 [2] с.
- Травников С. Н. Писатели петровского времени. Лит.-эстет. взгляды; Путевые записки. М.: МГПИ, 1989. 102 [2] с.
- Традиции и новаторство русской прозы XIX века. Межвуз. сб. науч. трудов. [Редколлегия: М. Я. Ермакова (отв. ред.) и др.]. Горький: ГГПИ, 1988. 140 [2] с.
- Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высшая школа, 1989. 133 [2] с.
- Удодов Б. Т. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1989. 188 [3] с.
- Ульяшов П. С. Загадка гения. (М. Ю. Лермонтов). М.: Знание, 1989. 62 [2] с.
- Файнштейн М. Ш. Писательницы пушкинской поры. Ист.-лит. очерки. Отв. ред. С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1989. 173 [2] с.
- Федь Н. М. Жанры в меняющемся мире. Искусство комедии, или Мир сквозь смех. Рус. лит. сказ. М.: Сов. Россия, 1989. 541 [2] с.
- Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда. М.: Сов. Россия, 1989. 111 [1] с.
- Хализеев В. Е., Шешунова С. В. Цикл А. С. Пушкина «Повести Белкина». [Учеб. пособие для вузов]. М.: Высшая школа, 1989. 79 [1] с.
- Чалмаев В. А. И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Тула: Приокское книжное изд-во, 1989. 445 [1] с.
- Чеховские чтения (1989; Сумы). Тезисы докл. и сообщ. обл. науч. конф., посвященной изучению жизни и тв-ва А. П. Чехова и его связей с Сумщиной. Сумы: Б. и., 1989. 55 [2] с.
- Щаницин В. А. Народные личные имена. М.: Прометей, 1989. 64 [1] с.
- Абуашвили А. Б. За строкой лирики. [О худож. переводе]. М.: Сов. писатель, 1989. 208 с.
- Актуальные проблемы филологии. Тез. докладов науч. конф. 11—12 апр. 1989 г. [Редколлегия: Н. А. Шляхтер (отв. ред.) и др.]. Свердловск: УрГУ, 1989. 52 с.
- Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме. [Вып. 4]. Новосибирск: Б. и., 1989. 55 с.
- Анинский Л. А. Локти и крылья. Лит-ра 80-х: надежды, реальность, парадоксы. [Сборник]. М.: Сов. писатель, 1989. 315 [1] с.
- Армянская литература в русской советской критике. Библиография, статьи. Сост. и предисл. Н. А. Гончар-Ханджян. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1989. 359 [1] с.
- Бавин С. П., Гурболикова О. А. Книги, которые читают все. Библиогр. очерки. М.: Кн. палата, 1989. 174 [1] с. (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина).
- Бакланов Г. Я. Время собирать камни. Ст., портр., беседы. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1989. 364 [2] с.
- Бирюков Ф. Г. О подвиге народном. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Кн. для учащихся ст. классов сред. школы. М.: Просвещение, 1989. 205 [2] с.

- Боборыкин В. Г.** Александр Фадеев. Писательская судьба. М.: Сов. писатель, 1989. 346 [2] с.
- Братья по перу.** Молд. писатели во всесоюз. лит. контексте. [Сб. Сост. Н. Романенко, А. Хропотинский]. Кишинев: Лит. артистикэ, 1989. 359 [3] с.
- Буачидзе К.** Такое длинное, длинное письмо Виктору Астафьеву и другие послания с картинками в черно-белом цвете. Тбилиси: Ганатлеба, 1989. 270 [1] с.
- Будаков В. В.** Родине поклонись. [Очерки]. М.: Сов. Россия, 1989. 366 [2] с.
- Бундзен Г. В., Савинкова Т. В. М.** Горький в современной общественной жизни. Л.: «Знание», 1989. 29 [2] с.
- Вайман С. Т.** Гармонии таинственная власть. Об органической поэтике. М.: Сов. писатель, 1989. 365 [1] с.
- Взаимовлияние и преемственность литератур.** Сб. науч. тр. [Отв. ред. Е. А. Фомина]. Ташкент: Ташкентский ГПИ, 1988. 128 с.
- Влади М.** Владимир, или Прерванный полет. [О В. Высоцком]. Пер. с франц. М. Влади, Ю. Абдуловой. Алма-Ата: Жазушы; М.: Прогресс, 1989. 174 [1] с.
- Владимир Высоцкий. Человек. Поэт. Актер.** [Стихи. Воспоминания. Сост. Ю. А. Андреев, И. Н. Богуславский; Вступ. ст. Ю. А. Андреева; Послесл. В. Толстых]. М.: Прогресс, 1989. 357 [1] с.
- Воспоминания о Бабеле.** [Сборник. Сост. А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева. Послесл. С. Поварцова]. М.: Кн. палата, 1989. 333 [2] с.
- Воспоминания о Николае Глазкове.** [Сборник. Сост. Р. М. Глазкова, А. В. Терновский]. М.: Сов. писатель, 1989. 525 [1] с.
- Восток в русской советской литературе.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: Б. А. Геронимус (отв. ред.) и др.]. Ташкент: ТашГУ, 1988. 94 с.
- Галапов Б. Е.** Валентин Катаев. Размышления о Мастере и диалоги с ним. М.: Худож. лит-ра, 1989. 318 [1] с.
- Галимов Ш. З.** Федор Абрамов. Творчество, личность. Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1989. 249 [2] с.
- Галкин Ю. Ф.** Слово и годы. Размышления о жизни и лит-ре. М.: Современник, 1989. 363 [2] с.
- Гачев Г. Д.** Чингиз Айтматов. (В свете мировой культуры). [Послесл. Е. К. Озмителя]. Фрунзе: Адабият, 1989. 483 [3] с.
- Герасименко А. П.** Русский советский роман 60—80-х годов. (Некоторые аспекты концепции человека). М.: Изд-во МГУ, 1989. 202 [2] с.
- Гинзбург Л. Я.** Человек за письменным столом. Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. 605 [2] с.
- Горбунова Е. Н.** Юрий Бондарев: Очерк творчества. М.: Сов. Россия, 1989. 430 [1] с.
- Гринфельд-Зингурс Т. Я.** Природа в художественном мире М. М. Пришвина. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 194 [2] с.
- Декабрьские литературные чтения. Материалы научной конференции (12—15 дек. 1988 г.).** [Вып. 2. Под. ред. Л. М. Мкртчяна]. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1989. 70 с.
- Демидова А. С.** Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. М.: Союз театр. деятелей РСФСР, 1989. 174 [2] с.
- Днепров В. Д.** С единой точки зрения. Лит.-эстет. очерки. Л.: Сов. писатель, 1989. 372 [3] с.
- Застройкой учебника.** Сб. ст. [Сост. и автор предисл. П. Горелов]. М.: Молодая гвардия, 1989. 238 [1] с.
- Зайцева Г. С. М.** Горький и крестьянские писатели. М.: Высшая школа, 1989. 101 [2] с.
- Зуборев Л. И.** Крик буревистика: Ист.-докум. повесть о М. Горьком и Богдановичах. Минск: Мастац. літ., 1989. 326 [1] с.
- Иванова Т. И.** Литература и перестройка: (Заметки оптимиста). М.: Знание, 1989. 63 с.
- Идейно-эстетическое единство художественного произведения.** [Сб. ст.]. Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1989. 172 [2] с.
- Ильина Н. И.** Сказки Брянского леса. Лит. фельетоны. М.: Правда, 1989. 62 [2] с.
- Иоффе С. А.** Дыша, как воздухом, стихами: этюды о поэтах. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1989. 286 [2] с. Содерж.: о Д. Кедрине, А. Гитовиче, П. Комарове, Я. Смелякове и др.
- Каверин В. А.** Счастье таланта. Воспоминания и встречи, портр. и размышления. М.: Современник, 1989. 314 [2] с.
- Кардин В.** Обретение. Лит. портреты. М.: Худож. лит-ра, 1989. 397 [2] с.
- Кардин В.** По существу ли эти споры? [Очерки о сов. лит-ре]. М.: Современник, 1989. 461 [2] с.
- Карпов А. С.** Поэмы Сергея Есенина. [Учеб. пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит-ра»]. М.: Высшая школа, 1989. 108 [3] с.
- Карпов А. С.** Русская советская поэма, 1917—1941. М.: Худож. лит-ра, 1989. 316 [2] с.
- Кедров К. А.** Поэтический космос. [Предисл. В. Гусева. С полем. заметками Г. Куницына]. М.: Сов. писатель, 1989. 478 [2] с.
- Киреева А. Б.** Классики пишут сегодня. Разговор о поэзии с начинающими поэтами. М.: Сов. писатель, 1989. 334 [1] с.
- Колядич М. В.** Ленинская тема в советской художественной прозе 50—70-х гг. (М. С. Шагинян, А. Л. Коптелов, С. А. Дангулов). Учеб.-метод. пособие. . . М.: Просвещение, 1989. 123 [3] с.

- Комаева Р. З.** Глаголом жечь сердца людей. [О русскояз. произведениях К. Хетагурова]. Орджоникидзе: Ир, 1989. 269 [2] с.
- Конференция по литературному краеведению (1989; Астрахань).** (Материалы конференции...). Астрахань: Б. и., 1989. 60 с.
- Красовская Ю. Е.** Человек и песня. М.: Сов. Россия, 1989. 157 [3] с.
- Куняев С. Ю.** Огонь, мерцающий в сосуде. Кн. критич. и публицист. ст. о лит-ре, культуре и искусстве. М.: Сов. Россия, 1989. 299 [2] с.
- Лавров В. В.** Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920—1953). Роман-хроника. М.: Молодая гвардия, 1989. 383 [1] с.
- Лакшин В. Я.** Открытая дверь. Воспоминания, портреты. М.: Московский рабочий, 1989. 447 [1] с. Содерж.: о Н. К. Гудзии, М. А. Щеглове, И. А. Саце, Д. Лукаче, А. Т. Твардовском, С. Я. Маршаке, И. С. Соколове-Микитове, А. В. Горбатове, О. Ф. Берггольц, Г. Н. Троепольском, И. Л. Андроникове, А. С. Крынкине, К. И. Чуковском, М. А. Булгакове.
- Лакшин В. Я.** Твардовский в «Новом мире». М.: Правда, 1989. 45 [2] с. (Б-ка «Огонек», № 21).
- Ланщиков А. П.** Избранное. М.: Современник, 1989. 635 [1] с.
- Молдавский Д. М.** Снег и время. Записки литератора. [Послесл. Вл. Бахтина]. Л.: Сов. писатель, 1989. 390 [1] с.
- Национальное и интернациональное в литературах народов СССР. Тезисы всесоюзной науч. конференции.**.. (Улан-Удэ, 17—19 мая 1989 г.). [Ред. В. Ц. Найдаков, Ц. А. Дугар-Нимаев]. Улан-Удэ: БНЦ СО АН СССР, 1989. 136 с.
- Огнев В. Ф.** Сюжеты: о жизни и литературе. Эссе и рассказы. М.: Современник, 1989. 271 [1] с.
- Озеров Л. А.** Начала и концы. [Сборник]. М.: Сов. Россия, 1989. 156 [2] с. (Писатели о творчестве).
- Он похож на свою родину. Земляки о Шукшине.** [Сост. В. И. Ащеулов, Ю. Г. Егоров; Вступ. ст. Ю. Егорова]. Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1989. 248 с.
- Орлов В. Н. Гамаюн. Жизнь Александра Блока.** Киев: Мыстэцтво, 1989. 626 [2] с.
- Оскоцкий В. Д.** Портрет современной прозы. (Четыре очерка). М.: Знание, 1989. 63 [1] с.
- Осмысление: Сб. лит.-критич. ст.** [Вып. 2. Сост. и вступ. ст. В. Карпеца]. М.: Молодая гвардия, 1989. 139 [2] с.
- Останкинские вечера.** [Сб. Сост. и лит. запись Е. В. Гальпериной]. М.: Искусство, 1989. 221 [2] с. Содерж.: Ю. Бондарев, В. Каверин, Д. Лихачев, Н. Михалков, А. Арбузов, В. Астафьев и др.
- Петитшев А. А.** Человек и современный мир в романном искусстве Леонида Леонова. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1989. 153 [1] с.
- Проблема характера в советской литературе. Межвуз. сб. науч. тр.** [Отв. ред. Л. С. Шепелева]. Челябинск: ЧГПИ, 1988. 149 [2] с.
- Проблемы детской литературы. Межвуз. сб.** [Редколлегия: И. П. Лупанова (отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: ПГУ, 1989. 174 [2] с.
- Проблемы изучения художественной литературы в контексте советской культуры. Междунар. науч.-метод. конф., Ленинград, 17—22 апр. 1989 г. Тезисы докладов.** [Редколлегия: К. А. Рогова (отв. ред.) и др.]. Л.: Б. и., 1989. 154 с.
- Проблемы творчества и биографии А. А. Ахматовой. Тезисы докл. обл. науч. конференции, посвященной 100-летию со дня рождения поэта, 12—14 июня 1989 г.** [Редколлегия: С. П. Ильев (пред. науч. ред.) и др.]. Одесса: ОГУ, 1989. 99 с.
- Проблемы типологии литературного процесса. (На материале сов. лит-ры).** [Редколлегия: С. Я. Фрадкина (гл. ред.) и др.]. Пермь: ПГУ, 1989. 164 с.
- 15 встреч в Останкине.** [Сборник. Сост. Т. Земскова]. М.: Политиздат, 1989. 301 [3] с. Содерж.: фрагменты стеногр. выступлений по центр. телевидению В. Астафьева, Ю. Нагибина, В. Тендрякова, Н. Думбадзе, Ф. Абрамова, И. Носова, Ю. Бондарева, Д. Лихачева, С. Залыгина, В. Пикуля и др.
- Разумихин А. М.** В шестнадцать мальчишеских лет. Сб. лит.-критич. статей. М.: Молодая гвардия, 1989. 72 [2] с.
- Раппопорт С. Х., Степанов М. С.** Художественная жизнь: пути обновления. М.: Знание, 1989. 63 [1] с.
- Ростовцева И. И.** Между словом и молчанием. О современной поэзии. М.: Современник, 1989. 366 [1] с.
- Рудяков Н. А.** Основы анализа художественного текста. Киев: Наукова думка, 1989. 150 [1] с.
- Саипова М. А.** Перевод и мировоззрение. Ташкент: Фан, 1989. 95 с.
- Смирнов В. Б.** Будни волжской победы. [О писателях и поэтах, участвовавших в Сталингр. битве]. Волгоград: Нижне-Волжское книжное изд-во, 1989. 174 [2] с.
- Социально-идеологическая активность социалистической культуры.** [Сб. научн. тр. Отв. ред. В. М. Недошивин, А. Н. Чирва]. М.: АОН, 1989. 151 с.
- Соцреализм вчера, сегодня, завтра?** [Сборник. Ред.-сост. И. П. Лукшин и др.]. М.: Б. и., 1989. 71 [1] с.
- Старков А. Н.** Трилогия Константина Федины: («Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер»). М.: Худож. лит-ра, 1989. 191 с.

- Статьи и воспоминания о Василии Шукшине.** [Сост. Н. Н. Яновский]. Новосибирск: Книжное изд-во, 1989. 324 [2] с.
- Султапов К. К.** Динамика жанра: особенное и общее в опыте современного романа. Отв. ред. Г. И. Ломидзе. М.: Наука, 1989. 151 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Турков А. М.** Неоконченные споры. Статьи. М.: Правда, 1989. 45 [2] с. (Б-ка «Огонек», № 36).
- Тюрин В. В.** ...От Ильменя к Неве. [Сов. писатели, сражавшиеся на новгор. земле в годы Великой Отеч. войны]. Л.: Лениздат, 1989. 206 [2] с.
- Ученова В. В.** У истоков публицистики. М.: Изд-во МГУ, 1989. 211 [3] с.
- Фоменко А. В.** Храни себя, храни! Размышления о лит-ре и искусстве. М.: Молодая гвардия, 1989. 140 [2] с.
- Ханбеков Л. В.** Веленьем совести и долга. Очерк творчества Федора Абрамова. М.: Современник, 1989. 222 с.
- Хренков Д. Т.** Анна Ахматова в Петербурге—Петрограде—Ленинграде. Л.: Лениздат, 1989. 220 [2] с.
- Чуковская Л. К.** Записки об Анне Ахматовой. Кн. 1: 1938—1941. М.: Книга, 1989. 269 [2] с.
- Шошин В. А.** Проблемы взаимодействия советских национальных литератур. Отв. ред. А. И. Павловский. Л.: Наука, 1989. 247 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Василий Макарович Шукшин.** Мгновения жизни. [Сб. Сост.: Г. Кострова, Л. Шукшина; Предисл. В. Распутина]. М.: Молодая гвардия, 1989. 204 [4] с.
- Шукшинские чтения.** Ст., воспоминания, публ. [Сост. В. Горн. Вып. 2]. Барнаул: Алтайское книжное изд-во, 1989. 190 [2] с.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси.** [В 3-х вып. Вып. 2. Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 2. Л—Я. Отв. ред. Д. С. Лихачев]. Л.: Наука, 1989. 527 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).

Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры Г. Н. Маргьянова, Г. А. Самаковская, К. С. Фридлянд

Сдано в набор 14.05.90. Подписано к печати 25.09.90. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Фотонабор. Гарнитура лигатурная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.85. Усл. кр.-отт. 19.17. Уч.-изд. л. 25.99.
Тираж 13 550. Тип. зак. 385. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12